

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

8

1999

6661

НОВОЛЫГИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(892)

Август, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЕН ЛИПКИН — Стальной трепещет свет, стихи	3
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Затеси. Новая тетрадь	5
ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ — Ненаписанные стихотворенья, стихи. Публикация Д. Г. Плисецкого	79
АНТОН УТКИН — Южный календарь, рассказы	85
СЕРГЕЙ НАДЕЕВ — Легко ли быть непризнанным поэтом, стихи	102
АНДРЕЙ КОСТИН — Знакомый почерк, стихи	104
ВИКТОР КОЛЛЕГОРСКИЙ — Вон корабль в волнах, смотри, стихи	106
ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК — Гиппогриф, стихи	110
ЛОРЕНСО СИЛЬВА — Слабина большевика, роман. Окончание. Перевела с испанского Л. Синянская	115

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ — По реке Мсте от Новгорода до Кривого Колена	139
--	-----

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

БОРИС ФАЛИКОВ — Неязычество	148
-----------------------------	-----

МИР НАУКИ

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Век информации	169
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Заметки на полях	181
-------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борьба за стиль

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — Рубище певца: Мандельштам и Йейтс	196
--	-----

По ходу текста

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Этот мир придуман не нами	207
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Костырко. — Анатолий Азольский. Кровь. Роман	218
Алексей Смирнов. — I. Борис Чичибабин. В стихах и прозе; Всему живому не чужой. Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. II. Наум Басовский. — Свободный стих. Стихотворения и поэмы 1977 — 1997	219
Константин Паскаль. — Катя Капович. Суфлер. Роман в стихах	222
Алексей Машевский. — Елена Невзглядова. Звук и смысл. «Urbī». Литературный альманах. Вып. 17	224
Елена Ознобкина. — I. Мартин Хайдеггер. Прологомены к истории понятия времени. II. Я. Э. Голосовкер. Засекреченный секрет. Философская проза	226
Михаил Золотоносов. — С. М. Дубнов. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени	229
Олег Ларин. — Н. Осипов. Занимательная ботаническая энциклопедия	230

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ — Без предвзятости...	232
--	-----

ПРЕМИЯ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — «Цель поэзии — поэзия...»	234
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Присутствие поэзии в самой жизни	236

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	238
Периодика (составитель Андрей Василевский)	241

«НОВЫЙ МИР» В INTERNET

О «СВОБОДЕ» ВНУТРИ ТЕКСТА. Интервью с Михаилом Бутовым в Интернете	250
SUMMARY	256

Накануне своего шестидесятилетия скончалась ЛИДИЯ БОРИСОВНА ЛЕВОВА, отдавшая сорок лет жизни издательству «Известия», а потом ставшая сотрудником редакции «Нового мира». Ушел добрый, самоотверженный человек, которого любили и уважали все коллеги. Память о ней будет жить в наших сердцах.

Новомирцы.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

СЕМЕН ЛИПКИН



СТАЛЬНОЙ ТРЕПЕЩЕТ СВЕТ

Второй Новоприходский

Ищу и не могу никак найти
Второй Новоприходский переулок.
Иль поиски его — всего лишь сон?
Кружусь и спрашиваю встречных — старых
И молодых, да и детей, — никто
Не может мне ответить, хоть известен
Им этот переулок. Вот таблички:
И Первый есть, и Третий, нет Второго.
А может быть, под прахом новостроек
Исчез Второй Новоприходский? Но
Здесь новостроек нет. Я вижу
Мне знакомые дома в два, или в три,
Иль изредка в четыре этажа.
Один-единственный шестиэтажный
В раннесоветские года построен
Для досоветских был большевиков:
Низвергли церковь и воздвигли дом
С удобствами — с клозетом, даже с ванной.
Он и сейчас возвышен надо всеми,
Как в юности моей.
Однако где же
Второй Новоприходский? Я схожу
С ума. Стучу. Вхожу нахально, грубо
В квартиры, спрашиваю громко: где
Второй Новоприходский? На меня
С недоумением, даже с подозрением
Взирают съемщики — будь то мужчина
Иль женщина, собака или кошка,
А у людей один ответ: — Вон там,
За тем углом. — Я за угол иду,
Ищу, ищу — не нахожу нигде
Новоприходского Второго. Мне же
Ни Первый и ни Третий не нужны.
Но, впрочем, почему? Да, почему
Второй, Второй мне нужен? Для чего?
Забыл. А знал. И потому я здесь,
Чтобы найти. На часики свои
Смотрю. Мне страшно: целых три часа
Блуждаю, чтоб найти его — Второй
Новоприходский. Так вот сходят люди
С ума. Ищу, ищу.

1998.

Стволы деревьев

Сквозь корявые стволы деревьев,
На бесплотную похожа сталь,
Сероватая видна мне даль.
Что за ней? Деревня ли, мечта ль
Смотрят, блещут сквозь стволы деревьев?

Вижу сквозь корявые стволы, —
Так мне кажется, — страну иную,
Почему-то мне давно родную.
К смерти там подходит жизнь вплотную, —
Вижу сквозь корявые стволы.

Пролетел аэроплан над ними
И оставил в небе длинный след,
Но печаль не скрылась прежних лет,
Сквозь стволы стальной трепещет свет,
Пролетел аэроплан над ними.

1998.

* *
*

Умер мой одногодок.
Охватила тоска,
Для словесных находок
Не ищу я листка.

Может, встретимся скоро,
Хорошо б не в аду,
Где врата без затвора:
Но войду — не уйду.

Длились годы особо,
Каждый с грузом вины,

Мы по-разному оба
Перед Богом грешны.

Он не верил, я верил,
Он блистал, я мерцал,
Рок беззлобно похерил
Наших буквиц навал.

А кругом так безлюдно,
А мой путь так нелеп,
Так мне дышится трудно,
Так мне горек мой хлеб.

1998.

Гнездо

Дуб стоит, как прежде, одинокий,
Только небо веселей и чище,
С прутиками в клювах две сороки
Строить начали свое жилище.

В сущности, я тоже одинокий,
Но скорей не дерево, а птица,
Как гнездо, я строю эти строки,
Чтоб весне нашлось, где поселиться.

1999.



ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ЗАТЕСИ

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

БИЕНИЕ СЕРДЦА

Уложили меня под прибор, новейший. Управляет им молодой доктор, водит маленькой пластмассовой штуkenцией с красным глазком в середине по пузе моей, по груди, по бокам, переворачиваться велит.

И — о, чудо современной техники! — я услышал свое сердце, этакое сырое хлюпанье, с пришлепываниями, хрюканьем, чмоком, каким-то поцелуйным всосом.

— Какой отвратительный звук у работающего сердца, — невольно вырвалось у меня.

— Нет, звук прекрасен! — непреклонно заявил доктор и с удовлетворением повторил: — У работающего без перебоев сердца звук прекрасен!

Так оно и есть. Будь то плотник, столяр, молотобоец, артист, писатель — если он профессионал, должен слышать предмет или объект своей работы только прекрасным.

Переставши слышать свой труд, любить его «звук», мы теряем себя.

ЛУЧШИЕ СЛОВА

«Жизнь сладка и печальна», — когда-то я скользнул по этой строчке Сомерсета Моэма и пропустил ее мимо памяти.

Но вот она вернулась ко мне и звучит, звучит грустной музыкой в усталой, стареющей душе.

Если писательство есть умение расставлять лучшие слова в лучшем порядке, английский классик владел этим умением в совершенстве. Да вот понимание сие приходит не вдруг, на закате дней приходит, когда всякое слово, всякая музыка звучат в одном только настрое, в значении особом, в смысле уже неоспоримом.

ХУДОГО СЛОВА И РАСТЕНИЕ БОИТСЯ

По возвращении из краев далеких засаживал я свой огород в деревне всякой древесной разностью, допрежь всего рябинами и калинами. Одну рябинку, на слизневском утесе угнездившуюся, возле обочины современной бетонной дороги, на крутом заносе давило колесами машин, царапало, мяло. Решил я ее выкопать и увезти в свой одичавший огород.

Осенью дело было. На рябине уцелело несколько пыльных листочков и две мятых розетки ягод. Посаженная во дворе, под окном, рябинка приободрилась, летом зацвела уже четырьмя розетками. И пошла, и пошла в рост, детишек-поконов вокруг себя навывалкивала из земли столько, что и самой жить негде, и питаться нечем. Я обрубил, вычистил землю вокруг ди-

кой рябинки, и давай она расти, крепнуть одним стволом. И каждое лето, каждую осень украшалась добавленно одной-двумя розетками и такая яркая, такая нарядная и уверенная в себе сделалась — глаз не оторвать!

А коли осень теплая выпадает, рябинка пробует цвести по второму разу. Застенчиво, притаенно высветит три-четыре белых розетки с сиреневым отливом.

Два года спустя привезли саженцы из городского питомника, на свободном месте я посадил еще четыре рябинки. Эти пошли вширь и в дурь. Едва одну-две розетки ягод вымучат, зато уж зелень пышна на них, зато уж листья роями, этакие вальжные барышни с городских угодий.

А дичка моя совсем взрослая и веселая сделалась. Одной осенью особенно уж ярка и расна на ней ягода выросла.

И вдруг стая свиристелей на нее сверху свалилась, дружно начали птицы лакомиться ягодой. И переговариваются, переговариваются — вот какую рябину мы сыскали, экую вкуснятину нам лето припасло. Минут за десять хохлатые нарядные работницы обчистили деревце. Одни обклевыши на розетках остались.

Обработали деловые птицы дикую рябинку, а на те, что из питомника, даже и не присели.

Думал я, потом, когда корма меньше по лесам и садам останется, птицы непременно прилетят. Нет, не прилетели.

В следующие осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по огороду лес, они уж привычно рассаживались на рябинку-дичку и по-прежнему на те питомниковые деревца, лениво вымучивающие по нескольку розеток, так ни разу и не позарились.

Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. Дикая рябинка со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила прихотливых лакомок-птичек. Да и я однажды пощипал с розеток ярких плодов. Крепки, терпки, тайгою отдают — не забыло деревце, где выросло, в жилах своих сок таежный сохранило. А вокруг рябины и под нею цветы растут — медуница-веснянка. На голой еще земле, после долгой зимы радуется глаз. Первое время густо ее цвело по огороду, даже из гряд кое-где выпрастываются бархатные листья — и сразу цвести, стебли множить. Следом календула выходит и все-то лето светится горячими угольями там и сям, овощи негде расти.

Тетка-покойница невоздержанна на слово была, взялась полоть в огороде и ну по-черному бранить медуницу с календулой. Я — доблестный хозяин — к тетке подсоединился и раз-другой облаял свободные неприхотливые растения.

Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто и голо, скорбная земля в прошлогодней траве и плесени, ни медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут, к забору жмутся, под строениями прячутся.

Поскучнел мой огород, впору его уж участком назвать. Лишь поздней порой где-то в борозде, под забором увидел я униженно прячущуюся, сморщенно синеющую медуничку. Встал я на колени, разгреб мусор и старую траву вокруг цветка, взрыхлил пальцами землю и попросил у растения прощение за бранные слова.

Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина-богохульника и растет ныне по всему огороду, невестится каждую весну широко и привольно.

Но календулы, уголочков этих радостных, нигде нет... Пробовал садить — одно лето поцветут, но уж не вольничают, самосевом нигде не всходят.

Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем оскорбить Богом тебе подаренное растение и благодать всякую.

СВЕЧА НАД ЕНИСЕЕМ

Напротив села, на скале, обкатанной дождями и временем, похожей на запекшийся кулич, чуть ниже гор и отрогов скал, отдаваясь, скорее отскочив от прибрежного леса, растет береза. Я помню ее с детства. Она уже старая, но по росту все девушка — не хватило ни почвы, ни свету, ни размаха дереву.

Эта береза распочинает осень на левом, скалистом берегу Енисея: числа двадцатого — двадцать пятого августа приоткрывается на ней полоска едва видной прожелтины, и быстро-быстро, за несколько дней, от низу до верху вся береза делается будто свечка восковая. Последним пламенем, словно ярким вскриком в оконце лета, заявит она о себе и сразу же отделится от мира, от леса, от реки и всего своего земного окружения.

Стоит деревце одиноко и тихо светится, молитвенно догорает. Только белый ствол, будто кость, с каждым утренником проступает все явственней, все отчетливей от корня до вершинки.

Но вот конец августа, завершение прошлогоднего лета. Вышел я на берег, нашел взглядом деревце, которому так и суждено вековать в девичьем облике. Зеленая стоит березка, разве что чуть приморилась, ужалась в себе.

Быть благодатной осени, извещает. Молчит святая душа березки, которую язык не поворачивается назвать бобылкой. Но ласточки уже улетели, в палисаднике моем со стороны солнца окалиной покрылись листья на черемухе.

Все равно быть осени, быть непогоде, все равно зазимиться и на сей раз за день облететь и погаснуть, но пока стоит, молчит тихая вещунья на голой скале.

Ниже ее в камне пещера таинственно шурится, под нею ключ шевелится, еще ниже Енисей под солнцем сиянием исходит, вроде бы и не шевелится, только дышит холодом, навевая предчувствие неминуемой осени.

Свечечка, родная, не зажигайся подольше, не сторай дотла, пусть дни погожие и ясные долше постоят, порадуят людей, их, кроме природы, уже некому и нечем радовать.

И останься за нами, красуйся, как и до нас красовалась на утесе. Горы и не гасни над Енисеем, над миром, в храме природы, негасимым желтым огоньком свеча вечности.

БЛАГОГОВЕНИЕ

У коми-пермяков, как и у многих давних народов, еще не забывших себя и Бога, существуют тайные, торжественные, порой причудливые обычаи. Почти все они связаны с землей-кормилицей и природой, землю оберегающей, скотов и людей производящей.

Один из них, из обычаев, заключается в том, чтобы в момент цветения ржи никакая зараза о себе не заявляла, никакой крик, даже громкий разговор не проникали на ржаное поле, не достигали слуха его. В период цветения ржи не только от какого-либо шума, неблагоприятно сказывающегося на урожае, — следовало воздерживаться и от супружеских отношений, не стирать, не полоскать белье, не белить холста.

Самое цветение ржи, по поверьям пермяков, происходит в полдень. В старину в полдень люди прятались в избах, запирали двери, занавешивали окна, ложились в пологи и молчали. В это время никто не должен касаться голыми руками колосьев ржи, курить табак возле цветущего поля и производить какой-либо гам, тем более лаяться на земле.

Я почти четверть века прожил на Урале, прикипел к этой усталой, присмирелой земле, кажется, помню, понимаю, слышу и вижу, ощущаю пору цветения ржи, когда и в самом деле делается тихо-тихо в селении,

оно вдруг отдалятся от всего и жители села, кого где застал полдень, сомлело замрут в себе. Только зарницы, томительные зарницы, сверкают, плещутся над лесами и полями, голубым и белым пламенем озаряя покорные колосья.

Тихое-тихое благоговение царит над Божьим миром.

В такую пору мне казалось, что природа, мать наша, изнахраченная человеком, проникает в него нездешним светом и прощает его за все тяжкие грехи и преступления, сотворенные против нее и жизни.

Ну в чем, в чем виноват он, этот угрюмо и свято умолкший дедушка-Урал? В том, что со времен петровских, очаковских и азовской осады и до наших дней люди рыли, подкапывали его с обоих боков, добывая для военных и огненных дел руду, горюч-камень, золото и алмазы, чтоб все это потратить на войну, на смертоубийство, сжечь себя и надсадить эту землю невыносимо тяжкой работой.

Отечественная война прошла и по хребту Урала, грызя и прожигая его давно оголившийся хребет. В дыму, в копоти, в реве машин и грохоте составов, по горлу самому перехваченный рельсами и проводами, он, этот дедушка с поредевшей бородой, помнящий о лучших временах, кряхтя от старости, уже истощивший ниши, с пустыми недрами, с израненным телом, еще бережет собой какие-никакие леса, еще выжимает ключи и резвые речушки из каменного нутра своего, еще скатывает их с потных и пологих склонов. Слившись воедино, они еще волнуют веснами любимую и непокорную дочь его Чусовую, летом же она, многоводная когда-то, бойкущая, зацветает и совсем пропадает в луже водохранилища, теряя не только себя, но и название свое.

Но еще буйствует зеленью веснами, еще озаряется осенним пламенем дедушка-Урал, еще цветут местами на нем ржаные поля, и еще не забывшие Бога и себя люди благоговейно замирают возле хлебных полей, и древнее пламя осеняет их, не давая совсем уж забыться и одичать.

СТАРАЯ ПОРЧА

Нарезал, нарвал букет цветов в огороде, уже поздних, предосенних. Астры в букете разноцветные, пышные, но среди них наособицу смотрятся темно-вишневые, как бы спекшиеся от сока или старой крови бегонии.

Когда-то бабушка, увидев, как я рву и тащу в дом цветы, говаривала, что на меня напущена порча, и даже заверяла, что порча особая, особую же порчу в нижнем конце села могла напустить только Митряшиха, этакое на жука похожее черненькое существо, наособицу живущее, от всех отдаленное, всегда прячущее себя и взгляд свой: от сглаза, от порчи Митряшихи не отмолиться, не откреститься — так силен ее сатанинский дух.

И вот ставлю я букет на стол и слышу бабушкин вздох над собой: «Эко, эко напустила на человека Танечка такую страшную неотмолимую силу. Седой уж, старай, работу конторскую справляет, но от наваждения все не избавится... Ох-хо-хо, вот они, грехи-то тяжкие, до чего доводят!»

Бабушка, бабушка! Не проходит дня, чтобы я тебя не вспомнил. Какого же свойства твоя-то сила была? Спи спокойно, моя родная. Со мной все в порядке. Я еще радуюсь цветам, всему светлому и красивому, что есть вокруг и пребудет до моей кончины.

СОЙКИ НЕ СТАЛО

В наши дни, в нынешнем веке, в последние десятилетия, исчезли в живых русских полях и лесах жаворонки, коростели, перепелки, чибисы, редки сделались серые куропатки и даже скворцы.

Исчезли птицы по вине человека. Химизация полей, протрава семян, одичание и заброшенность деревень, где не остается хозяев-кормильцев, а брошенные табуны дичающих кошек и собак превращаются в беспощадных зверей, выедают всякую живность до перышка, до косточки, случается, и друг друга пожирают.

В глуби России видывал я такие картины: деревня с умолкшими по дворями, дыры выбитых окон или накрест и внахлест досками зашитых, пустые, на гвозде шатающиеся или вместе с жердью набок опавшие скворечники, бурьян по огородам и дворам, кусты, подступающие со всполья вплотную к заборам, к стенам домов иль взнявшие на крышах, чащи, густящиеся на хлебных, гречишных и льняных полях.

Ни крика ребячьего, ни голоса петушиного, ни живого дымка над печными трубами, но по-за деревней грузным чудовищем шевелится, одичало рычит и терзает бездорожную землю трактор с тележкой.

Это он привез удобрения на тучные колхозные нивы. Пустеет, вымирает, обездушивается русская деревня, но неустанно работает руководящая мысль, четко действует плановое хозяйство, идет давняя упорная борьба за урожай.

Кое-где наезжие из центральных усадеб и райцентров люди и машины продолжают даже пахать и засевать заброшенные поля, да убирать урожай некому, и он, бесприютный, уходит под снег. И повсеместно лежит кучами, белыми льдинами в одичалых полях химия. К ней тропы зверьки проложили, вокруг валяются тлелые шкурки зайцев, лис, горою вспученные туши лосей.

И кружится, торжествует, орет воронье...

В облезлом мехе пены текут отравленные речки и реки. Такой вот порядок: сельским хозяйством заправляли одни дяди, химией заведовали другие, урожай и убытки от них подсчитывали третьи, хлеб из-за океана плавил четвёртые, всеми вместе руководила и направляла народ на верный путь самая мудрая партия всех времен и народов.

Говорят, что и вся прибыль в урожае от химизации полей достигнута была в пределах двух — четырех центнеров с гектара, но и то огромная победа при урожае по стране в целом десять — пятнадцать центнеров.

Умели, умели в ту пору работать разорительно, погибельно, не считая убытков, не щадя ни народ, ни страну свою замороченную, ни природу. И вот умолкли российские поля, отцвело небо над Россией, никто этого вроде бы и не заметил, никто не загоревал, никто не схватился за голову, не взревел: «Люди! Русские люди! Братья и сестры! Да что же мы делаем-то?!»

Ничего, привыкли, лишь старики и старухи в кулаки сморкаются, головами трясут: «Ни в поле, ни в лесочке ни единого голосочку. Погибель, однако, приходит, остатные пташки о конце света нам извещают».

Но и остатных пташек почти не слышать, редки красногрудые снегири, овсянки, жметя к жилью синица и вырождается от нетрудового корма; щегол, чечетка, трясогузка еще водятся кой-где, но их кладки и самочек выедает воронье.

Случалось, зимней порой ездил я на машине в город Енисейск и на дорогах, в особенности близ села Казачинского, у конских шеваков, среди банды ворон и двух-трех увертливых сорок непременно видел красавицу сойку. Самая это цветастая, самая изукрашенная из наших оседлых птиц — куда иному заморскому попугаю до нее! В одном крыле до семи цветов — тут и белый, и сизый, и коричневый, и ярко-голубой, и с прочерью, и с серебром, башка с крепким, каменным клювом, грудь птицы почти огненная, спина и брюхо в нежно-пепельном пуху, вокруг глаз и на щеках радуги.

А характер! Он и у всех диких птиц, во зле человека обретающихся, непрост и боевит, но сойка все же мало на глазах живет, ее зимняя бесормица подтягивает к жнивью, сгоняет на дороги и в деревенские дворы,

на зерновые тока, к заброшенным суслонам, к соломенным скирдам, а вообще-то она в ближнем подтаежье обретается.

Есть в глухой дремучей тайге ее почти родная сестра, кукшей зовется. Эта проныра меньше размером, не столь цветаста, как сойка, но ее круглая, довольно крупная башка и фигура до пупа словно свежей ржавчиной покрыта. Птица зоркая, шустрая, пронырливая, вечно голодная, она проклята всеми российскими охотниками. Кукша находит в глуши тайги ловушку, чаще всего капкан, съедает наживку — кусочек мяса, рыбы, птичьей требухи. При этом, как ни увертлива, ни ловка, нет-нет да и угодит в капкан. Захлопнут ее беспощадные железные зубья, сомкнут, скомкают, клюв птицы в последнем мучительном крике раскрыт, когти, царапавшие бесчувственное железо, на лапках сведены предсмертной судорогой.

Беспощадная жизнь повсюду, в тайге особенно, и охотники, сплошь пользующиеся запрещенной в добрых землях ловушкой на соболя, капканом, свою долю проклятий от зверьков и Бога тоже получили. Да разум-то и у них иной раз пробуждается — в Европе на пушные аукционы не принимаются шкурки зверьков, добытых таким вот варварским, капканным, способом.

Передовой заступницей за беззащитных зверьков, диких и домашних, выступила Брижит Бардо — да, та самая смазливая, вертлявая, знаменитая на всю планету французская киноактриса, которая славно в свое время потешала зрителей, красочно изображая всяких потаскушек. Особое место в раю рядом с Богом будет определено ей в другом, более милосердном мире все зрящим, все знающим, всем по законам воздающим.

Жил я в шестидесятых годах в отрезанной от мира по причине разлившегося Камского водохранилища деревушке. Был здесь когда-то совхоз, поля и прочие уголья, но остался лишь табунок телят, люто пьющий бригадир и не менее люто матерящийся пастух. Леса вокруг деревушки сплошь выпластаны, восстают вновь, поля и сенокосы заброшены.

В этой глуши и благодати развелось видимо-невидимо всякой птицы, малой и большой. А в позабытой, лесосплавом губленной, но недогубленной речке водился хариус.

Иду я однажды, тихо крадусь вдоль речки с удочкой и слышу впереди содом, крик, стучание клюва, хлопанье крыл. Выскакиваю на полянку, а там огромный ястреб схватил сойку, пытается унести ее в удобное место, добить и склевать. Да не тут-то было, сойка в его лапах, похожая на вспыхнувший спичечный коробок, орет, трещит, крикает и унести себя в кусты не дает. Да кабы она только орала, что деревенская девка под натиском парня, увлекающего ее в овин, она еще и сопротивляется, норовит глаз разбойнику выклевать.

— Что ты делаешь, мошенник! — заорал я на хищника и удилищем махать начал. Натиск хищника, видать, ослабел, сойка вырвалась из его кривых железных когтей и ко мне прыгает, кособоко прыгает, вроде как на одной ноге, крыло поврежденное волочит.

Ястреб вихрем промчался надо мной, лапы когтистые растопырены, когти выпущены, в них перышки трепещутся. Сел он над речкой на черемуху, клювом щелкает, глазами сверкает, на меня ругается. Я его дальше погнал, сойка же прыг-скок от меня, на нижние ветки вербы взнялась, давай себя в порядок приводить. Я то на удочку поглядываю, то на птицу, она все возится в кустах, все перья на себе укладывает. Вниз слетела, воды из речки клювом побросала в себя и на себя, вроде бы и порхнула возле берега на мелководье, потом долго любовалась отражением своим в той водичке: снова она в порядке, нарядна, нарядна, пригожа, снова первая красавица в здешнем лесу. Прыг-скок на ольху, с ольхи на черемуху, потом с громким, содомным криком полетела в березовый колок, где у нее гнездо было, может, и кавалер такой же нарядный, боевой и горластый.

Потом те благодатные места и заброшенную деревушку обсыпали дустом. С клещом боролись. Клеща не побороли, этой твари еще больше стало в русских лесах, но птицу отравили. Сплошь. Всюду. Не знаю, как там в уральской деревушке жизнь нынче идет, ожили ль птицы, восстановились ли леса. И жива ли сойка, отбитая мной у ястреба.

Здесь, в далекой Сибири, проехал я до Енисейска, до Канска, до Ачинска, Балахты, аж до Каратуза за пятьсот верст ездил — нет нарядной птицы на дорогах, исчезло диво природы, наш российский попугай.

Люди! Россияне! Исчезла птица сойка! Еще одной жизни не сталоazole нас! Люди! Что же вы не кричите? Что же вы в набат не бьете? Дети, почему вы не плачете по птичке, дивной, сказочной? Многие из вас не слышали живого жаворонка, не кричит вам с полей перепелка: спать пора! Вечерами с деревенского всполья от озера и реки не извещает коростель о начале лета, на ближнем вспаханном поле не спрашивает чибис, чьи вы.

А уже ничьи вы...

Сироты вы, растущие в сиротских селах и городах, возле страшных, дымом и химической заразой исходящих заводов, среди сиротских полей, лугов и сенокосов. И сиротами вас сделали родители ваши.

ДИВО ДИВНОЕ

Дивен Енисей, верхний и средний в особенности, ни одна верста не повторяется, величествен, раздумчив и раздолен он в низовье, где берег с берегом не сходится, в бестуманную погоду отворены здесь речные врата в какую-то одновременно пугающую и манящую даль.

Но дивней и прекрасней Енисея притоки его, прежде всего малые. На многих речках и речушках, что рвутся изо всех сил к родителю своему, довелось мне побывать, и всюду немел я от восторга, хватал спутников за рукава, просил смотреть, восхищаться.

С детства наслышан я был о речке Сисим, название это занесла в наш дом бабушка Мария Егоровна, которая была родом из деревни Сисим.

Совсем недавно по велению ее молчаливому побывал я на ее родине, на Сисиме, и понял, отчего бабушка всю жизнь тосковала по нему. По красоте с Сисимом может сравниться разве что его соседка, с детства любимая и родная река Мана.

Плывем по среднему Сисиму, журчащему перекатами меж камней, с захлебным хохотом бьющемуся под скалами, то хлестко налетающему на голые осередыши, забредшие по пояс в воду, то усмиренному неторопливым кротким плесом. В заброд с пологого бережка спускаются луга, дымятся зеленью острова, мреющие на выносах песчаными, плоско оголившимися косами и заостровками.

Все, все в летней благодатной поре, все в цветении. Приречные луга, отделенные от воды крупной строчкой каменистого булыжника, кипят пеною цветущего дудочника, белыми волнами накатывающегося к оподолью гор и на всплеске замирающего у плотной стены хвойного леса.

Луга давно не кошены, вот и царствует здесь, кипит неумно морковник, лазурник, тмин, и куколь листья в ладонь расправил, володушка желтитя цветом, крученым семенем, густо засеянным в цветок, похваляется, вях ядовитый комками выпирает, тырник, нищий по стеблю, котовник и змееголовник мягки цветом, что кошачьи хвосты, окопник, похожий на медуницу, но листом и цветом жестче и беднее, как и положено окопному существу, само собой, много дикой мальвы и зверобоя, который себя задавить дудочнику не дает, вероника, льнянка, паслен, поэтический шалфей лепят на себя семя, прячутся под аэропланными размашистыми листьями борщовников, которые, отцветая, так сорят жестким семенем, так стреляют, что кажется, дробь по луговому приволью хлещет.

Пестрядь неумная, дикая, сама себе радуясь, с ног валит запахами, — луговая пестрядь, по которой яркозево ползет горя не знающий вьюнок, и уж у самой воды, в россыпи дресвы и питательного наноса, скромной церковной свечкой теплится недотрога, а в камнях и на мелководе сам себе радуется, течением с исподу белесо заголяется бесстрашный речной копытник.

На приречные откосы, на склоны и опушки заглядишься, рот открыв, весло уронишь или сам за борт вывалишься.

Боже, Боже, как любовно, как щедро наделил ты эту землю лесами, долами и малыми спутниками, их украшающими, тут кружевом цветет калина, рябина, боярка и бузина, тихой нежностью исходит белый и розовый таволожник, жимолость татарская золотится, жимолость каменная застенчиво розовеет, трескун с темным листом и рясным цветом к тальнику тянется, дикая сирень, строгий тис в толпу кустарников ломаются, краснолистный дерен белыми брызгами ягод дразнится, бедный ягодами и листом бересклет, пышно качается лисохвост и конечно же розовыми, телесно-девчоночьими, лупоглазыми цветами отовсюду пялится шиповник, а далее смородина, малина, костяника по голым склонам — вся Божья благодать человеку дадена, исцеляйся ею, питайся, красуйся среди такой благодати.

Да куда там, топчут, жгут иль бросают благодатное добро, и дохнут в городах твари господние без призору, догляду, природу предавшие.

Мелкая строчка кустов тальника по берегам и густо растущие вербы, черемухи и ольховник пышно кучерявы, словно в европейском саду подстрижены. Острова похожи на чопорные аристократические парки, густая зелень заливных трав придает этим нечаянным паркам особенную красоту и какую-то пленительную упорядоченность.

Плывем по Сисиму, молчим, дивуемся, как копытник из воды показывается, как ухожены, ровны, словно бы рукотворны дикие, безоглядные берега и без того красивой реки.

Спутники разрешают мое недоумение. Прошлая зима была неожиданно снежной. Прибрежные заросли завалило сугробами до вершин. В лесу, в тайге из-за губельных убродов зверью, прежде всего козам, маралам и кабарге, кормиться сделалось невозможно. Звери табунами выходили к реке и объедали прибрежные заросли снизу, от камней и по мере зимнего прибоя утаптывали снег, добираясь до вершин. Оттого-то все вершины верб, талин, ольхи, черемух как бы пострижены, ветви будто подсечены садовыми секаторами.

Польхая свежим, сочно сверкающим листом, искрясь плоскими, под бок подстриженными вершинами, кокетничает и, сама собой любясь, в воду глядится торжествующая обновленная приречная растительность в связке, в мудром союзе меж собой живущая, сама себя творящая и воскрешающая.

Где-то в уреме, в глушине тайги семьями сторожко пасутся после сокрушительной зимы не все, но хоть частично спасенные приречным кормом маралы, где-то в горах, по вершинным камням иль по неукосным густым лугам бродят козы, к ним крадется из хвойного заглущья, мокрым нюхливым носом водит ненасытный медведь.

А по безлюдному простору в дивном наряде, среди половодьем обихоженных берегов, будто в праздничной горнице, устеленной цветными половиками, бежит, шумит, царствует диво-дивная горная река, имя которой, точно капля меда, прилипает к языку, на всю жизнь оставляя в душе чистую сладость и яркую, детскую радость воспоминаний о зеленом чуде.

НОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Тих и скоротечен зимний вечер в лесу. Лишь по мерцанию снега и по отчетливо проступившим теням деревьев угадывается приближение вечера.

Нигде никогда не ощущается вечность так, как вечером и ночью, опустившимися в лес. Нет-нет, даже не опустившимися, просто здесь давно-давно пребывающими. И нет, и не было нигде другого мира, другой поры.

Беззвучное мерцание звезд, которое в народе зовут точнее — игрою, отчетливых, лучистых, праздничных, густо усеявших небо, есть и было здесь вечно. И ночной костерок, усмирело горящий в вытайне, шелканье его, напоминающее выстрел мелкокалиберки, да и далеко где-то раздающиеся хлопки дерев, на которых кожа лопается от мороза, и еще какие-то чудящиеся звуки и голоса, движение, мнящееся в глуби немой тайги, — все это звуки посторонние, лишние, нарушающие покой зимнего мира, который даже не раздражается от присутствия здесь огня и шевелящегося возле него человека.

Все, все это лишнее, постороннее, досадное.

Величие тайги, величие зимнего мира были и пребудут здесь всегда. Зима, погрузившаяся в снега, небо над нею, острыми ресницами звезд проколотое, знают и не знают времени. Они, чтобы человек ни вытворял с собой и кормилицей землей, были и будут всегда, и он, прикорнувший, спящий возле костерка, временного греха, был и остается послушным рабом природы; лишь дерзкие мечты тяжелят его голову — подчинить себе неведомые пространства и миры, светящиеся выше самого неба.

И собака его, прикрывшая себя пушистым хвостом до глаз, это самое в природе предательское существо, оттого так чутко спит, ловит воздух мокрыми ноздрями, что боится окружающего ее мира, но как всегда лживо и лицемерно считают и она, и хозяин ее, что они любят и сторожат друг друга.

Любящие существа не лижут руку, корм дающую, любящие всегда независимы, всегда вольны распоряжаться собою.

Собаке и человеку этого не дано. Вот волкам, что среди ночи подают голос, вознося его до ледяным серебром светящейся луны, соболу-разбойнику, рыскающему по ночному лесу, даже малой птахе, поползнию, спрятавшемуся в теплых жилищах созревшего дерева, красивой рыжей белке, уютно свернувшейся в хвойном гойне, и неутомимому работнику дятлу, до темноты долбившему короедами порченый кедр, — всем, всем малым и большим обитателям этого дома-урема, бодрствующим и спящим в норах и берлогах до весны, в полусне оцепеневшим, дана воля, дана свобода жить и умирать, как велит природа.

Оттого и тихо здесь, темно и тихо в уреме-то, и чем дальше вглубь, тем темнее и тише. Этой тишины боится человек, боится собака. Тишина им кажется зловещей, оттого-то и чудятся им голоса ночные, движение в глуби тайги, сияние луны и звезд кажутся недобрыми, стужу вещающими.

А наутро и будет студено. Оцепенело, недвижимо и студено.

С пыхтением сползет с отяжеленных ветвей сыпучая кухта, лапа ели, освободившись от тяжести, долго будет вздрагивать обмерзшими ресницами — все-все здесь к месту, все едино. Изморенные полусном в долгой ночи, подавленные неохватностью пространства, тишиной, соединившиеся с земным, заснеженным пространством, мерцающим на серебристом покрове переменчивыми искрами, люди ощущают себя лишними здесь, ненужными, вот и отгоняют гнетущий уют в душе огнем, кашлем, стуком топора, движениями своими, всегда производящими шум.

Собака, к утру звучно и смело зевающая, человек, начинающий суесться, греть чай, рубить валежину, проверять патроны и спуски ружья — не остыло ли в них масло. Робко, мучительно одиноко было в ночном лесу, вот и бодрятся человек с другом своим, предательским и хитрым.

Перемогли! Ночь перевалили, а она что год зимою в лесу.

Нигде и никогда не ощущает себя человек одиноким гостем на земле, как среди зимней морозной ночи, грузно навалившейся на него, сомкнувшейся над ним, и ему, всевластному, зло и шум на земле творящему, хо-

чется ужаться в себе, затихнуть и творить про себя молитву не о вечности, нет, — молитву прощения за себя и за всех нас.

Святость зимней ночи, величие сотворяющегося в тайге таинства подавляют силу и уверенность в себе, кажется человеку, что он искра, выстреленная из костра, дугою прочертившая ближний полусвет и неизвестно куда девшаяся.

И верит человек: искра была не случайная, никуда она не делась, не погасла, она вознеслась ввысь и прилепилась к полотну неба.

Еще одной звездой в мироздании сделалось больше.

Ах, если б каждому землянину хоть раз довелось покоротать ночь у костра среди стылгого зимнего пространства, не осталось бы в нем сомнений, утихла б его мятущаяся, тревожная душа.

НАЧАЛО

Подтаежная деревушка с покосившейся дырявой силосной башней на всполье, с обсыпавшейся поскотиной, с косо торчащими кольями огородов, на которых и в безветрие шевелится лохматая талая перевязь. К осевшим в сугробы, подслеповатым избенкам ведет задремавшая под белым снегом дорога, столбы возле нее пошатнулись, где и вовсе упали, оставив подпоры в виде виселиц. Обломками черных головешек обвисли и дремлют на ветках школьных тополей вороны, белым сном окутан заснеженный еловый лес за деревней, помеченный ночной заячьей топаниной по опушке, даже синие дымы над избами дремлют, да и сам белый свет здесь отчего-то сер и дремотен.

Вдруг эту сонную тишину на куски разрывает резкий, яростный трезвон. Вороны срываются и молча летят со школьного двора, помеченного собачьими и птичьими следами.

Долго, дико и устрашающе, будто сигнала о наступлении кары небесной, звонит школьный электрозвонок, который остался включенным и на который никто, кроме ворон, не реагирует.

Эту школу никто не закрывал. Она сама собой опустела — не стало в деревушке детей, разъехались учителя, остыли и потрескались печи; кто-то с улицы разбил стекла в окнах, со двора они целы и серы от пыли. Двери в школе распахнуты, некоторые сорваны с петель, по снегу шуршат разлетевшиеся тетрадные листы с красными отметками. Над воротами, дугой выгнутыми по козырьку, треплет ветром изорванный праздничный плакат, лоскутки от портрета вождя мирового пролетариата, размытого дождем, бумажно шебаршат.

А парты в классах все стоят рядами, учеников дожидаются, и классные доски на стенах, слегка потускневшие, наизготове, на одной написано: «Колька — дурак», на другой: «Светка — дура». По коньку крыши, кое-где уже сронившей тес, на фанере, бурым суриком крашенной, написано: «Миру — мир». Плакат на крепко прибитых укосинах долго будет стоять, и слова на нем долго будут живы.

Через каждые сорок пять минут трезвонит по едва живому селу, по опустелой округе школьный звонок, как бы извещающая население о начале апокалипсиса, проще говоря, о конце света. Но скоро электричество от деревушки отцепят, и звонок умолкнет.

НАВАЖДЕНИЕ

«Самая прекрасная и глупая эмоция, какую мы можем испытывать, — ощущение тайны. В ней источник всякого знания. Кому эта эмоция чужда, кто утратил способность удивляться и замирать в священном трепете,

того можно считать мертвецом...» Прочитал я эти слова великого ученого и подумал: вот живу, читаю о всякой чертовщине — о летающих тарелках и даже тазах, и неживых телах и существах, невидимо и безболезненно проникающих в нас, о царствах подземных, глубинно-морских и прочем, и прочем, что прежде называлось просто и ясно — чертовщина.

Выросши в суеверном таежном селе, побывавши на войне, пробродивши, наконец, всю почти сознательную жизнь по уральским, сибирским лесам и по вологодским болотам, где, казалось бы, только всякой нечисти и водиться, я ничего, никакой нечистой силы не видел и не слышал, сродственников с других планет и даже снежного человека нигде не встречал.

А вот ощущать — чего-то ощущал. Явственно это было два раза за жизнь. Один раз на войне.

У реки Вислы есть приток Вислока с нашу речку Базаиху, может, где и с Ману величиной.

В верхах этой горной речки немцы, заняв Польшу, устроили укрепбастион. Выселили из целой округи жителей и вперемежку с деревянными постройками под старыми крышами, в старых деревянных оградах построили дотов разной величины и крепости. Здесь с 1939 года испытывали новое оружие — танки, пушки, снаряды.

К нашему сюда приходу в одна тысяча сорок четвертом году все в укрепрайоне обросло бурьяном, одичали сады и развелось неимоверное количество кроликов да одичавших кошек, которые охотились в зарослях, дрались и ночами жутко орали, сверкая лешачьими глазами по заброшенным дворам и чердакам.

Конечно же немцы укрепрайон так просто не сдали, конечно же уперлись, втянув в затяжные бои южное крыло Первого Украинского фронта. Здесь я впервые видел работу наших самых мощных 203-миллиметровых гаубиц. Они и 152-миллиметровые пушки-гаубицы с прямой наводки били по дотам, норовя попасть в широкие, вглубь сужающиеся, амбразуры. При попадании в уязвимое место железобетонный дот раскалывался, людей, что оборонялись в доте, контузило так, что из ушей и носа у них текла кровь.

Где тут усидишь, хотя и загородка надежная?

И однажды ночью гитлеровские войска укрепбастион очистили, наши части бодро, где и с песнями, вошли и въехали в него.

И сразу началась бешеная, азартная охота на кролей, малоповоротливых, отяжелевших от долгой безмятежной жизни. Кроли нарыли повсюду ходов сообщений, пообъели кусты, прибрежные заросли и садовые деревья, доступные их зубу. Они и не подозревали, какое ненасытное, отважное и находчивое войско навалилось на них.

По густой дурнине, треща сохлыми зарослями, носились в неистовом порыве советские бойцы, из автоматов, из винтовок лупцевали по разбегающимся зверям, порой так входя в раж, что уж и крики раздавались отовсюду: «Асмодеи, куда палите?! Побьете своих, гадство!» Потом уж и привычные земляные работы начались. Раскопав надежно спрятавшегося в своем окопе кроля, зашибив его лопаткой, охотник еще и назидание выдавал: «От советского бойца нигде не укроешься, особенно когда мясом или бабой пахнет».

Помню, как в солдатскую баню, упрятанную среди заросших построек, хлестануло очередью по окну, и друзья-артиллеристы, терзавшие тела друг другу намыленными волосьяными и крапивными вехотками, дружно повалились на склизкий пол.

Командир отделения связи, весь в наколках, в волосе на груди и по ложбине пуза, схватив лопату, погнался за охотниками, но только выскочил на свет, как раздалась испуганные и одновременно восторженные визги и вопли: к этой поре уже начали возвращаться в село пане с паненками, да и в военных частях женский персонал водился — наш отделенный,

произведя ошеломляющее впечатление на публику своими наглядными достоинствами, сконфуженно возвратился в баню.

Вот из этого наполовину уже размаскированного, оголившегося польского селения, утопающего во вкусных запахах всюду варившейся убоины, даром войску доставшейся, где-то под вечер отправился я с донесением в штаб бригады.

Один. Это уже стало законом и привычкой на наших фронтах сделалось: на связь, с донесением, за харчем, на пост — всюду боец-одиночка. Сдали в плен миллионы, положили в украинско-белорусских и русских полях многие армии наши доблестные полководцы, и вот теперь уже другим полководцам приходилось выкручиваться, экономить на всем, в том числе и на людях. На передовой солдаты вынуждены были работать один за пятерых, где и за десятерых. Изнурение, постоянная, до безразличия к смерти, усталость...

Редко выпадал нечаянный отдых. Вроде этого вот в укрепрайоне, в кроличьем царстве светлой осенью.

На этот раз я шел не с привычным карабином, а с недавно полученным автоматом через плечо, шел хорошо выспавшийся, легкий после бани, в выжаренном, постиранном, пусть и заношенном обмундировании.

Сентябрьское солнце к вечеру ласково грело, где-то на его закате отдаленно и привычно ухала война, крестики самолетов кружились и реяли над землей, словно неугомонные стрижи в предвечерье играли над рекой Вислокой. Походило на птичью игру, если бы не клубки зенитных разрывов, не белые строчки пулеметных очередей, полосующих голубой полог неба.

Но здесь, в заросшем и одичавшем селении, мир и покой, в глуби садов, перепутанных сохлыми ветвями и ломким бурьяном, виделись то яблоня, то груша, то слива. Еще способные рожать деревца бережно и застенчиво хранили редкие плоды на ветвях. Особенно заманчиво густились садовые кущи возле полувысохшего ручья, из которых при моем приближении с треском и шумом вылетела большая стая голубей и россыпью побежали во все стороны ожиревшие куропатки. Я хотел войти в кущи, нарвать яблок или кругло налитых, белых, переспелых слив, как вдруг почувствовал, что там, в глушине сада или по-за ним, в сумерках, успевших когда-то наступить, что-то или кто-то есть.

Нет-нет, не немцы, не военные, не лазутчики иль дезертиры, не паны, вернувшиеся домой, не наши солдаты, шакалящие по пустым избам и садам. Там есть тот или то, чего я боялся еще маленьким, страшась ввечеру идти один в баню или избу, пока в ней не засветят лампу. Оно, тот или то, водилось только по темным углам, в подполье, в подвале, в старых стенах кладовок, амбаров или на чердаках.

И вот оно объявилось в темнеющих зарослях заброшенного польского селения. Там в сгустившемся мороке чудится завалившаяся набок избушка, чья-то притаившаяся тень или старые кресты.

Смех сказать, боец, уже дважды раненный, черт-те чего навидавшийся и натерпевшийся на фронте, с полным, свежезаряженным диском в автомате, прирос к месту и не может сделать шагу. Вся спину скоробило страхом, в башке гул, сердце обмерло, едва шевелится. Чем дольше стоит он, боец этот бесшабашный девятнадцати лет от роду, тем страшнее ему, тем обморочнее его сознание.

Сдергивает автомат с плеча, сваливая весь страх с себя разом, вдруг заблажив не своим голосом что-то, застрочил в темень сада и побежал, на ходу не переставая давить на спуск автомата.

Сколько-то пробежал, остановился, держа перед собой автомат на пузе. Выпустил, и очень быстро, весь диск, это ведь в кино из них стреляют так, будто в диске ведро иль сундук патронов. Прислушался: ни криков, ни шума во вдальке уже темнеющих зарослях не слышалось — могли

ведь селяне там быть иль всюду проникающие добытчики-вояки по саду шариться, порешил бы кого — под трибунал угодил бы.

Но... тихо повсюду и еще не темно, еще сумерки продолжают. Я миновал укрепрайон, вошел в лес — привычное дело, лес-то, тайга-то, где бы и водиться лешим, а ничего, все страхи позади. Переваливаю гору, за нею на поляне вольготно расположился штаб бригады. «Задание выполнено», — нарочно громко поору я, вернувшись, и — домой.

Но не скажу никому, чего было-то. Что за дурь? Что за помутнение рассудка?

Хотел обматерить себя, но в минуту страха, слабости духа и смирения я, как и многие русские солдаты, не употреблял бранных слов, уразумел я на войне, что в этой жизни, на этой земле есть силы превыше нашей власти и воли, они больше нас, дальше нас, и не мы ими, а они повелевают нами, они сложнее того, чем мы обладаем и что ощущаем, они за пределами нашего разума, который мы смеем называть могучим. В подсознании нашем хранится такая память, такое ощущение пространств и времен, что истовый атеист, комиссар в ремнях, отдаляясь от земного, брэнного, разлепливая спекшиеся от крови губы, взывает к Боженьке, — это те чувства, те ощущения владеют им, над которыми он не властен, это дух Божий коснулся его души, открыл перед ним бездну — и он испугался бесконечности, отлетая в нее.

Не скажу, что с тех пор, с того фронтового времени и происшествия по пути в штаб бригады с донесением, я победил страх и перестал бояться того, что недоступно моему разумению, но уважать какую-то другую, помимо меня существующую, таинственную силу научился.

Много, много лет спустя потом, в тайге, возле каменистого распадка, заросшего чернолесьем, мелким сосняком, частым пихтачом на склонах да непролазными кустами понизу, выманивал я рябчика из зарослей. Сидел на свальной бурею сосенке и насвистывал манком. Рябчик, поклевывая ягоды с рябины, звонко откликнулся из распадка, но ко мне не летел. У него внизу-то корму дополна: рябина, черемуха, смородина, жимолость, а понизу — черника, брусника, начинающая с боков краснеть, и прочая ягодная благодать, так за каким лядом ему лететь ко мне, в почти сквозной голый сосняк?

Я работал в ту пору в литейном цехе, отправлялся в тайгу сразу после ночной плавки, меня давила усталость, вело в сон. И вот отдалилось все, сделалось тихо-тихо, как при солнечном затмении. В какое-то блаженное забытье увело меня, и только начал я опускаться на дно этого блаженства, устланное мягким мохом, как услышал вдруг отчетливо и громко произнесенное:

— Парбы нет.

Я открыл глаза, поднял голову — кругом стояла до звона в голове явственная тишина, казалось, сумерки окутали тайгу и распадок в зарослях.

— Парбы нет, — раздалось вновь ясно и отчетливо не с неба, не из дикого распадка, а из какого-то мне неведомого пространства, существующего помимо того, что было со мною и надо мной.

На сучке сосенки в нерешительности переступал лапками любопытный рябчик. Не выдержал кавалер, вылетел на зов из сумрачного и кормного распадка, но, почувствовав человеческий взгляд, собирался с разбега улететь. Я сшиб его с дерева, подобрал, сунул в рюкзак и, туго затягивая удавку, озирался кругом.

Выстрел, как я и ожидал, вернул ко мне живой и шумливый мой мир.

Дома я перелистал все словари, русские и иностранные, — слова, услышанного мною в тайге, нигде не нашел.

Да и было ли оно произнесено? Или это всего лишь наваждение, навеянное усталостью и тем, что хранится в глубине души, изредка тревожа наше несовершенное, от всего-то и всегда зависящее сознание.

БУРЬЯН

С пестрой и не совсем трезвой делегацией письменников, русских и украинских, закатились мы в шевченковские места. От них рукой подать до деревень, оврагов, горушек с редким лесом, где глухой зимнею порой 1943 года происходили последние бои по уничтожению окруженной вражеской группировки, командование которой не приняло ультиматум о капитуляции.

Ничто не напоминало той страшной метельной ночи, когда происходило избиение людей людьми. Деревни обросли садами, хаты «пид бляхой» и под шифером россыпью растащены по некрутым косогорам и, плотно сгрудившиеся в долинах, млеют под осенним предзакатным солнцем. Поля, уже скошенные, с горбато высящимися скирдами посередине, умиротворенно и бескрайне раскинулись во все стороны, яркие озими зеленеют и серебруются, радуя глаз свежестью, сосновые лесочки, которые конечно же в войну были свалены на дрова, на перекрытия окопов и блиндажей иль сожжены снарядами, отросли, обустроились. Кто-то из украинских друзей нашел в лесочке переросшую уже, жесткую черемшу, принес мне: «Бачь, то растет не только в Собиру, „Черемшина” — песня е такая гарная у нас...»

Колхозы в пору нашего гостевания в шевченковских местах крепкие были, села богатые. Председатель крепкого колхоза (в бедный колхоз при Советах почетных гостей не возили), которому надлежало нас принимать, рассказывать о великих достижениях, за селом возле речки, оглохшей и замершей в приречной осоке и в каше ряски, показал нам заросли изброженного, смятого, ломаного бурьяна гектаров на восемь-десять.

— Специально оставляем, чтобы дети не забывали первозданной природы. И вы знаете, как ребятишки радуются этому подарку, бегают здесь, валяются в траве, кричат, рвут дикие цветы, приносят их домой и в школу. Здесь им можно вести себя свободно, как древним людям, здесь они, рабы двадцатого века и чудовищного прогресса, видят вольное вешнее цветение и в летнюю медовую пору тучи пчел, ос, шмелей, бабочек, охваченных своим тихим, добрым трудом, осенью в вызревающем, золотом опаленном бурьяне собирают гербарии, изготавливают музыкальные дудочки, делают брызгалки из борщовника; которые приболеют, и спят здесь. Мед в бурьяне пчелы берут от весны до снегу, птички малые гнезда прячут, собаки шерсть о колючки вычесывают, лекарственную траву жрут, домашняя скотина сюда забредает, лежит, о чем-то думает иль дремлет. Десять этих гектаров я покрою урожаем с других полей, зато у детей наших о своей природе, об этом вот клине земли память, и оттого иль от этого дети нашего села, вырастая, охотней остаются в своем колхозе, вкореняются.

Мудрый председатель украинского колхоза, молодой современный мужик, много ли у тебя последователей, многие ли понимают, что брюхо набить — еще не все достижения человеческого ума и старания?

Есть, есть ценности, которые близко лежат, да далеко берутся. Кусочек первозданной природы среди войной израненной, ныне сплошь запаханной, засеянной земли — это не просто подарок детям, это потребность быть естественным среди естества жизни.

ЗНАК ПАМЯТИ

Бывший авиационный штурман, дивный рассказчик, немножко художник, славный человек, у которого в глазах светится прирожденная доброта и приветливость, нарисовал мне крест и обозначил словами смысл его деталей.

Поперечина креста, плоскость его, оказывается, проходит по меридиану, нижний конец, укосина, показывает, где находится экватор.

Все-то, все разумными людьми делалось и сотворялось с глубоким смыслом, для пользы дела и жизни.

Когда-то на самолетах не было прибора, указывающего низ-верх, и какой страх охватывал пилотов, коли они «теряли землю», сколько поразбились их из-за этого.

А был уже крест до возникновения авиации и появления горластых учителей жизни, и кто помнил и понимал значение его, тот душу свою, порой и тело брненное спасал.

СМЫСЛ ТРУДА

«Труд есть радость», — писалось на советских плакатах, вот долгое время и ходили мы на нашенские производства не трудиться, а радоваться.

Что такое истинный труд, понимаешь, глядя на муравьев. Лесоводы установили воротца на тропе муравьев таким образом, что через них могли проползти только те, которые без груза, возле препятствия им приходилось сбрасывать «с плеча» свою ношу.

За час скопилось возле воротец более ста тысяч трупов гусениц и их куколок, не считая всякого другого «мусора».

Что из этого выходит? К нескольким деревьям в роще заперли доступ муравьям, и деревья сразу начали хиреть, терять листья, а скоро сделались вроде бы обгорелыми. Лесные вредители здесь справляли свой пир.

Где-то я слышал, что одна семья синицы-московки съедает за сезон сорок пять килограммов лесной твари, основную часть которой составляет клещ, но синицы, те любят боровые светлые леса без хлама, чтобы все в них было «на месте», в первую голову — муравейники.

Возле Красноярского академгородка, в котором я живу и где действует лесоакадемия, в старых лесах еще сохранились кое-где муравейники, и всякую весну я вижу то дырн, в них воткнутый, то до земли развороченную пирамидку муравейника — это делают детки, наследники наши, в том числе и чада тех же лесостроителей.

Когда я поселился здесь двадцать лет назад, на крутых, кустами и цветами густо поросших отрогах жили зайцы, при этом косоглазые так приспособились к местности, круглый год прячась на склонах, в камнях и комьях земли среди скупой горной растительности, что сделались пестрыми; вылетал из-под горы и с фириканьем бегал по зарослям акаций табунчик куропаток голов в сорок; в сосняках велись белки; за оврагом, где прежде были скиты, течет ключ, с грохотом поднимался из разложья бородатый глухарь.

Ничего этого нет уже и в помине, жерло ключа чем только не затыкалось, в его текущий под гору сток чего только не велят.

Даже такой малости, как почтение к труду, сохранению всего живого вокруг, чтобы самим выжить, не можем мы научить наших потомков, а замахивались построить светлое будущее.

СЛОВО УМИРАЮЩЕЙ ТЕТКИ

Тетка моя, Августина Ильинична, умирала долго, одиноко и мучительно. Была несколько лет перед смертью слепая, разговаривала много с навещающими ее родственниками, иногда и сама с собой.

Я заходил к ней летом ежедневно; слышав мои шаги, она их узнавала и, не то отчитываясь, не то спрашивая, продолжала давно с собою начатый разговор:

— Я мучаюсь здесь, и смерть меня не берет оттого, что материлась в Бога, а он все слышит... Да ить с мужичьем всю жисть на лесозаготовках, на сплаву да на сортировке в запани, вот куда конь с копытом, туда и рак с клешней, от мужиков и набралась срамоты.

— Жисть наша — как река после лесосплава: одне коряги остались, топляки, ломь древесная, жерди, мусор. Все путное вниз по Анисею уплыло, слепым потоком разнесено, по кустам застряло, по морям развеяно, по волнам рассеяно да перемолото. А мы толкали, мы толкали баграми, руками, шестами — плыви, жисть, к какому тебя берегу прибьет, как тебя ломает, одному Богу известно...

СТАРАЯ ЗАПИСЬ

Ныне я убираю и рву старые записи для своего военного романа. Но некоторые порвешь, в корзину бросишь, да они в памяти гвоздем торчат, скребут, долбят ее...

«За годы войны на фронте расстреляли один миллион человек, осуждено военнопленных 994 тысячи, из них 150 тысяч расстреляно» — это пять дивизий полного состава.

К той поре, как побывать мне на фронте, дивизий полного состава уже не было, солдаты работали один за десятерых, ни отпусков, ни разовых отгулов. Конечно, усталость, изнурение, от этого притупляется страх, чувство самосохранения, сообразилка — отсюда потери, потери, потери.

А там за солдатами тащились, по фронту пылили политотделы, СМЕРШи, секретные отделы, заградотряды, придурки каких-то придуманных команд, в это время в тылах мерли, ложились в мерзлоту миллионы ни в чем не повинных людей, и миллионы же их стерегли, учитывали, прикладами, палками и плетью били.

Потом они, эти герои, хорошо, в безопасности, прошедшие дни войны, все сделали, чтобы загнать в угол бывших фронтовиков и выпягить себя, свои заслуги. Лишь в 1995 году властью Ельцина была окончательно ликвидирована несправедливость, и бывшие пленные, угодившие туда не по своей вине, были реабилитированы, зачислены в так называемый «статус» участников Отечественной войны.

Помню времена, когда многие воины-страдалцы не носили наград, переклепывали фронтовые медали на блесны. Из солдатской медали «За отвагу» выходило две отличных серебряных блесны. В ту же пору началась торговля наградами, коллекционеры и пройдохи по дешевке их скупали, и когда двадцать лет спустя после Победы откованы были «брежневские» медали, многие вояки-окопники отказались их получать.

А как восстанавливали инвалидность? Фронтовые калеки работали кто где, чаще завхозами, сторожами, пожарниками, истопниками.

Чтобы ежемесячно получать пенсию в 180 рублей, затем, после обмена денег, — в 85 рублей, надо было каждый месяц тащиться на медкомиссию. Это потерянный день — хлебную и прочие карточки на сей день не выдают, булка хлеба на базаре стоит 1000 рублей, — и выходило, что «прогул» оборачивался гораздо дороже несчастной пенсии. Многие инвалиды перестали ходить на медкомиссии, запись инвалидности утратили, что и требовалось советскому государству.

Пришло время — это уже в семидесятые годы, — начали восстанавливать инвалидность, справки из госпиталей требуют. А как их сохранишь в нашей крученной-верченной жизни? Искушенной натурой надо обладать, чтобы все сохранить и не жить, как большинство из нас жило, перекати-полем, скакая по просторной нашей родине в поисках угла и лучшей доли.

У меня, благодаря аккуратности в бумажных и всяких прочих делах моей жены, нашлась одна, писанная на клочке оберточной бумаги, справ-

ка с отчетливым штемпелем госпиталя. Приехал в райсобес, встретили вежливо, занесли меня в толстую амбарную книгу и сказали: справку пошлют на подтверждение. Я обмер. Что, если в этом вечном бардаке, именуемом советским государством, затеряется бумага иль не подтвердится?

У меня все прошло нормально и быстро, через три месяца всего получил подтверждение — век минул с госпитальных-то времен, — унижение еще одно, очередное. В собесе люди с понятием — звонят мне, утешают: «Не переживайте». Скоро и оформили бодрую, стандартную пенсию по третьей группе — 85 рэ. На эту пенсию с приработком можно тянуть нить жизни. Булка хлеба стоила уже не тысячу, а полтора рубля.

Но многие, очень многие бывшие фронтовики в буче жизни справок не сохранили, номера санбатов и госпиталей позабыли, их заставляли искать, вспоминать, ездить по стране. Запивали с горя инвалидишки, иные, не выдержав унижений и нищеты, кончали жизнь самоубийством иль колесили по стране, искали свои боевые следы и следы боевых товарищей, изводились в битве с закаленной советской бюрократией. «Зато на месте боя, где меня ранили, побывал, фронтовых друзей встретил», — не раз писали мне фронтовики, утешаясь хотя бы тем, что погоревал, поплакал с друзьями солдат, чаще всего в одиночестве, без присмотра доживающий свой век.

Лишь, опять же во времена правления Ельцина, сообразили не унижать, не добывать остатки воинства, Родину спасшего, не искать справки и подтверждения о ранениях, а производить медкомиссии на месте. Раны-то старые с тела не стерлись, отбитые ноги-руки не отросли, вытекшие глаза, глухие от контузии уши не улучшились. Тех, кто имел третью группу инвалидности, и меня тоже, перевели на вторую.

Ну за чуткость эту и за многое другое отблагодарили вояки Ельцина чисто по-русски: стали материть его на всех перекрестках и площадях, трясти красными знаменами да славить отца и учителя, который посылал их на смерть, а после Победы взбодрившись, выбросил на помойку, позагонял в леса, рудники, шахты искупать его вину, страдать за его безответственность, за самоздравие.

Бывшие воины страдали и умирали толпами после войны в лагерях смерти — и возносили вождя до Бога.

«Ума нет — беда недалеко», — говорят на Урале.

ДАВНЯЯ БОЛЬ

В недавнем телесериале по Лескову «На ножах» показывали бытующего среди людей, живущих поистине на ножах, человека тишайшего, кроткого, неожиданно сыгранного старшим Ростовским, который деликатно рассказывал о себе:

— Был я сам когда-то солдатом. Кантонистом был. После ранения вдруг пошел повышаться в чинах, генералом стал, людей мучил...

Признание редкостное для военного человека вообще, русской, тем более современной, военщины в частности.

Преступления: воровство, самоубийства, дезертирство, дедовщина, мужеложество, нежелание служить в армии, густо происходящие на исходе столетия, вины как бы сами собой совершаются либо по дурости служивых, по недовоспитанности их, по незрелости офицерства, по несовершенству общественного сознания, чаще всего — по причине происка врагов, как внешних, так и внутренних.

И это все правда, это причины тоже, да не все причины сии лежат на поверхности...

Худо-бедно люди в двадцатом столетии двигались не только в коммунистическую даль, порой еле-еле, порой уж к краю пропасти приближа-

лись и вновь в ужасе отшатывались от нее. Нахрапистый прогресс в двадцатом веке заставлял людей шевелить мозгами, понуждал творить не только оружие, но и совершенствовал образование, шлифовал и углублял сознание человека.

Не везде же школа приневоливала учиться по догмам большевизма, когда идейное направление не развивало разум, притупляло его.

Даже и в нашей замороченной стране, даже при нашем убогом общественном сознании мысль, загнанная в угол, не лежала и не стояла без движения, не плесневела, хотя порой задышалась без воздуха и отсутствия свободы.

Безграмотный народ и от малого движения из тьмы к свету, от толчка, от слабого ветерка дерзостной мысли, в нем пробудившейся, сделал огромное, неслыханное движение к самосовершенству и самопознанию.

Человек не мог не споткнуться на этом пути в большую науку, не мог не вспомнить о том, что предсказывали чистые и высокие умы: в конце века армия и церковь с ее древними устаревшими догмами, правилами и уставами вступят в противоречие с общественной моралью, затормозят ход и развитие жизни. Предсказывалось, как идеалистами, так и прагматиками: в новое столетие и тысячелетие человечество должно вступить единым коллективом, без армий, без царей и королей. Единое земное государство должно иметь разумное мировое правительство, все люди должны наконец-то жить по Божьему велению, как братья.

Ан не тут-то было! Над миром витает угроза гибели от оружия, против которого фактически нет защиты. Мокрогубый кавказец волочит на плече дуру, способную разрушить дом, сжечь машину, убить сотни людей, даже обезьяна, чуть ее подучи, нажмет кнопку, спалит город и целое государство. Век маячило и маячит на плацу толстомордое тупое мурло, заученно повторяя: «Приказ начальника — закон для подчиненного».

На сборах военных, двухнедельных, выхваченные из дома, из академий, институтов, кафедр, загнанные в дырявые палатки, в грязные землянки, отбывают так называемую воинскую повинность молодые ребята, зрелые мужи, начитанные, современно мыслящие, к солдатчине не пригодные, — принуждены они выслушивать проповеди ненавидящего их малограмотного тупицы с офицерскими погонами, которого служивые тоже ненавидят и презирают; он командиром зовется и сулится, как и прежде, вышибить из них «усякую образованию», открыто заявляет-декларирует, что тут его власть, его право, а они никто, они тут всего лишь подчиненные.

В великолепно украшенном, по веянию новых времен восстановленном, раззолоченном Божьем храме, махая кадиллом, попик в старомодном, с Византии еще привезенном, одеянии бормочет на одряхлевшем, давно в народе забытом языке молитвы, проповедует примитивные, для многих людей просто смешные, банальные истины.

В этом давнем театре «от Бога» хоть благостно, чисто, чуть таинственно, «что-то» есть, но в соперничающей с церковью казарме нет ничего, кроме средств угнетения, устрашения и подминания человека. Там, в кадилльном дыму, проповедуется покорность и смирение, все время звучит слово — *раб*; в душной казарме, этой узаконенной тюрьме, где уставом, где кулаком и пулей прививаются, вбиваются в человека подчинение и покорность, слово «раб» заменяется на не менее унижительное название *подчиненный*.

Послушаем же, что об этом обо всем говорили и говорят умные люди, чаще всего, к несчастью их, в развитии своем опережающие свое время.

«Армия есть нация в нации — это одно из главных зол нашего времени... это как бы живое существо, отторгнутое от большого тела нации, существо это похоже на ребенка, до такой степени не развит его ум, до такой степени ему запрещено развиваться. Современная армия, стоит ей

вернуться с войны, становится чем-то вроде жандарма. Она как бы стыдится собственного существования и не ведает ни того, что творит, ни того, чем она является в действительности» — Альфред де Виньи.

Ну что с этого Альфреда взять — романист-идеалист, французский мыслитель середины прошлого века, попади он, этот интеллигентик, в современную армию — швабры из рук не выпускал бы, мыл бы полы в казарме и обдумывал свое неуместное поведение, мысли свои несвоевременные.

Послушаем-ка человека современного, вышедшего из древнейшего дворянского рода, жизнь свою посвятившего военной службе:

«Армия во все времена была инструментом варварства... Из глубин сердец армии поднимается грязь низменных инстинктов. Они превозносят убийство, питают ненависть, возбуждают алчность, они подавляют слабых, возносят недостойных, поддерживая тиранию. Их слепая ярость губила лучшие замыслы, подавляла самые благородные движения. Непрерывно они разрушают порядок, предают смерти пророков» — генерал де Голль. «Позорная и величественная история армии есть история людей» — он же. «Военная служба особенно сильно деформирует человека, усиливая спесь, надменность, гордость» — он же.

Наших российских, тем более современных генералов не домогаюсь, они дальше армейских анекдотов не пошли и, хотя ворчат порой что-то об армейских порядках, по большей части гордились и гордятся собой, не утруждаясь задумываться о себе и своей судьбе. «Мыслить и страдать» мясо не позволяет.

И ползет, ползет по земле серую массой все то же одинаково одетое, одинаково подчиненное сверху донизу, одинаково смиренное, одинаково из мыслительной жизни выключенное стадо, исполняя под команду пастуха бессмысленные движения, упражнения, песни.

Кто устанет, задумается, из ряда выбьется, не так и не туда пойдет, его в тюрьму загонят либо застрелят, чтобы не портил общей благостной картины, а если церквя дело касается — вольнодумцем, еретиком объявят, вон из храма прогонят, от веры отринут.

Но жизнь, не глядя на все преграды, упорно движется вперед или куда-то в пространство устремляется; время показало: ее не остановить, возможно лишь притупить сознание либо вовсе его погасить...

ПЕСНЯ ВО ТЬМЕ

После того, как поздней осенью зарвавшийся Первый Украинский фронт получил чувствительный удар под Житомиром и, топча друг дружку, боевые части его откатились километров до ста, наша артиллерийская дивизия, успевшая получить звание Киевско-Житомирской, отдыхалась под Киевом в местечке Святошино. В золотоствольном сосняке, упершимся корнями в скудно проросший травкою песок, были вырыты землянки.

Мы в них отоспались, вымылись, пока командование фронта искало причины позорного поражения под Житомиром, выкручивалось, доказывая, что у противника были превосходящие силы, а какие там могли быть силы — армия Роммеля, по частям перебрасываемая из Африки, высаживалась из эшелонов, наносила лихие удары нашему мощнейшему фронту прямо в рыло.

В Житомире были брошены огромные армейские и фронтовые склады противника, тоже недавно драпавшего вперед на Запад, и Роммель умыл кровью несколько перепившихся наших армий, в том числе и Восемнадцатую «брежневскую», лишь недавно перекинутую на Украину с полусонной Малой Земли.

В Новый год нашей дивизии после могучей артподготовки придется снова отвоевывать то, что так легко досталось противнику, и роммелев-

ские герои, ни шатко ни валко воевавшие в Африке, еще во время артподготовки уделавшись от страха, побегут из-под огня в нашу сторону с поднятыми руками. Узнаем и увидим мы подробности еще одной военной трагедии, сотворенной нашими войсками по головотяпству.

Удалось, видать, выкрутиться в очередной раз командованию фронта и доказать кремлевским дядям, что сражались и отходили они умело и героически, потому как в истории войны до сих пор утверждается: противник имел превосходящие силы. Может, кого-то и наказали — разжаловали, пополнили штрафбаты под руку попавшими офицерами и сержантами, не без этого. Бог с ней, с нашей историей, — давно уже известно, что нигде так не врут, как на войне и на охоте. А уж о прошедшей войне столько наврали и еще наврут, что не один век историкам отплевываться надо будет.

Здесь не об этом рассказ, а о том, как очухавшиеся от драпа бойцы ищут развлечений и какие-никакие находят. Кто поопытней и посноровистей, уже и романы закрутили, отыскав женский пол в густых лесах, в ближайших селениях, сделав также вылазки в недалекий Киев. Они-то, боевые кавалеристы, и донесли весть, что в недавно отвоеванном городе возрождается жизнь: пожары прекратились, центр разминировали, возвращаются жители, начала работать оперетка и один кинотеатр.

Молодые ребята, неопытные в любовных делах и по этой причине приверженные искусству, в свободное от дежурств время посещали Киев. Для начала снялись на карточки, потом отыскивали действующий кинотеатр. Назывался он, согласно веянию бурно-трудового времени, бесхитростно: «Ударник». В нем день и ночь крутили единственную картину — «Митька Лелюк». «Митька» этот, которого я успел где-то до войны увидеть, — типичный пионерский кинобоевик героического писателя Гайдара, снятый по повести «РВС». Повесть эту захватывающую я тоже успел где-то прочесть, но вместе с ребятами поехал «на кино», делать-то больше нечего, да и впечатления обновлю.

Я плохо помню кинотеатр «Ударник» — что-то барачного типа, только из кирпича, уцелевшего среди нагромождения жутких развалин; что-то подремонтировано, залатано, зато почти целое, пусть и издолбленное осколками крыльцо. Позади кинотеатра, всунутый в развалины, стучал и содрогался трубою движок; над входом в кинотеатр, норовя все время погаснуть, колебалась электрическая лампочка. Кинотеатр гудел голосами, клубился табачным дымом. В кинозале мест не хватало; среди солдат толкались и гражданские лица, в том числе пестрели платками девахи. И военные, и гражданские кинозрители сидели и на полу; девахи, которые полвечее, устроились на коленях кавалеров.

Потух свет. Во тьме небесный ангельский голос еще раз напомнил, чтоб в зале из противопожарных соображений во время сеанса зрители не курили. Зазвучала во тьме музыка, замелькали на экране буквы, и началось кино.

Картина, помню я, как и положено советскому кинопроизведению, начинается с бодрой патриотической песни про казака Голоту: «Эй, Голота, спроста не гуляй ты, разорвут Украину паны, а скорее коня собирай-ка на защиту родной стороны» — или что-то близкое этому тексту. Картине той незатейливой, как и пионерской повести, суждена была долгая слава. После войны кинополотно демонстрировалось уже под названием «Дума про казака Голоту».

Идет, значит, героическая картина, слышно, как работает движок за стеной, публика ведет себя хорошо: если случается обрыв ленты, не орет, не обзывается. Все воспринимают кино не только как кино, то есть явление искусства, но и как начало возрождения мирной жизни, надежд на будущее: ты жив, здоров и не в окопе находишься, но в культурном помещении, где хоть и людно, и тесно, и душно, да все же не так близко от огня и смерти.

Но вот еще обрыв в прах изношенной ленты, хуже того — замолк движок за стеной, не слышно жизнерадостного попукивания его обгорелого, тракторного выхлопа.

Народ терпелив, тихо переговаривается в полной тьме, сзади дверь открыли, воздух в зал пошел, иные неслухи из военных закуривают. Ну а там уж и смех, и девичий взвизг, следом генеральско-девичоночий окрик: «Гэть, маскаль, гэть! Не чипляй!»

Час проходит, другой начинается — нет кина. И никто не объясняет, будет ли оно. Тоскливо. Но публика не расходится. Лишь в нужник слабачки проберутся и, застегивая ширинку на ходу, возвращаются в зал.

И вот среди многолюдства, томления и тесноты вдруг зазвенел высокий, еще юный голос — славу районного масштаба познавший тенорок:

Вот умчался поезд, рельсы отзвенели,
Милый мой уехал, быть может, навсегда.
И с тоской немою вслед ему глядели
Черные ресницы, черные глаза.

Утих зал, прекратилось шевеление народа, лишь молодой, задиристый и такой нежный голос витал и властвовал в темноте. Певец этот, скорее всего безусый еще солдатик, при свете, на людях петть постеснялся бы, а тут вот на тебе, такую радость людям подарил. Песня была новая, ее никто еще не слышал, певцу кричали в темноте, чтобы он ее повторил, и гордый певец не куражась повторил песню, народ при свете зажигалок и те, кто сидел близко к раскрытым дверям, начинали записывать слова песни, а он, певец, видать, впервые в жизни поимевший такой грандиозный успех, сделался ответно щедр, отзывчив и в потемках выкрикнул: «Я продиктую! Продиктую».

И терпеливо диктовал и повторял строчки и слова. Автора он не назвал, честно объявил, что не знает ни автора, ни композитора. Ну и Бог с ними, с авторами, с композиторами. Главные тут не они, а паренек, что подарил новую песню воюющему народу.

Не помню, удалось ли нам в тот раз досмотреть «Митьку Лелюка», но песня и мелодия запали в память. С моих диктовок, когда и с голоса, она разошлась по нашей бригаде, может, и дальше.

Однажды писал я про войну и упомянул песню «Черные ресницы, черные глаза» как безымянную, однако при очередной людной писательской встрече меня облобызал поэт Николай Доризо и сказал, что это его песня, написал он те слова про черные ресницы, про черные глаза, когда ему было шестнадцать лет, был он в то время стройным, романтичным, желающим помочь воюющей стране, чем может. Он и композитора назвал, вроде бы Новикова, но разве дело в этом, точнее, только ли в этом, песня сама, помимо авторов, нашла нас, фронтовиков, и стала нашей.

А я, как закрою глаза, среди уже немногого, что сохранила память, вижу темный зал киевского кинотеатра «Ударник» и слышу песню про черные ресницы, черные глаза — это редкое светлое воспоминание, верю я, не оставит меня никогда.

СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

Не вспомню уж точно, где это было, но близко к осени сорок третьего года. Пехотный батальон, в котором я сидел с телефоном артиллерийской поддержки, вместе с остальными ротами стрелкового полка весь день отбивал у немцев село, находящееся на «выгодных позициях». Бой не задался, было много ругани, беспорядков, плохо работала пехотная связь, взаимопомощь и вовсе отсутствовала, из-за чего доблестные артиллеристы раза два долбанули по своим и дали повод свалить на них неудачу — яко-

бы они сорвали успешное наступление на данном участке фронта. К вечеру ближе, когда штурмовики-«илюшины», возвращаясь с «дела», окатили из пулеметов залегшую в осенних полях, разрозненно постреливающую пехоту, и вовсе причина незадавшегося боя утвердилась.

Опытный комбат голосом озверелого, а на самом деле торжествующего психопата орал, возведя руки в небо: «Г-твою мать! Распромать! Вот тут и повоюй!»

Выпустив из себя все матюки в воздух, уже усталым, даже грустным голосом комбат дал приказ остаткам батальона вернуться на исходные, артиллеристам — прекратить изводить снаряды: их выпускает голодный народ, бедные бабы и совсем дети не для того, чтобы лупить по головам своих же соотечественников, братьев и отцов.

Торжествовал комбат: есть на кого свалить неудачу, есть возможность дожить до завтрашнего дня солдатам его и командирам, а там уж чего Бог даст, может, немцы сами село оставят «по стратегическим соображениям», может, смена придет, может, боеприпасы не подвезут и наступление задержится, может, война вообще кончится.

Испсиховавшийся комбат, командиры рот и взводов проявляют бурную деятельность, заставляя стрелков как следует закопаться на ночь, достроить наконец блиндаж комбату, чтобы он там укрылся. Надоел — ходит орет, пистолетом грозит, никак уняться не может. Воюет все еще, после драки кулаками машет, и все понимают, что к чему: волну катит комбат, страхи отгоняет.

Ну, разумеется, откатываясь на исходные позиции, побросали на поле боя убитых и раненых. Как стемнело, в углубленную траншею мешками начали валиться выползшие к своим раненые. Тут и санструкторы нашлись, даже полковая медицина объявилась, помогают сердешным, в тыл эвакуируют.

Некоторые раненые доползти не могут, с нейтральной полосы голос подают, о помощи молят. А немец высунуться на нейтралку никому не дает, пакетами шмаляет, стреляет по всему, что шевелится. Видно, и ему, немцу, за день досталось. Злится. Не спит, подлюка.

Постепенно все унялось. Смолкли в ночи голоса раненых, лишь один где-то поблизости не умолкает, все кличет по-старинному братцев и сулит-ся вовек не забыть, молиться за тех, кто ему подсобит, вызовет из беды.

Ужин принесли на всех живых и мертвых. Еды и выпивки, считай, что от пуза, но не идет кусок в горло — вояка поблизости орет и орет. В ответ ему, сложив руки трубой, тоже орал: потерпи, мол, глухой ночью фриц нажрется и уснет, вытащим тебя, он же исходным голосом все: «Братцы! Братцы! Христом Богом молю...»

Кое-как поужинали, передохнули. По траншее, кулаки в галифе, комбат прошелся, без гимнастерки, в нижней рубаше белеется, пусть, мол, лучше его подстрелят, чем жить и воевать с такими придурками, что залегли в поле и никакой их командой не поднять, только самолеты, спасибо им, с места струнули, и ведь помнят, помнят герои, ему вверенные, где свои окопы, куда бегать.

Ко всем цепляется уже крепк выпивший комбат, на всех петухом налетает.

— Ну и что на это скажете, лихие войны? — кивал он головой на нейтралку. — Товарищ боевой помирает, а вы кашу жрете, водкой сраной запиваете!..

— Шел бы ты в блиндаж или куда подальше, — пробурчал кто-то из стариков командиров.

Комбат настроился дальше залупаться, но ему дружно посоветовали идти отдыхать, сил набираться, скоро ему ответ держать за боевые действия. Вот только совсем затихнет стрельба, ночь глухая наступит — и начнутся настоящие боевые действия, густо потекут на передний край чины всякие, отчету потребуют.

Ушел. Под накат в блиндаже укрылся вояка комбат. Облегченно и сочувственно проводили его все понимающие вверенные ему бойцы и командиры. Чины со второго фронта, тучею вослед первому эшелону двигающиеся, напомнят комбату старую русскую поговорку: «Кто в бой посылает, тот и отвечает».

А тот христианин на нейтралке все орет и орет, слабо, со стоном уже, но голос держит, спокойю всей передовой не дает, нервы щиплет.

И тогда тот же командир, что отшил комбата в ночное пространство, уронил: «Ничего не поделаешь, ребята, надо ус к немцу копать», — и вроде как сам к лопате тянется.

Пример старшего, он и тут на передовой пример, хоть уже и сил нету шевелиться, засунуться в земельную нору и уснуть хочется.

Кроя громко Гитлера, войну, командиров, раненого в придачу, этого славянина, страстно желающего жить, копаем по переменке.

Немцы слышат возню, постреливают.

Я все-таки у телефона сидел весь день и, хоть психовал, дергался, раза два или три выходил порывы исправлять, силенок больше сохранил. Копая изо всех сил, матерюсь, ус из траншеи тяну и взываю к раненому, чтоб не умокал, — тот и старается. Здорово жить хочет мужик.

Под конец уж на глубину колена копали, но к раненому подобрались точно и вплотную, сдернули его в канавку, по ней в траншею спустили, материли при этом, как умели, а умели это делать все виртуозно, многоэтажно, не хуже родного комбата, который стих.

Уснул, видать.

В траншее я солдата уже не видел, но знал, что перевязали его, отправили в тыл.

Спустя месяц или полтора меня, потерявшего сознание на плацдарме, где и при сознании умирал каждый второй раненый, кто-то, скорей всего друзья, забросил в баркас в кучу раненых. В баркасе, пока доплывали с правого на левый берег, вполборта воды набиралось, захлебнуться — дважды два. Значит, опять же кто-то держал меня иль мою голову на коленях, и я не захлебнулся кровавой водой.

И первое, что мне пришло в голову, когда в санбате я обрел сознание: значит, не зря я копал ус к неизвестному раненому мужичонке — отмолил он меня у Бога.

Недавно, будучи в кругу людей, достойно еще представляющих в жизни российское общество, русских по крови и духу людей, я рассказал этот случай из необъятной войны. Кто-то из компании мрачно промолвил:

— Нынче доби́ли бы.

Как жутко мне было это слышать, как жутко.

И ОТДАМ КАТИЛЕК

Он прибыл в нашу часть в сорок четвертом году — с пополнением. Невзрачный на вид, тихий, заморенный в запасном полку, стал он охотно подменять дежурных связистов и скоро освоился с нехитрым, но мужества и находчивости постоянно требующим телефонным делом. По национальности он был татарин, звали его Равиль, по-русски он говорил почти чисто оттого, узнали мы потом, что учился в техническом вузе, но с третьего курса был взят в армию.

Аккуратный в делах и быту, Равиль все время пытался товарищам во взводе управления дивизиона чем-нибудь помочь, услужить, часто делал работу, от которой отлынивали бойцы-управленцы, варил еду и починая одежду, свою и чужую.

Главная и самая тяжкая работа во взводе управления — земляная. Надо все время копать землю, перемещаться с места на место и снова копать. От

этой работы, особенно зимою, изнурялись солдаты, становились грязны, изношены, костлявы. Да и летом рыть землю — не сахар. Но куда ж деваться-то? Рыли, работали, шли-продвигались вперед на запад, и как-то незаметно вошел в коллектив, притерся к нему Равиль, иногда с полуулыбкой и шутки отпускал, да все к месту, да все остроумно, однако больше все-таки помалкивал, послушно и толково исполняя порученное дело.

Как-то в отвоеванном у немцев просторном блиндаже затеялась гулянка. Были у нас и пожилые, это лет за тридцать, бывалые ходоки-вояки. Они где возможно добывали выпивку и дополнительный харч. Вот раздобыли — на что-то выменяли у населения — почти полный полевой термос самогона, мяса и сала да цибули и картошки. Равиль в ведре, которое мы всегда таскали с собой про запас, изготовил что-то среднее между супом и тушеным картофелем. Водворил ведро посреди блиндажа. Вкуснятиной пахнет на всю передовую. Загремела братва котелками.

Я дежурил на телефоне, и Равиль от души навалил в мой котелок варева. Я сунул котелок меж колен и заработал ложкой. Братва кружками звякнула, выпив, крякнула. Я не потреблял в ту пору горькую, да и на телефоне дежурю, ответственность большая. Нельзя! При одной гильзе с горящим автолом в блиндаже, считай, потемки. Однако вижу, и Равиль стучается кружкой о чью-то кружку. Ну совсем он у нас обкатался, совсем бойцом бывалым сделался!

Я срубал, что мне было отделено, сижу, чаю жду, но чувствую — не дожидаться. В блиндаж на запах и говор народ валит и валит. Табачный дым будто во время пожара на торфе стоит, в блиндаже смех, шутки, анекдоты пошли насчет баб и этого дела.

Вот и песня занялась. С гражданки привезенный «Хас-Булат» налаживается. Я прислушался. Рядом со мной тонкий такой голосишко подсоединяется к боевому солдатскому хору, хочет сплестись с ним, но вроде бы и отдельное что-то ведет. Я трубку с уха сдвинул и слышу, Равиль гнет в песне «свою линию».

— Дам коня, дам кынжал и отда-ам ка-а-ати-иле-оок... — поет Равиль и тихохонько хихикает, радуясь своему творчеству.

Тут и чай принесли, да и самогонка кончилась. Вскоре по проводам раздалось: «„Донбасс“, внимание!» Я попросил гуляк утихомириться и расходиться «по домам».

Дивизион приготовился к стрельбе. Война идет, тут уж не до песен. Кто ушел «по домам», кто работать, а большинство вояк где сидели, тут и позасыпали вповал. Равиль за моей спиной скорчился на измичканной соломе, вкусно засопел носом. В полночь он заступит вместо меня на дежурство. Пусть спит.

Так, с боями, мы шли и шли по украинской земле, аж в Западную Украину пришли.

И... выдохлись.

Наступая в непролазную весеннюю распутицу, мы то окружали врага, то сами, скопом и в розницу, попадали в окружение. Двигались все медленней и тише и вот остановились. Вслед за Первым Украинским фронтом остановили боевые действия Второй и Третий фронты и все остальные. Кажется, лишь Карельский «тихий» фронт оживился и начал наступать. Видать, подсобили ему остановившиеся фронты.

Сперва, как водится, наступавшие части окопались временно, начали отсыпаться за зиму, за суматошную весну и за все прошедшие в боях годы. Спали много, спали всюду, умудрялись спать на посту и у телефона. А когда проснулись и обустроились оседло, обнаружили, что стрельбы никакой нигде нет и нас плохо кормят. Не просто плохо, перебои с едой все время бывали, дело привычное, но совсем плохо, почти голодной держат передовую. Варят одну зелень — щавель, крапиву, вот и до клевера дело дошло.

Где-то на пути к русским берегам погиб целый отряд кораблей, везший из-за океана боевое снаряжение, оружие, продукты. И вот где отозвалась, аж на украинских фронтах, вот докуда докатилась холодная морская волна, поглотившая корабли с американскими грузами.

Ну конечно, ропот по окопам, переходящий в ругань. По фронту зашустрили тучные телом политотдельцы и чины из каких-то угрожающих и воспитывающих отделов. Беседы ведут с бойцами: мол, если хотите знать, в крапиве и клевере витаминов даже больше, чем в мясе или масле. Одного воспитателя с перевалившейся через поясной ремень пузой и со значком «Ворошиловский стрелок» наши остроязыкие бойцы, насмехаясь, спросили, уж не с крапивы ли и клевера у него такое справное брюхо накалило. А тут еще кто-то из отчаянных и находчивых вояк закатил в топку кухни гранату. Жахнуло — и выплеском витаминной пищи обварило повара.

С передовой в недалекий тыл начали таскать бойцов по одному на допросы, слух прокатился: кого-то арестовали.

Кухню увезли на ремонт, нашему взводу управления начали выдавать сухой паек. Глядя на этот горе-паек — банка тушенки на взвод, полкотелка сала-лярда, жидкий глицерин напоминающего, хлеба, правда, как положено на фронте — по килограмму на брата, — уяснили мы: необходимость заставляла снова прибегать к помощи «бабушкиного аттестата», этого верного и надежного спутника войны.

К этой поре обнаружилось, что остановились мы в четырнадцати или тринадцати верстах за городом Тернополем, под местечком Козовом, который москалями звался привычной — Козловом. Самое солидное строение в этом Козове, оставшемся на вражеской стороне, был спиртзавод, и шел слух, что истребительный артиллерийский полк легендарного Ивана Шумилихина этот городок не только обстрелял из пушек, но, учуяв спиртзавод, сам же его и взял. Но будто бы шумилихинцы перепились и немцы их вытеснили из местечка.

Об этих шумилихинцах ходило множество всяких легенд не только в бригаде, но по всему фронту, может, и насчет Козова была сочинена занимательная байка. Пойди теперь проверь. Сам, вологодский родом, Иван Шумилихин, герой войны, закопан на холме славы непонятно в чьем по происхождению городе Львове, и холм тот, борясь за полную самостоятельность батькивщины, жевтоблокитники вскопали, могилы же отважных шумилихинцев, рассыпанные по всей России, уже потеряны и забыты.

Между Козовом и перенаселенной нашими вояками передовой на довольно просторной нейтральной полосе оказались две деревушки, совсем почти не тронутые войной. Подгорело с пяток хат в ближней деревушке под названием Покрапивна, да еще с нескольких крыши снесло — и весь убыток. Население как с нашей стороны, так и с вражеской было срочно эвакуировано в тылы: все, что было в хатах, погребях, подпольях, сараях, лежало и висело в целости и сохранности. Началось движение ночной порою к нейтралке. В одиночку, парой, где и бригадами заготовители шарились по нейтральной полосе, тащили оттуда картофель, сахарную свеклу и прочую овощь. Первое время наши ловкие воины, глядишь, и курицу в потемках либо петуха поймают, голову свернут, чтоб не орали, фронты не распугивали.

Супротивники, немцы-то, судя по нашим фильмам, большие любители курятины, тоже ночной порой шарились по нейтралке, и они-то, враги клятые, и свели всякую родянскую птицу подчистую.

По этому поводу было сочинено несколько окопных анекдотов и неуклюжих небылиц.

Тем временем прекратились не только стрельба на передовой, но и налеты на Тернополь. Сказывали, трудармейцы и строительные войска ночью восстановят на станции Тернополь парочку железнодорожных путей, утром налетят немецкие самолеты и все разбомбят, да еще вечером, перед

закатом, пошумят в небе, бомбы над городом посеют, чтоб не забывал народ, что война еще не кончилась.

Но вот весенним солнцем обогрело Украину, подсохло. Переместились наши аэродромы поближе к фронту, и однажды такой тарарам в небе поднялся, что дух захватывало. Наглых «лапотников», летавших без прикрытия, наши истребители вот именно рассеяли по небу и давай их лупить в хвост и в гриву! Сбили, кто говорил, четыре самолета, кто — восемь, один младший политрук заверял, что двенадцать, хотя и всех-то «лапотников» летало на Тернополь четырнадцать. Но на то он и политрук, чтобы видеть наши победы иначе, чем остальной народ.

Следующим утром появилась немецкая эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. Эти налетали редко и с сопровождением. Наши «ястребки» ввязались в воздушный бой. Зрелище это, скажу я вам, похлеще футбола. На земле не просто смотрят на смертельный бой, но и орут, советы летчику подают.

Если бой затяжной и вязкий, врут землеройные вояки напропалую, правда, свято врут, считая каждый сбитый самолет вражеским. И попробуй не согласишься — тут же в зубы получишь!

В тот день «ястребки» наши поступили хитро: половина их кружилась все дальше в сторону и ввысь, увлекая «мессершмитты», другая половина навалилась на бомбардировщики, заставляя их бросать бомбы куда попало. Один бомбардировщик наши «ястребки» подожгли, но немецкие летчики лишь им известным маневром сбили пламя с мотора, и тяжелый бомбардировщик, надорванно ревя, тянул вслед за своей эскадрильей, все далее и гибельней от нее отставая.

«Ястребки», как воробышки, налетали сверху на бомбардировщик, клевали его, клевали — и доклевали. Самолет все ниже и ниже прижимался к земле и брюхом, плоско, тяжело ухнул на нее, совсем немножко не перетянув через линию фронта.

На этом воздушная война в наших местах кончилась. На передовой у бойцов, чаще у офицеров, появились мундштуки, набранные из разноцветных кубиков плексигласа, ножи с наборными ручками, алюминиевые портсигары с патриотическими и любовными надписями. Это мастера на все руки из русских сел и городов, опять же по ночам, разбирали вражеский бомбардировщик и пускали на пользу дела его богатое тело, поверженное нашими героическими летчиками, которые, как выяснилось позже, изловчились приписывать к одному сбитому «юнкерсу» восемь или девять сбитых самолетов разной марки и класса.

Тем временем картошка и прочая овощь в селянских погребах и подпольях кончилась. Овощи и буряки, вскрытые в ямах, проросли. Однажды вместе с дряблой овощью ребята принесли с нейтралки огромный букет каких-то ненашинских, роскошных, дворцовым ароматом исходящих цветов. Они назывались пионы. Другая бригада заготовителей возникла из ночи выпившей. Чудеса, да и только! Ну, суп из топора для солдата сварить суший пустяк. Но самогонку даже из пилы не нагонишь.

Все оказалось просто. Ночной порою, не глядя на запреты, в свои села и хаты начинали возвращаться жители, и они-то — не пропадать же бурякам, пусть и одряблым! — открыли самогонварение.

Жители и живность кой-какую с собой прихватили. Лениво наблюдавшие в стереотрубу передовую супротивника, артрязведчики больше-то зрили, что творится в деревнях, на нейтралке. Много занятого там обнаруживали: будто бы девки и бабы начали бегать за строения, мелькать в окуляре стереотрубы. Громадяне ночной порой пробовали вести посевную: поковыряют землю и где воткнут картошку, где подсолнух, где и горсть зерна зарюют — война все равно уйдет дальше, а им, крестьянам, здесь жить, кормиться.

Вдруг оживились наши разведчики, шепчутся, руки потирают, не иначе как дивчину роскошную в стереотрубу узрели во время физзарядки. Но

что им дивчина, одна на всех? Да еще на нейтралке, где не покавалеришь, не зашумишь.

Они кой-чего поценней узрели — поросенка!

Из всех поступлений по «бабушкиному аттестату» поросенок, гусь или курица есть самый заветный солдатский трофей. Свинью в рюкзак не сунешь иль, скажем, овцу, козу, теленка, тем более корову. Это только на орду, на артель. Поросенка ж освежевать, сварить иль испечь — самое разлюбозное, самое сподручное дело. Управишь его с напарником разом, оближешься — и никаких последствий.

Ах, поросенок, поросенок из села Покрапивного, войны не понимающий. Вольно он играл на своей родной земле, хвостиком винтил, землю рыльцем копал — на ночь в клуню попал, в лаз, им же прорытый, пролез, только жопкой круглой мелькнул, не сознавая еще детским своим разумом, что за ним, словно за важным стратегическим объектом, ведется наблюдение, притом с двух сторон, как вскоре выяснится.

Едва дождалась доблестные разведчики ночи и, прихватив с собой хозяйственного человека — Равиля, двинулись во тьму, на промысел.

Разведка есть разведка. Точно вышли орлы разведчики к сельской клуне, нашли в ней беззаботно дрыхнувшего поросенка, в эвакуации начавшего оформляться в подсвинка. Зажав визгливое, веселое поросычье хайло, без хлопот прикололи несмышленища.

Повелев Равилю обработать трофей и дожидаться их, вояки двинулись пошариться по ямам, погребам, хатам. У картошки и всякой овощи ростки уже вытянулись со шнурок из солдатских ботинок, свекла совсем издрябла, да и не осталось овощи по ямам — войско, оно же, как саранча, пожирает все подчистую и без разбора. Но все же у добытчиков не иссякла надежда что-либо прибавить в варево к поросенку — муки, кукурузы, гороху, крупы, чего Бог пошлет, на том и спасибо.

Отставив карабин в угол клуни, Равиль сноровисто обиходил поросенка, выпустил кишки, отрезал голову, ножки и все это добро горкой сложил на рассыпанный льняной снопик — надо ж и хозяевам чего-нибудь оставить на еду. Он вытирал соломой руки, дожидаясь, когда вытечет из поросенка сукровица и слизь, чтобы потом засунуть его в вещмешок, глядишь, там и ребята воротятся. И только он собрался засунуть добычу в мешок, как в незапертых воротах возникли две долговязые фигуры в касках и при застенчиво засветившемся фонарике еще более удлинились тенями, распластались по полу клуни, накрыли собой обомлевшего Равиля.

Не сразу, но он сообразил: раз тени в касках, значит, вражеские они. Движимый инстинктом хорошо обученного, плакатов и книг начитавшегося бойца, Равиль сделал попытку рвануться к карабину. Но одна из теней коротко бросила: «Нихт!» — и направила на него автомат. Другая тень, то есть другой враг-фашист, ни слова не говоря, двинулась в глубь клуни, взяла за жопку поросенка, опустила его в брезентовый мешок, сказав при этом «оп-па», затянула удавку на мешке, похлопала Равиля по плечу: «Данке шен, Еван!» В воротах обернувшись, немцы тихо, но разом и весело молвили: «Аухвидерзейн, Еван!»

Как, забывши карабин в клуне, Равиль стриганул с нейтралки, как обрусился в родную траншею — не помнил и не признавал.

Хозяйственного бойца, речи лишившегося, долго отпаивали водой.

Разведчики, не заставшие Равиля в клуне, обнаружили его карабин, недоумевали, куда девался их компаньон и как это он — с радости, не иначе, — бросил свое личное оружие.

Три дня Равиль не мог разговаривать. Рот ему свело судорогой. Он, рот человеческий, сделался похож на старую, неразгибающуюся подкову, издавал только мычание.

Но куда деваться-то, работать надо, воевать, и Равиль постепенно начал отходить. Однако восстанавливался, возвращался в строй и заикался

еще долго. Хохотали над ним и подначивали его все, кому не лень, до начала летнего наступления.

Какими-то путями слух о происшествии в нашем взводе распространился на всю военную округу. На Равиля ходили смотреть бойцы из пехоты и даже танкисты, когда он смог говорить и дежурить у телефона, с разных телефонных точек интересовались: не тот ли это размазня, что без боя отдал врагу знатный трофей?..

Прошло много лет, можно сказать, вечность минула. Летней порой во дворе уютного вологодского дома на скамейке объявился человек и стал пристально смотреть на наш балкон с распахнутой дверью. Час сидит и смотрит, два сидит, три сидит — и все смотрит.

Я выходил на балкон покурить, жена с разделением выбегала, наконец откуда-то вернулась дочь и говорит, что во дворе с утра торчит пожилой дяденька — видно по всему, что к нам, но зайти не осмеливается.

«Застенчивый графоман!» — порешил я, но их, застенчивых-то, мало, и потому застенчивые графоманы достойны внимания.

Я спустился вниз, вышел во двор и ахнул:

— Ра-ави-иль! Да что же ты тут сидишь-то?

Мы обнялись как братья. Равиль сказал, что едет с карагандинского комбината, где работает в конструкторском бюро, на череповецкий комбинат и вот решил сделать остановку, чтобы повидаться. Следующий поезд на Ленинград будет вечером, и хорошо, что я догадался спуститься вниз, сам бы он зайти к нам не решился.

Я познакомил его со своим семейством, потом мы долго ходили по Вологде и оказались за рекой Вологодой, на зеленом берегу. Равиль вытащил из портфеля, набитого деловыми бумагами, бутылку водки и вагонные бутерброды. Мы до вечера, до самого Ленинградского поезда, усжили эту бутылку, да так и не усидели — разговоров и воспоминаний нам хватило без водки. Мы отдали недопитую бутылку каким-то парням, купавшимся в реке, купить тогда что-либо, водку тем более, было трудно.

Жил Равиль с семьей в городе Темиртау, где поселился после того, как все же добил свой технический вуз. Жил изолированно от шумного общества, копался в огороде и в саду, жил настолько тихо и незаметно, что не знал даже, что на этом же комбинате замом директора по транспорту работает командир отделения связи нашего взвода. И только через двадцать лет после войны, когда стали вручать участникам войны юбилейные медали, услышав фамилию однополчанина, встретился с ним, от него и адрес мой узнал.

— Ну и чудо ты гороховое! — сказал я. — Моя дочка, когда маленькая была, дружила с татарами, все пела на татарский манер: «Хаким ты был, хаким ты и остался».

Равиль грустно улыбнулся, и мы пошли на станцию.

Спустя год я с женою навестил в Темиртау друзей. Равиль с гордостью и любовью принял гостей в своем доме, настойчиво звал съездить в сад, им возвращенный, где он выпестовал какие-то редкостные сорта яблок.

Мы пообещали сделать это в следующий раз, а пока было не до сада. Но следующего раза не получилось. Так же незаметно, как и жил, Равиль вскоре покинул земные пределы.

Шестеро вояк из одного взвода нашлись и сообщались друг с другом. Равиль ушел в безвозвратный поход первым. Ныне нас осталось трое.

НЕВЕДОМЫЙ СТРЕЛОК

Еще один случай на войне, навсегда врезавшийся в память.

Мы драпали из-под Житомира. Толпами, стадами, кучно, гибельно от паники.

Километрах в пяти от Житомира фашисты перерезали старое, булыжником покрытое шоссе на Киев, и танки, выстроившись по ту и другую сторону дороги, в упор расстреливали все, что въезжало в коридор и пытались вырваться из окружения. Много горело там машин, танков, бензовозов, кучами громоздились брошенные орудия, тягачи, лошади. Метались и гнили в огне люди.

Светопреставление в натуральном виде творилось на житомирском шоссе.

Колонна нашей гаубичной бригады, во главе которой на «виллисе» мчался комбриг, приостановилась, замешкалась и вдруг головою свернула в придорожные тополя, из них выехала на проселочный довольно уезженный большак. Как потом выяснилось, колонна, ведомая комбригом, свернула в направлении на тихий, небольшой городок Брусиллов. Какое-то время мчались мы от все выше и грозней поднимающегося дыма, от пожара, бушующих над Житомиром и по-за ним.

Но вот настигли нашу колонну два немецких истребителя, прошлись по ней очередями пулеметов, ничего не подбили, однако людей зацепили, слышались крики раненых.

Вскоре на небольшой высоте закружилась над нами «рама», обычно летающая под облаками. Зловещая птица, жди беды, коль ее увидел. И навела ведь, навела, подлая, на нас немецких штурмовиков — четыре штуки, но и четыре самолета сумели сбить с ходу, смешать нашу колонну. Кто уж куда, кто как начал удирать и спасаться.

Еще с вечера командир нашей бригады отдал приказ без суда и следствия стрелять всякого бойца из его подразделения, если он окажется пьян, еще с вечера велено было заправить полные баки машин, подготовить заряды, открыть ящики со снарядами и быть в боевой готовности радио- и телефонной связи. Поэтому врасплох нас немецкое наступление не застало, и, когда бригада въехала в село Соловиевка, что под Брусилловом, там стоял в боевой готовности противотанковый полк нашей дивизии. Гаубичная бригада развернулась рядом, наладила взаимодействие с соседом и скоро приняла бой с десятью немецкими танками. Оказалось, это были разведчики большого танкового соединения, с флангов охватывающего наши войска, — испытанный маневр гитлеровских войск: охватить, окружить и уничтожить.

Да не тут-то было. Командир дивизии, по рации давший приказ комбригам и комполкам в критической обстановке действовать по своему усмотрению, по радио же велел разрозненно отступающим частям стягиваться к Соловиевке, где уже действует полк и бригада, продержаться до вечера, ночью же организовано отойти на запасные позиции, которые будут указаны из штаба дивизии.

За ночь обстановка резко изменилась. Остановленные дружным и уверенным огнем артиллерии, немецкие войска начали обходить этот район, и наутро из Соловиевки, в которую за ночь набилась туча народу, каких-то разрозненных полудиких и просто диких частей, потекли колонны машин, потопали, затем и побежали конные и пешие.

Нашей бригаде и двум истребительным полкам поступил приказ прикрывать отступление. Прикрывали сколь могли, но вражеские танки обнаружили на западной окраине села. Ломая сады, протаранивая хаты и сараи, поперли они было напропалую в тылы, да укрывшиеся за густым уличным ограждением истребительные пушки из кустов в упор полоснули по зарвавшимся танкам, сколько-то подбили, остальные спятились на окраину села, что дало возможность нашей бригаде вырваться из Соловиевки.

На взятых нами штурмом тягачах-«студебеккерах», на хозяйственных машинах тесно разместившиеся в них солдаты с нервным хохотом рассказывали, как истинный истребитель всего, что течет, греет и горит, — командиришка какой-то еще с вечера обнаружил в одной хате самогонный аппарат на полном ходу. Всю ночь друзья-артиллеристы, здесь же побли-

зости во дворе оборудовавшие огневую позицию, с кружками в очередь стояли возле рожка, из которого сочилось, капало животворящее зелье. Но производственные мощности были явно слабы, капало медленно, и, когда дело дошло до того, чтоб командир орудия подставил свою кружку под «крант», танки уже входили в сад. Стойкому истребителю-артиллеристу орали, звали его, но он твердо держал позицию до тех пор, пока кружка не наполнилась до краев. Танк хрипел уже в огороде, ломал тын возле хаты, и командир заорал: «Да что он, сука, выпить спокойно не дает, я ж всю ночь честно череду ждал, всадите ему болванку в бок, чтоб не мешал хорошему делу, так его и перезтак!»

Куда денешься? Команда подана, послушались истребители, всадили под самый запасной бак танка снаряд, и, пока расстреливали выскакивающий в люки экипаж, несгибаемый воин допил-таки свою кружку.

Тем временем орлы артиллеристы успели прицепить орудие к машине и умчаться через поле — догонять отступающих, но вот взводы управлений и прочую челядь забыли. Езжай как хочешь, беги, пока ноги несут, и пушай тебе Бог пособляет...

Ох уж эти военные подвиги и побасенки насчет бесстрашных командиров, отчаянных советских вояк, они потом, окрашенные политическим пламенным словом и победительной моралью, морем захлестнут нашу литературу, киноэкраны, мемуары, лозунги.

Однако ж драпалось более или менее благополучно совсем недолго. Все те же штурмовики настигли нас и с неба начали угощать чем могли. В какой момент, где потеряли мы свои машины, отстали от них, я ни тогда, ни тем более сейчас вспомнить не могу. Заскочили на ходу в какую-то полоторку с крытым свежей фанерой кузовом. Судя по всему, машина была агитационная, потому как в ней, затоптанные, валялись коробки с фронтовыми открытками, плакатами, какие-то книги, брошюры, радио- и киноустановка, но хозяев не было, они или убегли, опережая свой агрегат, или отстали и погибли. Только щепье летело от светлого фанерного кузова, в котором вповалку лежал разнообразный народ. Вдруг ярко, будто прореха в небе, засветилась дыра в кузове, брызнув стеклом, оторвалась со звоном и отпала на дорогу дверца машины. Штурмовики явно хотели добить эту хлябющую на пробитых колесах машинешку, и, когда шофер выбросился из нее следом за дверцей в кювет, мы, его нечаянные пассажиры, последовали примеру водителя. Машина захлябала, заюлила, ткнулась в кювет, опрокинулась, подняв, точно трусливая дворняжка, лапы кверху, и загорелась. Толпа брызнула в разные стороны, часть ее заскочила в ближайший двор, обнесенный камнями, скрепленными глиной.

Укрытие хорошее, но уж паника владела нами, и всем хотелось забиться в какой-нибудь темный уголок, под перекрытие. Уголок обнаружился на задворье, далековато бежать, зато крыша оказалась вблизи. Это был дощатый навес, внахлест укрытый старым железом. Под ним хранился навоз на удобрение, сверху свежий, под ним преющий, еще ниже превратившийся уже в чернозем. Вот тут-то, под этой крышей, и зашучили нас штурмовики. Чем мы им понравились, знать мне не дано. На дорогах и в безвестном большом селе целей было полно, более массовых и занимательных. Так нет ведь, загнали нас в навоз веселые штурмовики, ходят и ходят кругами, поливают и поливают из пулеметов, бомбы-то разбросали уже, боезапас автоматических пушчонок расстреляли.

Для червячков, копошащихся в навозе и старающихся влезть в него как можно глубже, и пулеметы — орудия подходящие. На штурмовике, что летал совсем низко, по головам, что называется, ходил, летчик и фонарь открыл, зубы скалит, палец показывает — хорошо, мол, Иваны, назем роете, все в говне извозились, и то ли еще будет.

Рядом со мной рывшийся, хрипло дышавший крупный боец с темным лицом и вроде бы как рваными ноздрями сел на свиной навоз и, словно проснувшись, удивленно молвил:

— Этого еще, Мефодий, не хватало, чтоб ты в говне рылом рылся!..

Утерся рукавом боец, лицо утер, глаза ладонью очистил, винтовку со спины снял и ее вытер, а когда штурмовик ушел за хату на новый круг, будто с обрыва упавши, молвил:

— Я его убью! Сказал! — Боец приложил приклад винтовки к плечу, и, когда из шумных деревьев, из-за угла хаты с гудением и ревом вывернулся самолет, солдат непробритой щекой приложился к винтовке, повел ею медленно, медленно и плавно, совершенно спокойно нажал на спуск. Выстрела не было слышно, самолет ревел рядом, совсем близко. Все выглядело как-то игрушечно, по-киношному, особенно игрушечен был солдат со своею непомерно длинной нестрашной винтовкой, похожей в ту минуту на длинное ружье-пистолю, каким был вооружен лесной охотник в американском романе Фенимора Купера.

Тем не менее самолет дернуло, он нервно качнулся с крыла на крыло, и его как-то безвольно, сонно повело над краем двора, за ограду, за сад, над трубами и крышами села. Машина гнусаво запела, не согласованно, раздраженно, вразнобой хоркая обоими моторами, она плюхнулась оземь, на ходу подцепила острым железным рылом соломенную скирду и, увозя на горбу воз соломы, прыгая, скоргоча, сколько-то бороздила землю искрящим визгливым брюхом. Весь самолет был окутан тучами дыма и пыли, спереду, сзади и с боков черно дымился, вдруг, опять же как в кино, вспыхнул — осенняя сухая солома на нем разом занялась, получилось много пламени, трескучими искрами начало из пламени стрелять, сорить огненными ошметками.

Беспощадная, страшная машина была повержена.

Как же это так? Быть такого не может! Самолет, ероплан — и человечишко с этой неуклюжей винтовкой. Да неправда это! Кино, опять кино. Солдат достал из кармана серый, давно не стиранный платок или тряпицу, утерся неторопливо, винтовку обмахнул любовно и сказал онемелому воинству:

— Утрите и вы, робятушки, говно с лица, нехорошо. — Глянул вослед низко вдаль удаляющемуся, стремящемуся забраться в небо второму штурмовику и добавил: — И дайте закурить, у кого есть... Глядя на всю эту картину, я тоже спужался и кисет потерял. А без табаку не могу. — Вытянул руки перед собой: — Руки-то, руки опеть дрожат. Е-эх, Мефодий, Мефодий, ена вошь, и руки-то у тебя в говне, вот потому и дрожат, ну, доверялся ты, Мефодий, дошел до точки вечный таежник...

Он закурил, неторопливо. обстоятельно затянулся почти на полцигарки сразу, потом отсыпал в горсть чужого табачку, опустил табак в карман, поднялся, застегнулся, подтянул витой ремень на животе, нашел старую, от пота побелевшую на стыках пилотку, закинул винтовку на плечо и неторопливо пошел из-под навеса. Уже возле низкого каменного ограждения оглянувшись, покачал головой и сочувственно сказал, глядя на нас:

— Из назьма-то вылезайте, робята. Вылезайте! Вылезайте! Раненым подсобите, убитых из-под навеса вынесите. Нехорошо!

И ушел. Навсегда. Навечно. Когда говорят, чаще талдычат: великий русский воин, развеликий русский солдат, я явственно вижу того бойца, что одним выстрелом убил наглого немецкого летчика, — фигура неведомого стрелка, истинного героя, вырастает в моих глазах до исполина.

СОЛДАТСКАЯ ШУТКА

В нашем взводе управления артиллерийского дивизиона было два земляка-алтайца, изводили они друг друга разного рода подначками.

Запомнилось мне, как ночной порой, не давая спать другу, дежурившему на соседней батарее, земляк-алтаец канючит:

- Прохор, а Прохор, подари мне свою фотокарточку.
- Зачем?
- А я ее своей жене в деревню пошлю.
- Пошто?
- А чтоб она знала, на кого день и ночь работает.

ЛОМ

— Против лома нет приема! — во время пьянки воскликнул интеллеktуал не помню по какому поводу.

— Против-то, может, и нет, а вот с помощью лома есть прием. И какой! — мрачно возразили интеллеktуалу молодые литераторы-северяне. И сказали, что такого очистителя, как лом, в морозы чудеснее не сыщешь.

Значит, берут заиндедевший, звенящий от мороза лом, ставят его в ведро или в банку и льют на него тройной одеколон либо другой диковинный напиток, и все, что есть в питье лишнее — масла сивушные, добавки для запаха, — все-все к лому примерзает. Спирт — чи-и-истенький! — в емкость стекает.

— Еще рельсу хорошо использовать, — добавил самый старший из молодых писателей. — На ей, на рельсе, канавка есть, и по канавке потечет жидкость не расплескиваясь...

И замолк интеллеktуал, дивясь глубокому и разнообразному смыслу жизни.

ХАПТУРА

Хаптурой в старину называли дармовую еду на поминках.

Слово отошло в прошлое, отмерло, можно сказать, но тяга к дармовой еде осталась и даже возросла повсеместно. Я видел, как немцы на приеме в посольстве и греки на круизном корабле хватали, пили, жрали так, как будто хотели нажраться и напиться если не на месяц, то хотя бы на неделю вперед...

Подвержены хаптуре и наши соотечественники, скромные россияне, и не только «новые русские», приученные ко всякого рода приемам, гуляньям и фуршетам, но и старички фронтовики жадны до дармовщины, допрежь всего до выпивки.

На встрече в Ленинграде ветеранов нашей 17-й арtdивизии собрали с нас по пятерке, да еще из каких-то фондов добавили и затеяли банкет в хорошем ресторане.

Сказали складные речи наши два генерала, провозгласили тосты полковники, смотрю, все, кто жаловался на хвори и раны, дружно и до дна выпили. Не отставили рюмки, когда налили по второй и по третьей, начали быстро хмелеть бывшие вояки, громко говорить — стары все же сделались. Вот уж рюмка или фужер со звоном разбились, вилки-ножи начали падать на пол, вот уж кто-то обронил горячее на штаны и взблеял по-козлячьи, кто-то обмазал нарядную соседку соусом или кремом, и она поддала локтем в бок соседу. И все громче, все хвастливей речи, все чаще вспоминается тот польский улан, выслушав удалые рассказы которого малая паненка, внучка улана, воскликнула удивленно: «Деда! Если ты все армии поразбивал, всех врагов победил, что же делали на войне другие солдаты?»

Анекдоты пытаются вспоминать ветераны, хотя соседа по столу вспомнить не в силах, все равно скомканые рубли на добавку собрали, но официантка громко рывкает:

- Не дам!

— Как это ты не дашь? Как это нам, кровь за тебя, сикуху, проливавшим, ты отказываешь? А ну заведующую аль администратора подать сюда!..

Пришла администраторша, нарядная, пышная, брезгливо губы кривит и тоже заявляет:

— Не дам!

Шум, гам, возмущение обоюдное.

— Мне надоело возиться с героями, — громко поясняет дама. — Все измажут, заблюют, а то и... Вот позавчера двоих боевых гвардейцев в кухонном коридорчике мертвыми обнаружили... Расползлись, разбрелись победители, а они, голубки, приморились в закутке, и добавки им больше не требуется...

Мало осталось ветеранов. Старые сплошь, на палки опираются, едва шушкают, но на хаптуру, на зов разных администраций, резво поднимаются, будто в последнюю атаку идут. В казенном здании, в школе или во дворе либо в опустевших пионерлагерях, под открытым небом, на сколоченных тесинах, газетами застеленных, по половине стакана водки налиты, пучок мятых гвоздичек посредине стола в консервной банке тлеет, по бутерброду с двумя шпротинами либо с кусочком дрябло-вареной колбасы к стакану прислонены.

Умильно слушают умильные слова, иные старые вояки слезы роняют в стаканы, пытаются что-то патриотическое выкрикнуть и пьют, пьют трудно, с захлебом, не чувствуя унижения от милостивых подношений. Знают, остатный, последний раз угощение принимают...

Ночью дети, внуки возятся с дедом или отцом, «скорую помощь» кличут. «Скорая» оттаргает старичков в многотысячную больницу либо в госпиталь. Начальник госпиталя у нас дородный, виды выдавший всякие, по случаю Дня Победы или другого какого праздничного события из госпиталя не уходит, дежурит круглые сутки вместе с главным врачом, приветствует он вояк на носилках:

— Здоровеньки булы!.. Ось погуляли хлопцы! Ось попраздновали! А дэ ж я вам мисто найду? Дэ лекарствив здобуду? Бюджэт нэ резиновый, грошыв у йово нэмае... А? Шо? Билш нэ будэш? Нэ будэш, нэ будэш, цэ усе ясно. У коридор мы тоби положимо, пивбрюха отрежем, печенку, желчь почистимо, катетгэр у твою заснувшую елду вставимо, шоб тую жидкость, шо ты на банкету выжрал, откачать, — ты и нэ будэш питы аж до новой зустрічи ветеранов. А там и в пивбрюха горилки зальешь. Во який бэстрашний вояка! Во який я боець общественного фронту. Сестрицы! Няньки! Нэсыть цего ероя в рэнимацию, мабуть, и отдышется...

Вот снова надвинулся к середине лета юбилей битвы на Курской дуге. Зашевелилось старичье, в шкафы, сундуки лезет, пыль с мундиров и пиджаков стряхивает, медалями бренчит.

— Э-эх! Гульнем еще раз! — хорохорятся вояки, забыв про всякие болести. — Одна живем!

Хаптура ты, хаптура, живучая дармовая жратва — древняя порча, губительная привычка. Они, эти привычки, с нами так идут и идут и все эпохи благополучно перевалят.

«ЖРУ МУКУ»

Перед Новым годом опять вечеровали в чусовском вагонном депо, добивали годовой план. Колотуха шла бурная, с матами, криками, буханьем, стуком, бряком. Пыль столбом, электросварки с треском работают, чуть ли не на скаку прилепляя к ходовым и прочим железным частям вагонов заплаты, рессоры, скобы, маляры за катящимися вагонами гоняются, мажут свежеприбитые доски суриком, начальство по цехам мечется, хотя и по-

нимает, что вовсю халтура торжествует, но подгоняет трудящихся, обещает сегодня же получку выдать.

Душевые, инструменталки заперты, пропуска отобраны, выдача зарплаты остановлена — куда денешься? Вкалывать надо.

Слава Богу, к девяти часам управились, в прошлом году, помнится, аврал завершился лишь в одиннадцать, и трудящиеся депо, далеко живущие, к Новому году домой опоздали. Тут еще одна радость: не бились за получкой в тесном коридоре, принесли в цех ведомости на роспись, начальники цехов побригадно раздали конверты с деньгами.

У нас, в любимой нашей стране, беды иль радости как начнут на человека рушиться, то уж держись: в десять часов по всем громкоговорителям торжественно сообщили, что снижены цены на лопаты, пилы, утюги, радиоприемники, штапельные и еще какие-то материи. Все это барахло без движения валяется по прилавкам магазинов, но все равно приятно: партия, она же и правительство, не спит, день и ночь о нас, трудящихся, думает, так, может, когда и придумает на продукты, обутки и прочую необходимую продукцию цены снизить. Надежды в сердце вселяются, силы в организме, изнуренном напряженной работой днем, с вечеровкой усиливаются, ноги сами к магазину правятся — надо какого-никакого винишка бутылку купить, ребятишкам — конфеток, да еще на почту завернуть — в Сибирь родственникам телеграмму отбить.

На почте почти никого нет, оно и понятно — одиннадцатый час, все добрые люди уже по домам разошлись, за праздничными столами рассказываются. Лишь у окошечка, над которым написано «Прием телеграмм», корячится крупный телом гражданин в заношенной зековской шапке, повернутой задом наперед. Возле лица его, чего-то сердито бубнящего, густо скатаны серыми плевками катышки бланков телеграмм.

Девушка за служебным окном, увидя меня, радостно воскликнула, утирая лицо, залитое слезами:

— Ну объясните хоть вы ему, что он неправильно написал телеграмму... и еще скандалит, обзывается.

— Я усе и усегда делаю правильно, иначе б в Соликамской гнилой шахте, в лахире б, згнил, — возражал девушке гражданин.

— Ну как же правильно? Вот, — подала она мне телеграмму.

Все в тексте, в общем-то, правильно: верного друга Ивлампия, все еще в Соликамске пребывающего, с Новым годом поздравлял тоже верный друг Вася. В конце телеграммы стояло: «Жру муку».

Я ничего не понял. Девушка, все еще не усмирив плача и обиды, терпеливо мне пояснила:

— Нужно написать «жму руку», а он городит черт-те что и еще оскорбляет.

— Я усе усегда, — снова упрямо начал гражданин. — И друх у меня умственный, усе понимает. Это ты, чурка с глазами, училась десять лет и не овладела ничем...

— А вот и овладела! Вот и овладела! Иначе бы здесь не сидела...

— А я говорю: не овладела.

Полемика затягивалась. Я взял облепленную изоляционной лентой ручку и поправил телеграмму. Девушка, милый такой курносенький человек с шишкою послушно уложенных, прибранных по случаю праздника волос, все еще всхлипывая, побросала на старых счетах костяшки и, не глядя на посетителя, сказала:

— Платите рубль семьдесят.

— На тебе троях! — метнул в окно трешку гражданин. — Шоб только я тебя больше не видал ни единым хлазом.

— Зачем мне ваш троях? Мне нужно рубль семьдесят, желательно без сдачи, я вечером выручку сдала, клиентов, кроме вас с гражданином, больше не было.

— Сдачу тебе дать прокурор, начальник конвоя добавить! — заявил гражданин и нетвердой походкой затопал с почты.

Когда я написал свою телеграмму, девушка с уже обсохшим лицом меня похвалила:

— Вот по-человечески, а то ходят всякие типы. — И умоляюще попросила: — Может, вы догоните этого придурка, отдадите ему сдачу? Мне нельзя служебное место оставлять, — и округлила и без того круглые серые глаза: — Вдруг он вернется за сдачей?

Не вернется, уверил я девушку, рядом чайная, что по случаю Нового года превращена в ресторан «Утес», и клиент почтовый скорее всего уже там и скорее всего пробудет в чайной до утра. Что ждет его новогодним утром, и сам не знает: судя по всему, он недавно приехал из недалекой страны, границ не знающей, под названием «Усольлаг». Со свободой в строгой Стране Советов толково управиться удастся далеко не всякому, долго под конвоем пребывавшему, и вольность маленькую, тем более опisku в телеграмме, можно ему простить.

Я еще успел домой минут за двадцать до Нового года, мы славно посидели с женою, ребятишками и шурином-холостяком за небогатым праздничным столом до двух часов ночи. Наохотались вдоволь над происшествием на почте, о котором я рассказал нашей милой компании. Потом ребятишки сморились, уснули, и мы с шурином ходили смотреть на яркие звезды, на городскую елку, вокруг которой еще много веселилось народу.

Уснули под утро — шурин на полу в кухне, я под боком у жены. Славный получился Новый, 1949 год. Мы тогда были еще крепки духом и телом, оттого и умели радоваться всяким, даже малым, радостям.

ЖУЕТ СКОТИНА

На углу моего палисадника давно, еще при заселении деревенской избы, посадил я золотошар. Но ни разу цветам, поднимающимся над штакетником, не удалось отцвести. Соседи у меня хорошие, трудолюбивые, они держат двух коров. Я беру у них молоко.

Соседские коровы, как только золотошар высунет свои празднично сияющие цветки за штакетник, идя с пастбища, полусонные, с полным выменем, неторопливо сворачивают с дороги и сжевывают цветы. Делают они это неторопливо, словно по обязанности, глядя в пространство. Сжевавши цветы, коровы задирают хвосты, шлепают возле ограды жидкие зеленые лепехи и следуют во двор, заранее для них раскрытый, на дойку, на покой следуют.

В шестидесятые годы поселился я в уральской деревне Быковке. Возле запущенной, одичалой избы, которую купил я по дешевке, тесно росли, друг друга затеняя и подавляя, черемухи.

В них, в черемухах, жил и каждую весну пел соловей.

Уж так хорошо было сердцу, сладостно от пенья этого залетного певуна. Обитатели моего домика не уставали слушать его с вечернего до ночного часа, когда и до утра.

По всей речке Быковке, как бы опоясанной белопенной вилучей лентой, упоительно, вздохнув подпевали нашему соловью собратья его...

Одной весной не слышно и не слышно нашего подоконного соловья. Я подумал, что певца выжили мои частые гости, тоже пробующие запеть по пьяному делу, чем оскорбляли его чистый слух, либо соседская хищница кошка спугнула, улетел он вить гнездо в другое место, скорее всего под гору к речке.

Но вот разогрелась весна, пышно и в то же время как бы потаенно в черемухах зацвели посаженные мною таежные цветы — марьины кореня. Я пошел подивиться на них, благодарно потрогать и погладить их теплой

ладонью, и увидел в хламе прошлогодних листьев прикрытые севом черемушного цвета мокрые серенькие перышки.

Есть пагубная привычка у нашего соловья: чем-либо встревоженный, вспугнутый, он спархивает на землю. Тут его, царя среди певцов, очень скромного видом, поймала и съела кошка. В нем и мяса-то на один жевок...

Говорят и пишут, что французскому королю Людовику, чревоугоднику, готовили блюдо из соловьиных язычков. Пишут, что ради повышения половой потенции повсеместно истребляется самая грациозная, самая беззащитная из ланей — кабарга, добываемое из ее чрева снадобье, называемое струей, потрафляет похоть сладострастников. Бродягу медведя велят из-за желчи, величайших земных животных — слонов — лупят в грудь из карабинов ради бивней, годных на украшения.

Глядя на коров, жующих солнечно сияющие золотошары, я со скорбью и печалью думаю о всех нас, все время жующих и поглощающих, и о короле Людовике тоже, о соловье, изжеванном кошкой, думаю и вспоминаю из прочитанного о матросах, что в зимнем дворце жрали самогон из хрустальных ваз и, расстегнув брючные ремни, стояли в очередь, чтобы оправиться в малахитовые чаши, украшавшие, точнее, венчавшие дворцовую лестницу, — те чаши делали семьями уральские камнерезы, мастера-кудесники.

Глядя на корову, жующую цветы, явственно слышу новодержавных молодцов со свастиками, беснующихся на пока еще малочисленных сборищах. Они сулятся, что как «придут, то дадут».

Никак до сих пор не могу отделаться от воспоминаний о соловье, изжеванном кошкой. Ей все равно, чего и кого жевать, — она песен не поинимает...

КОНСИСТЕНЦИЯ

Такое витиеватое и редкостное прозвище имел сухолицый, с темными подглазьями парнишка-детдомовец за то, что не держал в себе воздухе и мог по заказу исполнить «Легко на сердце от песни веселой».

Он вроде бы радовался своему таланту, мы же, кореша его, в восторге были от такой музыкальной способности человека, но забивали его чичером. Кто постарше, тот помнит эту игру — кару за порченье воздуха, когда кулаками бьют человека по спине, повторяя: «Чичер-бачер, собирайся на чир, а кто не был на чиру, тому уши надеру».

С парнишкой тем никто не хотел спать на соседней койке, его гоняли из школьного класса в коридор, жестокий мальчишеский мир как будто не замечал, сколь часто после еды наш музыкальный содетдомовец держался за живот, со стоном валился на кровать, укрывался под одеялом.

Нечаянной рыбацкой судьбой занесенный в Подсаянье, на лесной пасеке, широко и роскошно расположенной на берегу горной реки, встретил я старого уже, степенного мужика, и он узнал меня, напомнил редкостное свое прозвище, рассказал, что шибко доходил от худой еды и чуть не сдох в том же запасном полку, в котором бедовал в сорок втором году и я, о чем он, активный таежный читатель, узнал из моих книг.

— Но как угодил, паря, на фронт, сразу хвори кончились. Помнишь, поди-ко, со многими хворыми на фронте экое было: унимались болезни, но вот как вернулись домой — хвори взялись за фронтовиков с новой силой, в сыру их землю быстренько оформили. Я вот пасекой спяса. От производства, от алюминиевого комбината, пасека-то, — меня дохлого подучили и сюда бросили. Ныне вот и меня, и пасеку спокинули здесь, я ее прихватизировал, сына натаскал, он меня заменит. Мед у нас редкостный, таежный, черникой вкусом отдает, лесными травами аромат евоный выде-

ляется. Пчела у нас особая, таежная, далеко летат, мед в уреме да по берегам собирает, но уж то ме-од — от всех болезней лекарство.

От болезней-то мед, конечно, спасает, но не от годов и ран фронтовых.

Прошлым летом заехал ко мне сын моего содетдомовца. С саянских предгорий катил на своей новой машине «Нива». Банку меда на помин души родителя завез, сообщив, что отец его сбелосветился, преставился, стало быть, и завещал похоронить его на пасеке среди посаженных рябин и черемух, что и было сделано согласно родительскому завету.

НАБАТ

Я был на рыбалке, на зимней, на уральской реке Кутамыш. Нахлебавшись чистого воздуха, уработавшись при долбежке и сверлении льда, едва приволок ноги в избу, где рыбаки, будто бойцы на фронте, спали вповалку, где кто упадет и втиснется меж телами.

Гнусавая и грязная хозяйка содержала избу более чем неопрятно, зато печь топилась до обморочного градуса. Тараканы, не выдержав тяжелого, спертго духа и жары, равной разве мартену с металлургического завода, поротно высыпали на стену, умственно шевеля усами, соображали, где они находятся: среди любимого народа-кормильца иль по ту сторону добра и зла, где не вышпарят кипятком, не обсыпят навек усыпляющим порошком и птицы не склюют. Отдышаться на стене им было невмочь, и они опускались на пол, лезли к рыбакам под рубахи, шустро бегали по их лицам и всем членам.

Надо заметить, брала хозяйка за услуги цену соответствующую — двадцать копеек. Сразу упасть и уснуть я не мог даже на фронте, да еще и разуться мне надо непременно, по причине чего я несколько раз на войне драпал босиком по русским лесам, по украинским садам, по скошенным полям.

И вот лежу я в духоте, в темнотище, стиснутый рыбачьими телами, на грязном полу, зато разутый и раздетый. От неплотно прикрытой двери холодком тянет, свежей струей сердце радуется. Уснуть не могу из-за врожденного натурального каприза иль привычки, да еще с вечеру чаю крепкого напился — и сну совсем хана.

Надо сказать, что сама хозяйка избы, которую рыбаки звали чухонкой, но она, не понимая обидного прозвища, никак не реагировала на это, спала на деревянной кровати, не просто скрипящей, но трещащей при малейшем шевелении тела так, будто сам земной шар повредился, треснул по всей окружности и начинал с оглушительным стоном и болью рассыпаться на куски.

Кроме кровати в избе были цветы по окнам и занавески-задержушки да потертая географическая карта мира во всю стену и серый пластмассовый брусок радио над кроватью, который громко говорил и пел ночью и днем. Цветы же на окнах сморились от множества окурков, в консервные банки засунутых, от ополосков чая, в них выливаемых, один только ванька-мокрый, приняв окурки за подкормку, остатки заварки чая обратив на пользу жизни, несмотря на жару, беспросветность и духоту, рьяно усыпал себя бесхитростными бордовыми цветками и засеивал опадью подоконник, на котором даже занавески завяли, висели на веревочке будто солдатские портянки, рождая недоумение — к чему тут эта роскошь?

Любуясь неугомонным ванькой-мокрым, хозяйка матерно выражала свои теплые чувства по поводу растительного дива:

— О-гошь, раздурелся, ешштвую мать!

Ванька-мокрый и радио — вот, пожалуй, и все радости жизни, что остались в этой зачуханной избе.

Лежу я, значит, во тьме, слушаю радио и планирую, как же мне до ветру сходить, не наступив ни на руку, ни на ногу, тем более на лицо рыбака, и в который уж раз досада меня берет, зачем Создателю взбрело в голову привинтить мужикам краник меж ног. Сколько с ним неудобств, хлопот и напастей. Лежал бы мужик и лежал себе на полу между рыбацких тел, так нет, надулся чаю — и теперь вот пыхти, крепись...

Вдруг что-то переменялось в беспросветной ночи, забыл я про все на свете, и даже позывы до ветру во мне остановились. Радио над кроватью могучим, каким-то упругим, буревым голосом взывало:

— Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте!..

Это было потрясающе редкостное в наши дни, да и небывалое откровение иль явление искусства. Весь огромный и блистательный концерт прослушал я, затаившись во тьме, плача от восторга и укрепляющейся уверенности, что ничего, мы еще подержимся, мы еще поживем, мы еще...

Слышал я, в зале, где буйствовал мятежный певец, публика неистовствовала, кричала «бис», заставляла повторять почти каждую песню и арию по два-три раза, и ей, публике, долгожданный певец подарил восторг и надежду.

Вечером я приволокся домой с намерением не только похвастаться уловом, но и ночной радостью, а мне домашние в один голос:

— Ты знаешь, какого певца мы вчера по телевизору смотрели. Потрясение!

Он еще какое-то непродолжительное время «держал марку», блюл себя, берег голос и достойно свой репертуар пополнял, но певцу, как в балете, надо все время стоять у станка и «болтать ногами», стало быть, не устанно репетировать, совершенствовать свое мастерство. А чтобы стать великим певцом или художником, нужно сделать усилие, потом еще и еще усилие, и еще рывок вверх, еще сверхнапряжение, словом, работа, работа, работа. Она даже штангисту требуется, работа-то, совершенство-то, на одной дурацкой силе далеко не уедешь, одним, даже могучим, голосом всех не переорешь, ногами, даже очень гибкими, всех не перетанцуешь.

Он стал мелькать на экране на разного рода «коллективках», то на «Огоньке», то во Дворце съездов вставным номером в концерте, подавая невзыскательной публике «сладкое», какую-нибудь таежно-молодежную иль развесело-свадебную, перестал чураться комсомольского репертуара, удало тешил «страсть» народную исполнением про куму и судака.

Потом надолго исчез вовсе. Появился, будто окунь в лунке из-под льда, весь в нарядных перьях, полосатый, волосатый, колючки светятся серебром, рыльце лоснится, подбородочек барски от хорошего корма накупел, манеры вальяжные, улыбка ослепительная. За белым роялем в кремовом костюме сидит, что-то нежненькое про любовь мурлычет. На рояле свежие розы с капельками росы, притененный свет свечей бездыханен, гость наряжен, прилизан, бриллианты на перстах показывает — современная аристократия с дорогими хрустальными бокалами в руках, труда не знавших, вежливоенько отпивает маленькими глоточками вино, томные дамы и томные денди родом из рязанских и пошехонских поселений одобрительно головками кивают, каков, мол, наш-то певец — вписывается в избранное общество, поет только для нас, снисходит до избранной салонной публики, а мы до него.

Ему Богом дано было миром владеть, небеса сотрясать, души наши изболевшие искусством своим врачевать, надежду людям дарить. А он, полюбив ленивую роскошную жизнь, мурлычет что-то великосветское, далекий от тревог и забот земных, сладкое возлюбив, трудами себя не надсажая, живет собой и для себя. И поет для себя, не понимая, что комнатное искусство подобно смерти.

Н-но... но всякий дар, в том числе и певческий, находится в сфере божественной. И кто певца осудит? Поднимите руки!

Он вам на это врежет словами современного поэта-эмигранта, когда-то призывавшего коммунистов вперед: «Я в вашем пионеротряде, товарищи, не состою». И при сем еще слово «пионер» манерно исказит — «пионэр» скажет. И что ты ему сделаешь? В партбюро потащишь? Но он в партии никогда никакой не состоял и не состоит. В чем ты его упрекнешь? И какое твое собачье дело, как говорится в нашем народе.

Распоряжаться самим собой и своим талантом как тебе хочется — это ведь тоже умение, нам, послушным советским рабам, непривычное, да и дара, которому можно завидовать и восхищаться, нам не дано.

Я лично благодарен певцу за то, что он однажды потряс меня, одарив счастьем соприкосновения с прекрасным, а что не совладал со своим талантом, так не нашего ума тут дело. Талант — это сила. И сила могучая, мучительная к тому же, и не всегда талант попадает в тару ему соответствующую, иную тару огромный талант рвет, будто селедочную бочку, в щепу, в иной таре задыхается, прокисает.

ЗАВИСТЬ

В африканских джунглях затерялось племя карибов — мужчины и женщины разговаривают здесь на разных языках.

— Во завидная жизнь! — восклицал мой давний знакомый, называвший себя ленинцем.

Звал он себя так оттого, что было у него четыре жены, и все Лены, и все, по заключению его, такие стервы, что хоть удавись или убегай в леса от них. Он и бегал по лесам, новостройкам, в моря уплывал — не укрылся, не спрятался, всюду его женщины настигали, чтобы высказать все, что у них на сердце накопилось.

— В Африку бы податься, карибубянку бы сосватать, — мечтательно вздыхал страдалец, скребя оголяющийся, почему-то всегда пыльный затылок. — Да билет до Африки дорогой, не по моим заработкам... И перст моей судьбы тычет все в одну точку. Тычет и тычет, чтоб ему обломиться!

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

С Михаилом Константиновичем Аникушиным, русским скульптором, автором памятников Пушкину, что стоят около Русского музея и на Черной речке в Петербурге, и памятника Чехову, с которым и над которым он долго работал, мучился, но так, кажется, и не закончил его (варианты памятника Чехову стоят на станции Лопасня и возле МХАТа), — так вот, с этим человеком я познакомился легко и просто.

Следуя старому завету мудрого русского попа, который, как и положено попу, назидательно утверждал, что к поезду лучше приходить на три часа раньше, чем на три минуты позже, я прибыл в аэропорт Шереметьево задолго до отлета самолета в Варшаву на юбилейный Всемирный конгресс сторонников мира.

Резонно предположив, что, наверное, первый и пока единственный делегат конгресса в аэропорту, я на всякий случай не заходил в означенный в приглашении зал, но на всякий же случай ошивался возле него. Створка стеклянной двери качнулась, и наружу вышел невысокого роста, крепкого телосложения человек в берете, очень подходящем к его слегка разурмяненному круглому лицу с выразительной дыркой на подбородке.

— Здравствуйте, Виктор Петрович, — сказал он и подал мне руку. — Что же вы не заходите? А я Аникушин, член делегации из Питера. Поезд

рано пришел, и я тут скучаю. Смотрю, идет наш, один, я вас по телевизору видел, книжки ваши читал...

Через десяток минут за чашкой чая — чашки он сноровисто раздобыл в столичном аэропорту — мы уже были на «ты». Аникушин, как и я, был громкий хохотун, мы всех вокруг поразбудили и возбудили. Начали прибывать члены нашей многочисленной делегации, большинство из которых постоянно ездят по миру и представляют на разного рода мероприятиях. Аникушин, знаменитый, талантливый человек, ездит, точнее, ездил тоже (увы, его уже нет среди нас).

Со всеми, кого я знал лично и не знал никак, Михаил Константинович меня знакомил, добавляя разного рода славословия и эпитеты, которые в большинстве своем воспринимались знаменитыми советскими гражданами как шутка веселого, но несерьезного человека. «Очень приятно», — скупом роняли они.

— Михаил Константинович, ты уж, это самое, не очень-то меня, провинциала, смущай.

— Ничего, ничего, пусть знают наших. А то раздули зобы, как питерские голуби, что топчут самок прямо на голове памятника великой царице Екатерине и от страсти обделали его так, что пришлось металлическую сетку на бабу надевать. Ты не знаешь? Покажу потом. И смех и грех.

Показал и этот действительно прекрасный памятник, до безобразия обгаженный птицами, не признающими достижений нашего человеческого искусства, Петербург показал, но главное, пригласил в свою великолепную мастерскую и показал еще в темно-синей питерской глине сотворенного Чехова.

И Пушкиных, и Чеховых кругом было очень много, толпы целые гениев в гипсе, в мраморе, в камне, в глине.

— А как ты думал, дорогой? Прежде чем к человеку подберешься, да еще к такому, как Пушкин, ох сколько надо подобий его сотворить. Ты ведь, слышал я, по восемь да по десять раз переписываешь свои вещи, я и вовсе обязан. Персоны-то какие! Пробовать, пробовать, пробовать. Лепить, лепить, потому как наглядно, и все должны согласиться — это вот «мой» Пушкин, «мой» Чехов.

— А цирку-то зачем этому вот Чехову приделал? Целомудренный, застенчивый доктор, а ты его в краску вгоняешь, фулиганничаешь!

— Ничего я не фулиганничаю. Была ведь и у него, целомудренного, какая-никакая цирка. Кроме того, все вы, и ты тоже, мало и невнимательно читаете и понимаете Чехова. Там есть все, и Бог в душе, и цирка под штанами, которую он отнюдь в маринаде не держал. Это я утверждаю как человек, прочитавший, и не по одному разу, Чехова и о Чехове многое, а он вот мне не дается. Сложный, скрытный от людей человек, о котором существует в русском народе и мировом читателе свое непреложное представление. И у меня тоже издавна оно существует. Свое. Мне стереотип надобно сломать, разрушить, добраться до души Антона Павловича, он же вот не дается и не дается... — И что-то прилепил, комок, скорее обмылок к сырой скульптуре, разгладил глину пальцами, потом острым скребком складочку какую-то, почти невидимую глазу, сделал, смотрит, смотрит, руки грязной тряпкой вытирает. — Ах ты, Антон Павлович, Антон Павлович, тихий доктор! Поддался бы, я бы еще кой-чего сделал, да хоть вот коллегу твоего нынешнего слепил бы, вон он зубоскалит, подначивает меня, смехуечки ему, а я тут с тобой хоть плачь... Ну ладно, отдыхай, мы с гостем чай пить пойдём, может, чего и покрепче освоим.

С этими словами скульптор смочил скульптуру, укрыл ее сырыми лоскутами, и мы пошли чаевничать.

По приглашению Китайского института мировой литературы в числе делегации из трех человек находился я в Китае. И за десять дней уездился

и уходился так, что еле ноги волочил. На одиннадцатый день мы, побывав в Шанхае и Нанкине, вернулись в Пекин, в ту же гостиницу, где останавливались до отъезда, и почувствовали себя как дома в недорогом, тихом и уютном отеле. Еще когда уезжали из Пекина, я слышал, что в Китае гостит и где-то по стране колесит знаменитый наш скульптор Аникушин. Я попросил передать ему привет и, если возможно, повидаться где-нибудь.

Погасил я свет в комнате, не раздевшись, улегся на постель, покама-рю, думаю, часок-другой, потом уже встречи, дела и обеды эти китайские, долгочасовые, терпения требующие.

Горит в номере над дверью тусклый фонарик, тишина, благодать. И вот вкрадчиво щелкнул замок, приоткрылась дверь, в номер мой вползает на четвереньках человек. «Господи! — подскочил я на постели. — И здесь пьяные! Будто в России не надоели...»

А человек-то ползет и ползет к моей кровати. Я ноги подбираю, податься куда-нибудь хочу, но некуда, кровать у стены. Вспыхивает электричество, у дверей, сияя узкими глазами, во весь рот улыбается китаец, с полу поднимается сверкающий лысиной и Золотой Звездой Героя человек в парадном костюме и, тоже сияя глазами, спрашивает:

— Здорово я тебя напугал, Витя?!

Аникушин. Михаил Константинович! Знаменитый скульптор. Почетный гость Китая!

— А, чтоб тебя приподняло да хлопнуло! — произношу я и в изнеможении обнимаю гостя.

Долго мы хохотали, выпили по стопке сухаря, поговорили и расстались, увы, навсегда.

Долго я не бывал в Ленинграде, вот он уже вновь Санкт-Петербургом сделался, а мне все пути туда не лежало.

И вот наконец-то попал я в Санкт-Петербург, да не как-нибудь и не когда-нибудь, а в день похорон Михаила Константиновича.

В огромном зале академии полно народу, меня пробили, протолкнули поближе к гробу. Много цветов. Веселый и в чем-то до конца жизни оставшийся дитем человек с седыми вихрами отчего-то кажется сердитым. Из цветов глядится отчужденно и вызывающе-отстраненно от мира сего. Я смотрю на покойного и с трудом справляюсь с улыбкой, готовой расплывить мое лицо, вспоминая его явление в номере китайской гостиницы.

Меня хватило все же сказать несколько поминальных слов с другими ораторами, скорбящими всерьез и привычно, по-дежурному.

Но и тогда, когда я говорил, и после, стоя в траурной толпе, явственно слышал:

— Здорово я тебя напугал, Витя?!.

НАШ ЮМОР

«Двадцать пять лет заключения, десять лет высылки, пятнадцать лет поражения в правах», — написано в документе с названием «Временно изолированный».

В гулаговских заведениях таких людей называли «лауреатами Сталинской премии».

В таком вот достославном заведении производится медосмотр. Прежде чем приложить трубочку к груди пациента, лагерный врач спрашивает:

— Статья?

Заключенный бодрой скороговоркой строчит номер статьи.

— Дыши! — разрешает врач.

Очередной зек шепотом называет статью пятьдесят восьмую.

— Не дыши!

Юмор, достойный нашей славной эпохи!

ИХ ЮМОР

Борис Стрельников, мой земляк, умный, честный и оттого рано сгоревший мужик, мыкавшийся пятнадцать лет корреспондентом «Правды» по Америке, успел многое мне рассказать о житье-бытье за океаном, в особенности о пребывании в тех экзотических местах главы государства нашего Никиты Хрущева, во всю мощь продемонстрировавшего мудрость и боевитость свою и нашу.

— Челяди полный корабль, но за дорогу челядь устала от причуд и выходов вождя. Как только высадились советские гости с важной персоной на американский берег, так с радостью сплывили мне своего кумира: «Ты, Боря, тут давно, ты все знаешь, вот и действуй...»

Начались недоразумения с того, что охрана вождя привычно потребовала: здесь дорогу перекрыть, здесь забор вовсе снести — наблюдению мешает, здесь движение остановить, там скорости сбавить иль пустить транспорт в обход. Представитель американской охраны, переваливая жвачку во рту, с усмешкой заявил начальнику охраны нашего вождя: «Сэр! Этой дорожкой по президентским цветочным клумбам американцы ходят уже двести лет, и если мы изменим их движение, они потребуют немедленной отставки президента, разгонят сенат и конгресс, заменят правительство, да и нам бока намнут».

— Ох уж и попил моей крови этот Никитка! Ох и победокурил малахольненький вождь в заокеанском отдалении! Главное было не дать ему с утра напиться, рюмку выхватить, а он ловок в этом деле — сгребет посудину у американца с выпивкой, речь закатит о том, что у нас в России такой обычай, да и опорожнит сосуд до дна, чтоб ему на том свете козлов пасти, этому развеселому вождю! Хрясь об пол посудину — заливаается, хохочет.

И еще среди прочего Борис Александрович поведал об американских нравах, о юморе, нам недоступном по причине зашоренности нашей:

— При въезде в штат Огайо стоит огромный щит, и на нем броско написано: «Держи землю своего штата в чистоте! Вези мусор в штат Мичиган!»

Борис Александрович как знал, что век его недолог, и подарил мне на прощание дивную американскую поговорку, которая точно соответствует, модно говоря, моему прирожденному менталитету, потому я ее часто вспоминаю: «Можно вытащить парня из деревни, но деревню из парня вытащить нельзя».

ОН ПОСЧИТАЛ СЕБЯ НЕКРАСИВЫМ

Среди многих старых городов Европы — а я утверждаю, что они и есть украшение ее, но не современные монстры-города и не столицы со всунутыми в их жилую часть многозубыми протезами — зданиями современной архитектуры, — так вот, среди старых городов боснийский городок Мостар занимает в моей памяти особое место.

Но прежде чем попасть в Мостар, разноплеменная бригада советских писателей, состоявшая из четырех человек, погостила в Сараево. Были мы в Боснии по случаю тридцатипятилетия освобождения этой славной республики от немецко-фашистских захватчиков и многое услышали, узнали, хорошо погуляли с гостеприимными хозяевами, но мне хочется рассказать не о многолюдных празднествах и гуляниях, а об одном загадочном кафе, которое стояло на обрывистой и каменистой горе. Доступ на гору был лишь один, откуда-то в обход, с тылу. Ничего такого особенного с виду в этом кафе и в горе, почти со всех сторон обрывистой, неприветливо го-лой, не было.

В самом кафе опрятно, однако очень уж бедно, и меню скудное — кофе черный, чай, коньяк, пиво и какая-то немудрящая еда. Посетителей

в кафе мало, но что-то густовато людей в официантском снаряжении, которое, впрочем, состояло из белого фартука и белой же рубахи с бабочкой.

В отдалении, возле стеклянной стены за столиком, сидели две девушки и двое мужчин: один молодой, интеллигентно и строго одетый, и пожилой, пристально в нашу сторону смотревший.

Мы недоумевали — зачем нас на эту гору завез наш боснийский опекун? Мы уже много занятого увидели. Я подумал, что босниец, поэт и переводчик Изет Сарайлич, хочет, чтобы мы еще сверху посмотрели на аллею, ведущую к горе Игман, где снималась знаменитая сцена в самом знаменитом довоенном фильме «Большой вальс», но ошибся.

Как только мы расселись за столиком, из-за дальнего стола поднялась девушка и пожилой, интеллигентного вида человек. Они, наклонясь, о чем-то вполголоса переговорили с нашими сараевскими спутниками и, успокоенные, ушли на свое место.

Нам объяснили наши друзья-боснийцы необычность того места, где мы находились, и отчего в кафе с трех сторон стеклянные стены, почему оно стоит на таком жутком отроге горы Игман и все тут немножечко не так, как в других югославских заведениях, где пьют, едят, много курят, громко говорят посетители.

Мы, оказывается, попали на гору смерти. Да-да, с древности повелось, что люди, пожелавшие свести счеты с жизнью, бросались с этой горы вниз — самый распространенный в здешней округе способ самоубийства.

Демократическое общество решило хоть как-то противостоять этакой напасти, хотя давно известно, что человек, решившийся на самоубийство, редко перебарывает в себе роковое решение.

Кафе смертников построено на горе для того, чтобы человек, в последний раз выпив кофе или чего покрепче, через стеклянные стены увидел, какую прекрасную землю он покидает. Вокруг Сараево неповторимая по красоте горная местность, сам город экзотичен и тоже редкостью красив. Через него пролегает путь паломников-мусульман в Мекку. Посреди города — караван-сарай или попросту, по-нашему говоря, постоялый двор на много тысяч душ. Рядом величественная гора Игман, внизу аллеи, парки, переходящие в дикий лес, речка и река, минареты, луковки церквей в небесной дымке над городом плавают.

А за столом в отдалении круглосуточно дежурят настороженные врачи-психиатры и медсестры. Все официанты — из службы безопасности, обхождению научены. Всем присутствующим в кафе людям надлежит воздействовать на человека, приговорившего себя к смерти: отговорить, утешить, но, повторяю, удается это сделать очень редко, поэтому внизу, под горой, тоже круглосуточно дежурят две машины «скорой помощи»...

И вот после Сараево мы попали в чудный Мостар, что стоит на бурной, угорело куда-то мчащейся, камни по дну катящей Неретве, через которую перекинут дугою Турецкий мостик, из тех, что рисуют на древних картинках и рождественских открытках. Он так стар, что в каменистом покрытии его, в самой середине, ногами человеческими протоптано корыто.

Сооружение это сотворено без единой опоры, но в войну по нему прошли немецкие танки.

По одну сторону моста — втиснутое в камни высоко на скале, вроде как на нити плюща подвешенное игрушечное помещение кафе на три маленьких столика. Кафе почти никогда не пустует, и двери его до поздней ночи распахнуты, над ними едва тлеет огонек древнего фонарика. Внутри кафе постоянно горит свет: два подслеповатых окошка почти упираются рамами в камни.

В кафе приветливо кланяющийся, грустный ликом босниец в турецкой феске подал кофе и пиво, печально что-то сказал сопровождавшему нас в поездке по Боснии сараевскому писателю Сарайличу. Изет попросил принести газету и прочел нам пространный, по-восточному витиеватый не-

кролог: вчерашней ночью с Турецкого моста в Неретву бросился юноша Милан Чуранович. Покончил он счеты с жизнью оттого, что посчитал себя некрасивым...

Мы невольно и немо смотрели на беснующуюся под нами Неретву, в которой от напряжения и страсти была пихтово-зеленая, почти темная вода. Ниже моста река с грохотом укатывалась под выбитую гранитную стену и с бешеной пеной на губах вылетала оттуда на свет белый, чтобы мчаться дальше, рушиться с гор и успокоиться в большом морском просторе.

Здесь, у Мостара, в Неретве, даже костей юноши Милана Чурановича не найдут, похоронить нечего будет.

Мы что-то вяло и тихо говорили о том, как не научены молодые люди ценить жизнь — жизнь, которая никогда ни в ком не повторится, и еще о том, что среди стариков мало самоубийц, хотя порою им бывает ох как невмоготу: непризнаны и обделены куском хлеба, и одиноки, и сиры, но живут как могут, отдавая себя от смерти...

Когда шла недавняя война на Боснии, редкая по своей жестокости и разрушительности гражданская война, я повстречал человека, участвовавшего в боях, и спросил, что с Мостаром. Разрушен, разбит красавец Мостар, разрушена старая, горемычная, страшное землетрясение пережившая Баня-Лука, почти стерта с земли богатая Тузла, да и само Сараево тоже пострадало от войны.

— А мостик? Турецкий мостик? — воскликнул я.

Все, все в прах, в порошок обращено, чуда, сотворенного человеческими руками, Турецкого мостика, больше нет на земле. Кто его взорвал — мусульмане, христиане, католики? — поди теперь узнай. Мостар разделен по Неретве на две половины, и боснийцы, умывшие себя и республику кровью, залиывают раны, но продолжают катить бочку друг на друга.

И кафе на горе смерти в Сараево давно нет. Зачем оно? Когда идет массовое убийство так успешно, утешений и утешителей не напасешься.

УМИРАЮЩИЕ ОГНИ

Я увидел это по телевизору. По нему ныне много показывают разных ужасов, но то был не ужас, а почти из потустороннего, из невообразимого, отчего берет оторопь и чего осмыслить невозможно.

В центре многолюдного города Сеула случился обвал. Целая площадь провалилась в метро. Дело было к вечеру, потому что в домах горели огни, но еще возможно было снимать, и безвестный кинооператор, выполняя определенную ему Богом работу, снимал страшную трагедию.

Как-то неважправдашно, играючи скатывались во все расширяющуюся воронку машины, не смогшие затормозить, троллейбусы, автобусы, велосипеды, мотоциклы, люди, не сумевшие вовремя остановиться; роем, рассыпаясь на ходу, катились в тартарары торговые сооружения, киоски, павильоны, какие-то будки, но прорва все вбирала и вбирала в себя неумолимо и неотвратимо то, что было обречено.

Вот и до домов дошло.

Огромный, этажей в двадцать, дом на заднем плане экрана начал оплывать, разваливаться, сорить вокруг и взрываться пылью.

Но прежде чем все это началось, в доме стали гаснуть и умирать огни, не вдруг, поэтапно, будто кто-то стирал одну светящуюся полосу за другой, этаж за этажом, лишь где-то потерянно, забыто светилось секунду-другую, искрило окно или дверь, и вот чернел, исчезал насовсем и этот свет.

Длилось видение недолго, дом со всеми его окнами погиб в несколько минут. Также, наверное, умирали другие дома и огни в них, но оператор,

вероятно, успел снять только этот дом, что был напротив, или, ошеломленный, не заметил гибели других строений.

Однако теперь я знаю, наглядно знаю, что, если начнется светопреставление, свет, прежде чем кончиться всему живому на земле, умрет первым.

Судя по тому, что творится на свете, ждать этого осталось недолго. Одни правители, показывая гонор и желая припугнуть соседей, будут сжигать целые города и государства карающим оружием, от которого одна защита — ответный удар. Недавно пересевшие с коней и верблюдов шейхи и какие-то темнолицые вожди, не отличающие убийственную силу дубины и копья от водородной бомбы, тайно приобретут, купят, хотя бы у нас в России, оружие, способное уничтожить и наших, и ихних, и этих голожопых богатеев, пляшущих вокруг древнего костра.

Наши генералы за еще одну досрочно повешенную звезду на погоне, за подмосковную виллу продадут что угодно; лобастые и лукавые конструкторы соорудят сверхсекретное оружие ради все того же престижа и чтобы, как они говорят, «сохранить рабочие места» для себя и бесстыжей орды на «перспективном направлении» в «науке» и не менее перспективном производстве; полуголодный российский офицер, ради квартиры в городе и шубы для жены, продаст вверенную ему кнопку; призванный из прибалтийской шпаны безответственный солдат самой разболтанной армии за поллитру отдаст хоть себя, хоть охраняемый им объект...

И тогда...

Я снова и снова явственно вижу умирающие в современном доме современного города огни, и меня охватывает чувство покорной незащитности, я начинаю, хотя и смутно, понимать, что означает слово *рок*.

ОПЯТЬ САМОСОЖЖЕНИЕ

Эта картина навсегда.

Едем мы из Ашхабада в горы, на речку Фирюзу. Солнечно, светло вокруг, поля хлопчатника, сады в подгорье — все-все в каком-то благостном зеленом покое, в долгожданной благоухающей умиротворенности.

А в той стороне, где пустыня, — слепящее солнечное марево. Что-то в нем плавает, дрожит, переворачивается, размывается, растекается или рвется в клочья. Оттуда, как из только что закрытой русской печи, веет пеклом.

Но здесь, в подгорье, все захлебывается цветом, зеленью, вроде бы не сеяно, не сажено, само собою, по Божьему велению, все тут растет и само себе радуется. Нечастые, бедные строения из глины, с вытопанной вокруг рыжей землею выглядят неуместно и странно: как так убого и уныло можно жить и бытовать среди такого роскошного убранства! Реденькие животные — козы, овцы да куры, пытающиеся что-то вырыть из засохшей глины и сорного песка среди слепых жилищ, — тоже унылы и тощи, в свалявшейся шерсти, в грязном и редком пере. Но в хлопковых полях и виноградниках пестро и празднично от стаяк детей. Однако они не празднично гуляют по близлежащим полям, они трудятся.

Я попросил остановить машину, мы пошли в хлопковое поле посмотреть на тружеников-детей. Шестеро их, младшему годика четыре, старшей девочке, возглавляющей трудовую артельку, годов пятнадцать. Прекратили работать дети, настороженно ждут нашего приближения, опустив руки с кетменями. Самый младший, с махоньким кетменем, этаким железным серпиком, подрубил рукой солнышко. Смотрит, ждет. На нем рубаха или платишко до пят — донашивает одежонку, доставшуюся от старших. Предводительница артели с косичками, перевитыми разноцветными тряпочками, при нашем приближении, сознавая себя уже женщиной, наискось прикрыла концом платка лицо. В треугольник, из-под низко на

лоб опущенного платка, смотрят на нас прекрасные глаза миндалевидного разреза и цвета или оттенка этой вот неуловимо сияющей земли — коричневого, с прожелтью и тысячелетней тьмою, сгущающейся за зрачками, уже в самой глубине глаз.

Давней и древней загадочностью многих веков залегла мгlistой тенью не осознаваемая девочкой вся печаль непостижимого Востока, то вихрем проносащегося по земле, то усмирено, молитвo и постом, перемогающим века. Но всегда, во все времена, здесь оставалось неизменным существо по названию женщина. Среди многих дивных слов в русском языке есть совершенно дивное — *взор*, и этим словом только и возможно обозначить глаза восточной женщины, уже присутствующей во взгляде девочки-хозяйюшки.

Мы поздоровались. Девочка, не опуская платка, ответила нам за всю артельку и напряженно ждала, что будет дальше, что от нее требуется.

Мы спросили, чего дети ищут и вырезают в междурыдье хлопчатника. Девочка, на животе которой был фартук, узлом разделенный на две половины, показала нам и пояснила, что в одной половине фартука растения и корни для животных, в другой половине — зелень, коренья, цветы, побеги для стола и приправ к мясу. У трех девочек тоже были фартуки с зеленью, у парней — старые школьные, уже без крышек, ранцы, надетые через плечо.

Босая артель, запыленная и загорелая до черноты, переминаясь, ждала, когда, удовлетворив свое праздное любопытство, гости удалятся. Мы начали прощаться. Я, боящийся с детства змей, спросил девочку, как они справляются с этим страхом, тут змеи-то — не то что на нашей горе. Девочка все тем же отдаленным голосом почтительно пояснила, что, если змею не трогать и не наступать на нее, она тоже никого не тронет.

У меня в кармане был пакетик с леденцами, и я решил угостить младшего работника. Он опустил голову, убрал руки за спину. Тогда девочка тихо, но повелительно сказала ему два слова, и он охотно протянул мне сложенные вместе ладошки. Я хотел высыпать в ладошки мальчика леденцы, но они от тепла слиплись, и я сунул малому работнику пакетик.

Мой товарищ, давно здесь работающий собкором центральной газеты, сказал ребятишкам поощрительные слова на родном их языке, и мы пошли к дороге. И пока не сели в машину, молчаливая артелька смотрела нам вслед. Потом дети снова пошли босыми ногами по уже горячей земле; маленькие труженики, часто наклоняясь, подрезали растения кетменями.

Я еще раз восхитился туркменскими ребятишками и сказал, что вчера на ковровой фабрике, в цеху за вышивкой, застали мы одних девочек. При нашем появлении бесшумно разлетелись они нарядными бабочками, и тут же появились их мамы, с ходу заявили, что девочкам очень нравится вышивать, поэтому мамы уступают им свое место и пьют чай, общаются культурно.

— В Туркмении бытует поговорка, — сказал мне мой приятель: — «Лучше быть узбекской собакой, чем младшим туркменом в семье»... Бабаи, что играют в шахматы на обочинах всех дорог, заездят, на побегушках загоняют младшего сына, пока он подрастет или появится младше его брат, девочек же сперва нещадно эксплуатируют мамы, затем мужья, превратив их в рабынь.

Попутно рассказал, почему он позавчера срочно ездил в пустыню, в кишлак, забытый, брошенный и Аллахом, и советской властью.

В пустынном кишлачке, затерянном среди песчаных барханов, работает бригада скотоводов колхоза «Свет коммунизма». Завелся здесь передовик соцсоревнования, и время от времени ездит он на разного рода слеты, собрания, совещания. Недавно вызвали его в Ашхабад, на слет лучших скотоводов. Он вынул из старинного ящика Золотую Звезду Героя соцтруда, сел на верблюда и не спеша поехал в далекую столицу.

Изнывающий от скуки, мучающийся от переедания местный бабай-бригадир, как только верблюд передовика исчез за барханами, пошел в его кибитку и при малых детях изнасиловал его юную жену, не знающую, что такое сопротивление мужчине.

Бабай-передовик славно похлопал в ладоши на почетном собрании победителей соцсоревнования, посидел с друзьями-передовиками в чайхане, выпил, отдохнул и, умиротворенный, возвращается домой. Ему еще в предгорье, на отгонном пастбище, пастухи сообщают, что его жена — *билят*, спуталась с бабаем-бригадиром.

Передовик-бабай приехал домой, ни слова не говоря намотал на руку косы молодой жены, уволок ее за кибитки и мазанки в то место, где управлялись жители кишлака, и бросил в песок.

Пока он ходил за канистрой, покорная женщина, встав на колени, сложив у груди ладони лодочкой, еще успела попросить Аллаха, чтобы он пустил на небо ее грешную душу.

Она и горящая не решалась кричать, лишь зажато стонала, но, когда совсем припекло, посмела взвизгнуть покинуто, безнадежно. До самого высокого, нежно-голубого весеннего неба пустыни взвился ее отчаянный вопль.

Мой приятель рассказал, что такие происшествия в республике довольно часты. Все они расследуются и всегда именуются самосожжением. Собкор центральной газеты, перед которым заискивали и которого боялись местные воры и стяжатели, партийные баи и около них шныряющие проныры, был прикреплен к правительственной даче на дивной речке Фирюзе; еженедельно получал богатый продуктовый заказ — словом, дорожил своим местом.

— Статья твоя в газете конечно же будет называться «Опять самосожжение!» — съехидничал я.

— Да, опять, — грустно отозвался мой приятель. — Ты догадливый! — И надолго умолк.

А машина наша катила и катила по сухой накатанной дорожке. По ту и по другую сторону свежо, сочно зеленели поля. И всюду бродили стайки ребятишек с кетменями, по расселинам горных распадков цвел миндаль, на склонах краснели тюльпаны. Ребятишки и их не щадили, выкапывали крепкие луковицы дивных горных цветов на домашнюю потребу. Вскинутая, посмотрят вслед черной машине — и снова наклоняются к земле.

Мы ехали на раскопки древнего фирюзанского государства, когда-то цветущего, райского, но безоружного царства.

Оголтелые полчища завоевателей смахнули и это маленькое царство с земли мимоходом, будто муху с окна, вырубали фирюзанский народ, сожгли строения, сады и умчались в пыльную даль времен. Каждый воин дикой орды должен был зарубить в Фирюзе не менее шестисот человек.

Конница долго стоять на месте не может, она выедаёт все, вплоть до земли. Воины торопились. К ним выстраивались безмолвные очереди. Уставши от работы, иной догадливый воин выбирал из очереди мужчин покрепче и заставлял рубить своих соплеменников, детей и жен.

И думал я под шуршание машинных колес, глядя на приближающиеся горы, за которые ушла и рассеялась в пространстве древняя конница, что, в общем-то, с тех пор мало чего переменялось на земле.

ВОСТОРЖЕННЫЙ ИДИОТИЗМ

Моя жена, выросшая на Урале, в краю вечнозеленых помидоров, любит есть, однако, помидор крупный, ядерный, мясистый и вообще, являясь росту маленького, любит все естественное, натуральное, чтобы жевать

было чего. И вот возят целую шайку писателей по Молдавии, показывают им всяческие достижения, и допрежь всего сельскохозяйственные. Увидев целое поле спелых помидоров, частью уже сгнивших, частью еще висящих на кустах, потрескавшихся от яростной и яркой спелости, маленькая женщина подняла помидор, забрызганный дождями, вытерла ладонью и спросила директора совхоза:

— Можно, я возьму с собой?

— Чего? — не понял директор.

Застеснялась женщина, выросшая в большой рабочей семье, где каждая крошка хлеба, всякий огородный плод, нитка, лоскуток были в большой цене, и молдавский помидор положила обратно на землю, «простите» сказала.

— Марья Семеновна! — опомнился наконец директор. — Завтра это помидорное поле, и это, и это, и перестойные, сахару не набравшие из-за дождей виноградники, и прочие овощи будут запаханы, так что берите помидоров сколько хотите и сколько сможете и кушайте на здоровье...

— К-как запахать? Почему? — начала заикаться гостья. — Такое добро, столько добра! Нам бы, на Урал бы... Деньги ведь живые.

Директор подтвердил: да, деньги, да, живые, попутно сообщил, как трудно из-за погодных условий велась посадка овощей и сев хлеба, как люди спасали урожай от засухи, потом от дождей и всяческого гада-вредителя, и вот... указано готовить землю под будущий невиданный урожай, потому как нынешний план уборки урожая уже перевыполнен, и боле убирать его некому, и горючего нет, и вообще планы там, в верхах, составили уж другие дряхлые правители, и потому планы тоже другие, да все в пользу государства и народа, все рассчитано на рекордные достижения.

— И так из года в год, — горько вздохнул директор, — меняются партийные вожди в Москве, в Молдавии, но не меняется их отношение к сельскому хозяйству. Ныне разбой здесь творит товарищ Бодюл. Бо-оольшой политик и герой...

Бодюл, секретарь ЦК, по-ранешнему — царь, мудрый вождь. Он долго здорово правил на бессарабской земле, разоряя ее, губя беспощадно во имя коммунизма и неслыханной дружбы народов.

И бездельников плодил, как тля или древесная гусеница, выделяя вонючий помет. Бездельники обожали своего партийного царя, тянулись к нему со всех сторон, в первых рядах краснорожие высокопоставленные отставники, хорошо отточенным нюхом чующие и падаль, и сладкий корм.

Однажды на празднике Победы битый молью, обделенный умом, но хитрый и коварный разоритель Молдовы провозгласил здравицу покойному Сталину, и патриотическая, хорошо кормленная масса устроила получасовую овацию — вот сколь упрямой доблести и преданности своему времени, своим вождям скопилось в груди большевистских молодцов.

Ныне вон высокие чины из генштаба дежурство негласное у Мавзолея устроили, чтобы ночной порой, не дай Бог, рукосуи вражеские не умыкнули оттудова обожествленного вождя народов, из которых он, человеконенавистник, сильнее всех ненавидел народ русский — оттого, видать, что не умел выговаривать слово *русский*.

В парке города Кишинева, заставленном гипсовыми и бронзовыми безглазыми бюстами кремлевских любимых вождей, был возвращен венец садоводческого искусства — красные яблоки заставили так расти на ветках, что, алой вязью сплетаясь, молдавские подневольные яблоки образовывали пламенные слова: «Слава КПСС». И еще что-то в этом духе.

Хитрый мастеровитый садовник, мечтающий за этот трюк получить Звезду Героя иль повышенную пенсию, держался гоголем, как величайший творец природы и всех искусств.

Партийные шестерки, его и его творение представляющие, били чечетки вокруг тех идейных растений, выкрикивали чего-то высокохвалебное товарищу Бодюлу и его покровителю Брежневу.

Тогда же один из представителей нашей делегации, демонстрировавшей пламенную дружбу народов, покойный Михаил Дудин, назвал это восторженным идиотизмом.

Но какой с него спрос, с поэта, рожденного в Пошехонье, вечного юмориста и остряка. Неразумное дитя пошехонских крестьян, моральный урод героического времени! Хотя и воевал он под Ленинградом на гибельном пятачке, удерживаемом мотопехотой чуть ли не год, и так там истощал, что до конца дней своих тела нажить не мог. Однако ж это не значит, что можно глумиться над такими чудесами подвижников пламенно-го патриотизма...

Отставникам-то краснорожим, густо заселившим Крым, юг Украины, Молдавию и другие солнечно-виноградные места, тут нравилось все — от яблонь, так идейно растущих, до вождя Бодюла, сгубившего во имя этих пламенных идей, показухи, своей партийной карьеры родную республику. Это они, отставники да недобитые комприживалы, визжат сейчас на чужбине от утеснений русскоязычного населения, боясь за свою шкуру, но больше за нахапанное добро, неохота им покидать сытые, солнечные палестины.

А вот остальным русскоязычным бояться нечего — бери шинель, иди домой, хотя бы в Сибирь. Яблоки и виноград здесь не растут, да еще таким вот идейно направленным манером, но полоса земли для жительства, кусок хлеба и толика тепла в еще пока живом русском сердце всегда для них найдутся.

ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ

Десять часов отсидки в Красноярске. Пять часов в Карачи. Опоздали в Потаю, что в Таиланде находится, аж на четырнадцать часов. Все лучшие номера заняты-розданы, нам с внучкой достался номер с видом на крышу кухни, над которой день и ночь работают мощнейшие вентиляторы. В номере чад и дым и все время что-то ноет, дверь плохо отворяется новомодным ключом. Вспоминаю, как в домах творчества, где бывали с женою раза три-четыре, нам всегда доставались худшие комнаты, и непременно напротив сортира, — вот обхохочется жена моя, узнав про это совпадение.

Но Богу Богово, а мужику завсегда мужиково.

Думал, после «ударного» рейса отосплюсь. Нет, и день, и другой общий дискомфорт, как говорит знакомая врачиха. Главное, чувствую я себя чужаком в этой стороне, в Сиамском заливе. Одежда к телу липнет, дышится будто мыльной пеной, народ вокруг чужой оттого, что богатый и здоровый. Зато внучке радостно и вольно, манатки разбросала, шляется где-то, подруг кучу завела, мороженое трескает без нормы. Бабушки нет, чтобы *стювать*, говоря по-уральски, этот неуправляемый двигатель. Я быстро изнемог; говорю ей, указывая на бардак:

— Ох и попадется же тебе растрепанная мужичонка и будет обоссан в море с ног до головы или лупить тебя будет день и ночь!

— Нетушки! — как всегда, убежденно выпалила она. — Я сама его отлуплю!

Я притащился к заливу.

— Плыви! — говорю внучке.

— Куда?

— А куда хочешь и сколь хочешь.

Проперла она, что акула, до предохранительных биев и обратно.

— Все, — говорю, — не утонешь.

И прекратил всякие попытки руководить человеком, не по силам это мне.

У меня одна радость — чтение, вольное, не по обязанности. Взахлеб читаю, подпрыгивая от восторга, книгу Якова Харона, присланную Але-

шей Симоновым, — «Злые баллады Гийома», невероятная, чудесная выдумка: скитания двух заключенных на сибирской земле.

В гостинице «Амбассадор», где мы с внучкой в декабре зимогорили, нет ни радио, ни градусника; кроме торговых точек с едой, выпивкой и мороженым, ничего нет — все здесь работает на выкачивание денег. Телик черно-белый, по экрану бегают тайцы, молятся, но «новые русские» и тут находят себе развлечения.

Новые эти русские типы — нисколько они не лучше своих дедов и отцов-коммунистов и околоммунистического быдла. «Новая срань» — вот какое бы им пристало имя! Пьют, жрут, серут где попало, ходят в золоте. Одного молодого я спросил, знает ли он, как называется золотая, роскошная, в то же время безвкусная вещь, навешенная на его бычьую шею, на разляпанную волосьем и наколками украшенную грудь. «А на х...? — мутно и сыто глядя на меня, спросил он. — Расскажи, если знаешь».

И я рассказал, что это диадема Македонского, пришедшая на Восток вместе с его тупым и надменным воинством. «Ну и х... с ним, с Македонским-мудаковским этим!»

В холле гостиницы, обняв большую мягкую игрушку, второй вечер безутешно плачет дитя. В шелковом, воздушном платьице, с косичками, украшающими ее головку, в косички вплетены красивые восточные штучки. Безутешно плачет модно одетое дитя — родители ее где-то развлекаются.

Сообразительные, еще своими партноменклатурными родителями наученные эксплуатировать ближнего своего деляги. Выведут дитя в холл, бросят, зная, что найдутся сердобольные «старые» русские и приберут дитя.

И вокруг плачущей девочки толпятся эти самые «старые» русские, ахают, возмущаются, мужики сулят родителям морду набить.

Вот одна из них, еще молодая, тоже разодетая модно, появляется в холле, возмущенно восклицает:

— Опять?!

— Тетя Таня! Тетя Таня! — бросается к ней девочка. Молодая женщина с сердитым выражением на лице подбирает девочку, со слезами тянет ее к себе и спасает весь вечер, пока родители, пьяненькие, беззаботные, вернутся домой.

Таня же еще и ищет их по всей гостинице. Родители предусмотрительно не говорят, где их комната. Нечаянная нянечка несет спящего ребенка в «рецепцию», ночью родители незаметно забирают дитя к себе, сунув дежурной тайке зеленую купюру, говорят «сенкью», а утром, завтракая, лениво повествуют, что были в ночном платном заведении:

— Ох и бардаки же у них! На всякий вкус и размер. Совсем разложились бусурмане.

Лениво поковыляли гуляки к голубому бассейну. Девочка, держась за купальник матери, прыгает рядом, заливаясь, хохочет, о чем-то рассказывает папе с мамой, радуясь, что они не потерялись совсем.

— Ну иди, иди купайся, — сонно роняет мать, укладываясь на поролоновый матрац. — Да поглубже заныривай, чтоб не слышно тебя было, трещишь тут, трещишь. Надоела!

Девочка уже умеет нырять и плавать. Она плюхается в бассейне до изнеможения, потом теребит по очереди то отца, то мать.

— Чего тебе еще? — вскидывается мамаша и в упор глядит на дочку, не узнавая ее.

— Я кушать хочу.

— Что ж ты, выдра, утром-то за столом не ела?

— Я спать хотела.

— Спа-ать. А я, думаешь, не хочу спать? На вот денежку, купи булочку с сосиской. И эту, ну, воду какую-нибудь фруктовую.

— А мне бутылку пива, — не открывая глаз, вступает в разговор папаша.

— Пи-ыва ему, пи-ыва, — злится неизвестно отчего и почему мамаша. — С блядьми тайскими не напился, видать.

— Н-ну, пала, чтоб я еще раз взял вас с собой!.. — рычит «новый русский». — Н-ну никакого покою от этих баб. Всего две, а хоть утопись.

Он резко вскакивает, поддегивает плавки, с гиком бежит к воде и бросается в теплые голубые волны. Плышет умело, размашисто, быстро. И гогочет громко, вызывающе, матерно выражая при этом обуревающие его восторженные чувства. Хозяин жизни, независимый, богатый человек!

Усадив девочку с едой на матрац, чтоб его не унесли, молодая женщина бросается в волны следом за мужем, плывет тоже умело, натренированно, скоро догоняет его, и они начинают дуреть в воде, гоготать вместе, гоняясь друг за другом.

Девочка, скушав булочку, сладко спит на матраце, прижимая темную бутылку с пивом к загорелой груди. Хранит для папы.

Может, он и мама сегодня вечером не бросят девочку, оценив ее услужливость и послушание.

ПОШЛОСТЬ

Жизнь затейлива. В тот день, когда пришло письмо от женщины из Выборга, называющей себя «верным ленинцем» и кроющей Сталина за содеянные злодеяния, попутно желающей, чтоб «всех вас, писателей, перевешать», было еще несколько писем.

Письмо от фронтового друга, с Алтая: «...Знаю, что здоровье в вас плохое, но все равно надо терпеть хотя бы до двох тысячелетия, а может, и больше...»

Друг мой, с которым мы прошли Сибирский стрелковый и автополк, воевали в одной артбригаде рядовыми бойцами, из семьи украинских переселенцев — и простим ему странности в обороте речи. Я ему их всегда прощал, хотя по молодости лет и потешался над ним.

«...Пару слов о себе. Живем по-прежнему. Деревня, каждый день одно и то же: встал утром, поработал часок — и до вечера делать нечего зимой. Сын задумал свой дом построить, но забота вся наша, поеду в тайгу лес добывать. Его затея, а деньги и забота отцовская. Но он хочет, чтоб под старость лет мы с женой жили с ним. Но еще ничего, сердца наши покуда дышат...» И заключительная, умилившая меня строка: «Постарайтесь выздороветь к празднику...» Такое мог написать только очень добродушный человек.

А вот и она, ползучая пошлость, — письмо от новоявленного пророка под названием «Первое послание к ивановцам Москвы от Георгия Биоспольского»: «Братья и сестры московские! Здравствуйте! Благодать, и мир, и здоровье, и Воскресенье от Бога Духа отца нашего и Господа животворящего Порфирия Корнеевича Иванова. Посылаю Вам „символ веры ивановцев“, записанный мною, слугой Господа животворящего».

И далее о вере, о Иисусе Христе, Богочеловеке, распятом за нас, наставления «от богочеловека второго пришествия Порфирия Корнеевича Иванова», в общем-то почти совпадающие с древними канонами, но только уж так напористо, так безграмотно поучают, словно опытные вохровцы из гулаговских лагерей.

Исповедаться ежедневно велют, самопричащаться «безубойной пищей», заниматься самопокаянием, самосвященством, жить по совести и т. д. и т. п., и еще общее дело «самовоскресенья» — очень занятное: «Детка! Я прошу, я умоляю всех людей — становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе себе на благо, чтобы тебе было легко. Детка! Ты полон желаний принести пользу всему советскому народу, строящему коммунизм. Для этого ты постарайся быть здоровым душой и телом, прими от меня несколько советов: два раза в день купайся в хо-

лодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в море, в озере, в реке, в ванне или обливайся и окунайся на пустой желудок», — и много там добрых наставлений насчет купанья, закаливания организма, еды, питья и даже — «не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Не сморкайся. Здравойся со всеми, помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся... Победы в себе жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, гнев, зависть, уныние, похоть, не хвались; не возвышайся, не употребляй алкоголя, не ругайся. Освободи голову от мыслей о болезнях, смерти. Это будет твоя победа».

Чуть покорябают на бумаге, часто безграмотно повторяя давно, до них написанное, — и уже новый пророк, наместник Бога к нам, грешным, с неба свалился.

Пошлость многолика и разновидна на Руси. Вот послание-поздравление из Ворошиловградской области, из города Артемовска, из детского клуба под названием «Бригантина»: «Наша зимняя картина к нам приходит в класс. С Новым годом „Бригантина“ поздравляет вас. Совет Клуба».

Я как-то в одной школе сказал в меру подкрашенной, в модные вельветовые брючки одетой учительнице: нехорошо, мол, получается — отряд-то пионерский, а название у него «Корабль разбойников». — «Да что вы говорите! — удивилась она. — Но это так красиво звучит...»

Абы красиво звучало, там хоть трава не расти.

Повсеместно горят неугасимые вечные огни в запыленных, грязных райцентрах, супротив горсоветов, но кладбище запущенное, коровы по нему и козы бродят; в крупных селеньях и райгородах, где шла война, отряды чеканным шагом ходят, стоят торжественно в форме подле Вечного огня, а поблизости в лесах и полях скелеты валяются и белые косточки убиенных — зато вечный огонь трепыхается.

Или вон столичная мода и до провинции докатилась, повергла ее и возбудила: по сценам гоняют большеротых девок в купальниках, королев красоты выбирают, а в советских городах и селах жрать нечего, очереди, давка на общественном транспорте, грязь в общежитиях, нищета в домах ребенка...

Давно эта запись сделана, десятки лет назад — ничего не переменилось, просто пошлость самоутвердилась, где-то и узаконилась, приняв непривычные и совершенно дикие формы.

Пошлость разъедает наши души, что ржавчина, мы уже привыкли к ней, притерпелись. На возмущение ни сил, ни слов не осталось.

РОКОВЫЕ ЧАСЫ «ПОБЕДА»

У вологжан чувство землячества и потребность общения в крови. Переехав с рабочего, сурового Урала в Вологду, первое время вся моя семья, и я тоже, шарахались от людей, ни с того ни с сего с тобой заговаривавших на улице, в магазине, в автобусе или на вокзале, но скоро привыкли к этому, в общем-то, ненавязчивому обиходу или характеру вологжан. Заговорили с тобой — можешь и не отвечать, головой кивай согласно, для общения и этого вологжанину хватит, он тебе всю душу откроет: про жену, про родню, про тещу, про производство и «поце», куда едет или идет, все, все выложит чистосердечно.

И на писателей это земляческое компанейство распространялось. Где бы ни жил вологодский поэт или прозаик, узнает, что ты из Вологды приехал, — уже родня ему.

Так вот, однажды я прибыл в ялтинский Дом творчества, устроился, отобедал, спускаюсь из столовой вниз по лестнице, ко мне пристраивает-

ся сбоку небольшого роста человек с чуть рыжеватой бородкой, излаженной под «шкиперскую», и говорит:

— Ну, как оно у нас там, в Вологде-то? — Окает в меру, речь негромкая, летучая: — Я — Сергей Орлов, — подает мне руку спутник, — тоже лишь накануне приехал, теперь хоть будет с кем словом перемолвиться, — и предлагает мне пройтись к морю.

Спуск от Дома творчества, разветвленный на высоте, вихляющий вокруг клумб, пальм, старых деревьев и скульптурных изваяний древности вперемежку с творениями соцреализма, постепенно втягивается в улочку с каменными заборами, тенистыми кипарисами и садовками вокруг домов.

В конце улицы, по правую руку, отгороженная железной клетчатой изгородью школа, во дворе которой волейбольная и баскетбольная площадки. Школьники и особенно школьницы старших классов, вполне уже сформировавшиеся в парней и женщин, азартно играют в волейбол, громко взвизгивают, возбужденно кричат, разогрелись в игре, но день и без того жаркий.

Волейбольный мяч, высоко взвившись, перелетел через ограду, покатился по выбитому желобу дороги, я его поймал и забросил обратно во двор. Стройный парень в спортивном костюме, подбирая мяч, сверкнул красивыми карими глазами в сторону Сергея:

— Морду бы тебе, пижону, набить.

— Что? Что ты сказал, молокосос? — не сразу опомнившись, рванулся я к ограде, но Сергей перехватил меня, попросил не связываться, и я уразумел, что за свою шкиперскую бородку, которой прикрывал сожженное лицо, подобного рода комплименты получал он уже не раз.

Мы молча, облокотясь о каменный парапет, посмотрели на море, потом зашли в ближайший ларек, взяли по кружке пива. Видя, что я все еще не в себе, все еще внутренне негодую и киплю, Сергей почитал мне новые стихи. Негромко, словно стесняясь самого себя, со вздохом добавил:

— Хорошо, что ты не просишь читать «Его зарыли в шар земной», устал я уже от этого стихотворения. Не рад, что оно и написалось. По нему только и знают, что есть такой поэт — Орлов.

Хотя и жарко, и тошно было, мы все-таки выпили вина; оба фронтовики, съехали, конечно, в разговоре на военную тему, и я, кивнув на его лицо, поинтересовался, где подпалили, но если трудно, сказал, можешь и не рассказывать.

— Это уже и не трудно, и не больно, — молвил Сергей, — это уже отболело. — И прежде чем рассказать, отпил из стеклянного стакана вина, глядя в сторону глазами с выжженными ресницами, заключенными в розовую сморщенную кожицу и оттого смотрящими совершенно беззащитно и как бы таящими в совсем близкой глубине постоянно плавающую слезу, размывающую иль давно уже размывшую северную застенчивую голубизну.

Простую и страшную, как сама война, историю рассказал Сергей. Где-то невдали от Новгорода получило их соединение девять новых танков, и командир стрелковой дивизии, которую должны были поддерживать танкисты, обалдев от такой боевой силищи, решил с помощью ее взять районный центр: засиделись его воины в мокрых окопах, пора встряхнуться, отличиться, награды и почести получить.

Фронтальная разведка у немцев, как и всякая прочая, работала исправно, о прибытии танков на фронт немцы конечно же сразу узнали, и хотя на этом месте своих танков у них не было, они выстроили крепкий артиллерийский заслон на ударном направлении, хорошо пристреляли пушки, и когда девять танков, девять этих таракашек, выползли в чистое поле, гитлеровцы, заспавшиеся в болотах, не подпустили их и близко к цели, подбили все девять машин прицельным, торжествующе-радостным, осыпным огнем и взялись за пехоту, за десант, свалившийся с танков.

Сергей, командир танка, горел уже второй раз за войну. Друзья-танкисты не бросили и на этот раз своего командира, через нижний люк выволокли его из машины, в которой уже начинал рваться боезапас. Спрятались танкисты в родном болоте, в чахлах кустах и во тьме уже вынесли командира к своим.

Долгое, мучительное лечение в госпиталях, медленное восстановление кожи на теле и на лице. В лоскутках, оно бородой начало прикрываться.

Муки от ранений и ожогов, слезы молодого парня из-за уродства лица, никому не видимые и мало кому ведомые.

Но молодость берет свое. Танкист комиссован домой. В новом обмундировании, с почти новым лицом, сплошь отметины, нос — будто подтаял, голые, считай, неприкрытые глаза — все, все тронута бедствием войны, но бодрый, жаждой жизни и зовом поэтического слова окрыленный, едет Сергей на родину, в город Белозерск, ныне прославленный Шукшиным: именно в нем и возле него снимал он «Калину красную».

В Белозерске танкиста ждала мать, учительница местной школы. И уж как ей Господь пособил, где уж, из чего наскребла она денег на подарок любимому сыну — купила в ту пору очень дорогие часы «Победа».

Принимая подарок от матери, отставной танкист растроганно молвил, как оказалось, роковые слова:

— Вот пока эти часы будут ходить, и я буду жить, мама.

Мать не придала особого значения тем словам, да и сын вроде бы обронил их мимоходом.

Шло время, Сергей жил в Ленинграде, писал стихи, порой хорошие. И стихи, и поэта-фронтовика замечали, отмечали и все время куда-то выбирали. Когда организовался Союз писателей России, его избрали секретарем, сперва представительным от Ленинграда, затем и рабочим.

Он тихо и незаметно переселился в Москву, впрягся в руководящую лямку, помнится, курировал, то есть наблюдал, российские журналы и альманахи, чем мог, помогал им. Особенное внимание его было к литературной провинции и к возобновленному журналу «Наш современник», где главным редактором стоял его друг, и очень близкий, земляк, тоже белозерец родом и тоже Сергей — Викулов.

Ходил Сергей Орлов в заношенном, каком-то стандартном пальтишке всероссийского послевоенного шитья, с пояском и среди франтоватого писательского начальства выглядел сиротски.

Вологодским писателем вдруг привалил фарт: местная кожевенная фабрика начала выделывать из чего-то иль кого-то овчины, красить их в коричневый цвет, одна из местных фабрик стала превращать эти шкуры-овчины в полушубки, именуя их дубленками, и сравнительно недорого продавала местному руководству с каких-то никому не ведомых складов.

Один из небольших партийных начальников, отечески нас опекавший, отметил, что писатели в городе Вологде приличные, но одеты — что тебе портовая шпана, и выхлопотал нам по дубленке. Они, дубленки, были с теплым шалевым меховым воротником и даже меховыми обшлагами. Закавалерили напропалую местные писатели в новых шубах, и главный редактор «Современника», любивший и умевший прилично одеваться, тоже зафорсил.

На одной из редколлегий от союза присутствовал Сергей Орлов, и мы ему предложили сменить одряхлевшее пальтишко на вологодскую дубленку.

— Да как это? Я просить ничего не люблю.

Ладно уж. Ему сказали, просить ничего ни у кого тебе не надо, мы сами попросим и заплатим за одежду деньги, сами и в Москву ее доставим.

На следующую редколлегию в рыбацком рюкзаке я привез в редакцию журнала вологодскую дубленку и с радостью позвонил об этом Сергею.

— Да неужто привез? Ну, так не бывает!

Скоро он приехал в редакцию, мы напялили обнову на его ладненькую, все еще какую-то юношескую фигуру — она пришлась впору.

Я похлопал по плечу одежины и сказал:

— С вас, мистер секретарь, сто шестьдесят рублей. Гоните! И носите на здоровье.

Он радовался одежине как дитя, смущенный, поворачивался так и этак перед зеркалом, вделанным в шкаф с книгами, и две фабричные бирки в тетрадный лист величиной трепетали, порхали по подолу и борту полущубка, по цвету почти что революционного.

— Ну надо же! А! — восклицал кавалер восхищенно. — Ну надо же!

А надеть обнову так и не надел сразу: мне, говорит, надо к ней, обнове, привыкнуть, врасти в нее, тогда я почувствую ее своей.

В Вологде писательская братва долго обмывала знатные обновы, громко радовалась за земляка, но скоро это событие как-то подзабылось.

В тогдашнем мутном времени, в непрерывном восхвалении и непрерывных награждениях еще одного самопрославляющегося вождя (шла гулевая брежневская эра), проматывалась, легко и бесконтрольно обиралась страна, воскурялся кремлевский фимиам новому герою, возле которого грязным облаком вертелись жулье и подхалимы. Журналам, в том числе и «Современнику», жилось трудно, почти каждый номер делался опасным для передовой идеологии и выходил с боем.

Партия и ее предводители, ворье и плуты, расклевывавшие страну, надсаженную войной, в самое сердце, в печень, более всего боялись, чтобы о них не молвлено было слово правды. Цензуре подвергалось все печатное — от наклейки спичечного коробка до пригласительного билета на очередную пьянку по случаю победы в соцсоревновании дворников и очередного подвига русского воинства в Афганистане, выполняющего интернациональный долг. Более позорного, более хвастливого, пустобрешного времени даже Страна Советов еще не видывала.

С властями и секретариатом Союза писателей России, чьим органом был наш журнал, сносился главный редактор и его замы, которые начали меняться, порою не согрев под собой редакционного стула.

Где-то в ту бесстыдную непродышливую пору пробился слух в наш древний тихий город — умер Сергей Орлов. Как так? И в пальтишке, и в новой дубленке выглядевший юношески, несмотря на чуть вьющуюся, начинавшую сесть бородачку... Как так? Не может быть! Уж кто, кто, но не Сергей, давно уж бросивший дурную привычку с выпивкой, никому никогда не жаловавшийся...

— А вот так, — по-коровьи громко и грустно выдохнув, как умел делать это только Викулов, молвил редактор и отвернулся к окну, пряча слезы. — Уже похоронили.

И рассказал, как это произошло. Тяжело, нелепо, канительно умер тихий, скромнейший человек.

Будучи от природы строгого воспитания — мать же учительница, — с детства исполнительный, шепетильный, Сергей Орлов и в Союзе писателей среди болтунов, фарисеев, разболтанных чиновников от литературы исполнял свои обязанности добросовестно и, как ему, бедному, думалось, с большой пользой для литературы, хотя помогать ей становилось все труднее и обременительней.

Писательство все более и более напоминало охотничий промысел: на промысле нюх нужен, чтоб след поймать, струю унюхать и, идя по ветру, лыжи правильно наострить, дабы побыстрее настичь добычу. Тут начал творить главный вождь, и его блевотно-патриотические книжонки затмили собой всю остальную словесность. Отец русской литературы Сергей Михалков под бурные аплодисменты предложил принять товарища Брежнева в Союз писателей — этого дерьма еще там не хватало!

В Союз писателей РСФСР из Совета Министров России пришла дежурная бумага с приглашением на какое-то очередное совещание по вопросам улучшения жизни дорогих советских трудящихся. Самый исполнительный секретарь поехал на это никому не нужное сборище и сел поближе к тяжелым дверям, из которых тянуло свежим воздухом.

Очевидно, он уже с утра чувствовал себя плохо, на дремотном совещании ему сделалось вовсе худо. Он попросил дежурного у дверей позвать шофера Союза писателей.

Прибежал шофер, знавший, видимо, что Сергей чувствует себя сегодня плохо, подхватил его, будто на поле боя, повел вниз по лестнице к машине вместо того, чтобы вызвать дежурящую в Совете Министров медицинскую бригаду, — это была первая роковая напасть того недоброго дня. На лестнице Сергей выпал из рук шофера, ударился о каменную ступень и тут же глянул на руку, на запястье которой носил старые часы с выцветшим циферблатом. Часы разбились, поэт простонал:

— А-ах ты! Разбилась мамина «Победа». Вези меня в «скорую помощь».

Сергей, видимо, тоже не знал, что в этом высоком правительственном заведении есть своя «скорая помощь».

Шофер завез своего начальника в ближайшую больницу. Там ему сделали уколы и отпустили с Богом. Шофер предлагал ехать в писательскую больницу, но Сергей настаивал везти его домой, только домой.

Дома больной сделал еще одну роковую ошибку — последнюю. Его позвало в туалет, и он отправился туда без сопровождающего. Там он с грохотом упал.

Приехала реанимационная машина. По пути в больницу больному рассекли грудь, делали открытый массаж сердца — все было поздно и бесполезно.

Не стало поэта Орлова в 1977 году. Не стало бывшего фронтовика, очень сердечного, очень совестливого человека. В последние годы он писал стихи какого-то уже глобального характера, чуть даже мистические, но мистика эта была чисто земная, российская, доступная нашему мужицкому русскому уху и уму.

Вымидали мамонты на свете.
Рыжие, огромные, в шерсти,
И на всей земле, на всей планете
Было некому по ним грустить.
.....

Говорят, что, сытые и рослые,
Живы братья мамонтов — слоны.
Только мне бывает жалко до смерти
Мамонтов среди белой тишины.

Это стихотворение Сергей прочел на пароме, когда мы, группа местных писателей, ехали в Белозерск и переплывали один из многочисленных заливов. Белое озеро расширили, углубили для судоходства. Родная деревня Сергея Орлова угодила под затопление. Из воды торчал только дырчатый, беззаконный каменный собор, в котором и над которым дико кричало воронье и чайки да бились озеленелые волны в размытые, исчербленные бока храма. И на пути к Белозерску мы видели сплошь пустые, заросшие бурьяном деревни, пустоглазые церковки с сорванными дверьми, просевшие крыши изб, торчащие из дурнины столбы, останки ворот, ветром веющую и кружиму над селениями пыль, семена диких трав да репейников.

Навалившись на деревянные перила парома, поэт как бы для себя, тихо, укромно читал стихи о погибших мамонтах, а мы, глядя окрест, вспоминая дорогу по Вологодчине, слушали и понимали: это о всей забедовавшей России, о нас, вымирающих повсеместно.

Наступало некое столетие —
 Полегла царей природы рать.
 Каково ж в нем одному, последнему
 Было жить?! Не то что умирать...

На этом не кончилась человеческая трагедия — вечером, винясь перед мертвым поэтом, служители реанимационной машины привезли и у дверей квартиры положили окровавленную одежду, среди которой, пропитанная кровью, выделялась старая уже вологодская дубленка.

«Зачем?» — вопрошали ссохшимися губами домашние. «Да мало ли чего? Люди всякие бывают». Молодая медсестра добавила шепотом: «Отстирается. Если с порошком».

Да будет твоя светлая память, поэт, достойным продолжением тебя, посетившего наш мир «в его минуты роковые».

ХРУСТАЛЬНЫЕ БРЫЗГИ

Было это при Горбачеве, в те неожиданные благодные дни «сухого закона», когда перестали валяться по вокзалам и площадям, поездам и общежитиям пьяные мужики и бабы, когда, забывши себя, память и Божий лик, люди не засоряли собой грязные канавы, лужи и лестничные площадки. Кляли, конечно, ругали Горбача за «сухой закон», да когда же на святой Руси не ругали правителей за благое дело? Их даже убивали за это.

Но... но страна немножко очухалась, спохмелья ощипалась, устыдилась самой себя. И вот однажды нахожусь я в алтайской деревне, в гостях у еще недавно вусмерть пившего сельского механизатора и спрашиваю, когда ж и на что успели хозяева так облагородить усадьбу: новый дом и сад, примыкающий к родительским хоромам и подворью, новый гараж с недорогой, но своей машиной, новая баня, новый сарай, скота полон двор, огород на плодovitой сибирской земле от радости дуреет, плоды некуда девать, свиней помидорами и огурцами, иногда и арбузами кормят.

— А вот хозяин мой два с половиной года не пил, зарабатывают же механизаторы хорошо, мы и успели построиться, передохнуть, на ноги встать. Ныне по новой понеслось, — махнула рукой хозяйка. — Теперь уж, видать, и просвету не будет...

В тот же год глухой ночью ехали мы по самой что ни на есть темной саянской тайге к поезду, на станцию со знаменитым именем Кошурниково. Неспешно двигались. Поезд наутре прибывает, идет второй час ночи, успеем еще...

Вдруг из-за таежного поворота компания вываливается: трое мужиков четвертого волокут, один прямиком на радиатор нашего «Москвича» падает, будто амбразуру грудью закрывает. Нападение? Нет, не могут молодые парни на ногах стоять, тем более волочить пьяного и требуют повернуть обратно, отвезти их в поселок, что километров за десять, где-то за горою на реке Кызыр.

Шофер местный ни канителиться, ни драться с пьяными, скорее даже угорелыми парнями не стал, велел им садиться и, когда они сдвинулись от радиатора, рванул вперед по ночной тайге и спустя уж большое время восхищенно произнес:

— Где-то ж нашли! Добыли! Н-ну ру-удознатцы...

Скоро и выяснилось, где нашли, где добыли. Вся станция Кошурниково — перрон, территория вокзала, сам вокзал и даже ближайшие железнодорожные пути — сверкала яркими брызгами, как оказалось, ценного хрустала.

Сложна жизнь! Хитра жизнь!

Извилиста жизнь!

На станцию Кошурниково смелый, головастый предприниматель забросил объемистый контейнер, кое-кто утверждал — полный вагон французского дорогого одеколона, помещенного в еще более дорогую хрустальную четырехгранную бутылку. Посудина редкостной красоты, не менее чем в поллитра объемом. Стоило питье аж двести пятьдесят рублей — еще теми, сбалансированными рублями. Знатки утверждали, что сам одеколон тянул только на пятьдесят рублей, остальную сумму надо было выложить за бутылку с фигуристой пробкой, будь она затыкана и благодетели французы вместе с нею.

Выпив одеколон, яростные характером сибиряки с досады хряпали ценную посудину оземь, если не разбивалась, о рельсы ее, о бетонную урну, мать-перемать. Мужики валялись всюду, вразброс и поленницами, среди невиданного пейзажа, в брызгах хрустала.

Ну где вот на всем белом свете еще такую картину увидишь? Нигде. Бутылки те, хрустальные, я и доселе иногда встречаю по видным сибирским деревням, они используются вместо графинчиков, украшают праздничный стол, в них наливается доподлинная российская водка.

А хозяйина-механизатора из алтайской деревни в живых уже нет. К богатым сибирским селам лепятся пришельцы с далекого экзотического Кавказа, торгуют, воруют, химичат, смешивая непотребный спирт с еще более чем-то непотребным, наклеивают на бутылку бумажку с названием «Водка „Экстра”» и продают местному населению.

Пил эту заразу наш хозяин, еще молодой, крепкий мужик, хворать стал, худеть, желтеть. Прошлой осенью, во время уборочной, плохо себя почувствовал, слез с комбайна, пошел к копне, лег на солому, через какое-то время хватились — уже холоден.

Вот тут и брызги хрустальные, и ночь в тайге, и всякое смешное вспомнишь, да что-то не смешно. Толкую своему приятелю, что меньше, мол, все-таки питье-то стали, и он, являясь зятем отравившегося зельем механизатора, говорит:

— Боятся потому что. — И уточнил: — Грамотеи всякие, интеллигенты пить боятся... — И, помолчав, совсем грустно добавил: — И примерли. Пьющие и ненароком налетевшие на отраву, на этот паленый напиток, вот и меньше пьяных стало на Руси. И наш Серега так вот спекся в поле, на свежей соломе.

ЗАСТУПНИК

По поводу чьего-то юбилея или очередного литературного сборища я приехал в Ленинград из Вологды. Там вечный всем друг-приятель и мне товарищ Глеб Горышин встретил меня, мы с ним отыскали мастерскую, где инвалиды изготавливают наградные колодки, прицепили их к моему новому пиджаку и поехали в Союз писателей слушать умные речи.

На почтенном собрании мы повстречали старшего моего знакомого, хорошего человека и писателя Виктора Курочкина. Втроем в гостинице с незаметно присоединившейся к нам литературной братией обмыли мы знаки, красующиеся на моем форсисом пиджаке, поговорили по душам, не особенно слушая друг друга.

Среди ленинградских творцов почти все, кроме Глеба и Виктора, объявляли себя гениями и к закрытию ресторана делали это все громче и громче. Привычка объявлять себя гениями и до сих пор не вывелась в Ленинграде, дожила до той поры, когда уже не ленинградскими, а петербургскими гениями чувствуют себя местные литераторы. Видать, от сырости заводится гений, сырости же в Питере было и есть много. Писатели средней руки, в большинстве своем дети соцреализма, но рассказыки строчить занятные, веселые все мастаки. Покойные ныне Глеб с Виктором в устном

изложении случаев из жизни равных не знали, разве что романист Деми-денко позанятней их трекал, но он в Китае долго жил, наловчился.

Ресторанного времени на дружеский треп не хватило, компания, точнее, немногочисленная ее часть оказалась в моем номере. Выпивки, прихваченной мной из дома, разумеется, тоже не хватило, и гении куда-то за полночь бегали за зельем, ударно его достали. В этом деле ленинградские вечно безденежные писатели воистину были гениями.

Проснулся я едва живой. На старинном диване, вытянув длинные ноги за крутой кожаный валик, храпел Глеб, уже начавший к той поре терять роскошную свою шевелюру, под ногами у него, положив ладошку под щеку, деликатно посвистывал носом лауреат Государственной премии Витя Курочкин.

Хорошо, уработанно спали ребята, и я подумал, что вот сейчас умоюсь, поскорее рвану в буфет, напиться чаю-кофию, пожую чего-нибудь, воды и еды принесу в номер, разбужу моих гостей. И ох как они, страдальцы, обрадуются и воскреснут, откушав горячего. Правда, и Глеб и Витя, знал я не понаслышке, любят опохмеляться не чаем-кофием и тем более не нарзаном. Однако в десять часов продолжение писательского собрания. Прокоп, как называли своего секретаря Союза писателей Прокофьева мои корешки, по списку будет проверять присутствие каждого члена вверенной ему организации — и не дай Бог узрит с утра поддавшего сотоварища по творчеству. Принародно вон выгонит из зала, мало того — еще затеет прорабатывать в парткоме, на коллективе поставит вопрос об исключении. Витя был членом партии. Чем ему тогда жить? Где быть? С кем?

В буфете очередь, слава Богу, человек десять — не больше. Кто рано встает — тому Бог дает, потер я руки. Особого выбору в ту пору в буфетах не водилось: чай, кофе, мокрые сырочки в обертке, похожей на использованный презерватив, булочки с засунутым вовнутрь темно-коричневым кружочком конской колбасы иль гноем выдавливаемым лоскуточком плавленого сыра, круто варенные яйца, всюду и везде одинаково голубая курица с зябкими прыщами на волосатой коже, рубленая на куски, в середке которой тлела непроваренная плоть. Меня и в здравом, не похмельном виде подташнивало при виде этой красной нутряной куриной слизи, а тут и вовсе нутро свело судорогами, но я вспомнил, что в сравнении с вологодскими буфетами этот не просто богат, но даже роскошен. Мне сделалось легче.

До заветной цели оставалось человека два, уж счастье было так возможно, близко, как налетели в буфет кавказские джигиты, оттеснили остальные дружественные народы вдаль и, кокетничая напропалую с буфетчицей, деля громкие ей комплименты, полезли к весам. Очередь к этой поре изрядно возросла, сзади меня пристроился молодой светловолосый парень. Я видел его в кинохронике, на газетных портретах — это был борец Иван Ярыгин, недавно, а может, уже и давно завоевавший звание чемпиона мира или Европы по борьбе.

Я никакой борьбы, кроме деревенской, ребяческой, не знал и не был ее поклонником, но ко всякому чемпиону, тем более такому, который перехрюпал всех буржуев об пол, относился почтительно. Успел заметить, что Ярыгин угрюм, глаза в землю, исхудал так, что пиджак на нем мешком, и никаких физкультурных иль чемпионских значков на нем нету.

Сосет под ложечкой, ох сосет, чаю хотца, нутро размочить требуется, а тут эти черные тараканы, базарные торгаши обступили буфет и буфетчицу, с вызовом, громко разговаривают, хохочут, тарелки друг другу передают. Ну гадство, нигде от них ни покою, ни проходу. В коридорах гуляли и шумели чуть ли не до утра, спать не давали народу и теперь вот наглеют.

— Эй, вы! — громко сказал я. — Чего без очереди лезете? Совсем обнаглели! Тут, в очереди, и постарше вас есть, и... давно стоят.

И тут же, словно того и дожидался, ко мне подскочил, разом востра обнаглевшими глазами, на пескаря похожий чернявенький молодящечка:

— Мы тебе мешаем, да? Мешаем?

— Не мешаете, но станьте в очередь.

— Мы обнаглели, да? Обнаглели? Чего мальчишь?

— Отстань!

У весов, в кучке черных джигитов, насторожились, следят, пламенея взором, даже покупать закуску перестали.

— Вы, в самом деле, стали бы в очередь, — подала робкий голос буфетчица, и очередь, состоящая в основном из Иванов и Дунк русских, невнятно загудела. От весов, от коллектива черных, как потом оказалось — азербайджанцев, молодому джигиту что-то коротко и надменно сказали, и тот, многозначительно шуря глаз, предложил мне:

— Пойдем выйдем в ка-арридор. Па-аайдем! Пойдем!

— Ты что же, хочешь там продемонстрировать мне дружбу советских народов?

Очередь молчком напряженно наблюдала за нами.

— Там увидишь и дружба, и любоф.

— А не пошел бы ты на...

— Чиво? Чиво ты сказал? — и поймался за рукав моего нового пиджака.

— Отцепись от человека! — раздалось сзади. — Чего ты к нему привязался? Старый фронтвик в очереди стоит, а вы лезете вперед и еще наглее.

Тут же молодой джигит отскочил от меня, переключился на Ярыгина — это он посмел поднять голос в защиту русского народа.

— Может, ты выйдешь со мною? — и сунул руку в карман, изображая, что у него там оружие, нож.

— Ну, пойдем выйдем, раз уж тебе и твоим кунакам, вижу я, охота выйти.

— Выйдем, выйдем! — засеменял джигит впереди Ярыгина, и вся черная братия, попустившись покупками, потянулась следом.

— Чего ж вы стоите? — послышался раздраженный голос буфетчицы. — Пока этих черножопых нету, берите что нужно.

Я уже отоварился, понес тарелки и чашечки с чаем на стол, когда в буфете снова появился Ярыгин, следом за ним волоклась бригада джигитов, и, забега с боку, молодой джигит заискивающе лепетал:

— Пожалста, товарищ Ярыгин, пожалста. Извиняйте. Мы не знали. — И все братские народы встали в очередь, смиренно примолкли.

Тут появились Глеб с Витей, набросились на чай, вяло пожевали чего-то. Я рассказал им о только что случившемся происшествии.

— Надо будет подойти потом к Ярыгину, познакомиться с ним и поблагодарить, — мрачно молвил Глеб. Витя стал чего-то рассказывать о жизни торгашей из братских народов. Он какое-то время работал народным судьей и много чего знал о нашей беспокойной жизни.

Мы затрепались за столом, а когда спохватились, Ивана Ярыгина в буфете не было, время поджимало. Мы похватили шапки и поскорее, бегом на почтенное творческое собрание. Прокоп, он ох и лют...

Это был период, когда чемпион мира, олимпийский чемпион Иван Ярыгин, по словам Глеба, сведущего в спорте, крепко загулял, вокруг него завертелось пьющее кодро, друзей настоящих не нашлось и он, покинув Сибирь, вынужден был искать пристанище в Москве иль Ленинграде, почему и пересеклись нечаянно наши пути в столь нечаянный и столь драматический момент.

Более я воочию славного человека, почти моего земляка, никогда не видал, хотя он стал часто бывать в Красноярске, чем-то тут руководил, чего-то возглавлял, ну, думаю, все равно когда-нибудь увидимся, расскажу ему о давнем происшествии, о котором он, скорее всего, давно забыл, по-

жму ему руку. Но «потом», как это часто случается в нашей жизни, не вышло и никогда уже не выйдет.

Давно уж нам пора научиться за добро платить добром, благодарить за помощь человека сейчас вот, пока тепла его добрая братская рука.

ЗАЧЕМ МЕНЯ ОКЛИКНУЛ ТЫ?

Молодой красивый мужик в темно-красной рубаше с россыпью белых пуговиц, зажмурясь, от всех отстраненный, пел песню мне незнакомую:

Зачем меня окликнул ты?

Это я, гонимый тоской, издалека прилетел в Сибирь, гостевал у любимой сестры в ее однокомнатной уютной квартирке, и она, чтобы развеять меня, порадовать, созвала знакомых в гости. Красавица, добрячка, всем и во всем готовая услужить, сестра моя по застенчивости своей долго оставалась в девках, выскочила наконец нечаянно за нечаянного, нелюбимого человека и теперь куковала с ребенком одна. Подруги и друзья у нее сплошь тоже разведенки и разведенцы — с незадавшейся жизнью, с несложившейся судьбой.

И этот мужик или парень в нарядной рубаше, по профессии инженер, был только что оставлен, брошен женою-вертихвосткой, с двумя детьми брошен, с зарплатишкой инженерной, в такой же вот малосортной советской квартирке.

По роду-племени местный, плакать не умеет, вот и выпевает свою долю-бездолю:

Зачем меня окликнул ты
В толпе бесчисленной людской,
Зачем цвели обман-цветы?

Молчат гости, бабы сморкаются, платочки теребят, предлагают певцу, уже изрядно хмельному, еще выпить, душу размочить. Чья песня-то такая славная, спрашивают.

— Не знаю, — отвечает гость, — недавно явилась и уже народной делалась.

Скоро я узнаю: песню эту написал насквозь комсомольский, всю дорогу бодрый поэт Лев Ошанин.

Здесь же, в Сибири, и свело меня с поэтом, в гостях у моего бывшего школьного учителя и тоже в дальнейшем бодрого поэта, воспевателя новостроек и ленинских мест. Оба они полуслепы были, выпивохи в ту пору ретивые. Это, видать, их и свело. Потом у нас случилась очень хорошая творческая поездка по обским местам. Большой творческой шайкой двигались мы по Оби на теплоходе, и за нами прилетал вертолет, чтобы кинуть нас к нефтяникам или рыбакам на выступления. С Левого хорошо и легко работать было. В какую аудиторию ни войдешь, везде под хлопанье народ скандирует: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».

И хочешь не хочешь, по желанию и призыву трудящихся говорить, петь песни, словом, общаться с народом приходится Ошанину, а мы, устроившись за его спиной, дрыхнем с похмельюги. Читать и говорить Лева умел зажигательно, с энтузиазмом, но однажды все же взмолился: не могу, говорит, братва, больше вострублять, — и в Нарыме, на краю земли, пришлось вечер вести мне, однако народ все равно востребовал Леву, он пошел и, хотя вяло уже, потопал и похлопал вместе с гостеприимным народом.

И везде — от Томска до Нарыма — поэту особое внимание уделялось не только комсомолками, но и просто молодыми, поэзией подшибленны-

ми девахами. Одна деваха, которую Лева потом называл маркитанткой, почти на ходу прихватила Леву еще в Томске, в номере люкс.

Пока мы, прозаики и прочая творческая чернь, в автобусе скорчегали зубами, костерили удачливого поэта за легкомысленность, он читал деве зажигательные стихи. Явился разумыянный, просветленный ликом, плюхнулся на автобусное сиденье и сразу улаженно заснул.

Прозаики, завидуя поэту, материли его сквозь зубы, сулились нажаловаться в секретариат Союза писателей. А поэту, да еще в очках с толстыми стеклами, что? Спит себе и сладострастно улыбается.

Человек мягкосердечный, где-то безвольный и вроде как виноватый перед всеми за свою удачливую поэтическую судьбу, многокнижье, за любовь народа, Лева пытался делать людям добро, и у него это получалось, однако от насмешек, презрения и наветов не избавляло.

Он, особенно после случившейся в доме трагедии, относился к этому со вздохом, порой горьким, но терпеливо.

Учась на Высших литературных курсах, я не раз слышал от студентов Литинститута поношения в адрес руководителя поэтического семинара, который Ошанин сам же и набирал. В одной общежитской компании Литинститута, не совсем трезвой, даже и вовсе пьяной, было два студента, которых Ошанин, будто ржавые гвозди, вытащил из забора тугой жизни, одного аж из секретарей горкома комсомола, другого — из Суворовского училища. Я уже знал, как трудно было Ошанину их вызволять из неволи и пристроить в Литинститут. И вот эти-то двое молокососов особенно рьяно радели в поношениях своего преподавателя, если по-старинному, по-благородному, — благодетеля.

— Засранцы! — рявкнул я на молодняк, не сдержавшись. — Вы еще не написали ничего даже близко к песням «Эх, дороги» и «Зачем меня окликнул ты?», а уже заноситесь. Неблагодарность — самый тяжкий грех перед Богом.

Я и сейчас готов повторить это где угодно и кому угодно, тем более что и сам однажды себя поставил в неловкое положение перед поэтом. Он подарил мне добротню, почти роскошно изданный двухтомник своих стихотворений с сердечной надписью. Я листал книжечки, листал и говорю:

— Лева! Как это тебя сподобило написать такие шедевры, как «Дороги» и «Зачем меня окликнул ты?».

— Не знаю, — снова как бы виновато развел он руками, — с «Дорогами» тайна простая, как-то и где-то нечаянно добавилось к известному русскому слову это «эх», и песня, точнее, пока текст ее зазвучал в сердце. А Толя Новиков точно услышал мой звук. Ну а со второй, твоей любимой песней, как это часто в поэзии бывает, случай помог. Выходил в метро из вагона. Медленно выходил — вижу ж совсем хреново, — меня обогнала девушка, за нею парень, и она говорит ему, почти кричит: «Зачем ты меня окликнул? Зачем?» Я слова переставил — и пошло-поехало... Кнопка эта, даровитейшая баба Пахмутова, вставила песню в кинофильм «Жили-были старик со старухой», с экрана и пошла песня в народ.

...Под конец жизни видел он совсем худо, но как-то по голосу иль еще по чему узнавал меня, ринется, бывало, палкой стуча, палка-то фигуристая, тоже как бы поэтическая, обнимет и скажет: «Рад тебя видеть, Вита!»

Я уже знал, что среди литераторов многие так говорят друг другу, да Лева-то, Ошанин-то, воистину ко всем был приветлив и радовался человеку, да еще давнему знакомому, совершенно искренне.

Издавек слышал, что Лева на старости лет хватанул аж в Америку. Чего ему, насквозь комсомольско-молодежному певцу, грустному, ослепшему старику, делать в этой толстопузой стране? Недоумевал. Но у него на всем свете после гибели жены оставалась только дочь, говорят, она выщла замуж за американца, вот следом за дочерью и двинулся родитель.

Но он успел вернуться в Россию, чтобы умереть дома. Пусть пухом тебе будет родная земля, поэт, а как жизнь прожить и закончить — знать нам не дано, и вернее тебя едва ли кто об этом скажет: «Зачем пришел средь бела дня? Зачем ушел в скупой рассвет? Ни у тебя, ни у меня, ни у людей ответа нет».

СВЕТА

Отец у Светы был начальником в одном очень отдаленном забайкальском районе. Он, как и многие большие и малые руководители той поры, попал под все пожирающую карательную войну, конечно, ни за что ни про что. Его арестовали накануне тридцать восьмого года. Еще до ареста на квартиру полномочного человека был доставлен спецпаек. Праздничный. Щедрый. Дед Мороз по имени Иосиф своих партийных детей одаривал всегда щедро и пайками, и сроками, кого-то, как отца Светы, скорой пулей.

Остались с матерью сестрица осьми лет и братец-отрок шести лет от роду. И уже в Новый год, то есть через день после ареста хозяина, осиротевшая семья ощутила, что без хозяина дом не просто сирота — он пуст и беспомощен, этот дом. В партийном пайке была бутылка шампанского, и сколько ни пытались мать и дети открыть ее, ничего у них не получалось.

За праздничным столом дети с матерью проплакали всю новогоднюю ночь, по-настоящему уразумев, какая трагедия их постигла.

До весны они продержались, меняя вещи на еду, до весны и их продержали в городке новые власти, но как потеплело, начались распары и появились проталины в лесу, их сгребли в кучу с народом, провинившимся перед кем-то, скорее всего перед Богом, и повезли в глубь сибирской тайги.

Их свалили кучею на реке Вилюй, дальше подводы не могли пройти, дорог дальше не было, да и половодье началось.

Более всего в пути Свете запомнились проталины и весеннее солнце, ласковое ко всем — и караемым, и карателям. Придет время, и она назовет свой первый сборник стихов «Проталины», и будет в нем первым стихотворение о родной стороне:

Над Вилюем угрюмым,
Над таежною далью
Встали русские думы
Моей бабушки Дарьи.

Вилюй оказался еще более угрюмым и беспросветным, чем родной Витим. В покинутых бараках, в избах отработанного золотого прииска рядами валялись мужики, бабы, дети, и вымирали также рядами, безвольные, ко всему равнодушные, всеми покинутые, никому не нужные.

Ждали тупо, терпеливо, когда появятся лесозаготовители, начнется сплавная пора и они будут кем-нибудь востребованы. Кто-то привезет продукты, кто-то выгонит на работу, кто-то будет охранять, бить, расстреливать, в коммунизм звать, пока же мор и тишина смертельная.

Выползли сестрица с братцем из душной избы на солнышко, присели на берегу речки и заметили, что речка кишит от рыбы, огненно плаваясь, жировые плавники рыбин наружу торчат, и вспомнили, что в бане иль в сарае того подворья, где они остановились и где, ко всему безразличная, лежала на холодной печи мама, по стенам развешаны сети. Сестрица с братцем приволокли длинную, кибасами гремющую сеть к реке, разобрали ее и вброд перетаскили через речку. Сеть была старая, в дырках, и отроки догадались перехлестнуть речку в три ряда. Потом дети тащили тяжелую сеть на берег, но вытянуть не могли, так много в ней запуталось рыбы.

Света только и запомнила, как в сети буйствовало, били яркими хвостами два крупных тайменя.

Дети пошли в барак и позвали дяденек помочь им вытащить сеть из реки, вынуть запутавшуюся в ней рыбу. Дяденьки вяло матерились, но с нар не поднимались, из барака не выходили. Тогда зашумели на мужиков бабы, стали бить их палками, поленьями, гнать вон из барака.

— Гли-ка, и вправду рыба! — удивились мужики, и с той поры стали они рыбачить, силками зайцев и птицу ловить, проволочными петлями — зверей-маралов, прошлогоднюю клюкву и бруснику семьями собирать. Зоркие ребятишки в старых складах нашли бочки с солью, мешки пусть и с прелой крупой, много нужного добра вынюхали и отыскивали. Жажущие жизни и корма спецпереселенские ребятишки. Сестрица Света с братцем Колей всюду за взрослыми таскались, долю свою от добычи получали и в конце концов заставили шевелиться, с постели подняться одичавшую мать.

Много всего потом будет в жизни Светы: и детприемники, спецприемники, и всякие перевоспитывающие вражий элемент заведения, но головастая девчонка, подчиняясь стихии правильного, целенаправленного воспитания, как-то сумела сохранить личную гордость и независимость.

Наверное, тут ей помогал старый, верный воспитатель — книги и рано в ней проснувшаяся гордая осанка, поскольку в ее жилах вилась и в ее сердце вливалась *кровь поляка седого и татарская кровь*.

Ну да, в жилах каждого сибиряка путается много разных кровей, но не все они к разуму да в лад и к делу.

Природа и порода, хорошая память, гордая осанка, рано пробудившийся талант стихотворца помогли Свете не только выжить, но и утвердиться в жизни, получить образование. Наученная жизнью отверженного человека говорить не все, что думаешь, добывать хлеб своими руками, она отыскала и приютила все так же отрешенно проживающую на свете, навсегда сломленную мать.

Искала и братца. Не нашла.

На своем неласковом, одиноком, сиротском пути Света приобретала не одни только добродетели, пороки ее тоже не миновали: она пристрастилась к спиртному, перепивая, становилась отвратительна, как и все пьяные бабы. Крепкая на слезу, не умеющая, точнее, не наученная жаловаться, пьяная, она растягивала крашенные губы, по щекам ее текли ресницы, пышно взбитая прическа с так к ее голове идущей полосой искусственной седины опадала, растрепывалась, она припадала к плечу первого близко оказавшегося мужика, чаще всего какого-нибудь ветреного поэта, мочила его плечо слезами и жаловалась, жаловалась на что-то. Разобрать возможно было лишь одно: она потеряла братца и никак не может его найти.

Брата потеряла — беда, но вот еще и сережку серебряную с зеленым камнем потеряла — беда совсем горькая. Искала сама, искали сопутники-мужики, под кровать и, конечно, под юбку заглядывали, ладонями по полу хлопали, не закатилось ли украшение в щелку. Но курить, как многие литераторши, Света не обучилась, хотя и привычна была с детства к табачному дыму.

Одинокая душа, ей хотелось прислониться к кому-то родному, к чему-то теплому. На *ходу* иль по пьяному делу Света вышла замуж, но конечно же из брака того ничего путного не получилось. Она поступила на Высшие литературные курсы, уехала из Сибири в Москву и никогда ни добром, ни худом не вспоминала своего мужа.

К этой поре она уже широко печаталась, выпустила несколько книг, хорошо, завистницам казалось, шикарно одевалась. Ей свойственна была особая аристократичность, как заметил один известный поэт. А из «шикарного» у нее и был-то всего лишь воротник чернобурки, так, поэтически говоря, гармонирующий с искусственной сединой на ее голове.

Тут, на курсах, среди литинститутского и прочего бедлама, Света еще покуролесила, покавалерила, студентики бивали из-за нее морды друг другу, богатые курсанты любили посидеть в ее не без претензий убранной комнате, с модным в ту пору Хемингуэем на стене, с Иисусом Христом, писанным каким-то залетным ташистом, с иконкой, еще с Витима всюду возимой, с ковриком над кроватью, с туалетным столиком под казенным зеркалом, заваленным разными флаконами, коробочками, в обиход входящими баллончиками с запашистыми снадобьями для мытья, освежения волос и тела.

Здесь брэнчала меланхоличная гитара, звучали старинные романсы, иногда возникали ругань, потасовки, битье стекла и женские истерические вопли.

После курсов Света еще помелькала там-сям, чаще всего в «гадюшнике», как тогда назывался Дом литераторов, и постепенно исчезла. Насовсем. Намертво.

Возникло имя ее в разговорах чаще всего заезжих в столицу сибиряков, стихи иной раз печатались в разных изданиях. Но сама поэтесса будто в яму провалилась. Ползал слух по столице и ближайшим окрестностям, будто заболела сибирская поэтесса странной болезнью. После курсов, поднакопив денег, она купила в кооперативном доме писателей квартиру, перевезла из Сибири мать и безвылазно жила с нею, не являясь никому на глаза, не подавая голоса и даже якобы с печатными изданиями сообщаясь посредством почты и телефона.

Однажды я увидел ее все в том же Доме литераторов и прошел мимо, не узнав. Она окликнула меня и, жалко морща усохший рот в виноватой усмешке, укорила: «Что ж ты своих земляков-сибиряков не узнаешь? Совсем овологодился!..»

Худенькая, бледненькая, подростка напоминающая, коротко стриженная, под блондинку крашенная, видимо, белым волосам надлежало скрывать ныне уже истинную, природную седину, на послушницу из одинокой кельи похожая, она в этом кротком, отроческом виде была еще более привлекательна, чем та искусственно созданная ею самою пани Светлана, которую она прежде любила и умела с вызовом носить по свету.

Рядом с нею отирался бывший студент Литинститута, парень бросовый, поэт никчемный, вороватый. Он все время пытался дать понять, что является мужем данной послушницы, но она этого не подтверждала, лишь досадливая, презрительная гримаса искажала ее истаивающее лицо, на котором каким-то уже бархатистым отсветом притуманенно светились ее темно-серые, непривычно огромными сделавшиеся глаза.

Как положено талантливому российскому человеку, над ним в определенный час непременно должен закружиться стервятник.

Не вспомню, о чем мы говорили со Светой, стоя среди цэдээловской толчеи, да и спутник ее мешал нам поговорить, лишь щемило мое сердце жалостью, и когда она, прощаясь, поцеловала меня в щеку, я непроизвольно погладил ее по голове и едва сдержал слезы.

Я всегда радовался ее тихим складным стихам, похожим на имя поэтессы. В них было много света, тепла, истинного чувства любви к жизни, негасимое, трепетное прикосновение оголенным сердцем к родной сибирской природе, спасительнице и целительнице ее, в которой «брови тоньше хвоинок и темней соболиных мехов».

Думы памятью вяжет речка с именем Кан.
Льдины стаей лебяжьей держат путь в океан.

Вокруг не видно ни души. Гольцов неровна линия.
...Кедровник, мягок и пушист, в звенящих прядях инея.

В тихую лирику поэтессы постепенно начали вструиваться мотивы одиночества, неизбывной печали, но по-прежнему почти не было жалоб

на свою судьбу, проклятий прошлому времени, вилюйским баракам, обвинений гонителям и погубителям людей.

Ее сердце было создано для любви, и оно верно держало этот настрой. Но вот в стихи Светы пришло отчуждение от этого суетного мира, неизбежное при этом предчувствие манящей дали, приближение той самой «вечной музыки», что звучала и звучит в сердцах истинных, природой рожденных поэтов. Им дано, только им со всей пророческой силой и болью почувствовать, иногда и предсказать свою смерть.

Самопогружение в себя, когда чувства утихают и лишь ощущение их и слабое дыхание иль отзвук его едва доносятся до слуха, когда истаивают краски, звуки, мир вокруг делается в виде аквариума, где сонно плавают цветные рыбки и даже чего-то изредка пугаются, стремительно прыгнув в искусственные водоросли, поднимая муть с искусственно созданного дна стеклянного водоема.

Еще изредка зазвучат, напоминая о себе, реки с такими до слез родными, певучими и милыми названиями: Витим, Вилюй, Ангара, Енисей, — но они текут где-то так далеко, что уж кажутся запредельными, во сне виденными.

Еще долетят в полутемную, тусклым синим торшером освещеную комнату звуки шумящей тайги и падающих, гулко о ствол ударяющихся шишек, еще увидятся поляны, залитые красной брусникой на белом мху, любимой ее, спасительной от всех болезней ягоды, еще донесет с Ангары грохот ледохода, звук прощального гудка, хватающего за сердце, еще заглянут в морозное окно московской квартиры родные скорбные лица — бабушки, брата, так и оставшегося в памяти маленьким мальчиком, еще улыбнутся ей приветливо, махнут с травяного иль каменистого берега рукой друга, чаще мужчины — женщины всегда относились к ней неприязненно, считая ее гордячкой.

Но опять же и Вилюй, и Витим, ясноглазая Ангара в стихах все более и более усмирились, умолкали, становились похожими на сонные, ряской покрытые речки средней России.

Но и у этих речек были и остались свои пронзительные певцы, прославляющие хилые рощицы, боры в сибирский огород величиной, лесочки, садочки без мощи, без колдовской лешачьей тайности в глубине грозной тайги.

Шепотная, ласковая лирика, где все, вплоть до откровенных мыслей, до оголенной боли, пряталось в подтекст. Боязнь уже не просто оголтелой партийной, но самозащитной самоцензуры.

И мука, бесконечная мука. И одиночество.

Печально, что это случилось до срока,
До срока, который дается другим, —
Мне время открыло, что я одинока,
И в том беззащитность моя перед ним.

Чем изящней становились стихи, тем отдаленней от массового читателя. Еще что-то тепленькое, что-то в душе, как в пуховом платке, укутанное просыпалось, порой на бумагу выливалось, но все пустынной, все холодной звучал когда-то юный, пусть и не очень звонкий, не задорный, а свой, песенный, до слез, до сладкого стога, до восторженного вскрика искренний девчоночий голос.

Утихла, обмерла в себе сибирская осанистая, гордая деваха, не одно мужицкое сердце разбившая. «К чему невозвратные дали, в которых затерян мой брат, и годы, что не отрывали над перечнем давних утрат». Место сибирячки занимала московская, в легкий шарф зябко кутающаяся дама, общающаяся с миром посредством телефона. По проводам доносило отзвуки литературных сплетен, до которых она и прежде не была охотницей, да телевизор в комнате матери что-то показывал из окружающей жизни, ве-

шал натренированными голосами уютных дикторш о потрясениях в мире, о грехах и преступлениях людей.

Но как не стало матери, она выключила и телевизор. Насовсем. Навсегда.

Всякий дар мучителен, но мучительней поэтического дара, однако, нет на свете. Вот она, одинокая поэтесса, жизнью, ходом ее, неумолимым и беспощадным, затиснутая в угол, бьется в тенетах не просто печали, а печали болящей, мучающей чувством и словом:

Рок повелел в конце пути
От сна житейского очнуться,
До края пропасти дойти,
И заглянуть, и отшатнуться.
И оглянуться, и понять,
Что никого со мною рядом,
Но долг мой — этот мир принять,
Пустыню называя садом.

Она мучается и защищается словом, пишет много, страдает бесконечно, потеряв, очевидно, ощущение времени, под стихами не ставит ни дат, ни лет. В «Избранном» под стихами стоит просто: 80-е годы.

В июле она в больнице и здесь пишет самые пронзительные, самые черные, душу рвущие стихи, называя их «последними», пишет, ощущая приближение смерти, и начинает ставить под стихами даты: числа дней, а скорее всего — ночей... «Кто там за туманом прячется? Сибирь моя, мать моя, мачеха, свою проглядевшая дочь».

Ох, кабы эта мать и мачеха проглядела только дочь свою мученицу, она и самое-то себя проглядела, отдалась в руки пьяного и разбитного существа под новым, сатанинским званием — преобразователь.

Отсюда, из больницы, последними вздохами, словом, уже более духу, но не человеку принадлежащим, заклинает она:

Снять тоску бы с властей, с детей.
Снять тоску бы с малых людей,
Снять тоску бы со всей страны,
Но и в этом мы не вольны.

Последнее ее стихотворение в больнице помечено 6 сентября 1988 года:

Тихо шуршат надо мною крыла,
Это спешат собраться
Души людские, что я звала,
Но не могла дозваться.

У избранных и муки избранные, отдельные. Их судьба не всякому разуму по силам. Завидуйте, люди, поэтам, завидуйте, они так красиво, так весело, беззаботно проживают свою жизнь, но научитесь их прощать за то, что, беря на себя непомерный груз мучений и любви, они помогают вам быть лучше, жить легче и красивше. За сердечный уют ваш, за житейскую комфортность кто-то несет тяжкий крест скитальца, ищущего и никак не могущего найти пристань в этом бесприютном мире, в первую голову — в России: «Русская профессия — изгнанник — мною не освоена досель», — проговаривается Света, глубоко понимая, трагически осознавая, что и ее мятущейся душе не найти ни покоя, ни уюта, и мучения ее, и тоска — это поэтов удел, и он всевечен.

Не из радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия.

Оттого ее так много на Руси горькой. Оттого и жалеют и ненавидят здесь поэтов, оттого и любят, и мучают их, часто до ранней смерти залюб-ливая. Не береди душу! Она и без того многострадальна, русская душа.

Света не опустила до уединенного пьянства, до курева, звонила приятельницам и приятелям реже и реже, письма писать совсем перестала, но

получать их по-прежнему любила, в особенности из Сибири, да далеко от нее была Сибирь, в сказочную тмутаракань обратившаяся.

Света пыталась сообщаться с нею посредством стихов, распахнуть же дверь, выйти на улицу, сесть в поезд, поехать на родину у нее уже не хватало сил, решимость, так свойственная ей в детстве, покинула ее.

Косогора рыжий скат,
Берег затуманенный.
В речке сломанный закат
Бьется птицей раненой.
Пусть как смоль вода черна
Под рябиной рясною,
Перевитая волна
Льется лентой красною.
Капли падают с весла,
Вспыхивают ало.
Сколько лет я прожила,
Много или мало?

Это еще из той, из первой книжки, из «Проталин», которую я люблю перечитывать. Легко, играючи льются, перезваниваются строчки, будто стеклянные бусинки на веселом праздничном сокуе — оленьей дохе. А вот одно из нынешнего, из остывающего чувства, из гаснувшего дня:

Но когда мои песни спойтся,
Те, на самой последней крови,
В чьем-то грязном подоле зальются
Сбереженные мной соловьи.

Землячка моя собралась умирать, горько вздохнул я, прочитав эти строки в журнале «Новый мир».

Через неделю открыл еженедельник «Литературная Россия» — там имя и фамилия Светы над подборкой стихов уже в траурной рамке.

Как тебе там, Света, прости за каламбур, на том свете? Горит ли вечная лампада над тобой? Хранят ли поэта ангелы и архангелы от шумов и злодеяний земных? Хочу верить, что у ангелов и архангелов будет к тебе отношение помягче, поласковой, нежели у людей; не может быть, чтоб зря ты возносила с просьбой в тягостном предсмертье:

Все же уходя с земной излуки,
Верую — в неведомых мирах
Матери моей зачтутся муки,
Ну а мне — полночный поздний страх.

ЭХ ТЫ, ВАНЯ, РАЗУДАЛА ГОЛОВА

У стойки регистратуры гостиницы «Россия» стоял тучный, потом обливающийся человек и, как ему казалось — про себя, некультурно выражался. На что регистраторша невозмутимо реагировала, кривя язвительно накрашенный рот:

— Гражданин! Если вы еще будете нецензурно ругаться, я позову милиционера.

— Чего? Чего вы сказали? — лез седою, крупною головою в стеклянное окошко тучный человек. Оттого, что был он одет в теплое драповое пальто с воротником какого-то колючего меха, казался еще тучнее, неуклюжей. Шапка из того же меха, что и воротник пальто, серого толстошерстного, была, как видно, в сердцах откинута в сторону на барьер, приделанный к стеклянной загороди со многими квадратными окнами, в одном из которых регистраторша все грозила вызвать милиционера. Выстроившаяся к окну очередь роптала, и многие в ней выражали свое возмущение крепкими словами.

В гостинице «Россия» изобрели еще один способ издевательства над постояльцами: постановили заполнять гостиничные бланки печатными буквами.

Отовсюду, со всей безбрежной России, собирались в Москву писатели на съезд, и большинство из них не могло справиться с наипервейшей задачей — заполнить правильно гостевой бланк.

Администрация гостиницы знала, что, кроме битой посуды, свернутых кранов, лопнувших унитазов, шума, гама, она от пьяных писателишек ничего, никаких воздаяний не получит, и мстительно торжествовала: кэ-эк она этих бланку не умеющих заполнить писак подсидела, а!

Тучный человек извел уже штук двадцать бланков, они вокруг него по барьеру и на полу валялись, будто брызги кипящего вулкана, и сам вулкан, в котором я узнал Ивана К., старого моего приятеля, секретаря одной из писательских организаций прикавказской области, вот-вот должен был начать извергаться, метать пламя и разбрасывать камни.

Трясущегося, чуть не плачущего, темпераментно выражающего свои чувства оттащил я Ивана от барьера, за окошком которого крашенная сетка уже готова была «принять меры к хулигану». Велел Иван снять пальто пуда в три весом, и мы стали вдвоем мучиться с заполнением бланков. Иван постепенно успокаивался, начал рассказывать про свое житье-бытье, — про жену и ребятишек; рассказывать про сад, его руками возделанный — про сад в первую голову, — было для Ивана истинным творческим наслаждением. Тут подсел к нам хлыщеватый джентльмен с фасонисто завязанным галстуком, при коротких, но вроде бы с чужого лица взятых вьющихся бакенбардах и, сладостно морща лицо, будто бритвою исписанное вдоль и поперек, заявил, что, если Иван поставит ему бутылку коньяка и курицу жареную к ней приложит, мгновенно заполнит наши бланки. При этом он все время показывал мне глазами на пузатый чемодан с поломанным накидным замком, перехваченный поперек веревкою. Чемодан этот Иван крепко зажал между ног.

— Иди ты! — Иван послал хлыща не очень уж и далеко, зато выразительно и так громко, что молодая дамочка, прибывшая из самого культурного города страны — Ленинграда — со знаменитым уже поэтом Глебом В., вздрогнула, уронила ручку, та покатила по бланку и замарала его.

— Ну вас! — капризно дернула дамочка плечом с заброшенным на него кисейным шарфиком. Дамочка была привезена поэтом в столицу, чтобы не только бланки заполнять, но и творить иные важные дела, отнюдь не канцелярского направления.

Глеб в ранней молодости мечтал произвести еще одну революцию в самом революционном городе, на этот раз — поэтическую. В каком-то заброшенном моряцком клубе — коли сам бывший моряк, куда еще подаваться! — он организовал кружок, где читались стихи во славу русского народа, во славу морских сил, и если члены кружка говорили, что после Синопского боя морские силы эти никаких больших сражений не выигрывали, ничем положительным не отметились, зато позору натерпелись, того псевдооратора и антипатриота тут же изгоняли из помещения вон.

Нетерпение — вот главный мотив поэзии и козырь того достославного кружка. Здесь даже Маяковского осмеливались называть говном; относительно властей, пока еще только питерских, тоже непочтительно отзывались. Один или два раза на шумные занятия кружка являлся морячок по имени Николай, по фамилии Рубцов, скромно сидел в уголке, мял бескозырку в руках.

Зоркое око тех, кому это око иметь положено, углядело скромно прячущийся кружок, нашло его слишком вольным в стихоизъявлениях, еще более — в речах и потянуло руководителя куда надо. Там ему опытные литературоведы убедительно объяснили, что, когда и как писать, говорить и думать. В будние трудовые дни можно писать и хореем, и амфибрахием,

пояснили ему, но в праздники, особо в революционные, следует писать стихи четкие, маршевые, вперед и дальше зовущие.

Глеб был понятливый малый, он сразу начал правильно писать, широко печататься и недавно даже выиграл конкурс на лучший стих о Джузеппе Гарибальди. Съездил в Италию за премией и вернулся истинным гарибальдийцем. На нем и плащ не плащ, пальто не пальто — в трехцветную клетку, с красивым шнурком вместо верхней пуговицы. Борта этой знатной *лопотины* отделаны черным бархатом, на голове поэта малиновый берет с мышинным хвостиком, на горле — малиновая бабочка с белым крапом. Уж и этого хватило бы для того, чтобы глядеться Байроном в пестрой литературной толпе, так нет ведь, у него еще и трость из заморского дерева с бородавчатыми наростами, излаженная вроде булавы, на которую он опирался обеими руками, обтянутыми перчатками тонкой выделки. С одной руки он от жары перчатку сдернул, чтоб видно было на палец напяленную золотую штуковину с буквами «Д. Г.» — как бы от самого итальянского бунтаря полученную награду.

А как смотрит-то! Как смотрит-то! Поверх голов, вдаль, глаза отчужденны, глубокой мыслью затуманены. И дамочка его разодела во все буржуазное, прическа на ять, перстеня на руке, правда, без букв, перчатка тоже сдернута и небрежно брошена на стол. Строчит по бумажке тонким золотым перышком и небрежно спадающую на висок прядь волос отдувает алыми губками. Эта может хоть по-нашему, хоть по-иностранному правильно писать. А мы вот пыхтим, надсаживаемся и кроем весь свет земляными, окопными выражениями.

Глеб скривил рот, показывая одним глазом на даму, попросил еще раз выражать свои чувства менее круто и, если возможно, вести себя потише.

— Что вы сказали, сэр? — оторвался от бумаги Иван, и Глеб повторил ему свою настойчивую просьбу, после чего Иван выдал длинную-предлинную фразу по-английски. Глеб в войну караваны из Англии сопровождал, немного волок по-английски, главное из того, что Иван ему сказал, понял и заткнулся.

А сказал ему Иван, как скоро выяснилось, следующее: «Если вляпался в говно, ногами не сучи, каблуками не стучи, вонь вокруг не развеивай».

Через какие-нибудь полчаса счастливые, всем все простившие сидели мы в номере Ивана. Ему, как секретарю отделения Союза писателей и члену правления, еще какому-то и чего-то члену, выделили по особому списку отдельный номер. Распоясанный хозяин, на ходу облившийся в ванне холодной водой, растягивал, рвал зубами узел на веревке, опоясавшей чемодан, пытался при этом черными словами заклеить жену, которую, я знал, преданно любил со школьных лет.

Когда Иван наконец развязал или перегрыз веревку и открыл чемодан, голос его задрезжал, по пухлой поэтовой щеке заскользила слеза:

— А лапусенька ты моя! А золотинка блестящая! А ягодка цвету алого! А изумрудинка с родничка Иорданского!..

При этом Иван вынимал из чемодана бутылки, курицу, колбасу, картошку, сваренную и заключенную в какую-то такую, его жене лишь ведомую, тару, что и через двое суток в поезде она хранила тепло домашнего очага, ну уж об огурчиках, помидорчиках, маринованном чесноке, моченых яблоках, соленых арбузах, масле, сметане, яйцах и говорить нечего — тут равных по подбору гостинцев «ребятам», приготовлению их и упаковке, так, чтобы ничего не разбилось и не испортилось, воистину равных по всей Руси ненаглядной жене Ивана не было. Из чемодана волнами катило, заполняло гостиничный номер запахом фруктов, вина и снеди, вышибающими слюну, производящими жадную судорогу в животе и сладкое замирание всего организма человеческого.

— Ты думаешь, отчего я пишу хорошие стихи? — кричал возбужденно Иван, накрывая на стол. — Пусть не всегда, но иной раз ничего ведь по-

лучается, сам говорил. Но столичные критики, бляди, разве ж оценят настоящее слово! Только благодаря ей, моей лапушке, моей изумрудинке, маковке бордовой...

Я поддакивал Ивану, что да, конечно, меня б так же хорошо кормили — я б тоже...

— Умолкни, варяг! Уймись, густопсовый реалист, как тебя совершенно правильно эстеты критики называют. — И, потеряв руки: — Ну-с, с чего начнем? С коньячку, конечно.

Это и всегда, и во все времена на всех писательских сборищах так было — начинали с коньяка, с дорогих вин, заканчивали самогонкой, кто и одеколоном, прихваченным для смачивая волос и освежения потных мест на теле.

Мы с Иваном все же успели посидеть вдвоем, выпить и поговорить, потом на свет, на вкусные запахи потек народ. Где-то ближе к полуночи объявился у нас и ленинградский поэт Глеб, парень очень талантливый, но горячий — гарибальдиец же! Приревновав свою спутницу к щеголеватому московскому поэту, он ее отлупил и замкнул в номере. Не балуй! Явился Глеб к корешам излить свое горе, почитать новые стихи.

Читали вперебой, пытались иной раз перекричать соперника-поэта, хвалили друг друга и хвалились безудержно. Провинция ж, кто там похвалит. Иван, гостеприимный хозяин, всех угощал и сам угощался, но вдруг сказал:

— Довольно бахвалиться! Сейчас я вам почитаю англичан, и вы, витии областного масштаба, быстренько уйметесь, если совсем не обалдели от себяславия, от посконной фанаберии.

Иван прекрасно знал английскую поэзию, в том числе и старую, в совершенстве владел английским языком, «для себя» переводил потихоньку обожаемых Шелли и Китса.

По мере того как он читал, стоя возле окна, гордо вскинув крупную, хлопотливой умелицей женой лесенками стриженную голову, в комнате утихали страсти и наконец наступила благоговейная тишина.

Дураки возле Ивана никогда не держались, братишки наши местечковые, певцы березок, принимавшие Ивана за своего брата, отсеялись, гуляли в других номерах, но появился тот, что предлагал за бутылку заполнить бланки, в носках явился, ноги битым стеклом порезаны, модный галстук вбок, на жилете пуговицы с мясом оторваны, дрался с кем-то, уверял — с кавказцами.

— Испятнали, испятнали дорожку, — впала в панику горничная. — Ой, какого-то писателишку прирезали!

Поскольку след вел в наш номер, заглянула к нам и, не обнаружив убиенного, сказала:

— Уж хоть бы форточку открыли!

Иван читал Чосера, Говарда Серрея, Эдмунда Спенсера, Уолтера Рэли, Джонсона, Марло и, конечно, Байрона. Творцы соцреализма и не слышали никогда таковых. А начал Иван чтение с древнейшей лирической баллады «Эдвард» в знаменитом переводе знаменитого Алексея Константиновича Толстого. Иван даже не читал, а распевно вел рассказ о том, как некий Эдвард, скорее всего рыцарь-бродяга, явился к матери с обагренным кровью мечом и сначала туфтил, уверяя ее, что сокола зарубил, а мать ему в ответ: «У сокола кровь так красна не бежит, твой меч окровавлен краснее», ну, бродяга сын лепит дальше, что коня красно-бурого убил, а мать обратно не поверила, и наконец признался злодей, что отца родного заколол, — мать ему насчет такого греха: «Чем сымешь ты с совести ношу?»

Вроде бы дремавший над столом гость с порезанными ногами, в окровавленных носках поднял голову и категорически изрек:

— Херня все это! У нас нынче лучше, — и пьяно заблажил: — «Я мать свою зареза-аал, отца я заруби-ыл, за ето пре-ступленье в тюрьгу угоди-ыл».

Оскорбленный за слово вообще, за великую британскую поэзию в частности, Иван сгрел гостя, бывшего до него секретарем отделения Союза писателей, за загривок, будто кутенка, уволок и забросил в его номер. Не мешай внимать великому слову, щенок!

— Извиняйте, ребята! — Иван как-то уж не к душе, с досадою, мимоходом выплеснул в себя питье из стакана, почитал еще Байрона: — «Прости, любимый берег мой, крик чаек грусти полон», — но уж без чувства прежнего, без внутреннего переживания. Да и зазвучала любимая песня Ивана: «Ой да ты калинушка-размалинушка», люди обнимались, любили друг друга...

Иван, великолепный рассказчик, не удержался, поведал о своей службе в Иране и пламенной любви к персиянке, его там постигшей.

Кого куда, нашего ж Ивана занесло служить в сопредельное государство Иран. Его военная часть что-то там от кого-то стерегла иль подкарауливала. Часть небольшая, почти вольная, никем почти не контролируемая. В стране Иран тепло, кормят досыта, не стреляют, хотя на свете идет война.

На всякий случай возле железной дороги поставлены вышки, и на них с винтовками солдаты торчат, смотрят, не ползет ли где лазутчик пути взрывать либо гайки на рыбацкие закидушки отвинчивать. Врагов нет, но путейцами, как и в родной Стране Советов, в основном работают женщины, на тележках рельсы возят, железяки тяжелые, молотком огромным костыли забивают, тут же на обочине располагаются поесть, солдату-урусу рукой машут: иди, мол, с нами потрапезовать.

Иван, человек от природы башковитый, общительный, на слух взял и выучил по-персидски три слова — «здравствуй», «до свиданья» и самое во всех землях заветное слово «любовь». И что вы думаете, этого запаса слов ему вполне хватило, чтоб договориться о свидании с молодой черноокой персиянкой, стеснительно закрывающейся платком.

Зачастил наш Иван в путевую казарму, где у путейцев было что-то вроде общежития, рабочие там жили понеделно. Неделю, значит, дома, на ближайшей довольно неприятной станции, прижавшейся к горам, весной — на склонах и в долинах зеленых и даже чем-то цветущих, по ущельям потоками гремящих, летом мреющих от зноя среди выгоревшей под солнцем растительности и съездившихся в долинах кустарниках.

Ничто не могло удержать Ивана в военной казарме. Под пекущем солнцем, встречь секущим ветрам, зимою, довольно холодной, Иван напролом рвался к своей персиянке, познал такое блаженство любви и пламенной страсти, которые во всей полноте мог оценить разве что атаман Разин, да вот взял и зачем-то утопил персидскую княжну в Волге. Может, и не топил, наплели на человека хитроумные историки, сластолюбцы-поэты в песню вставили, и живет века черный навет на атамана, а народ наш веселый по пьянке радостно горланит о том, как погубил живу душу бессердечный разбойник.

Иван лелеял свою персиянку и не то чтобы топить — по правде говоря, топить-то местность не позволяла, — повысить голос на нее не смел. Обалдел он, рассудком ослабел, в самоволки начал бегать, устав нарушать, и до беды чуть дело не дошло.

Он как раз в самоволке и был, когда поступил приказ: военной части Ивана сниматься, домой возвращаться. Ладно, в ночное время случилось это, и ребята-сослуживцы условленным сигналом прожектора полоснули по окну путевой казармы, в которой, сгорая от всепожирающей страсти, сладострастничал Иван.

Едва он успел в расположение, едва в вагон заскочил, как тут тебе и отправление, без гудков и сигналов, граница-то рядом, не дай Бог отстать — засудят.

А возлюбленная-то нашего поэта не хочет отпускать, виснет на шее русского воина и точно в бреде лепечет: «Ванья! Ванья!» — выучила ведь, выучила имя-то русское, и оно звучало у нее как-то совершенно музыкально.

За вагоном бежала несчастная персиянка, руки вослед тянула, до самой границы бежала, падать начала, уж у шлагбаума, за который ее не пустили пограничники, замертво устелилась и все руки тянет, все зовет: «Ванья! Ванья!»

Умолк Иван, к окошку отвернулся.

Народ сказал «да-а», я налил в стакан лекарства и подал Ивану — подзажившую рану усмирить иль разбередить — и только повторял следом за компаньонами «да-а», еще спросил сокровенное: жена-то хоть знает, что с Иваном приключилось на чужбине? Иван молвил, что он, как человек чести, своей давней соученице и невесте все начисто выложил. Она, конечно, поплакала, поревновала его к прошлому, да еще к такому яркому прошлому, но смирилась, теперь уж что об этом говорить, двоих детей вырастили, сад совместными руками создали. И какой сад!

Но иногда Иван во сне иль наяву все еще слышит голос издалека: «Ванья! Ванья!» — и просыпается в слезах.

Жена сразу насчет сердца спрашивает, капель капает трясущейся рукой — сдает сердце-то у богатыря Ивана, боится жена за него, за детей боится, когда загуляет Иван, боится должности его секретарской — завистников много, боится, когда Иван читает стихи по-английски: ей все, что не по-русски, кажется антисоветским, боится, что вот сюда, на съезд приехав, лишнее бы чего не ляпнул, не то б съел, не туда б сел, с начальством не поругался бы, стукачей бы в комнату не напускал — они, проклятые, кругом выются, что комары, — а еще говорят, в Москве все телефоны прослушиваются. Но все-таки главное, чтоб сердце не поехало, не расписывался бы обожаемый Ваня, где не надо выражаться бы не начал, в неполюбованном месте безмолвствовал бы и не горячился. И домой хоть в каком разобранном виде вернулся бы супруг богоданный, дорогой, она уж тут его отходит, ублажит.

Ах ты, Господи Боже мой, да и моя жена, и жены все наши писательские того же самого боятся.

Я зову Ивана немного поспать перед съездом; светать начинает — тяну вполголоса, но выразительно: «Пусть солдаты немного поспят» — и собираюсь увести к себе: мол, устроимся как-нибудь на одной койке иль на диван его уложу, если диван не занят. Иван философски возражает: спать, мол, нам предстоит тысячу еще лет, но вот наговориться, рассвет на Москве-реке встретить, может, и не доведется.

У Ивана в номере все занято — на кровати, вольно раскинув ноги, в обнимку спят московский строгий критик и кемеровский прозаик, большой затейник и говорун. На диванчике в полусидячем положении устроились дети братских народов, один не то мариец, не то мордвин всю ночь выкрикивал, что русские погубили его народ, язык и древнейшую культуру.

Этого язычника собирались побить. Хозяин не дал.

В середке, опустив помочи, сдержанно похрапывал пузатый мужик, недавно исключенный из партии за многоженство, хотя женился он лишь второй раз, да прежняя жена его такой хай подняла, что мужик едва живой остался, слава Богу, хоть в Союзе писателей удержался. Странно: узнав недавно, что я живу с одной женой больше сорока лет, румяный, веселый секретарь Союза писателей, из военных выбившийся в мастера слова, грозился начать кампанию по исключению таких, как я, динозавров из Союза...

Третий гость, неловко свесивший клиновидную, облезлую от детской золотухи головенку через перильца дивана, вятский по происхождению, славен был тем, что ловко косил под национального поэта редкостного, никому не известного народа, с языком, тоже мало кому известным, и до того он довел свое открытие, что его избрали секретарем местной писательской организации, а в монографиях, учебниках и энциклопедиях называли родоначальником национальной литературы.

Как и когда эта публика оказалась в номере Ивана, сказать было невозможно, состав пирующих у хлебосольного хозяина за ночь сменялся трижды, если не четырежды.

Ленинградский поэт Глеб являлся раза три; поспав поперек кровати в ногах двух гостей, вдруг вскочил, схватился за голову: «У нее, у биксы ж, запасной ключ есть! И горничной позвонить может, та и откроет. Она ж там... А я тут... У-у-бью, уубью!»

И убежал, и, слава Богу, больше не являлся. Иван прибрался в номере, объедки в корзину сгреб, пол подмел, помыл посуду, на ходу натюрморт на стене поправил и все говорил, говорил.

Не с кем мужику общаться, всех это провинциалов беда, если они имеют хоть какое-то стремление к самосовершенству и не совсем одичали.

Всходило солнце, мы придвинули стулья к окну и во все глаза смотрели на чудо зарождающегося дня. И где оно зарождалось-то? Над шпилями башен, над луковицами позолоченных храмов, над звездами и крестами, над огромным русским городом, и в душе Ивана, как и в моей, верил я, звучала, звучала бессмертная, родная сердцу мелодия Мусоргского. Иван, одетый в голубую полосатую пижаму, зябко обхватив плечи, весь от восхищения и счастья трепетал и с дрожью в голосе повторял и повторял:

— Хорошо-то как, Господи! Хорошо-то как!..



ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ



НЕНАПИСАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Париж

Мне подарили старый план Парижа.
Я город этот знаю, как Москву.
Настанет время — я его увижу:
мне эта мысль приставлена к виску.

Вы признавались в чувствах к городам?
Вы душу их почувствовать умели?
Косые тени бросил Notre-Dame
на узкие арбатские панели...

.....
Настанет время — я его увижу.
Я чемодан в дорогу уложу
и: «Сколько суток скорым до Парижа?» —
на Белорусском в справочной спрошу.
1955.

Мама

К составу уже паровоз подают.
Мы провожаем маму на юг.

Мы стоим с отцом посреди перрона,
курим, засунув руки в карманы.
Мама — в окне голубого вагона,
лицо озабоченное у мамы.

В морщинках лицо в оконном просвете
глаза мои словно приворожило...
«Не женюсь! — говорил. — Ни за что на свете!»
Ты смеялась и волосы мне ворошила.

Мама! Что там говорят мне губы? Не слышу!
Я часто не слушал, что они говорили.

Плисецкий Герман Борисович родился в 1931 году в Москве. По образованию филолог. Будучи человеком независимым, в советское время принадлежал к непоощряемым авторам. В журналах печатался мало и редко, много писал «в стол» и переводил. Автор известной в списках поэмы «Труба» — в память о задавленных на Трубной площади во время похорон Сталина. Только в 1990 году в библиотеке «Огонька» вышел его первый и единственный сборник стихов — тридцатистраничный «Пригород». Скончался 2 декабря 1992 года от болезни сердца. В конце жизни составил книгу под названием «Мемориал». Она до сих пор не издана.

Публикация Д. Г. ПЛИСЕЦКОГО.

А ты не спала, когда, снявши ботинки, стараясь тише,
я крался на цыпочках по квартире.

Вот отец: он уверен, что провожают,
приходя на вокзалы за час до отхода.
Он не знает, что матери не уезжают —
сыновей уносят курьерские годы.

А матери стоят на отшибе
в обнимку с годами нашими детскими,
именами уехавших по ошибке
внуков зовут и не ладят с невестками...

Мама! Не слышу! Что там говорят твои губы?
«Будете мыться — носки в комод...»
Паровоз выдыхает белые клубы.
Поезд уходит. И мы уходим.

1956.

Дом ЦК

Году, кажись, в тридцать седьмом
квартиру дали бате.
Отгрохали огромный дом
цекистам на Арбате.

В квартале старом он стоял
с особняками рядом
и переулок подавлял
гранитной колоннадой.

Внизу был нулевой этаж
и вестибюль с диваном.
Дежурил в вестибюле страж
на страх гостям незванным.

Мой батя был из работяг.
Ему переплатили.
Он чувствовал себя в гостях
В трехкомнатной квартире.

Вокруг цекисты жили те —
над нами и под нами.
И бабка их по темноте
считала господами.

Я задираю их сыновей,
от ярости бледнею,
чтоб доказать не кто сильнее,
а чей отец главнее.

На утренниках мне пакет
с конфетами дарили.
За детство наше мы портрет
вождя благодарили.

Я счастлив был. Поверх домов
на Кремль далекий глядя,
я видел, как взамен орлов
монтажник звезды ладил...

Мы переехали потом.
Прошло двадцатилетье,
но он все тот же, этот дом,
колонны, окна эти.

Все тот же нулевой этаж
и вестибюль с диваном.
Дежурит в вестибюле страж
на страх гостям незваным.

1957.

Ночная площадь

Вдруг показалось: это Космоград,
ракетодром с посадочным пространством!
А вот и черный звездный циферблат —
вокзальные куранты на Казанском.

И я сошел с «Серебряной стрелы»,
с обычного межзвездного экспресса,
и в памяти моей живут миры
с иною мерой времени и веса.

И незнакомой показалась мне
Москва, и на какое-то мгновенье
я вдруг вообразил, что на Земле
живут уже другие поколения.

Где в Космограде переулочек мой?
На землю с неба возвращаться трудно.
Я покажу прописку: я — земной!
Прошла всего лишь звездная секунда.

1960.

Прошедшие мимо

Прошедшие мимо, вы были любимы!
Расплывчат ваш облик, как облако дыма.
Имен я не помню. Но помню волнение.
Вы — как ненаписанные стихотворенья.
Вы мною придуманы в миг озаренья.
Вы радость мне дали
и дали отвагу.
И — не записаны на бумагу!
Другие — написаны и позабыты,
они уже стали предметами быта,
а вас вспоминаю с глубоким волнением...
Я вас не испортил плохим исполнением.

1962.

* *
*

На тахте, в полунощной отчизне,
я лежал посередине жизни.
В возрасте Христа лежал, бессонный,
в комнате, над миром вознесенной.

Там, внизу, всю ночь, забывши Бога,
содрогалась в ужасе дорога.
Скорых поездов сквозные смерчи
налетали, словно весть о смерти.

Ничего не зная про разлуку,
женщина спала, откинув руку.
В эту ночь, часу примерно в третьем,
я лежал, курил — и был бессмертен.

1964.

* *
*

Свернул я, перепутав города,
однажды на Сенатскую с Арбата.
Я твердо помню, что спешил куда-то.
Но вот вопрос: откуда и куда?

Я смутно помню замыслы поэм
про доблести, про славу, про победу...
Хотелось землю мне, как Архимеду,
перевернуть! Но вот вопрос: зачем?

К жене спешил я или от жены
к возлюбленной, как в зале по паркету,
но все равно я упирался в Лету
и понимал: мосты разведены...

1987.

Кот Кузьма

Накануне катастрофы
(да не личной — мировой!)
про кота слагаю строфы.
Здравствуй, кот сиамский мой!

В час ночной, когда не спится,
с черной мордью бандит
вспрыгнет — и на грудь садится,
и в глаза мои глядит.

Нет, увы, ни авторучки,
ни бумаги для письма.
Ни копейки до полочки
нет в заначке, кот Кузьма.

Погасает папироса.
 Не уснуть мне до утра.
 Не ори гнусноголосо,
 что тебя кормить пора.

Боль тяжелая в затылке,
 стеснены мои виски.
 Я, конечно, сдам бутылки
 и куплю тебе трески.

Я устал умерших кошек
 зарывать, как тайный клад,
 так, чтоб видеть из окошек
 место, где они лежат.

Я теперь совсем не воин,
 я давно уже не тот,
 я теперь почти спокоен:
 кот меня переживет.

1987.

* *
 *

Евгению Рейну.

Твой город опустел. И Петр, и Павл
 из-за реки грозят кому-то шпилем.
 Державный призрак потонул, пропал,
 приливный шквал сменился полным штилем.

Все отлетели. Отошли. Тоска.
 Так в смертный час уходит дух из тела.
 Но и моя кипучая Москва
 вся выкипела. Тоже опустела.

Виденья обступают и меня.
 Они все ярче, чтобы не забыли.
 Гораздо ярче нынешнего дня
 и ярче, чем когда-то в жизни были.

1988.

* *
 *

1

Сонечка из-за канала
 носовым платком махала.
 Мальчик шел — случайный зритель.
 Ехал царь-освободитель

и погиб с бомбистом вместе.
 Мальчик был убит на месте.
 Первомартовская шутка,
 от которой как-то жутко.

2

Царь Николай по городу гулял.
Таилась в отдалении охрана.
Он в Летний сад входил. Но вот что странно:
никто из-за решеток не стрелял!

Царь Александр освободил крестьян.
Он в целом всех Романовых полезней.
Но как назло из всех щелей полезли
герой, бомбометатель и смутьян.
1990.

* *
*

Ты отомстила мне в гробу
за все обиды и измены.
Темна лицом, как кровь из вены,
лежала, закусив губу.

Я сильно сдал за этот год,
что провалялся по больницам.
Так брошенный тощает кот
и тени собственной боится.

Я превратился в старика:
усохли мышцы, грудь запала,
и не дается мне строка,
забыв, как весело давала.

Колдунья! Ведьма! Хохочи!
Ты всю мою мужскую силу
с собою унесла в могилу,
навечно спрятала в ночи.
1992.

* *
*

Пребудет тайной для меня
твое предсмертное мгновенье
до самого конца творенья,
до Судного, надеюсь, дня.

Остекленевшие глаза,
в которых вечность отразилась,
и та последняя слеза,
что по щеке твоей скатилась.

Какая мысль тебя прожгла
в миг одинокого прощанья?
Скорей всего, что жизнь прошла,
не выполнивши обещанья.

Чего от этой шлюхи ждать,
коль весь расчет ее на теле?
Она и знать не захотела,
что можно бестелесным стать...

1992.



АНТОН УТКИН



ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Рассказы

ПОПУТЧИКИ ИНЖИРА

Василий Александрович сел в поезд в Лоо. Было уже темно, и на путях, как волшебные цветы папоротника, горели разноцветные огни. Купе ему досталось первое от проводников, место второе, верхнее, вагон неимоверно старый, и возникал вопрос, почему он до сих пор не списан и портит людям настроение.

В обшарпанной клетушке уже сидели женщина и мальчик. Василий Александрович поднял рюкзак и задвинул его в нишу над дверью, с краю положил ледоруб. Женщина поспешно встала, может быть, думала, что ему надо положить вещи под сиденье. У нее были худые бедра, большая грудь и большие ступни в голубых туфлях с порванными задниками и побитыми носками. Мальчик смотрел исподлобья и хмуро.

Василий Александрович выложил на пустой столик, весь исцарапанный ножами, флягу, поставил кружку, посидел, поглядел, отвернув занавеску, в окно.

Поезд долго тащился вдоль берега, по насыпи поросшего травой, слежавшегося щебня. Рельсы бежали почти у самой кромки моря. Между железнодорожным полотном и водой тянулись пустые холодные пляжи. Слева, ниже полотна, рос кустарник и мелькали черные деревья.

Василий Александрович бросил на столик пачку сигарет и коробок со спичками, достал, подумав, книгу, купленную на толкучке в Сочи, — Теофил Готье, «Путешествие в Россию» — и принялся читать. «Они не спят всю ночь, не знают, что такое шнур, — открывают сами дверь по первому зову», — читал он, но почему-то никак не мог сдвинуться с этой строчки. Тогда он стал снова смотреть в окно.

Косматые очертания теней захватывали каменный парапет, за которым скользили вагоны, и уносились прочь вместе со столбами передачи. Из-за туч выбилась луна, и на равнине воды образовалась дорожка спокойно переливающегося света. Кое-где на гальке в беспорядке лежали перевернутые бетонные блоки, похожие на разбросанные детские кубики, некоторые из них окунались в воду. Волнорезы через ровные промежутки уходили с берега в море, поблескивая мокрыми боками, в их пролетах с усилием ворочались волны, у края воды тонкими мазками вспыхивала пена и тут же исчезала, залитая новым гребнем.

Хмурый проводник принес стакан в подстаканнике, сахар и пакетик заварки без опознавательных знаков. На ногах у него были матерчатые та-

Уткин Антон Александрович родился в 1967 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. Автор опубликованных в «Новом мире» романов «Хоровод» (1996, № 9 — 11), «Самоучки» (1998, № 12), повести «Свадьба за Бугом» (1997, № 8). Лауреат премии журнала «Новый мир» за 1996 год.

почки, тугой живот нависал над пряжкой потертого ремня и при каждом его движении будто колыхался под темно-синим шелком рубашки. Говорил проводник с акцентом, растягивая гласные, и носил черные, толстые, с острыми концами усы. Руки его были грязные от угля, как будто прокопченные, с короткими крепкими пальцами и толстыми нестриженными желтоватыми ногтями; от него исходил неприятный острый запах — помесь пота и чеснока. Женщина, освобождая ему дорогу, с готовностью подбрала ноги и смущенно улыбнулась.

— Хотите? — Женщина извлекла из сумки пластиковую баночку с шоколадным маслом, глянула на Василия Александровича и сняла круглую крышку. Масло отливало копченым блеском, таким же точно, как руки проводника, на поверхности виднелись следы чайной ложки.

— Нет, спасибо, — ответил Василий Александрович. — А вы что же?

— Мы-то уже пили. Больше ничего нет, — сказала она так же нерешительно, как будто должна была что-то непременно дать. Даже смотрела она немножко виновато. Мальчик сидел тихо, уткнувшись в окно, или молча поглядывал на мать.

— До Ленинграда едете? — спросила женщина.

— Да, до Петербурга, — ответил Василий Александрович, — до конца... А вы?

— До Курганинска, — сказала женщина, виновато улыбувшись. — Знаете?

Василий Александрович кивнул:

— Видел в расписании.

— Без билетов едем, — сообщила женщина. — Так нас посадили. — Она повела головой в сторону проводника и на мгновение опустила глаза. — Лето кончилось, а билетов нет, — торопливо проговорила она, — что же такое? А?

— Да, — сказал Василий Александрович, — нет билетов почему-то.

— А вы до Петербурга, значит? — еще раз спросила женщина, и мальчик повернулся и тоже глянул на него.

— До Петербурга, — повторил Василий Александрович.

Женщина рассмеялась своей забывчивости, но тут же в смущении сомкнула губы.

— Что там, в Петербурге, творится? — спросила она с осторожной улыбкой.

— Да что творится? — усмехнулся Василий Александрович. — Живут люди. — Он представил непременно дождь, самодостаточную суматоху, вспомнил, какие дела надлежит ему сделать по приезде в первую очередь, и мысли его полетели вперед — к слякотной осени, к грядущей зиме, о которой так приятно вспоминать, когда до нее далеко, как до смерти.

— Да, понятно, — сказала она и взглянула на мальчика. — Ты кушать не хочешь?

— Не, — ответил тот не оборачиваясь.

— Везу инжир вот, — сказала женщина, — сорок килограммов.

— Зачем так много? — отозвался Василий Александрович.

— Да если бы много. На продажу, — сказала она. — Там купила у абхазцев, в Веселом, дома продам на базаре. Больше тяжело мне везти, рада бы, да не увезу просто. У нас так многие делают. А то и не проживешь. — Она еще раз с грустной нежностью посмотрела на мальчика, который безучастно глядел в окно. — Не проживешь, — вздохнула она и погладила мальчика по льяным спутанным волосам. — Ни у кого денег нет, забыли уже, какие они. — Она все время виновато улыбалась, что-то было в ней жалкое, быть может, и забытое.

— Ну и почему продавать будете? — спросил Василий Александрович, чтобы что-нибудь сказать.

Она назвала цену, по которой рассчитывала продать.

— Да еще успеть надо. Испортится — пропадет, — объяснила женщина. — Инжир, он плохо хранится, не лежит.

После этих слов разговор как-то прекратился. Василий Александрович в который раз уставился в книгу, но опять не мог сосредоточиться и отвлекался по всякому поводу. «Они не спят всю ночь, не знают, что такое шнур, — открывают сами дверь по первому зову», — читал он, и дальше точки не за что было уцепиться, и мысль срывалась с этой точки, а глаза, описав магическую петлю, непонятным образом возвращались к первому слову. Он вздохнул, отложил книгу и вышел курить.

В коридоре было пусто. Кипел титан, покрашенный белой краской с желтоватым оттенком; из краника с деревянной, затертой копотью ручкой в подложенную тряпку с небольшими интервалами капала вода.

Когда Василий Александрович вернулся, женщина, облизывая губы, закрывала баночку с шоколадным маслом круглой гнущейся крышкой, которая вихлялась в ее пальцах, а мальчик осторожно перелистывал книгу Теофила, выискивая картинки.

— Ничего, ничего, — сказал, улыбнувшись, Василий Александрович, — пусть посмотрит. — Но мальчик при виде его тут же закрыл книгу и отсел к окну.

Дорога повернула от моря, и поезд втянулся в ущелье. По обе стороны пути восстали черные горы. В некоторых местах скаты их были словно срезаны, и даже в темноте было заметно, как выступает наружу обнаженная, размытая и вздыбленная скальная порода. Там и сям вдалеке на склонах мелькали фонарики во дворах каких-то неизвестных поселков и светились прямоугольниками окна домов.

Легли спать. Василий Александрович лежал на верхней полке, мальчик и женщина внизу. Из коридора в вентиляционные прорези двери с закругленными краями пробивался свет, а сама дверь, изредка постукивая, болталась в стальной раме. Временами этот стук становился частым и почти дробным. Василий Александрович приподнялся, сложил вчетверо газетный лист, потом еще вдвое и глубоко засунул его в щель, лег и отвернулся к стене. На том месте, где некогда помещалась сетчатая полочка для мелких предметов, остались лишь два винтовых отверстия, в которых стоял тусклый желто-коричневый свет смежного купе — того, где находился проводник. Мальчик лежал тихо: спал как убитый. Женщину тоже не было слышно. Когда вагон легонько покачивался на переплетях рельсов, начинал дребезжать в подстаканнике стакан и так же внезапно прекращал и стоял неслышно. Внизу под полом сдавленно и глуховато постукивали колеса.

Первое время за стеной у проводников было спокойно, потом заерзала туда-сюда дверь, донеслись громкие голоса. Слышался звук сдержанно льющейся жидкости, позвякивало стекло, шуршала газета. Голоса гуляющих то раздавались совсем рядом, над самым ухом, то превращались в невнятное, далекое, обрывочное бормотание.

— Я Володя, — громко и с вызовом сказал один из них. — Из Ростова.

На несколько секунд все голоса смешались в единый гул. Кто-то — женщина — смеялся высоким голосом. Смех журчал, как вода в неисправном туалетном бачке. Что-то шаркало обо что-то, словно чиркали гигантской спичкой о гигантский коробок, и снова осторожно булькала жидкость.

— Володя из Ростова, — упрямо твердил нетрезвый голос, заглушаемый смехом.

Кто-то ушел, пришел, опять ушел, шлепая босыми пятками о задники сандалий, и скоро сделалось поспокойней. Наконец веселье поникло и стало идти на убыль: поговорили еще и замолчали вовсе.

С полчаса все было тихо, только разок хлопнули двери, когда кто-то, шаркая по полу, быстро прошел по коридору из вагона в вагон. Василий Александрович повернулся на живот, подоткнул подушку под подбородок и стал глядеть в окно. Уже выехали из гор на равнину. Началась нескончаемая лесополоса, замелькали темные очерки акаций. Прямо над ними две голубоватые звезды мерцали прохладным светом. А выше этих звезд неподвижно держались грязно-серые взбитые подушки облаков. Где-то далеко на черной плоскости узкой полоской стелились разбросанные степные огни и подрагивали, как студень.

В дверь тихонько постучали. Женщина быстро, точно этого ждала, поднялась с полки и взялась за вертикальную ручку. Свет из коридора тут же ворвался в купе и рассеялся в темноте, засновал по стальному обрамлению дверного зеркала юрким сгустком. Проводник что-то негромко сказал — что именно, невозможно было слышать. Женщина оглянулась на мальчика и, не касаясь двери, выскользнула в щель, изогнувшись, выпятив грудь и подтянув живот и бедра. Потом дверь подалась обратно и снова закрылась, сильно щелкнув замком.

Василий Александрович взглянул на часы — фосфор на стрелках и часовых отметках еле светился, и он с трудом, напрягая зрение и лоя запястьем мимолетные лучи в окне, разобрал, что было уже половина четвертого.

Некоторое время раздавались приглушенные стенкой голоса: плавный и нежный женщины и низкий, гудящий — проводника, потом послышался шорох ткани и возня. Едва различимая сначала, она делалась все заметней, порождая глухие сдавленные вздохи, из которых вдруг прорывались высокие, открытые, но слабые звуки и сиплое, сосредоточенное дыхание мужчины. Дырки от крепления светились в стене желтыми кружочками. Потом они стали изнутри закрываться, чем-то загораживаться, потом открывались, опять в них становился свет. Женщина за стенкой отрывисто вскрикнула.

Все это продолжалось довольно долго.

Василий Александрович посмотрел на мальчика — мальчик спокойно спал, то тихонько посапывая носом, то хватая душный воздух приоткрытым ртом. Он лежал на спине на грязном матрасе, откинув правую руку за голову, пальцы были согнуты, как будто он держал невидимое яблоко. Другая была прижата к груди, с уголком одеяла, пропущенного меж пальцев. Иногда, точно замедленной вспышкой, лицо его на пару секунд освещалось голубоватым светом летящих назад полустанков и снова тонуло во мраке.

Из-за перегородки еще раз донесся сдавленный хрип, бормотанье, и все стихло. Василий Александрович лежал на спине и тупо смотрел в потолок. По нему чертили спирали ленты голубого света, выхватывали из темноты куски обшивки, лямки рюкзака, поблескивающую глубину зеркала. Захотелось наконец спать, но за стенкой снова началась возня.

Тогда он спустился с полки, нащупал на столике сигареты и пошел в тамбур. В тамбуре стоял грохот, спертый воздух, пыльный запах угля и перегорелого табака. В углу к коричневой стенке прислонился измочаленный веник, мокрый и черный на конце, и валялись на полу окурки разной длины под забитой до отказа пепельницей-перевертышем. Самый длинный из окурков на фильтре был измазан губной помадой. Василий Александрович открыл дверь между вагонов. Тотчас тамбур наполнился грохотом колес, лязгом железа. Где-то внизу, под ногами, что-то блестело, рябило между покатыми половинками площадки.

Он вернулся в купе, и почти сразу же, через несколько минут, вернулась женщина. Она вошла осторожно, посмотрела на сына, присела у него в ногах, раза два глянула наверх, пересела ближе к окну и некоторое вре-

мя сидела отвернув голову и смотрела в ночь, подперев подбородок ладонью. Дважды она привставала и оправляла юбку, запуская ладонь себе под ноги, и потихоньку всхлипывала. Василий Александрович лежал не дыша. Стараясь не шуршать, он повернулся на бок и снова увидел перед собой отверстия и в них кружочки неподвижного света.

Женщина внизу тяжело вздохнула и, склонившись над мальчиком, тронула его рукой, разбудила. Дождавшись, пока он встанет, она подняла нижнюю полку, стала подтягивать что-то тяжелое, наверное коробки с инжиром. Мальчик, опершись на столик, цеплял ногами свои башмаки и, надев их, присел ей помочь. Выставляя тонкие неоформленные руки, он поддерживал коробку на ребре постельного ящика, и лопатки, натянув свитер, остро выступили у него на спине. Василий Александрович открыл глаза и, заложив руки за голову, уже не таясь, наблюдал за ними.

— Приехали? — проговорил он нарочито скрипучим, безразличным голосом.

При звуках его голоса женщина вздрогнула. Поправляя непослушные волосы, она коротко взглянула на него красневшими еще глазами и поняла, что он слышал и знает. Она отвела взгляд, свернула матрасы, свой и мальчика. Разложила тележку. И еще раз посмотрела на Василия Александровича, уже долго и открыто — как будто ждала, что он ее ударит. Василию Александровичу стало неловко. Он принял у нее матрас и бросил его наверх.

Из своего купе вышел проводник, подтянул брюки и, сонно поматывая головой, побрел открывать дверь. Через секунду о стенку тамбура ударила откидная площадка. Женщина, нагнувшись, закрепляла на тележке коробки. Волосы прядями рассыпались у нее по лбу, по лицу — она их не убирала.

— Подождите, — вдруг сказал Василий Александрович, — давайте я у вас куплю, — и кивнул на коробки.

— Так не успеем уже, — ответила женщина. Она слегка улыбалась, глядела на него снизу вверх, и ее лицо светилось каким-то тихим счастьем, и смущения уже не было на нем.

— Я все у вас куплю, — сказал он. — Мне нужно.

— Все? — нерешительно переспросила она, выпрямилась и огляделась, словно приискивая, с кем бы посоветоваться. Впрочем, никого не было. Лишь в тамбуре возился проводник. Он стучал совком, ворочая брикеты угля, и почему-то ругался вполголоса. Было слышно в непривычной тишине стоянки, как открывают двери в других вагонах и оглушительно хлопают площадки.

Василий Александрович помог освободить тележку, заташил коробки обратно в купе и устроил их на полу под столик. С озабоченным лицом по коридору прошелся проводник. В руке он держал открытую ученическую тетрадь с почерневшим от грязи сгибом.

— Московский пропускаем, — сказал он, мельком взглянув на коробки, — стоп-машина. — И с выражением недовольства добавил что-то сам себе на каком-то неизвестном Василию Александровичу наречии.

Василий Александрович вышел к распахнутой двери, взялся за белые поручни и высунулся наружу. Впереди у тепловоза стояли на семафоре один над другим два рубиновых огня, и рельсы казались голубой проволокой. Вдоль состава все было пусто, только через несколько вагонов тоже торчала чья-то лохматая голова и вертелась туда-сюда. Северо-восток просветлел уже у горизонта прозрачной бирюзой, на ней розово проступили бледные пятна зари. В больших окнах вокзальчика виднелись серые стойки камеры хранения и ряды пустых деревянных кресел в зале ожидания. Кроме этого здания, таившего в глубине за высокими окнами рулады свернутого света, да редких одиноких деревьев, ничто не задерживало взгляда, и было далеко видно.

Женщина с мальчиком шли уже по платформе. Мальчик нес тележку, а женщина смешно болтала кистями рук, словно ей было непривычно идти налегке. Может быть, чтобы занять руки, она взяла мальчика за руку, но он вырвался и пошел вперед. Женщина, склонив голову, шагала за ним. Один раз она оглянулась. Василий Александрович видел, как свет фонаря прокатился по стальной ручке тележки; потом они зашли в тень, и сумрак поглотил их окончательно.

Когда Василий Александрович проснулся, купе было пусто. Случались еще остановки: и ночью, и ранним утром сквозь сон он слышал торопливую речь, шорох обуви и поклажи, однако к нему никто не сел. Поперек соседней полки криво лежал свернутый матрас с подушкой внутри — в том самом положении, в каком оставил его ночью Василий Александрович. Полосатый чехол матраса слез, и его край болтался вместе с вагоном, а в солнечном воздухе беспорядочно плавали невесомые ворсинки. Солнце висело вровень с пыльным окном в голубом небе над пространством поблекшей степи и, казалось, катилось наперегонки с поездом. Василий Александрович вспомнил ночь, голос заводного Володи, смех проводницы из девятого вагона, женщину с мальчиком и коробки с инжиром. Коробки стояли на полу, одна на другой.

«Что же мне с этим делать?» — растерянно думал Василий Александрович, озирая коробки. Одна была перевязана розовым жгутом, другая — черным проводом. Он подтянул к себе верхнюю, поднял крышку и заглянул внутрь. Инжир был чернильно-фиолетовым, темным, как почерневшие луковицы, зеленые его хоботки чуть подсохли на срезах. «Что же мне с ним делать?» — снова подумал Василий Александрович, с усилием подвигая верхнюю коробку.

Ослепительный круг солнца неуклонно поднимался по небосклону, не вырываясь вперед, ни на полметра не отпуская летящий поезд. На пригорках были видны деревни, шиферные крыши домов белели, отбрасывая потоки солнца, повсюду угадывались признаки осени: убранные поля, бесчисленные брикеты соломы. По извилистым оврагам тянулись пепельные ветлы, но настоящего леса еще не было, и пустые холмы желтели неяркой краской увядания. Земля жила, и еще жил инжир в душной темени коробок.

Мимо окна, мелькая зелеными скамьями, просвистела пригородная платформа. Василий Александрович прильнул к окну. Скоро, наверное, Воронеж, подумал он, как-то незаметно для себя запустил руку в коробку и стал есть тяжелые, размякающие в пальцах плоды.

НИЧЕГО

Уже четыре года после университета Мищенко работал в археологическом музее в маленьком южном городе. На третий год его службы прежний директор, человек очень пожилой и известный в исторических кругах, умер, и на его место поставили Мищенко. Жить ему было определено в двух небольших комнатах в служебном флигеле, пристроенном с торца к зданию музея.

Музей стоял на набережной, фасадом на море. Содержимое его составляли предметы самые обыкновенные для учреждений такого рода: скульптуры бородатых понтийских царей, бронзовая гидрия, бутылочки зеленоватого стекла, скифские мечи, бусы, геммы, монеты и наконецники стрел. Во дворе, огражденном решеткой, экспозицию продолжали каменные цистерны, саркофаги с отколотыми углами и стелы с надписями на древнегреческом, а чуть в стороне зиял поросший травой раскоп, куда когда-то водили экскурсии туристов и местных школьников.

Посетителей в музее почти не бывало. Разве летом, в сезон, заглядывали любопытные и бродили, несмело озираясь, с тем выражением, с которым ходят по гулкой церкви неверующие люди и переговариваются вполголоса или не говорят вовсе. Зимой же вообще никто не появлялся, и тоска стояла смертная. Только дождь или мокрый снег монотонно бил в жестяную крышу, стучал в окна ветер да возила тряпкой по полу уборщица Анастасия Павловна, непременно что-то приговаривая себе под нос. И Мищенко, проработав год, стал задаваться вопросом, что и зачем тут убирать, если никто не следит и не таскает грязь и пыли тоже нет.

И еще раз в неделю, всегда по четвергам, приходила девочка лет десяти — внучка этой самой Анастасии Павловны, — вежливо здоровалась, после чего подолгу простаивала у карт раскопов и пояснительных надписей и, задирая личико, старательно списывала что-то оттуда себе в тетрадку. Лицо у нее было бледненькое, глаза внимательные и какие-то грустные, и даже летом, когда солнце пропекало самые камни, загар к ней совсем не приставал.

Ее постоянство возбуждало в Мищенко любопытство, и он, бывало, украдкой наблюдал за нею. Отчего-то эта девочка внушала ему чувство, похожее на страх, и он никак не решался с нею заговорить. Однажды Мищенко заглянул ей через плечо, но ничего не сумел разобрать. На листе были нарисованы какие-то квадраты, причудливые значки и стрелки, связующие эти квадраты и значки, понятные ей одной. Когда же он спрашивал об этом у ее бабки, становилось еще загадочней.

— Ничего, пускай, пускай, — заговорщицки покривив лицо и словно бы подмигивая, говорила Анастасия Павловна приглушенным голосом. — Пускай.

Девятнадцатого августа Мищенко возвращался из городской администрации, куда ходил клянуть деньги на ремонт музейной крыши, и увидел, как из автомобиля с московскими номерами выходят Витя Согдеев и Ольга Вирская — хорошо знакомые ему люди, с которыми он учился в университете.

Они сразу его узнали, как будто обрадовались, и Согдеев, сжав руку Мищенко, долго ее не отпускал и приязненно встряхивал. С Ольгой Мищенко учился с самого начала, а два года из пяти и вовсе в одной группе. Она приехала в Москву откуда-то с севера, а Согдеев был сыном крупного провинциального чиновника. Когда в начале перестройки чиновника взяли в столицу, Согдеев-младший последовал за отцом и перевелся на третий курс из Ростовского педагогического института.

— А я тут, представляете, директор, — успешно сообщил Мищенко, нелепо скривил лицо на манер Анастасии Павловны и провел по нему ладонью, как бы сам удивляясь такому обороту.

— А мы тут отдыхать, — ответил Согдеев ему в тон. Он закрыл дверцы автомобиля и поставил его на сигнализацию.

Мищенко мало что понимал в автомобилях, однако понимал, что автомобиль модный, очень дорогой и совершенно новый. Некоторое время они втроем улыбаясь смотрели друг на друга, предвкушая продолжительное и приятное общение, но, по-видимому, не знали, с чего начать. Ольга была чуть выше Согдеева.

Насмотревшись, Мищенко повел их в музей. Внутри стояла прохладная тишина, и если бы не побелка стен и потолка, в помещениях царил бы настоящий сумрак. Согдеев рассеянно осмотрел первый зал, в остальные они заходить не стали.

— Ну, старик, — сказал Согдеев и картинно развел руками, — нет слов. — Но было все же заметно, что ему не хотелось бы оказаться на месте Мищенко и проводить свои дни у раскопа в обществе истуканов, называемых скульптурами, и в его голосе угадывалась снисходительность.

У Ольги, вероятно, тоже не было слов. С первой минуты на ее губах застыла молчаливая улыбка, и значение этой улыбки оставалось неопределенным.

— Сколько такая стоит, интересно? — спросил Согдеев при виде гидрии, ни к кому, впрочем, не обращаясь, и шутливо блеснул глазами.

Взгляд его упал на сильно увеличенную черно-белую фотографию какого-то фундамента, занимавшую простенок.

— Альтии, — прочитал Согдеев и, может быть, довольный тем, что правильно поставил ударение, рассмеялся так, как будто только что удачно и легко пошутил.

Выйдя во двор, уставленный саркофагами, Согдеев с задумчивым выражением попинал один из них носком узкого сверкающего ботинка и некоторое время смотрел на узор греческих слов, шевеля губами, как первоклассник.

Днем было очень жарко, но к вечеру, громоздясь друг на друга, грядями поползли тучи, море разволновалось, на берегу сделалось неуютно, и Согдеевы с Мищенко не сразу могли придумать, чем бы им заняться.

Пока решали, бродили по прилегающим к набережной улочкам, затененным желтеющими, пропыленными акациями, потом из любопытства завернули в серое бетонное здание Морского вокзала. Вокзал, который давно не служил своему назначению, пустовал, — почти всю его площадь занимали торговые павильоны и кафе, которое тоже почему-то не работало. Над окошками кассы, изнутри прикрытыми кусками фанеры, висела карта-макет Черноморского побережья с коричневыми выпуклостями горных вершин и оттенками глубин моря; белые линии маршрутов бесстрашно вдавались в синее пространство, соединяя выцветшие кружочки портов.

— Мертвое море, — пошутил Согдеев, кивнув на карту; Ольга с деланной горечью издала короткий смешок.

Одна из служебных дверей вокзала была приоткрыта; за ней в каморке без окон раздетый пожилой человек чистил картошку и бросал розоватую кожуру в газетный лист. Рядом с ним на табуретке комком лежала тельняшка с широкими черными полосами.

— Ну что, отец, куда плывем? — весело спросил Согдеев.

— Уже вежде приплыли, — ответил пожилой человек и хмуро глянул красными глазами из-под разросшихся черно-бурых бровей. Вместо «з» он выговорил «ж», как будто держал в зубах гвозди, дотянулся до двери и со стуком вогнал ее в косяк.

Когда стемнело, отправились ужинать. Угощал Согдеев, он и выбрал маленький ресторан на набережной недалеко от музея. Внутренность ресторана украшали развешанные на стенах бледно-зеленые рыболовецкие сети, и повсюду глаза натывались на круглые стеклянные поплавки, похожие на плафоны. Оголенные плечи женщин в открытых сарафанах тускло отливали густым загаром, в полумраке желтели белые рубашки и футболки их спутников. Ожидая заказ, разглядывали публику и заговорили наконец о Москве. Говорили и о многом другом, о чем обычно говорят хорошо знакомые люди после долгой разлуки.

— На Тараску похож, — заметил Согдеев, отвернув голову и кивая на один из столиков, за которым возвышалась какая-то полная фигура, окутанная дымом тлеющей сигареты.

Тараской студенты называли профессора с кафедры древнего мира, который близоруко, но педантично свирепствовал на своем экзамене и проведи которого считалось нешуточной доблестью. Тогда принялись вспоминать сокурсников, и Согдеев перечислял, что из кого образовалось и кто чем занимается. Из всего их курса на факультете остался один Ваня Невежин. Он закончил аспирантуру, защитился, и его имя стало встре-

чатся на страницах издыхающих научных изданий. По слухам, Ваня перебивался кое-как, но толком ничего не было известно.

— Да, странно все это, — произнес Согдеев и задумался.

Мищенко тоже задумался. Ему ясно припомнились посадки старых яблонь вокруг университета, с которых рвали мелкие и кислые яблочки, их побеги и стволы, художественно искривленные природой и временем для нового Ван Гога, если такое возможно, припомнились склоны Воробьевых гор, куда любил ходить после занятий и где, созерцая реку, Лужники и расстилающийся за ними город, без конца говорили, употребляя с важностью разные новые и мудреные слова, значения которых часто не знали хорошенько. Вспомнил он общежитие, представилась ему его комната с видом на проспект, с «Упанишадами» на провисшей полке, кто-то в ней живет сейчас, в этой комнате, может быть, даже Ваня.

И Мищенко сделалось грустно. Согдеева и Ольгу он слушал уже через слово и то и дело подливал себе красного вина.

Они тем временем рассказывали, как кто-то убил их однокурсника Извекова, державшего в Москве магазины радиоаппаратуры, и их слова заглушала противная музыка, которая билась, как в силках, в черных колонках, висевших над стойкой бара. Согдеев много говорил про ценные бумаги, принимался даже что-то объяснять, но Ольга взглянула на него недовольно, и он, споткнувшись о ее взгляд, переменял тему и коснулся более приятных предметов.

— Тачку взял — ну просто арпеджио, — сказал Согдеев и взял Ольгу за руку. — Даром, считай.

Еще рассказывали, как в январе ездили на Мальдивские острова, какие там домики с тростниковыми крышами на бережках прозрачных лагун, и как там все дешево по сравнению с Канарскими, где были в прошлом году, и что потухшие вулканы представляют поистине величественное зрелище, и что устрицы надо есть с лимонным соком. Ольга раскраснелась от вина, от первого розового загара; Согдеев тоже был весь красный, утирал платком пот со лба и отрывисто поглядывал на веселых женщин, мелькавших или сидевших тут же за другими столиками. И глаза у него делались масляные, и взгляд их был неприятен. Ольга сидела сытая, блаженная, взор ее не уходил со стола, словно заблудился в бутылках и тарелках, и ничего она не замечала и словно бы ничего ее не интересовало.

Мищенко подумал, что Ольга на курсе нравилась многим, и сам он, кажется, года два или полтора был в нее негласно и безнадежно влюблен. Все пять лет она носила настоящую косу, которая выглядела несколько старомодно, но от этого Ольга была еще свежей и интересней. Сама она долго дружила с Ваней, ему даже завидовали, но внезапно, когда дело шло уже к диплому, отдала предпочтение Согдееву, и это случилось так быстро, что никто не успел ничего сообразить, и меньше всего сам Ваня. А сейчас — Мищенко видел — она расплнела и, несмотря на это, имела утомленный и безразличный вид.

И от этого наблюдения Мищенко сделалось еще тоскливей. Отвернувшись в сторону, он думал о том, что утром приходил Артур и приносил деньги. Он познакомился с Артуром в позапрошлом году в городской администрации. Артур сказал, что есть один коллекционер, очень порядочный и знающий человек, что он хорошо заплатит за аривалический лекиф. Денег у Мищенко почти не бывало, и он едва сводил концы с концами, и не имелось даже знакомых, у которых можно было бы взять в долг, но зато он знал, где взять лекиф. Спустя месяц Артур появился снова, дело пошло, и теперь он приходил каждую неделю и приносил заказы. Чаще всего хотели монеты, но и пользовались большим спросом амфоры, и терракотовые фигурки, и вазы, и прочая античная всячина. Запасник был огромный, а проверок, инспекций и комиссий не бывало. Была, правда,

Валерия Петровна, сотрудница Мищенко, но у нее дочь болела чем-то серьезным, и постоянно требовались дорогие и редкие лекарства.

Мищенко думал о том, как Артур говорит ему «ты», а они с Валерией Петровной после его ухода говорят друг другу «вы», но предпочитают не пересекаться глазами. Артур «тыкал» бы и Валерии Петровне, да с ней он не имел обыкновения разговаривать. И как он, Мищенко, перебирая в кармане пальцами пухлую пачку, отсчитывает деньги и кладет их на угол стола, за которым сидит Валерия Петровна, и как она утыкается в бумаги, делая вид, что ее это абсолютно не касается, и возьмет эти деньги только тогда, когда он куда-нибудь выйдет.

— А Ваня как? — спросил он у Согдеева.

— Опустился Ваня, — махнул тот рукой, помолчал и прибавил: — Кому это все нужно? Сейчас-то.

Ольга не сказала ничего, но ее взгляд ясно показывал, что она разделяет недоумение своего мужа и жалеет Ваню, но жалеет его так, как жалеют душевнобольных.

В начале второго выбрались на воздух, прошлись по набережной. Пелена облаков закрывала небо непроницаемым мраком. Волны, глухо рассыпаясь невидимыми брызгами, бросались на берег и почти сразу за парашетом сливались с темным воздухом, и чернота воды была неотделима от черноты неба. Набережная ярко освещалась частыми фонарями; навстречу еще попадались люди, некоторые стояли, опершись на перила, и глядели, как пенятся ленивые волны, на скамейках сидели парочки, ветер приносил обрывки беспечных разговоров. Мищенко смотрел на море с изумлением, как будто сам только недавно приехал отдохнуть и развеяться. Море, мимо которого он ходил ежедневно, давно не вызывало в нем никаких чувств.

— Скучно тут у вас, наверное, — не то спросил, не то заметил Согдеев зевая.

— Да нет, ничего, — ответил Мищенко тихим голосом. На воздухе он почти отрезвел, помрачнел и почувствовал себя раздраженным.

Назавтра Ольга и Согдеев должны были ехать в Алушту и дальше по побережью в Форос. Дойдя до гостиницы, они расстались. У входа в нее стоял автомобиль Согдеева, и было видно, как в салоне вспыхивает и гасает красная лампочка сигнализации.

Мищенко в одиночестве постоял еще у дверей, поглядывая на машину. Домой ему идти не хотелось. «Устрицы какие-то», — подумал он и скрипил губы, как будто попробовал лимонного сока. В ночном кафе он купил вина, разлитого в полулитровый пакет, оторвал угол зубами, облился, спустился к самой воде и стал смотреть в темноту, где ворочались нехотя черные волны.

Тут раздражение понемногу улеглось, и его окончательно захватили воспоминания. Теперь он вспомнил Ваню, его странную привычку дуть себе на пальцы и складывать горелые спички обратно в коробок. Как спорили с ним и намеревались совершить важные открытия, как собирались ответить на многие сложные вопросы, подтолкнуть науку. Он почувствовал себя предателем, и мысль эта его не расстроила, а заставила невесело усмехнуться.

Он выпил еще немного вина, но все равно было тоскливо. Мерно шуршала галька, когда волны, завиваясь, как буйные кудри, тащили ее за собой. Ему вдруг стало жалко своей жизни, как будто разменной на куфическую монету, словно это он был похоронен вместо Перисада и его присных и нет никакой разницы между им, живым, и этим мертвым Перисадом; стало жаль своих честных мыслей, от которых и осталось только что ухмылки да недоверчивые взгляды. Сейчас, глядя в темноту, он ясно увидел, что сам давно превратился в экспонат своего музея. Он попытался

понять, где и когда и при каких обстоятельствах это случилось и кто виноват, но ответа не было. «Умники, — подумал он с пьяной злостью неизвестно о ком. — Столько книг понаписали, а толку никакого». Кстати, он подумал о своих книгах, которые некогда с собой привез, — почти все они до сих пор лежали в картонных коробках, туго оклеенных скотчем, — подумал, что уже два года он ровным счетом ничего не читает и не делает и только продает украдкой то, что находили другие.

Тучи на небе разошлись, ненадолго поредели, и в этих проталинах блеснули звезды, как роса на оттаявшей траве, и только луна пребывала по-прежнему за грядями сумрачных облаков. Особенно высокая волна взорвалась и рассыпалась совсем рядом с Мищенко, и несколько колючих брызг попали на его лицо. Он не стал вытирать их. Ему пришло в голову, что он еще молод, что ничто еще не поздно, что никогда не поздно, но что именно не поздно, он представлял себе не так ясно, как пять лет назад.

Он принялся думать, что будет дальше, наблюдая, как море с глухим шумом сменяет волну за волной. Их торопливая размеренность напоминала ему ход секундной стрелки, и им овладело благодушие. Мысль его успокоилась и прояснилась и текла неторопливо, как степная речка. За морем Турция, думал он, там тоже живут люди, одни умирают, другие рождаются, за ней еще одно море, над морем небо, на небе звезды, а что дальше — никто не знает и узнает ли когда-нибудь — неизвестно. И почему все так, а не иначе, почему все в таком виде, и куда это все идет, и какой в этом смысл? Кто на это ответит? И опять вспомнил Ваню. На душе у него стало вдруг тихо и легко, и отчетливо показалось, что все будет хорошо, что он станет работать по-настоящему. И ему снова захотелось мечтать о будущем и открывать неведомые царства.

На пляж шумной компанией спустились какие-то люди и расположились неподалеку. Их возбужденные голоса и смех растормошили Мищенко, и мысли его сбились. Скоро он поднялся и медленно зашагал домой по безлюдному бульвару, обсаженному приземистыми платанами. Бульвар был пуст и темен, фонари здесь горели через один, и моря было уже не слышать.

Добравшись до своей квартирке, Мищенко сразу лег в постель, не зажигая света, как будто боялся увидеть коробки с книгами, но некоторое время еще не спал и глядел, как в голубеющем небе окон извиваются под порывами ветра тупые верхушки пирамидальных тополей.

На следующий день Мищенко явился в музей после полудня. Было опять жарко, солнце, казалось, давило землю тяжелыми лучами, как будто и не было ни ночного шторма, ни самой ночи, яркой, как откровение. Только на берегу черно-изумрудной каймой лежали перевитые водоросли и кое-где — студенистые олады медуз. Мищенко весь обливался потом. Усевшись в своем кабинете за стол, он полез в карман за платком, и рука его нащупала кусочек картона. Эта была визитка Согдеева. «Инвестиционная компания „Век“», — было на ней написано золотой краской. Из окна была видна набережная, на ней фотограф в синей кепке терпеливо, как паук, караулил свою добычу, а повыше перил парапета синела узкая подвижная полоска моря и вспыхивала временами под ударами солнечных лучей. Оно раскатывалось, далекое, равнодушное, и ничего не помнило из того, что обещало вчера. «Ничтожество. Я ничтожество. Как это, наверное, страшно», — спокойно подумал он и подивился собственному равнодушию. Он понял, что изменить, поправить уже ничего нельзя, что он будет дальше сидеть без цели за своим столом, приторговывать антиками и делиться деньгами с Валерией Петровной ради ее молчания, и жизнь будет идти, и крыша будет течь, и каждый день он будет видеть бронзовую гидрию и чернофигурный кратер напротив нее, склеенный из осколков в пятьдесят восьмом году. И Артур придет еще много раз и принесет много

денег. И скоро у него у самого будет такая же машина, как у Согдеева, и по ночам, как неслышная сирена тревоги, в ней будет вспыхивать и гаснуть красная лампочка сигнализации.

«Мы теперь на Остоженке живем. Восемь комнат, ремонт только что сделал. Приезжай, — сказал на прощанье Согдеев. — Москву теперь и не узнаешь... Есть где оторваться», — прибавил он потише и, выждав, подмигнул так, чтобы Ольга не увидала.

Мищенко выдвинул ящик стола — совершенно пустой — и бросил туда визитку.

Дверь в кабинет не закрывалась до конца: в длинную щель ему был виден кусок коридора, на потолке — ржавые разводы протечек, на стене — стенд, оклеенный пожелтевшей бумагой; полоса солнечного света косо белела на полу, а за окном беззвучно шевелила листьями акация, и между ее ветвей проплывали головы отдыхающих, разморенно бредущих вдоль берега. И казалось, нет на свете вовсе никаких звуков, что жизнь свершается беззвучно, как и должна свершаться на берегу призрачной воды, разве вот голова фотографа в голубой кепке маячит в окне и рот его раскрывается, словно он, как во сне, хочет кричать и не может, и, казалось, все остальное тоже происходит беззвучно, если вообще что-нибудь происходит.

А в музее — это тоже так казалось — было еще тише, как в усыпальнице. Только в конце коридора старые настенные часы едва слышно дребезжали, с легким содроганием переставляя свою стрелку. Их унылая последовательность делала тишину еще более чувственной и звучной, сами же они напоминали усталого странника, переходящего калику, у которого нога не сгибается в колене.

А за стеной стоит в стеклянной витрине гидрия. Ей очень много лет — две тысячи с лишним. Она сделана руками человека, который тоже смотрел на звезды по ночам, а может, спал, кто его знает. И Мищенко захотелось спать, но он, мертвец от пустоты, продолжал сидеть, уставя взгляд в дверную щель. «...порское царство погубило под ударами...» Конец предложения скрывала дверь, и дальше он не мог прочитать. «...погубило под ударами...» — перечитал он несколько раз, зевнул и долго так сидел и бездумно смотрел на эти буквы.

А потом — как всегда по четвергам — пришла маленькая внучка Анастасии Павловны, подошла к стенду и раскрыла свою загадочную тетрадку. На голове ее, как колокольчик, сидела плетенная из соломки панамы. Анастасия Павловна, проходя мимо с ведром и шваброй, сдвинула панамку, погладила девочку по волосам и, вздохнув, начала мочить линолеумную дорожку.

Мищенко видел, как сворачивается на линолеуме вода и становится белой, сияющей, как серебро. Прерывистая болтовня Анастасии Павловны проникала в его сознание искаженно, точно заглушаемая помехами иного бытия.

— Ничего, пускай, — бормотала она, почему-то быстро, как сумасшедшая, взглядывая на потолок и так же быстро оглядываясь на девочку. — Ничего, деточка, ничего.

ЧАЙКА

Людочка мыла посуду в пансионате. Иногда, когда не хватало людей на раздаче, она бегала с подносом по огромному залу между столами, за которыми усаживались отдыхающие, и подавала блюда. Большей частью отдыхающие — люди среднего возраста и пожилые, но бывали и молодые, пары и целые компании, счастливые, отлично одетые, нарядные, свобод-

ные и симпатичные. Жизнь их казалась Людочке шикарной и беззаботной. Во время передышек Людочка выглядывала из-за перегородки и впивалась в них глазами. Кто во что одет, что сейчас носят и как — всякая мелочь занимала ее внимание. Вот люди приезжают и уезжают, думала она, откуда-то и куда-то, из больших городов, а ей двадцать четыре года, и нигде она еще не была, и ехать ей некуда.

И от этого становилось печально.

Людочке хотелось быть модной и современной, хотелось, чтобы на нее обратили внимание. «Людмила!» — раздавалось из-за спины, и она неслась как угорелая в дымную кухню. А ей хотелось вести такое же красивое существование, свидетельницей которого она становилась ежедневно, и не надевать по утрам синий передник первой смены.

Иногда она говорила об этом с Белкой из второй смены, но Белка считала все подобное за глупости.

Белка была некрасива и знала это. Она делала свое дело будто автомат и ни на кого не смотрела. Два раза в неделю она набивала продуктами сумку и везла в город матери и младшему брату, который перешел в шестой класс.

Даже в свой день рождения она держалась, как обычно, в стороне от чужой жизни и от своей собственной. Порою Людочке становилось интересно, зачем живет Белка, хотя сама, если бы пришлось отвечать на такой вопрос, не сразу бы нашлась, что сказать. Казалось, у Белки есть какая-то неведомая прочим цель и все силы кладутся для ее достижения. Вообразить ее без фартука в горошек было сложно. Отчего ее прозвали Белкой, тоже оставалось непонятным: она походила вовсе не на белку, а скорее на телушку, и фамилия ее была вовсе не беличья.

Белку поздравляли у себя в комнате, в маленьком корпусе для персонала, ели груши и пили красный портвейн. Белка легла спать, а Людочка допила остатки портвейна и около одиннадцати вышла на улицу. В летнем ресторанчике гремела музыка, на стоянке в ряд стояло несколько запыленных машин, свернувших с трассы, которую выше по непроницаемо-черному склону обозначали тягучие всполохи фар.

Подумав немного, Людочка побрела на звуки музыки. Денег у нее не было, но в этом ресторанчике, устроенном на обломках скал над самым морем, работал ее одноклассник, и она рассчитывала на его доброту.

Стойка была высокая, а Юрик низенький, так что виднелись только его плечи и голова, абсолютно круглая и ровно подстриженная, как куст образцового сада.

— Не спишь? — неприветливо бросил Юрик, увидав Людочку, и глянул на нее исподлобья.

— Ну Юрочка, — произнесла она, состроив умоляющую гримаску.

Юрик пробурчал что-то невнятное, но все же налил ей рюмку жидкоцветного коньяку и выставил на стойку раздраженно, так что коньяк крутанулся по краю стекла, точно обруч, — след этого движения тонкой пленкой сползал по стенке и еще дальше — в Людочкиных глазах.

— Найду, блин, мужика себе нормального, а то все дворняжки какие-то, — неряшливо болтала Людочка, проглотив коньяк в два присеста и перхнувшись.

Юрик, отдававший кому-то сдачу, хмуро на нее взглянул.

— Ты, когда напьешься, такая дурная, — недовольно сказал он. — Одну секунду, еще раз — что вы сказали? Пиво даю, щас пена сойдет. — Он показал рукой на бокал, наполненный пеной. — Секунду.

Людочка продолжала стоять у стойки и, подыскивая себе компанию, лениво смотрела вниз замутненным взглядом.

— Выходной у меня сегодня, выходной, — процедила она с вызовом. — Чем я хуже их? Нет, ты скажи. — Она мотнула головой в сторону

террасы, где стояли столики, и тут наткнулась глазами на парня, который вместе с Юриком ждал пиво.

Юрик ничего не ответил и ушел на кухню, вытирая мокрые ладони о джинсы.

— Не грузи, — выговорила она вдогонку Юрику намеренно лихо, так, чтоб слышал парень, подошла к нему и взяла со стойки бокал с пивом. — Не бойтесь, я не заразная, — заверила она и сделала большой глоток, оставив на краю бокала красный мазок помады.

«Набралась, — пронеслось у Людочки в глубине сознания. — Ну и наплевать».

— Давай мы тебя угостим, подруга, какие проблемы? — предложил парень и по-хозяйски глянул на один из столиков, самый шумный и веселый на всей площадке.

Ей принесли стул и налили коньяку. Она сидела между этим Мишей и каким-то светленьким прямо напротив Ани. Неподдельная красота Ани подавляла ее. И Людочка пила, желая заглушить смущение и робость. Изо всех сил она старалась держаться на уровне, но почти всегда говорила невпопад.

— Пеленгас, жаренный по-испански, пеленгас, жаренный по-французски, — прочла Аня монотонно и пресыщенно на листе меню, зашитого в обтрепавшийся целлофан. — Как это?

— Никто этого не знает, — любезно отозвался светленький, вздохнул и отвернул лицо к морю, а на лице официантки, стоявшей над ними выжидательно, к пробивающейся усталости примешалось выражение легкой обиды.

Анин Миша быстро пьянел и встречал все несообразности дружелюбным хохотом.

— Я вот что тебе скажу, — начинал он много раз, постукивая по столу пальцами левой руки, и ничего не говорил.

— На-та-ли! — Музыкант неопределенного возраста с прической мервингского королевича, которого все с некоторым уважением называли Валерий Палыч, закидывал давно не мытую голову, и этот нарочитый драматизм оплачивался сторицей.

— У тебя очень красивая жена, — повторяла Людочка с пьяным упорством. — Очень красивая.

Миша, плохо уже соображавший, делал попытку обнять ее просто и душевно, словно товарища по оружию, как он обнимал всех, сидевших за этим столом. Несколько раз пили за красивую жену, потом еще за что-то, и, когда выпили за нее, Людочку, она почувствовала себя совершенно счастливой.

— Я тоже моделью работала, — сообщила она Ане и, доверительно выпятив нижнюю губу, качнула головой и после этого уже не следила за тем, что у нее вырывалось.

Аня плохо слышала, потому что музыка звучала слишком громко, и Людочке приходилось перегибаться через стол, который — пластиковый, легкий — подвигался то туда, то сюда, царапаясь ножками о брусчатку.

— Ребята, — сказала Людочка, освоившись окончательно, — вы такие классные, — еще захотела что-то добавить, наклонилась и опрокинула бутылку пепси, попыталась ее поднять, и на пол полетели подмоченные сигареты и салфетки.

— Что-то ты, любимая, это, — проговорил светленький, улыбаясь, с ударением на последнем слове, проворно убирая колени.

При каждой более или менее подходящей песне выходили танцевать. Людочка вносила сумятицу в размеренную определенность площадки. Она уже не понимала, что выглядит смешно и даже отвратительно, не замеча-

ла, что над ней потешаются. Мужчины, находившиеся на площадке, мяли ее как хотели и, недоумевая, передавали ее из рук в руки, а ей казалось, что это она меняет их по своей прихоти.

Произносить слова ей становилось все труднее, казалось, буквы выходят неправдоподобно округлыми, сами они, скрепляясь друг с другом, крепятся и шатаются, а ее многое подмывало сказать. Все, что она говорила, стало казаться ей правдой, и, когда она выпивала очередную порцию — чего, она уж и не смотрела, — ощущала нешуточный привкус несмываемой горечи. И лоскуты чужих жизней, взятые напрокат, давали много поводов для алкогольного сплина, отлично известного всем, кто считает себя обиженным.

— С высшим образованием посуду мою. Вот так вот, Сашенька, — жаловалась она или безмолвно вскидывала голову и смотрела ему в лицо долго и томно, словно пыталась этим придуманным взглядом возжечь некий невообразимый пожар чувств и сожалений о том, чего никогда не бывало.

— Меня Сережа зовут, — смеялся он трезво и, накренив голову, сосредоточенно целовал ее в шею.

— Щас, — шепнула она хрипло и, изогнувшись, выскользнула из его объятий.

Когда она вернулась, внизу, между ягодиц, туго обтянутых джинсовыми шортами, темнела влагой серповидная полоса, и как это получилось, она не понимала, да и вряд ли ощущала. Сережа сидел на парапете, курил и бессмысленно смотрел, как на опустевшей уже площадке танцуют Аня с Мишей и дарят друг другу вялую нетрезвую нежность.

Шатаясь, Людочка приблизилась к Сереже и положила руки ему на плечи.

— Проводи меня, — попросила она, прижимаясь к нему и выпячивая живот. — Проводишь?

Ее качнуло к нему, он подхватил ее размякающее, неуправляемое тело, запустил руки под кофточку и водил ими, широко расставив пальцы. Перед ней стояло его лицо — матово-белое, с влажным искривленным ртом и помутневшими глазами, и она испытала какое-то безумное торжество. «Обойдешься», — злорадно подумала Людочка. И, собрав последние силы, схватила запястья этих рук.

— Пошел к черту, — с трудом проговорила она, оттолкнула его и, пританцовывая, устремилась на пустую площадку.

Юрик собирал стулья, Валерий Палыч куда-то удалился, но аппарат продолжал играть и музыка еще звучала. Из открытой двери бара вниз падал свет, и в этой жидкой полосе она танцевала одна, как героиня клипа. И ей казалось, что вокруг много людей, что они следят за ее танцем и восхищаются ею и немо, широко раскрытое око камеры восторженно следит каждое ее движение.

А потом уже ничего не думала.

Чуть погода под крышей выключили верхний свет, и на площадке стало еще темнее. Валерий Палыч, задумчиво глядя на ее извивающееся тело, сматывал свои провода.

Туалет был рядом. По бокам этого одиноко расположенного домика вертикально стояли желтые прямоугольники света. Там в тишине журчала вода, струясь в бурых отложениях, как кровь в артериях изношенного организма.

В туалете она упала.

На следующий день она чувствовала себя еще более несчастной, чем накануне. Жаркое солнце ломилось в окно, спрятаться от него было некуда. Ее тошнило без конца, и голова болела невыносимо. После обеда прибежала Белка в своем красном фартуке, приносила поесть и рассказывала новости:

— Запеканку чуть не сожгли — три противня. Меня эта стерва с тридцать четвертого достала. То курицу она не ест, то... Сил нету... Зажрались. — Увидев таз с рвотой, она ногой задвинула его под кровать, а Людочка отвернулась к стене и молчала, смежив веки. Белка сверкнула своими серыми строгими глазами.

— Дура ты, дура, — сказала она, присела на край кровати, но тут же вскочила, как будто обожглась. — Пойду, а то Маруся разорется.

Людочка опять ничего не сказала. До самого вечера она не выходила из своей комнатенки, а когда вышла, восхитилась и даже не решалась ступить с крыльца. Кипарисы стояли прямо и неподвижно, словно минареты волшебного города, за ними черным таинственным провалом угадывалось море, и в самом воздухе было разлито обещание чего-то удивительного. В сумерках по аллеям прогуливались приодетые отдыхающие, а справа слышались глухие всхлипы колонок и проверяли микрофон — это Валерий Палыч настраивал свою аппаратуру. Людочка прошла мимо столовой. В больших окнах растекался потаенный свет, оттуда доносились невнятно женские голоса, стук тарелок, и посудомоечная машина гудела в зеленоватой глубине мучительно и надрывно. Людочка миновала столовую, пробралась по склону горы, поросшей низкими душистыми елями, и оказалась прямо над рестораном.

Ресторанная площадка лежала как на ладони. На проволоке, раскинутой между шестов, гирляндами искрились фонарики. Людочке сверху были хорошо видны столики с надписями «Marlboro», за которыми начинали веселье другие, незнакомые ей люди, и жирно блестящие волосы на голове Валерия Палыча, и тусклый сгусток света на головке микрофона.

Людочка плохо помнила, что было вчера, да и вспоминать не хотелось. Наконец ей надоело смотреть на ресторан, и она побрела потихоньку вдоль берега по мощеной дорожке. По обе стороны в кармашках асфальта белели скамейки; на некоторых сидел кто-то невидимый, — из этих пространств, осененных горизонтально растущими ветвями, раздавались сдавленные смешки и хихиканье и загадочная радостная возня. Пинии, смыкаясь ветвями, то загораживали море, а то раздавались, и оно в этих промежутках открывалось широко и далеко.

Рано утром ей надо было идти в столовую. Посудомоечная машина уже не ворочалась в ее воображении безжалостным чудовищем, пожирающим молодость, а была подругой, неуклюжей и верной, — вроде Белки. Она гадала, увидит ли Мишу и Аню и этого светленького, который чуть было не лишил Валерия Палыча его скромного и торопливого наслаждения, и представляла себе, что будет, если она их увидит, и что будет, если они увидят ее — в столовой, в синем переднике первой смены, хотя, конечно, ничего страшного бы не случилось. Она никак не могла вспомнить, жили ли они в пансионате или просто заехали погулять. «И кто это наворотил?» — рассуждала она, недоверчиво озирая скалы, нависшие за ее спиной, и ей казалось, что раньше не было здесь никаких скал.

И ей снова было грустно и жаль себя, но уже не так, как вчера. «И правда дура», — думала она, отрешенно глядя перед собой. Слева от нее незаметно возникло облачко, подобное изящной шутке, и просвечивало темноту, растворяясь в ней невидимыми волокнами.

Три грузовых корабля в ожидании шторма стали в бухте на ближнем рейде, празднично блистая сигнальными огнями; от них — желтые, красные и фиолетовые — бежали к берегу разноцветные дорожки и исчезали у самых камней.

Где-то далеко в поселке лаяла собака. А потом стало и вовсе тихо, не было слышно даже плеска воды. Черные ветви деревьев неподвижно лежали в густо-голубой глубине неба. Звезды, полные загадки, расположив-

шись обычным порядком, явили себя на чистом небе. Ветер таился сзади за рваным хребтом, и лишь его обрывки, беспомощные и ласковые, налетали случайно, робко тыкаясь в камни и деревья.

Взошла луна, набросив на горы пелену рассеянного света, и скальные выступы сделались пепельно-розовыми.

И в тишинé ночь распустилась, как цветок.

Настала такая тишина, что Людочка вдруг услышала, как стучит ее сердце — и глухо и звонко, подчиняясь тому же неутомимому ритму, которым держится все вокруг, — и, весело удивившись, даже дотронулась до того места, откуда исходило это немолчное биение в теплую неподвижность передыхающих летних суток, и долго не отнимала руку.

И как будто она увидела, как расстилалась ее жизнь, — точно это море, и берега еще не было видно. Немые звезды сопровождали стук сердца смутным и далеким мерцанием. Их переливы говорили о том, что с большой высоты видно другие берега всех на свете морей. И говорили, что никто не забыт и ничто не свершается даром.

Утром на берегу жалобно вскрикивали чайки.



СЕРГЕЙ НАДЕЕВ

*

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ НЕПРИЗНАННЫМ ПОЭТОМ

* *
*

Э. Г. Герштейн.

Легко ли быть непризнанным поэтом,
Не узнанным, обидчивым, как дым,
Охаянным и походя задетым
Упоминанием пустым?

Так жжется желчь и яд щедрот ненужных!
Взамен любви и крови вопреки
Простуженность, нечувствие, натужность
Продуманной, придуманной строки.

Как хочется быть на виду и в сваре,
Значительность желанна и пьяна.
«Мне скучно, бес!» — но так писали встарь,
И только стыд испепелит сполна...

Ах, в юности легко прослыть счастливым,
За ночь без сна и пачку папирос
Опередив в сиротстве горделивом
Виновника невысказанных слез.

* *
*

Под сенью сада нумидийка молодая,
Томяся праздностью, ломала тамариск.
И колкий прах, бесследно пропадая,
Летел к ногам... и вороватый бриз...

Не младость ветрена — но продувные скалы.
К нескромным возгласам вполоборота встав,
Нудийка-девочка, задумавшись, ласкала
Слепую ягодку, меж пальцев отыскав.

Я и в сандалиях, увы, тяжелоступен,
Бронею скованный, хотя и без одежд.
Зачем ты думаешь, что в помыслах — преступен,
На что надеешься слезинкой из-под вежд?

Не бойся, девочка, не нанесу урона,
В твои мечтания войдя и растворясь.
Останься, Делия, напрасна оборона.
Чего спасаешься, самой себя боясь?

На скрежет гравия как вся преобразилась!
Испуг — смятение — решимость умереть...
Прости! как жалостно, что и твоя разбилась
Мечта безвестная, прожитая на треть.

Но серной вскрикнула, меня увидев близко,
И, босоногая, пустилась наутек,
Мелькнула камушком...
И волны тамариска
Сомкнулись бережно морщинкой поперек.

* *
*

О. Ш.

Как быть с придуманным героем,
Гребущим на круги своя,
Веслом тяжелым волны роя
Губительного бытия?

Ему не боязно в обносках,
Но что он прячет за душой?
Какой виной прошиты доски
Его посудинки смешной?

Бог весть о чем ведет беседу
С непонимающим — собой;
Чего достиг? о чем поведал,
Плутая в лаве золотой?

Боюсь, не переждать ответа...
Но всех потерь мартиролог —
Полоска, лучик, нитка света:
Существования подлог.

И так ли велики утраты,
Придуманные наяву?
Душа себя бежит.

— Куда ты? —
В пучины... в бездны... в синеву...



АНДРЕЙ КОСТИН

*

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК

* *
*

Бабушке.

1

Еще не распогодилось и птицы толком не запели.
Еще вдоль проселочной, на дне оврага —
останки снега. Едва подсохнет, в апреле
начиналась горячка — ни одного спокойного шага;
ты носилась по комнатам, все грохотало,
ты искала свой термос каждое утро,
и для кормушки с вечера откладывала сало,
опаздывала, и на всех рычала будто
тигрица, распахивала двери и — на волю!
...Мне еще запрещали ходить без шапки.
Еще случалась гололедица, и с ней боролись солью.
А дед уже перебирал садовые кульяпки,
точил пилу. Как активисту пионеру,
тогда мне был понятней сбор макулатуры.
Дед уезжал один. Шагами землемера
маячит за окном и удаляется его фигура.
...На завтра снова облачность, без прояснений.
Тебе еще грустней, чем музыка за кадром.
А я любовался твоим подмосковным, весенним,
в конечной стадии — плодово-ягодным загаром.
Еще в нем мало солнца, больше — благодати
впервые после зимы перекопанной почвы.
Ее радостный вздох был знаком лопате
в твоих ладонях, а мне — понаслышке, заочно.
Я им желал спокойной ночи, целовал, и
веяло еще костром, смородиновым дымом,
когда они, натруженные за день, засыпали
почти в обнимку с зарубежным детективом.


2

Кусочки пластыря на банках варенья:
клубника, малина, вишня, крыжовник
и год производства. Большое везенье,
редкость — абрикос. Из-под краев неровных

кружков пергаментной, в спирту, бумаги
все равно иногда пробивалась плесень.
Счастливые будни нашей семейной саги —
чай зимним вечером, и мир был тесен.
Индийский со слоном ты всегда любила.
Такой кипяток, что губы сразу жгутся.
Невозможно дождаться, чтобы когда-нибудь остыло.
И мы сидим, сидим и дуем в блюда.

3

Похожий на кардиограмму знакомый почерк
дает ростки в словах «рассада», «гладиолус».
На тетрадном листке — его побеги вместо строчек:
кривые столбики расписания на автобус
на Радужное, № 4, 8.
Таблицу умножения я выучил позже.
«...Давай по пути зайдем к соседке, спросим
черенок, и еще она обещала дрожжи.
Когда вернемся, поставим к вечеру тесто».
Эта мысль согревала... И недостает появиться
лишь деду, который к нашему приезду
успел сжечь мусор, соорудить теплицу.
«Ляля, ты не забыла купить „Беломору“?»
...Мне назначали куст, уныло я брел к корзине,
чтобы, отбыв повинность, выполнив норму,
бежать на пруд или ловить цикад в малине.



ВИКТОР КОЛЛЕГОРСКИЙ

*

ВОН КОРАБЛЬ В ВОЛНАХ, СМОТРИ

Бык

Се — зверь велиций, двоерогий,
Престрашнолицый и престрогий,

Чьи очи кровию налиты,
Чьи гибелью грозят копыты,

Чей в содроганье хриплый рев
Ввергает трепетных коров;

Кто не замедлит, встретясь вам,
Сейчас же волю дать рогам;

Пред кем трепещет скотный двор;
В чьем чреве зрит ученый взор

Названий тройственный венец:
Сычуг, брюшину и рубец.

Вглядись же пристальней в портрет,
Что здесь изобразил поэт, —

И ты почти наверняка
Узришь в сем чудище быка.

В Царском Селе

И нас — хоть зуб неймет, но видит око —
Трубя в рокайль, струясь, как молоко,
Сквозь пышнотелое закатное барокко
Лилейной грацией пленяет рококо.

В саду, живом подобии вселенной,
Благоухает каждый лепесток,
Как будто целый мир восстал из тлена.
...Еще один блаженный завиток —

Какой-нибудь аканф или волюта
В сыром великолепии дворца —
Как вечности застывшая минута
По мимолетной прихоти Творца.

В ботаническом саду

О, куша, где древесная латынь
Восходит по ступеням алфавита,
Приют чудесный тиса и самшита,
Где с лилией соседствует полынь,

Где дендрофлоре зябнущей пустынь
В сени дерев иных искать защиты;
О, райский сад, где множество сокрыто
Бесценных ботанических святынь!

Да вниду в вертоград обетованный,
Где каплет аромат благоуханный,
Где с виноцветных гроздий свищет дрозд,

Где лень многоочитому павлину,
Как веер, распусть свой дивный хвост,
Раскрытый им уже наполовину.

Буква «К»

Из Кариона Истомина

Букваря премудрость всяк алчущий познати,
В сих вещах начальный знак должен так писати:
В море жительствоет Кит; Кипарис на суше.
Отрок, разум твой да бдит, отверзай же уши.
В Колесницу громоздись; Копием борися;
На Коня как птица мчись; спишь — Ключом замкнися.
Вон Корабль в волнах, смотри; вон в дому Корова;
В праздник Курицу вари; в будни — Кашу снова.
Изгоняй из сердца вон помыслы греховны,
Внемли Колокола звон, зри врата церковны.

* *
*

Все смешалось, и не моя вина,
Что уже ничего не сберечь,
Что заржавела лира Державина
И умолкла Языкова речь,

Что, едва разрешившись от бремени
Немоты, из которой возник,
Стал подвержен коррозии времени
Человеческий смертный язык,

Что душа и в синичьем обличье,
Как и в нищенской лире своей,
Не свободна от косноязычия
В постижении сути вещей.

Но душа не подвержена тлению,
И, пока существует она,
С ней и слово избегнет забвения
И пребудет во все времена.

**Письмо бывшего генерал-прокурора Сената графа Павла Ягужинского
послу российскому князю Антиоху Кантемиру в Лондон
с просьбою выслать удилиц заморских для уловления рыбы**

В столице, государь, разнесся слух повсюду,
Что в Лондоне у вас прехитрые есть уды.

Толкуют о снастях, что вложены в тростях,
Носимых на ремнях и лентных лопастьях,

Таких никак, поверь, не можно здесь достати,
А посему изволь хоть парочку прислати,

Чтоб с оными к реке могли бы мы сойти
И долготу летних дней с приятством провести.

И то сказать, жара, живем мы над водою,
А сей безделицы все ж нету под рукою.

Рождение октавы

«Не знаю, кто ты, пророче рогатый,
Знаю, коликой достоин ты славы», —
Так некогда рек Феофан брадатый,
Зря в Кантемире надежду державы,
Хвалу вострубить ему тщась трикраты
Во первых строках российской октавы.
Впредь в стихотворной цвести ей пустыне —
Век ее целый не вспомнят отныне.

Век ей, незримой, скитаться крылато
В юдоли чужой, сироты бездомней,
И все же тогда, Боже мой, тогда-то,
В краесогласной сей каменоломне
Уже звучали напевы Торквато,
В тумане брезжил нам «Домик в Коломне».
Так не великой достоин ли славы
Звук даровавший нам русской октавы?

* *
*

Когда в последний день Бомбея
Мать Индия, как Ниобея,
Оплачет вновь своих детей
И, как Санджая и Раджива,
Укроет милосердный Шива
И их от демонских сетей,

Из заполярной Африканды
Раздастся глас Вивекананды:
«Да не погибнет Хиндустан!
Да изольются воды Ганга
В сухое лоно Окаванго
Из бантустана в бантустан!»

И чернокожий Кришнамурти
В монгольской — нет, в ангольской юрте
Воспляшет, яко царь Дравид,
Один, пред скинией ковчега,
Пока над ним Атхарвавега
Пасхальным пламенем горит.

* *
*

В нашем доме, в оконцах его слюдяных, —
Тяньаньмэнь и поленовский дворик,
Где страничку последнюю хроник земных
Марсианский допишет историк.

Все смешалось, и век наш ему предстает
Как манхэттенско-нюрнбергский кворум —
И Эйнштейн, и Манштейн... Только недостает
Нильса Бормана с Мартином Бором.

Поэзия

Словно ладожско-невский Броневский,
Или вятско-хорватский Словацкий,
Костровицкий париждско-женевский,
Или лондонский пан Коженевский,
Или просто Бенеvский и Свяцкий,

Как венец всеславянского братства,
Македонства, словенства, хорватства,
Стоединства без тени главенства,
Верховинства, а не верховенства,
Словно бармы ей царские узки,
Наконец зазвенела по-русски

Древлепольской, шершаво-варшавской,
Херувимской, тувимской, самборской,
Графско-Дракульской, дравской, моравской,
Ченстоховской царицею Савской,
Несравненной Веславой Шимборской.

* *
*

Распался античных богов пантеон —
Ни фавна в лесах, ни сатира.
Но все неразрывней единство времен
В союзе трезубца и лиры,

Пока растворен в лоне вод небосклон
И слиты в гармонии мира
И бог-колебатель морей Посейдон,
И Бах, колебатель эфира.



ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК



ГИППОГРИФ

Последние полеты, или Гиппогриф

Дни смертного в мечтах лишь только хороши...

Кн. Шаликов.

Because I do not hope...

T. S. Eliot.

1

Октябрь. Костры. Последние полеты
и утренники горькие. Гори,
мечта, на скором ветре обороты
вширь расправляя. От сквозной зари
шататься б в эту пору без заботы
под легких рифм кружение на три.
Воображенья праздник! Сердце радо
высокому паренью листопада.

2

То тополя, то клена лист — следы
кочующего к югу гиппогрифа,
С Рифея, что слетел отпить воды
на полпути в Феррару, — хвост игриво
с древес стрясает золото. Без узды
не сдюжить бы с таким, но — грива! грива!
Сгреби в охапку гриву, как копну,
и правь без промедленья на луну!

3

Орлиный клюва крюк, да зрак, да львиный коготь
передних лап — в гармонии частей
живой, — да конский зад, чтоб звонче цокать
в глазурь небес; цвет — радуга мастей
златобагрянца. Зверь! Чуть гикнешь трогать —
обрушит треск пернатых лопастей,
ширяя широко уже над звездной
спиралью разверзающейся бездной!

4

Но! Но!.. Как далеко заносит лист,
 кровь газирюя свежим ветром страха!
 Чем обернется, иллюзионист,
 еще — сердечком? кораблем? — до взмаха
 плаща шуршащего? Бьет дым, слоист,
 возможностей любых чрез россыпь праха...
 Под осень дней — забава детворы
 собирать листву да возжигать костры.

5

Дым слезный, дым удушливый, и в дыме
 лишь хлесткий шелест восходящих крыл.
 Ты скажешь: в цель примчит неотвратимей,
 кто печенью своей орла кормил.
 Луна двоится бельмами пустыми...
 О гений од торжественных, Ермил,
 взлететь к Блуднице вышней помоги мне
 в величества Ее достойном гимне!

6

К Царице, что опять в свои цвета
 всем землям повелела нарядиться
 пред жертвой яркой, кто и живота,
 и слез людских с ножом и блюдом жрица,
 пуп режущая, в чьих песках мечта
 и память часа каждого хранится.
 О! — в чьих перстах и каждой жизни ось —
 судьба — все, что с тобою не сбылось:

7

о — сытый быт (о стыд!), о — человечья
 жизнь, о — прозвание гордо человек,
 о — с женщиной единственною встреча,
 о — град Париж (где пролетишь вовек),
 о — слава, о — труды! Глаза калеча,
 смотри чрез пламень взвинченный... Эк, эк,
 лист за листом, чтоб враз испепелиться,
 любимых и любых там скачут лица!

8

Греби ж, грабать, шурши еще, смешон
 в тщете разворошить толщ свежей прели
 иль залежь прошлых лет, вооружен
 крылом граблей. На солнечном простреле
 иль в шумный дождь, надвинув капюшон,
 следи окоченело, чтоб горели...
 Теплом огня минувшего обвет
 царит повсюду желтый чистый цвет.

9

И даль знобит прозрачностью горенья.
 И в воздухе дерзает глаз поймать
 носящееся нечто, завихренья
 грядущего, грозящие измять
 провидца жизнь за суету прозренья,
 как хлипкий лист... Пусть будущая мать
 внушает плоду чревному: с приветом
 родись, дитя, не дай те Бог — поэтом...

10

Пусть как пузырь вздымает дутый лик
 поэзии бессмертный нечитатель,
 ни звездных стай осенний переклик
 не слышащий, ни — мимо звезд летатель —
 не видящий, как листопад велик, —
 но ты, другой, нечаемый мечтатель,
 от чуждой сей кометы увернись
 и все же посмотри порою вниз.

11

Где под брюзжанье, ржанье да жеванье
 удил дневными вспышками чрез тьму
 влачит земля полет на выживанье.
 Война, Мор, Глад и Хлад вдогон ему,
 пока в крови чадит еще желанье,
 сгущают очертания в дыму, —
 и всадников слепых четыре туши
 восходят над одной шестою суши.

12

Прочь! Прочь!.. О, возлунись, грифоноконь,
 к Той, что и днем нас манит страстным стражом!
 Кто жег листву, кто жизнь швырял в огонь,
 лишь на Луне отыщет здравый разум...
 Но золота еще полна ладонь —
 всем нищим и беспечным хватит разом.
 Пусть поглядит, как ты пылать горазд,
 хоть свыше уголька тебе не даст.

13

И не проси — прости! Душой и телом
 прими, что ты не важен под луной.
 Довольствуйся видений беспределом:
 уж скоро, погоня четверней,
 прискачет на возке иссиня-белом
 Снегурочка с косою ледяной.
 Так налюбуйся ж впрок с зарею новой,
 как трепыхает вбок листок кленовый.

Две оды сапфическия

1. Стансы к М. А.

на ударное рытье г. сочинителем
новой ямы под старый нужник
в пос. Кратово
Мос. обл.,
Россия

...О горе

Мне! что я ежегодно весной очищаюсь от желчи.

К. Гораций Флакк, «К Пизонам» (301 — 304).

Где вчера — метла, нынче впору веник!
Так реку тебе, «дворник» пиериды,
с мертвого — сюда языка изменник
бардов Киприды.

Тут как не рыкать?.. Строгий метр потерян.
Мелос наш, каданс — *топора обиды*
злые, так сказать. На аршин отмерен
логос без слога,

иль без сути стиль, или прописные
выверты постмо-дерма. Нуль итога
вящих трех веков! Службы чтить ночные
музам не модно.

Кто в одну строку, кто строкой стостопной
под себя писать что и как угодно...
Свой пометил троп новый расторопный
приватизатор!

Мы ж с утра — пиит, через сутки — сторож,
завтра ж — водовоз иль ассенизатор.
Лом в ладонях жмешь и тому лишь вторишь,
скажет что барин.

Черный точишь ход, до червя низведен, —
от земных паров слог высокопарен...
Нынче знаешь как говорят? — кто беден,
тот не талантлив.

Потому стучу ни к тебе, ни к Богу,
сам ли адресат этих, адресант ли,
вот бы разобрать... Почтальон в дорогу
вышел без почты

через певчий лес, через луг поющий
от стези любой, что ему ни прочь ты,
отклоняясь прочь в золотые кущи
вещей свободы.

Там воскреснет вновь — именем Деметры! —
 свежих вождь ветров, командир погоды...
 Видь, речет, внемли: современны метры
 Сафиной оды,

Так сказал. Внемли современны метры
 Сафиной оды,

2. Ода к Му

— Му, — ответил Дзёсю.

«Мумоннкан».

Как придет — ура! Знать, Судьба — не шутка!
 Жаль, чрез призму слез не признать подарка:
 кто же моя Му, иль литинститутка?
 или доярка?

То ведет Москвой, чтоб в кафе на Бронной
 под высокий треп попить «Гурджани».
 То — разгул чумной, хоровод взъяренный,
 рожи и ржанье.

И смердя добром, и благоухая
 злом, как вдарит в пах да начнет дразниться:
 «Это для тебя расцвела сухая
 роза-зарница!

Это — лета цвет! Это — полдень зрелый!
 Это — твоего бытия середина,
 с призывком грозы аромат и белый
 ужас жасмина.

Это — в куцах, глянь, где огонь веселый,
 в свадебном еще осыпанье праха...
 Женщину сию ты ведь видел голой?
 Ты ее трахал??

Се — *Сестра* твоя!» — Да уймись, корова,
 я вкушал твои и «му-му», и жижу.
 А тебя люблю — это не то слово! —
 ненавижу.

Отлюблю — умру, расцвету — распятый
 под окном твоим с твоего ж навоза
 всеми четырьмя, головою пятой —
 розовая роза!



ЛОРЕНСО СИЛЬВА



СЛАБИНА БОЛЬШЕВИКА

Роман

В ту ночь мне приснился сон. Может, прежде следует объяснить, когда я говорю: мне приснился сон, я имею в виду совсем не общепринятое. Когда люди говорят, что им приснился сон, почти всегда возникает ощущение, будто они говорят о том, как нечаянно пукнули. Отчасти это словно бестактность, а отчасти — нечто несущественное. Для меня все иначе. К снам я отношусь необычайно уважительно и относился так всегда, а если быть точным, чуть ли не с младенчества.

Мне еще не исполнилось трех лет, когда из-за высокой температуры у меня приключились ужасные галлюцинации. И моим первым воспоминанием, более ранним, чем лицо матери и голос отца, был один из тех кошмаров. Мне привиделось, будто лютует жара и стадо черепах пожирает мне руки и ноги. В пересказе выглядит смешно, однако я пережил чудовищный страх. Такой, что, по словам родителей, сразу принял меры: в первый же день, выйдя гулять в сад после болезни, я одним махом отгрыз голову у черепахи моего приятеля Роберто, единственной черепахи, которую видел в жизни и которая стала причиной моих кошмарных видений.

Потом накопились другие воспоминания и другие кошмары, менее древние, но гораздо более мучительные. Лет с четырех и до восьми мне почти каждую ночь снилось, что мои родители умерли. У этого сна был вариант *ma non troppo*, в котором об этом мне кто-то сообщал, я переживал ужасные минуты, но в конце концов они появлялись живые и здоровые. Был вариант и *fortissimo*, где родителей мучили самым садистским образом у меня на глазах, а потом я часами истязал себя, ёрнически вспоминая, каким несильным и несмелым выглядел отец перед тем, как его добились. А когда просыпался, до самого полудня не мог избавиться от отчуждения и презрения к отцу.

В отрочестве, с началом гормональных процессов, в моих снах произошел незначительный, но внушающий оптимизм сдвиг. Мне стали сниться покинутые замки, непроходимые леса, странные дома со множеством комнат. Само по себе это не особенно бодрило, однако почти всегда, поблуждав по этим таинственным местам, я набредал на прелестных юных девиц (или не слишком юных), с которыми у меня, как правило, завязывались лирические отношения. Время от времени, не стану отрицать, мы просто совокуплялись без лишних разговоров. Главное, что и в том, и в другом случае они были готовы делать то, чего не желала женщина, от которой я тогда именно этого и ожидал: одни мило выслушивали мои любезности (не высокомерно, но понимающе, что чрезвычайно полезно и в высшей степени человечно) и гладили меня белоснежными руками; другие же оказывались ненасытными свиньями и соглашались на любые позы. Благодаря тем снам реальность переставала быть необходимой, и отчасти благодаря им же я не жалею, что ничего не отведал в отрочестве. Вообще я считаю: сбывшиеся юношеские любви — невыносимая слащавая чушь, в то время как несбывшиеся порождают великолепные психо-

логические деформации, которые впоследствии позволяют оттянуть неизбежный миг, когда обычное соитие становится чем-то вроде поднятия мешка с песком на десятый этаж да еще со связанными ногами.

Когда я стал взрослым, то как и многое другое, что взрослое состояние ампутирует, реже стали и сны, пока почти не пропали. Тут мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Когда я познакомился с Росаной и в первую же ночь увидел ее во сне, это вообще было странно, во всяком случае, то, что я из него утром вспомнил. Таким образом, эта сторона моей жизни как бы снова ожила. Бывало, если мне снился кошмар, то такой жуткий, что я держался из последних сил, чтобы не очуметь совсем. Если же снились нежные девицы, я ужасно заводился и, когда просыпался и видел, что девицы исчезли, приходил в страшное волнение и еле сдерживался. В любом случае я выбивался из колеи, и с каждым разом мне все труднее становилось входить в норму, чтобы поесть свою ежедневную порцию дерьма.

Необычность этой ночи состояла в том, и, возможно, в том заключалась причина всего случившегося впоследствии, что девушка не исчезла. Во всяком случае, не сразу.

Во сне все происходило в огромном супермаркете. Кажется, первый и последний раз мне приснился супермаркет. Это был не совсем супермаркет, скорее гигантский торговый центр со множеством магазинов, баров, дискотек, парикмахерских, ветеринарных клиник, видеоклубов, гимнастических залов и огромных супермаркетов. Центр был совсем новым, и почти все торговые помещения еще не были заполнены или только начинали заполняться. В некоторых витринах, немногих, были разложены товары, готовые привлечь и зацепить ненасытного *homo shopping*. Необычным было то, что меж магазинных дверей попадались запертые двери жилых помещений и какие-то люди, боязливо оглядываясь, торопливо входили и выходили из этих дверей.

Почему я там оказался — не имею понятия. Но знаю, с кем был: с моей сестрой и ее подружками, точнее, их было четыре. Самое интересное, что у меня никогда не было сестры, разве что отец где-то допустил ошибку или вообще не знал об этом. Поэтому первой пробудила мое любопытство именно моя сестра. Но ненадолго. Волосы у нее были того же цвета, что и мои, и она была похожа на меня, как обычно бывают похожи сестры на братьев. И, как обычно, братья, похожие на сестер, внешне выигрывают, а сестры, похожие на братьев, проигрывают, выглядят грубее. Словом, едва прошло первое впечатление, она перестала меня интересовать. Мы шли и разговаривали с одной из ее подружек: судя по лицу и походке, у нее тоже был брат, на которого она походила.

А вот остальные подружки — совсем другое дело. Одна была высокая, смуглая и двигалась как кошка. Другая — не такая высокая, но тоже смуглая, шла, повиснув на моей руке, и шептала мне на ухо непристойности, а ее бурная грудь, едва не вылезавшая из декольте, все время маячила у меня перед глазами. Последняя же, с которой разговаривала первая, с кошачьими повадками, была просто-напросто Росана. Во сне она была года на три или четыре старше, чем в действительности, лет восемнадцати или девятнадцати. Ростом — сантиметра на два ниже своей подруги, а ее кожа сияла нежной бледностью. Отличал эту Росану от пятнадцатилетней взгляд — ресницы были накрашены и подчеркивали синеву глаз.

Иногда мы останавливались около магазинчиков, полностью или только наполовину оборудованных. Они глядели на витрины, а я — все на то же самое — на бурно вздымавшуюся грудь; и когда ее обладательница немного наклонялась, вырез платья чуть отставал и глазам открывалось все разнообразие форм, какие может принимать ничем не стесненный бюст. Но мне было не по себе. Не скрою, у меня шевельнулась мысль, коль это сон, не раздеть ли ее, большого труда не составит. Однако бесстыдная девица не очень меня привлекала. Слишком доступна, это здорово обесценивает. Во сне всегда мечтаешь о

самом-самом, правда, иногда время выходит и не получаешь ничего, как, впрочем, и в этой распроклятой жизни.

Пока мы шли от витрины к витрине, я еще не решил, что же самое-самое. Росана и ее смуглая подружка с кошачьими повадками нравились мне более-менее одинаково, и я считал, что времени у меня еще достаточно. Однако относительное бездействие сна, пока мы неторопливо шли по переходу, длилось недолго. Хотя и не было ощущения, будто мы идем в какое-то определенное место, но у одной запертой двери, ведущей, судя по всему, в жилое помещение, сестра вдруг остановилась и сказала:

— Может, здесь?

Достала ключ и попробовала открыть. Замок поддался.

— Значит, здесь, — подтвердила подруга, у которой тоже был брат.

За дверью оказалась крутая лестница. Сестра и еще одна девушка поднялись первыми, а мы, четверо, немного отстали. Росана пошла впереди, а девушка с бюстом и я поднимались последними. Лестница привела в небольшую темную гостиную. Мы расселись кто куда и молчали. Все смотрели на мою сестру. Она ломала руки.

— Не сидеть же так, пока о нас наконец не вспомнят, — нарушила молчание смуглянка с кошачьими повадками.

— Ничего больше не остается, — возразила сестра. — Или есть другие варианты?

— Да. Я не желаю больше ждать. Пусть тот, кто от меня чего-то хочет, идет за мной. А то увидят, как я тут сижу, черт знает что подумают, не собираюсь тухнуть тут. Пойду прогуляюсь.

Смуглянка поднялась, одернула платье. Лиловое, легкое.

— А может, никто не пойдет за тобой, — предупредила моя сестра.

— Может, — ответила та и вышла из комнаты.

Сестра растерялась. Но быстро оправилась и спросила:

— А что собираются делать остальные?

— Я остаюсь с тобой, — поспешила заверить ее приспешница.

— И я не такая нетерпеливая, — засмеялась та, что с бюстом, ущипнув меня за руку.

Остальные не торопились или не желали отвечать. Сестра смотрела на Росану и на меня, ожидая ответа. Не дождавшись, спросила:

— А вы?

Росана вздохнула и завершила позорное поражение моей сестры:

— Я тоже уйду. Но не сразу. Чтобы не думали, будто я с ней.

Очередь дошла до меня. Сон уже давно принял иной оборот, и я не понимал, о чем идет речь. У меня было ощущение, что сестра предпочла бы, чтобы я остался, и что девушка с бюстом ничуть не сомневается, что останусь. И еще мне казалось, что Росана совсем не обращает на меня внимания. У меня был один выход. Я встал и бодро заявил:

— Я уйду. Прямо сейчас, как бы за ней. Пойду ее искать.

Все четыре уставились на меня, не веря своим ушам, но Росана — не так явно.

— Иди, иди, идиот, — процедила сквозь зубы сестра и отвернулась. — Небось веришь, что она этого хочет.

— Надо не верить, а действовать. Если выяснится, что нет, я сдамся и вернусь.

— Пускай идет, — обиделась девушка с бюстом. — Ему лучше знать, чего он хочет. Глядишь, она сжалится, и оба, как говорится, будут счастливы. Желаю удачи, дружок.

Я вышел из комнаты и побрел по квартире. По размерам она не имела ничего общего с другими квартирами, которые я когда-либо видел, убогим плодом жилищного бизнеса. Я прошел десятки комнат, коридоров, лестниц и вестибюлей, они вели в другие вестибюли, подвалы, мансарды. Это был колоссальный лабиринт, раскинувшийся во все стороны, хотя, пожалуй, нигде

не было достаточно просторно, чтобы составить о нем ясное представление. К тому же освещение было скудным.

В одной из комнат — я блуждал уже с полчаса — вдруг что-то упало. Я оглядел гостиную и увидел на верхней полке серванта упавшую рамку для фотографии. А рядом — маленького черного котенка. Котенок застыл и уставился на меня не желтыми, как следовало ожидать у черного кота, глазами, а светло-фиолетовыми, почти лиловыми, точно платье сестриной подруги, вспомнил я.

Я медленно подошел и протянул руку, чтобы взять котенка. Он не сопротивлялся. Наоборот: удобно устроился и даже несколько раз лизнул меня розовым язычком. И так, с котенком на руках, я пошел дальше по дому. И пока я оглядывал комнату за комнатой, все пустые, котенок играл моими пальцами, главным образом большим, который, по-видимому, лучше остальных подходил ему по размеру. В конце коридора, после того как я долго ходил с котенком в полной тишине, меня остановил женский голос:

— Подожди.

Я обернулся и узнал Росану. В полутьме ее гладкие, почти белые волосы были видны издали. Я подождал. Она подошла ко мне:

— Что это у тебя?

— Котенок. Он был тут совсем один.

— Черный кот.

— Ты суеверна?

— Нет. Дай мне его.

Я протянул ей котенка, и она ухватила его за шкурку. Котенок повис у нее в руке, как на виселице. Росана подбежала к окну, открыла его и без жалости швырнула котенка в окно.

— Ты его убила, — проговорил я ошарашенно.

— Не знаю. Кошки падают на лапы, но тут высоко. Вполне возможно.

— Он тебе ничего не сделал.

— Мне — ничего, — согласилась она и показала на мою руку. Я поглядел. Большой палец у меня был в крови, кожа поцарапана.

— Совсем не больно, — удивился я.

— Больно бывает потом, когда уже ничего не поделаешь. А ты что — пришел сюда за котенком?

— А ты?

— Да так, ходила, смотрела. Увидела тебя и захотела убедиться, что это ты. Но больше тебя не задерживаю. До свиданья.

Росана приблизила свою щеку к моей, намереваясь одарить асептическим поцелуем, какими обычно одаривают подружки сестер. Однако на ходу переменила намерение и поцеловала более плотски. И отстранилась, ожидая моей реакции. Я стоял не шевелясь.

— Ну, я ухожу? — сказала она.

— Не так быстро.

Она несколько раз повторила процедуру, каждый раз все сладострастнее. Слюна отдавала фруктами, и Росана улыбалась, словно сознавая, что совершает опасную шалость. Я хотел ее обнять, но она ускользала. Наконец я ухватил ее за плечи. Они были теплые, нежные и мягкие, как будто без костей.

— Мне нравятся твои плечи, — признался я.

— Твоя сестра рассердилась бы, если бы услышала. Я ей не пришла. Наверняка она бы этого не одобрила.

Я расстегнул ее блузку и позволил пальцам заняться тем, что было под блузкой. Росана уже не сопротивлялась. Она как бы со стороны наблюдала за собой, за мной и забавлялась.

— А то, что сейчас делаешь, — и подавно не одобрила бы.

Я на мгновение заколебался. Это плохо. То, что я делал, и вправду было плохо. У моей сестры было специальное мерило, при помощи которого она оценивала все мои поступки. Но этот выходил за рамки. Росана посмеивалась над моей сестрой, и я был сообщником, если не подстрекателем. Росана к

моей сестре не имела никакого отношения, а я — имел, даже если это меня и тяготило. Я терзался сомнениями. И тогда она, Росана, их разрешила. Подошла к двери, заперла ее и сбросила блузку, без всякого стеснения обнажив передо мной свое тонкое девичье тело. Моя сестра была существом осторожным и унылым. А Росана — веселым и свободным. В запасе у меня оставалось только одно:

— Скажи, что ты хочешь этого ради меня, а не назло моей сестре.

Росана расхохоталась. И, сбрасывая юбку, заверила:

— Ну и остряк. Да плевать мне на твою сестру.

Я, в общем-то, кабальеро, и потому не следует ждать от меня подробных описаний того, что было у нас с Росаной в той комнате. Она оказалась снисходительной и ненасытной одновременно, а я, как и требовалось, вел себя до предела раскованно. Скажу лишь — последнее, что я видел, перед тем как проснулся: в дверном проеме стояла моя сестра и в ужасе смотрела на нас; Росана приветствовала ее, ни на секунду не прерывая своего усердного занятия и ни на миг не согнав с лица бессердечного детского ликования. А мужчина, то бишь я, считал, что все хорошо.

Ровно в одиннадцать мое старое тело, с трудом оправившись от чрезмерной порции спиртного и сна с Росаной, сидело на той самой скамейке, где вчера мы договорились встретиться. В голове перемешались воспоминания о сдержанной Росане, с которой я разговаривал накануне, и шальной девчонке, неожиданно доставившей мне ночью такую радость. Вокруг гуляли старики, мамыши, детишки и собаки, а я развлекался, заключал пари сам с собой: какая из двух придет сюда сегодня, если вообще придет. Профессиональный спорщик не стал бы рисковать своими деньгами и не поставил бы на то, что она придет на свиданье, а если бы ему ввиду крайних обстоятельств пришлось все-таки принять пари, он, конечно, ни за что не предположил бы никакой иной Росаны, кроме вчерашней. Спорщик-профессионал просто-напросто выполнил бы свое назначение, которое состоит вовсе не в том, чтобы выиграть пари, равно как назначение врача состоит не в том, чтобы кого-то вылечить. Назначение профессионального игрока заключается в том, чтобы некто неосознанно обогатился его трудами, меж тем как его выгода никогда не выйдет за рамки скромного выигрыша. Участь врача — сдать ее вместе со своей наукой под напором какого-нибудь настырного носителя смерти. Моей же судьбой, вовсе не имевшей отношения к судьбе игрока или врача, была непредсказуемая и шальная Росана.

Однако настало четверть двенадцатого — этот миг мой специально настроенный электронный раб на запястье отметил дурацким пипиканьем, — а я сидел на скамейке все такой же одинокий-неразбавленный, как вчерашний виски, от которого теперь молотом стучало в висках. Единственное, что ценится в мужчине, во всяком случае, в тех из нас, у кого нет никакой моральной или физической диспропорции в сравнении с другими, это его слово, и единственное, что я мог сделать, когда часы подали сигнал, — подняться и гордо удалиться. Что я и сделал. Я подтянул галстук (другой, не вчерашний, но примерно того же стиля, что похвалила Росана) и пошел по аллее к ближайшему выходу из парка.

Она дала мне пройти пятнадцать или двадцать метров. И неожиданно появилась из-за дерева.

— Привет, поли.

Я остановился и с восхищением глядел на нее. Для случая она выбрала довольно смелый спортивный костюм: эластичные штанишки до колен с обтягивающей маечкой на бретельках, так что плечи были открыты почти невыносимо. А волосы подобрала в пучок, отчего казалась немного старше.

— Я уже уходил, — сказал я.

— Так быстро? Не подождал и минутки. А мы, женщины, всегда опаздываем.

— Я ждал не женщину. И мои убеждения мне этого не позволяют. Так что я ухожу. — Я прошел несколько шагов и остановился: — Если, конечно, ты не попросишь.

Росана искоса глянула на меня:

— Попросить тебя? Ну вот, сразу ясно, на какую ногу ты хромаешь.

— На какую же?

— Нетрудно догадаться, — усмехнулась она. — Как все эти, что приходят к школьной ограде посмотреть трусики у девочек.

— Если ты так считаешь, Росана, то всего хорошего. Ты прелестна, но что к чему — не очень понимаешь. Плевать я хотел на трусики.

И я пошел с твердым намерением не останавливаться, пока не получу четкого подтверждения, что она вступила в игру. Это был ключевой момент для игрока, и проклятая девчонка одним ударом покончила с неопределенностью:

— Тем лучше! — крикнула она. — Я их не ношу.

Я замер и спросил не оборачиваясь:

— Что?

— Трусики. Не ношу трусиков. — И пока я оборачивался, пояснила: — Когда брюки в обтяжку, они заметны. Хуже нет ходить по улицам и показывать всем, что трусы впиваются тебе в задницу.

Признаюсь, как всякий бесстыдный самец, я позволил своим глазам на самом выразительном месте проверить, правду ли говорила Росана. Она говорила правду, это было очевидно и возбуждало.

— Осторожно, поли. Очень торопишься, — предупредила она и скрестила руки перед собой.

Не было нужды объяснять, как я смущен. Это было настолько явно, что Росана, по-видимому, почувствовала себя обязанной прийти мне на помощь.

— Принимаю твое условие, — сказала она и подошла поближе.

— Какое условие?

— Попросить тебя. Чтобы ты не уходил. Так что пойдем и посидим.

— Не знаю, соглашусь ли я теперь. — Я постарался вернуть лицо. — Помоему, ты что-то напугала. Видно, ты еще слишком молода. Сколько тебе лет?

Росана ответила со всем возможным кокетством:

— Сегодня — пятнадцать. А в январе будет шестнадцать. Мог бы быть моим отцом?

— Нет. Когда ты родилась, у меня еще не было связей с женщинами. Я их любил.

— Остроумная у тебя манера говорить.

— Я вообще остроумный полицейский. Поэтому и занимаюсь несовершеннолетними преступниками.

— Уже забрал Борху?

— Я охочусь не за Борхой. Меня интересует тот, кто продает ему товар. А Борха — обычный мерзавец, что ему остается делать при таком папаше, президенте старых выпускников, который каждую субботу дает сыночку пятнадцать тысяч. Если сажать в тюрьму всех мерзавцев, таких, как Борха или его папаша, тюрем не хватит.

Росана отошла к скамейке и села. Я не двинулся с места.

— Ты правда не хочешь посидеть со мной? — пригласила она. — Со мной все хотят быть, если я позволяю. Я очень популярна.

— Не сомневаюсь. Ты — первая ученица в классе и самая красивая в школе. Если бы у тебя лицо было в прыщах, а задница такая толстая, что штаны не налезали, ты была бы менее популярна. Хоть и первая ученица. Но ничего плохого, что ты пользуешься случаем. А не пользовалась бы, никто бы тебя и не пожелал.

— Ну давай, — настаивала она, хлопывая по скамейке белой рукой.

— Не следовало бы. Ты опоздала. Если я сяду, ты будешь думать, что не важно, выполняешь ты мои условия или нет.

— Обещаю, что не буду.

— Обещаешь. И ты думаешь, мне этого достаточно? Я тыщу раз врал, давая обещания.

Ее сочные губы, чуть ярче обычного, расплылись в торжествующей улыбке.

— Я здесь с без десяти одиннадцать. Вот за этим деревом. Не вру. Я видела, как ты пришел ровно в одиннадцать и поставил часы на сигнал.

— Так, — согласился я. — Тебе нравится подлавливать меня. Ты девочка с вывертом. А мне именно такие и нравятся.

Я сел рядом с нею, а в голове в это время всплыла глупая и сентиментальная мысль. Вопреки тому, что предсказывали, когда мне было двадцать лет и все смеялись надо мной, я преуспел в любовных делах и добивался расположения некоторых вполне сносных дам. Однако у меня ни разу не было ощущения, что я осуществил свое желание, другими словами, чтобы рядом было нечто спокойное и свое, которое всегда ищешь, а оно всегда ускользает. В лучшем случае я испытывал чувство, будто украд чужое желание, как это случилось, когда сдалась Сабина, мощная немка, по которой вздыхал тот, кто до того дня был моим лучшим другом. В качестве заменителя это еще куда ни шло — временно латало прорехи на тщеславии. Но по большому счету — никуда не годилось. Так вот, когда я сидел там, вдвоем с Росаной, захваченный ее колючей нежностью, мне вдруг пришло в голову, что первый раз в жизни осуществилось мое желание, осуществилось по-настоящему и навсегда. Теперь-то я понимаю, что это — глупость несусветная. Но тогда у меня мурашки побежали по коже.

Росана о чем-то думала.

— А мне дают пять тысяч по субботам, — призналась она вдруг. — Ты считаешь, что мой отец — тоже мерзавец?

Может, я размяк, чувствовал себя уязвимым и потому решил быть грубым, забыв, что рядом со мной — девочка, которой нет еще и шестнадцати.

— Разумеется. Есть женщины, которым за пять тысяч приходится сосать вонючего пьяницу. А так никогда не узнаешь истинную цену вещам.

Глаза у Росаны заблестели.

— Твой отец был беден?

— Мой отец и сейчас беден, если ты считаешь, что беден тот, кто должен работать и платить налоги с каждой вонючей песеты, которую зарабатывает. Во всяком случае, я так считаю.

— Так, значит, ты — социалист.

— Кто тебе сказал?

— Отец говорит, что бедные — социалисты, потому что социалисты обещают им, что отнимут все у таких, как мы, не бедных.

— Ну и каша в голове у твоего отца.

— А кто же ты тогда?

— Я — большевик, — сымпровизировал я на ходу.

— А чего хотят большевики?

— Тебе не понять.

Росана нахмурилась.

— Попытайся объяснить. Я не глупая. И в восьмом сдавала двадцатый век.

— Мы, большевики, не из двадцатого века, а из девятнадцатого. И хотим мы — расстрелять таких, как твой отец, а потом расстрелять бедных, чтобы знали: все без исключения не имеют стыда и совести и потому не заслуживают спасения.

— Ты шутишь. Смеешься надо мной.

— Конечно, смеюсь. Я — никто и, кем бы ни был, перестану им быть, если ты меня попросишь.

— Ты — сумасшедший, поли.

— Ничего подобного. Просто у меня особое мнение по поводу того дерьма, которое бултыхается у людей в головах. Все это не стоит одной твоей слезинки, моя прелесть.

Она была сбита с толку, а я купался в ее чистейшем синем взгляде, проявляя, пожалуй, несколько большее воодушевление, чем следовало бы мужику тридцати с лишним лет перед пятнадцатилетней девчонкой на скамейке в общественном парке. Она отвела глаза и обхватила руками коленку. И этот жест не был мне безразличен. За эти ноги я способен был отправиться к своему зубному врачу-аргентинцу и выслушивать его нотации, способен был своевременно относить пустые бутылки и банки в предназначенные для этого контейнеры и даже подвесить к поясу сотовый телефон.

— Это комплимент? — спросила она.

— Я не говорю комплиментов. Я признаюсь или ужоу.

На мгновение мне показалось, что она покраснела, но, наверное, то был обман зрения. Она выпустила из ладони прядь и смотрела на меня, опершись подбородком на хрупкий кулачок.

— Этот галстук не так хорош, как вчерашний.

— Могу снять, если тебе не нравится.

— Давай.

Я развязал галстук, сложил его и сунул во внутренний карман пиджака.

— Так лучше?

— Да. Ты моложе, чем я думала. На шее нет морщин.

— Морщин у меня нет нигде. А вот седина есть.

— Почти незаметно.

— Мне все равно, пусть и заметно. Ничего нет смешнее мужчины, который мажется средством для роста волос или закрашивает седину. Твой отец красит седину?

— Мой отец лысый, как яйцо.

— Ну, конечно, мне следовало догадаться. А чем занимается твой отец?

— Он архитектор.

— А мать?

— А мать — никто. Играет на пианино и говорит по-французски. По-моему, только это и умеет.

— У твоей матери есть время, чтобы скучать, Росана. Следует уважать тех, у кого есть время для скуки. Оттуда выходят мудрые.

Росана помотала головой:

— Это не про мою мать. Ее даже прислуга иногда не принимает всерьез.

— Она мне по душе. Мне больше нравятся люди невезучие.

— А я — везучая.

— Ты — совсем другое дело. У тебя есть братья и сестры?

— Пятеро. Все старше меня, у них уже семьи, дети. Кроме Сонсолес. Она самая старшая, но не замужем. Мой брат Пабло говорит, что она *засиделась в девках*, а она злится.

В тоне Росаны, когда она говорила о Сонсолес, слышалось безжалостное равнодушие. Я попробовал прощупать:

— У тебя хорошие отношения с сестрой?

— С Сонсолес? Она чересчур умная, чтобы иметь с кем-то хорошие отношения. Она никогда никому ничего плохого не сделала, а вокруг нее все идиоты. Послушать ее, она только и знает снимать стружку со всех, кто работает с ней в министерстве. Иногда, бывает, и матери достается, а то и отцу.

— А тебе?

Росана спустила ногу со скамейки и вытянула обе ноги перед собой. Если сравнить с двумя проволоками Сонсолес, умрешь — не поверишь, что они одной крови. Росана ответила со злорадством:

— Сонсолес знает, что я не идиотка.

— Был случай убедиться?

— Это наш секрет, между сестрами.

— Я ей не расскажу. Я с нею не знаком и знакомиться не собираюсь.

Она посмотрела на меня пристально, изучающе.

— Буду хранить секрет, — пообещал я.

— Тогда мне только что исполнилось тринадцать. А у Сонсолес был жених. Дядечка с животиком и в усах. Хорошо, что у тебя нет животика и усов. Я думала, все полицейские носят усы.

— Это жандармы с усами. И то — раньше.

— А тот был адвокат или что-то в этом роде, но в усах. И вот они вдвоем приехали в наш дом в Льяносе, дело было летом. Однажды я переодевалась после пляжа у себя в комнате и увидела, что он из сада подглядывает за мной. Я уже разделась, и он успел увидеть меня голой, так что я не стала спешить. Одевалась как ни в чем не бывало и вышла к обеду. За столом дядечка ластился к Сонсолес, называл ее *лапочкой*. Я съела первое, потом второе, не сказав ни слова. А когда принесли десерт, выпалила сестрице, чтобы она на следующее лето подыскала себе другого жениха, который не водил бы ее за нос. Сначала Сонсолес не поняла, а потом велела мне замолчать. Но я все равно сказала, что усатому нравятся девочки помоложе. Тут Сонсолес не на шутку рассердилась, а отец прогнал меня из-за стола, но дядечка уже сидел весь красный, и я, уходя, успела дать ему совет: в другой раз, когда захочет посмотреть, как я переодеваюсь, пусть прячется получше или просит у меня разрешения. На следующий день адвокат слинял, а сестра меня возненавидела, но зато не будет думать, что я идиотка.

Она рассказывала, а я представлял себе, как было: потный адвокат прячется в кустах, и смешное брюхо нависает над полусогнутыми волосатыми ногами; Росана спокойно, делая вид, что не замечает его, переодевается; Сонсолес сперва пытается замаять неловкость, но в конце концов ей становится очевидной сальная похотливость ее серого принца. Существо, которое в недобрый час родители дали ей в сестры, превратилось в ее самого страшного врага, в живой позор, которым она платила за все свои недостатки. Ужасную подлянку бросила ей судьба: жить рядом с девочкой, которая обладала как раз тем, чем была обделена она сама, — даром обаяния. Я представил, каких усилий стоило ей не показывать, как она ее ненавидела, приезжая за ней в школу, воля по магазинам, предлагая ей откровенность и приглашая в сообщницы. В первый раз мне стало жалко эту сучку Сонсолес.

— Хорошенькая история, — заметил я. — Особенно для усатой свиньи. Приятные минуты, думаю, пережил он в кустах.

— Не думай. Я тогда была еще девчонкой. Так что удовольствие было невеликое.

— Было, а теперь?

— А теперь бикини на мне смотрятся гораздо лучше.

— Хотелось бы взглянуть.

Она улыбнулась. Улыбка у нее была — во все лицо, и на щеках — ямочки, а зубы — хоть на выставку.

— Как раз это мне в тебе нравится.

— Что?

— Что не прячешься в кустах, как усатый. Ты бы открыто попросил у меня разрешения посмотреть.

— Мы, большевики, не прячемся. Убеждения не позволяют. Чего нет — того нет, а уж что есть, то — извините.

— Хочешь посмотреть на меня в бикини?

— Я уже сказал.

— Тогда веди меня в бассейн.

— Сейчас?

— После обеда. Я всегда хожу по субботам с подругами. Родителям незачем знать, что я пойду с тобой, а если мы пойдем в другой бассейн, то и подружки не узнают.

— Я столько лет не был в Мадриде в бассейне, что не знаю, где они.

— Так узнай. На то ты и полицейский.

Она сказала это как-то странно, но еще более странным было, что я вдруг решил:

— Раз уж я поведу тебя в бассейн, то, пожалуй, следует сначала сказать кое-что.

— Что?

— Я — не поли.

— Я так и думала.

— И не маньяк.

— Угу.

— Тебе как будто все равно.

— Конечно же нет. Как тебя зовут? На самом деле.

— Хаиме, — соврал я.

— Это мне нравится меньше, чем Хавьер. Но ты нравишься мне больше, чем поли. Так ведешь меня в бассейн или нет?

— Да, если хочешь, — сдался я.

— Хочу. Забери меня на этом же месте в половине пятого. А сейчас я пойду немножко попотею. Считается, что я пришла сюда бегать. Чао.

Она побежала, ее волосы развевались по ветру, а я остался сидеть, и в голове роились мысли по поводу Данте и Беатриче, рая и ада, и крепла проклятая уверенность, что наверняка нет горше боли, чем вспоминать о счастливых временах в час беды.

Бассейн у меня связан с воспоминаниями о детстве. Но это не означает, что поход в бассейн для меня удовольствие. Вопреки тому, что утверждают тысячи ученых болванов (полагаю, это объясняется стремлением окупить физические и психические усилия, которые они расходуют на детей, на то, чтобы их вырастить), дети живут в мире нецивилизованном и низком в нравственном отношении. Дети склонны к произволу, насилию и немотивированной жестокости. Одна из немногих причин, по которой я радуюсь, что стал взрослым, — то, что мне не приходится жить в постоянном страхе, как бы кто-то, кто выше ростом, не решил свалить меня мощным ударом или заломить руку так, чтобы я заплакал. Конечно, в исключительном случае такого может и не произойти, однако на школьном дворе исключительных случаев не бывает. На школьном дворе всегда властвует самый грубый и жестокий, а все остальные, среди которых могут оказаться высокие духом и щедро одаренные натуры, все остальные должны смириться и выполнять его тупую волю, в противном случае они обречены на муки, но могут подвергнуться мучениям, даже и выполняя его волю, смотря какое настроение у этой скотины. В детстве верховодит все самое грубое и звериное, что есть в человеческом существе. В детстве, имея дело со сверстниками, я людей ненавидел и горько жалел, что мне выпало жить с особями такого коварного и примитивного вида. Не могу сказать, что с годами я вырос в филантропа, но взрослые мерзавцы, которые теперь стали моей фауной, порою вопреки моим ожиданиям обнаруживают определенные интеллектуальные достоинства. Рискую власть в заблуждение, я все-таки предпочитаю Лоренцо де Медичи какому-нибудь горлопану с выбившейся рубашкой, развязанными шнурками и грязной физиономией, который бьет себя в грудь кулаком под одобрительные крики толпы.

Детство находится во вражде с разумом, чувствительностью и всеми остальными свойствами, которые отличают человека от других приматов, и я имел случай испытать это на собственной шкуре в тот единственный раз, когда уже готов был поверить в обратное. Мне было семь или восемь лет, и каким-то образом удалось добиться того, что самый тупой в школе, который мог драться один против восьмерых и одолеть их, стал слепо выполнять все мои приказания. И какое-то время я жил с обманным ощущением причастности к акту подчинения грубой силы велениям высшего разума. А мое окружение, презиравшее пустую трату времени, какой предавалось большинство, и предпочитавшее полезную деятельность (как-то: изготовление петард, строительство миниатюрных городов или участие в конкурсах на лучший фантастический рассказ), могло целиком отдаваться этому, не расходуя сил на потасовки

с остальными. А если кто-то решался нас побеспокоить, я спускал Лисардо (так звали моего непобедимого раба), и он строго наказывал наглецов, круша головы и дробя зубы, как тупая машина. Моя власть над ним была так велика, что всякий раз, совершив возмездие, Лисардо исполнял боевую песнь моего сочинения, в которой его имя и фамилия Лисардо Лопес рифмовались со словами *крушитель жопес*, и выходило так смешно, что сам Лисардо веселился громче всех.

Однажды Лисардо был не в духе, а мне пришла в голову злополучная мысль подвергнуть испытанию мою власть над ним, но испытание вышло мне боком, и в результате оставшиеся детские годы я вынужден был жить, остерегаясь высокорослых. В тот раз никто на нас не нападал и не было никаких причин исполнять Лисардо его песнь. Но я, желая произвести впечатление на приятелей, велел ему спеть. Лисардо заупрямился. Чтобы подбодрить его, я запел сам. Гигант поглядел на меня, и я понял (слишком поздно): что-то происходило, возможно, первый раз в жизни там, за его лбом. Ни слова не говоря он подошел ко мне, поднял в воздух и тут же, на глазах у всех, отколошматил. Те тумачи у меня ноют до сих пор, а мой прочный авторитет, обзаванный главным образом влиянию, которое я имел на Лисардо, рассыпался в прах. С тех пор я уже не считал, что ребенок признает какой-либо авторитет, кроме кулака того, у кого он увесистее, чем у него самого. Все остальное — чепуха.

И еще от бассейнов меня отпугивает то, что там царят пустоголовые, бронзовые от загара типы, проделывающие на трамплинах смертельные сальто. Я не загораю до черноты и отказываюсь признавать, что лучшее назначение черепа — швырять его вниз с риском разбить о воду или о закраину бассейна. И потому в бассейнах я не имею никаких шансов на успех. По правде говоря, моя спортивная жизнь в бассейнах отмечена молчанием и одиночеством. Одно из немногочисленных занятий, помогающих скоротать время в бассейне, — это чтение, другое — плавание и последнее — осмотр места. И хотя люди найдутся на все случаи жизни, я этим трем занятиям предаюсь молча и в одиночку.

Бассейн — это место, где красивые женщины становятся еще красивее, но вот беда: их внимание целиком и полностью приковано к королям трамплина, и они в упор не видят белокожих вроде меня. Такое будит воображение и смущает душу, что по большому счету я принимаю не без благодарности, о чем, по-моему, уже говорил, однако расплатой всегда бывает грусть, которая в те поры большого удовольствия мне не доставляла. Когда мне надоедала книга (это случалось довольно часто, поскольку бассейн не самое удобное место для чтения), когда надоедало плавать (а это бывало еще чаще, поскольку от плавания устаешь физически) и надоедало прогуливаться (голова кружилась от вида стольких бронзовых тел, что впору рухнуть посреди гимнастических ласк прыгунов с трамплина), деваться было некуда. И я садился на край бассейна и тихо смотрел, как смеркается. А сумерки — это мягкая форма унижения.

Вот почему и еще по ряду причин, которые незачем или же не следует уточнять, мысль о том, чтобы пойти с Росаной в бассейн, привела меня в смятение, к которому примешивалось любопытство. Мне было любопытно побывать в бассейне не одиноким и обездоленным, а с Росаной. Выйдя из детского возраста, я бывал несколько раз в бассейне с кем-нибудь, но ни разу — с такой, как Росана: ее я мог бы сравнить (хотя она и не была так прожарена солнцем, как ее сестрица Сонсолес) с девушками, не обращавшими в те нежные времена на меня никакого внимания. Смятение же шло оттого, что предстояло снова оказаться в мире, всегда мне враждебном, в мире трамплинов, где кожа у всех не такая бледная, как у меня. Ты можешь много размышлять, можешь сильно постараться и примириться с тем, что отличаешься от других, можешь даже сделать это предметом гордости. И на самом деле, кто не пытался спастись, обращая свои изыскания в знамя. Все это так, но бывает, вдруг нахлынет смутное ощущение, что одну из самых беспощадных немощей, которую явила история, этот неуклюжий чех по имени Франц Кафка изобразил в

виде несчастного, который в одно прекрасное утро превращается в жука: семья отвергает его и отправляется на пикник, едва жук в конце концов умирает. Как известно, двуногое бесперое более всего на свете жаждет двух вещей: чтобы его не отвергали и чтобы сразу же после его смерти не устраивали пикников.

В половине пятого, минутой раньше, минутой позже, я подошел к скамейке, где мы договорились встретиться, и Росана уже ждала меня со спортивной сумкой. Увидев ее красивое лицо, я снова ощутил волнение. Она была в коротком цветастом платье с очень высокой талией, начинавшейся сразу под грудью. Когда она встала со скамейки, еще до того, как я приблизился, я понял, какое оно коротенькое, и первый раз увидел ее голые ноги, открытые намного выше колен. Она была — только чуть моложе и гораздо очаровательнее — девушкой с рекламных туристских проспектов, которую никогда не найдешь на пляже, куда тебя уговорили поехать, на пляже, изобилующем другими возможностями, не столь великолепными, и все более изобильными и менее великолепными по мере того, как приближается конец месячного или двухнедельного срока пребывания. Суть не в том, что в жизни хочется иметь дело только с роскошными женщинами, но так получается, что не успеешь связаться с роскошной женщиной, как непременно жизнь устроит тебе ловушку. Это неизбежная генетическая или биохимическая подлость, за которую не следует чувствовать себя лично ответственным.

— Ты решил, в какой бассейн идем? — приветствовала меня Росана, чуть покачиваясь на тонкой талии.

— Я узнавал. Есть один рядом с Университетским городком. По-моему, я был там однажды, когда учился на факультете. Он далеко отсюда. Не думаю, чтобы твои подруги туда ходили.

— А на каком факультете ты учился?

— На философском.

— Ты философ?

— Нет. Наоборот. Я работаю в банке.

— Вот здорово, целый день с бабками.

— Я бабок не вижу. Я лишь умножаю, делю и складываю. Только этим и занимаюсь, хотя когда-то написал диссертацию о Лейбнице.

— Кто это?

— Никто. Гораздо менее важный, чем Джеймс Дин, например. Если когда-нибудь тебе расскажут о Лейбнице, забудь сразу. Он тебе не понадобится. Мне не понадобился. Ну, пошли?

Мы пересекли парк и подошли к машине моей двоюродной сестры. До следующей среды я должен был с ее помощью удовлетворять свои потребности в передвижении, если верить прикидке раздраженного моим напором и принявшего меня за лоха хозяина автомастерской, где я оставил машину. Этому типу, судя по его виду и разговору, Лейбниц или Джеймс Дин были ни к чему, не был ему знаком и растяжимый девиз: *все внимание — клиенту*, целиком зависящий от спроса на услуги его ремонтной конторы.

— Маленькая у тебя машинка, — рассудила Росана.

Я чуть было не сказал, что это не моя, а у моей — шестнадцать клапанов, двойные тормоза, диски из легкого сплава и прочие приамбасы, неизменные для нормального современного автомобиля, каким был мой и каким не был автомобиль моей двоюродной сестры. Не поверишь, каким идиотом становится человек, если у него в кармане несколько кредитных карточек, подумал я и сказал:

— У некоторых большого только и есть что автомобиль. Я не из этих.

Росана села на переднее сиденье, рядом с водительским, покорно опустила стекло. И не стала возражать, что стекло опускается не автоматически, нет кондиционера и, судя по всему, стереомагнитофона. Ну просто ангел.

Мы поехали по Мадриду, к счастью опустевшему. И пока ехали вверх, а потом вниз по Гран-Виа, Росана продолжала раскрывать мне разные стороны жизни своей семьи, благо бассейн находился в Университетском городке.

— Братья все учились в университете. И стали какими-то инженерами. Летисия — врач, а Сонсолес окончила юридический. Но не стала адвокатом, потому что получила место по конкурсу. Сонсолес была отличницей. По всем предметам.

— Юридический был напротив моего факультета, — сообщил я. — Я знал там некоторых девочек, таких же, наверное, как твоя сестра. Они записывали лекции круглыми буквами и цветными фломастерами подчеркивали слова. Они могли в одной руке держать сразу по десять разноцветных фломастеров. Они все выучивали на память, но не могли бы ответить, какая разница между ипотекой и арендой.

— А какая разница?

Я повторил фразу своего старинного приятеля, который учился на юридическом, не задумываясь особенно над тем, что говорю, и, главное, понятия не имея, что такое ипотека. Во всяком случае, этот термин совершенно не вписывался в ситуацию. Однако решил продолжать как ни в чем не бывало, будучи уверен, что уж Росана-то, конечно, не знает и не станет выяснять, что он означает. И потому закончил шутку так же, как это делал приятель:

— При ипотеке ты используешь хитрость, а при аренде — платишь.

Росана задумалась, и мне это понравилось. И наконец сообщила вывод, к которому пришла:

— Ты дал промашку: я гораздо хитрее тебя. Так что тебе придется платить.

Мне оставалось только подхватить игру:

— Я не могу заплатить много.

— Я сделаю тебе скидку. Или лучше заставлю ограбить банк. Дурные женщины всегда заставляют честных мужчин грабить банки или уносить зарплату всей конторы. Честные мужчины идут ко дну, а дурные женщины убегают с красивыми мерзавцами, которые их потом бьют.

— Откуда тебе известно столько всякого не для твоего возраста? Не из телевидения же?

— Слушаю, что говорят, а иногда книжки читаю. Совсем нетрудно узнать то, что от тебя хотят скрыть. В десять лет я уже читала *Большую Энциклопедию Семейной Жизни*. Обратила на нее внимание потому, что она стояла на самой верхней полке. Я поставила один стул на другой, влезла на него и поняла, почему она стоит там. Читать было очень противно, пока не наткнулась на фотографии, тогда стало не так гадко. Я знаю и где отец хранит черные деньги. Сперва пришлось понять, что это не измазанные черной краской, а обычные деньги, которые отец получает за проекты незаконным путем. Ты не спросишь где?

— Меня деньги твоего отца не колышут. Ни черные, ни белые. Сожалею, что разочаровал. Может, думаешь, что я грабитель?

— По-моему, нет. Но на всякий случай, — засмеялась Росана.

Было решено, что Росана купит билет со скидкой, не из жадности, а по причине запоздалых угрызений. Однако начиная с четырнадцати лет там всех стригли под одну гребенку, иными словами, для всех билет стоил пятьсот песет. Замысел, конечно, дурацкий, потому что девочке можно было дать и вдвое больше, а до моей совести никому никакого дела, тут уж как Бог рассудит: посмотрит на это хорошо, значит, нечего беспокоиться, а плохо — пиши пропало и прощения проси у самого Папы Римского. Но я успокоил себя — она в том возрасте, когда, по крайней мере в бассейне, скидок не делают.

После кассы мы разделились. Она пошла в женскую раздевалку, а я — в соответствующую моему полу, где всегда пахнет грязными ногами и перепрелым потом, — два из многочисленных неприятных спутников спорта, — что, кстати, свидетельствует о недостатке гигиены. Плавки были уже на мне, и потому я прошел через мерзкое помещение не мешкая, обходя лужи на полу. За

дверью были лужайки и народу оказалось немного. Я ждал минут десять, и тут явилась Росана в бикини.

В моем жалком существовании было несколько возвышенных моментов. В детстве, когда мне на день Волхвов подарили сразу *Madelman* — черного пирата и *Madelman* — водолаза. В отрочестве, когда, сдав экзамен на бакалавра по биологии, мы сожгли все учебники, тетради с записями и изображение нашего учителя. А во всей остальной жизни — момент, когда Росана возникла у меня перед глазами, будто из раковины, которая в свою очередь только что появилась из воды. Как никогда, она была в этот момент похожа на Венеру Боттичелли, только поменьше мяса, потому что во времена Боттичелли Венеры ели не обезжиренный йогурт, а сало ломтями и прочую гадость. С трудом вспоминаю: бикини было розового цвета, а я подумал, что ничего не сделал, чтобы завоевать ее. Я всегда считал самым лучшим и самым ценным то, чего ты недостоин. То, что ты заслужил, слишком долго пропитано тобою и тебе уже ни к чему.

— Ну как? — прозвенел ее голос.

— Сказать, что чувствую?

— Ради этого все и делается.

— Я понимаю жениха твоей сестры. Но это ты и сама знаешь. Ты слышала про такого — Боттичелли?

— Нет. А должна бы?

— Не обязательно. В другой жизни ты заставляла его рисовать тебя на всех картинах. Но если ты будешь помнить всех, кто тебя любит, у тебя не хватит времени на свои дела.

— Попробую поверить.

— Ты и так веришь, и правильно делаешь. Когда-нибудь ты станешь не такой красивой, у тебя будет рак, и тогда ты не сможешь верить тому, что тебе будут говорить.

— Как зловеще.

— *Carpe diem*. Если такое скажет Гарсиласо-де-ла-Вега в сиреневой версии, всем покажется прелестным. А если говоришь так, как есть, называют зловещим.

— Я проходила Гарсиласо в восьмом.

— Все-то ты проходила в восьмом.

— Не все.

— Больше вопросов не задаю. На солнце или в тени? Лично я солнце ненавижу.

— Мне все равно. Я не загорать пришла.

Мы поискали место под деревом. Росана расстелила полотенце и легла на него. Я снял брюки, но майку оставил и сел на сложенное вдвое полотенце.

— Ты купаешься в майке? — спросила она.

— Едва ли я буду купаться. В бассейнах полно мочи и грибка.

— Послушай, а тебе что-нибудь на свете нравится?

— Мне нравится фигурное катание и художественная гимнастика. Смотреть, конечно, а не заниматься. Еще мне нравится крепко спать, когда получается. И нравишься ты.

— Спасибо. Ты мне тоже нравишься. Может, потому, что не такой, как Борха.

— Может. Но есть и другие варианты. Тебе не встречались типы — у них все квадратное, часы подводника, напомаженные волосы и рубашка цвета мяты от *Burberrys*?

— Начо, муж Летисии. Еще он прыгает с парашютом. И если проходит мимо зеркала, всегда смотрится.

— И?..

— Полный мудак.

— Считается, что тебе не положено говорить таких слов.

— Считается, что мне не положено ходить в бассейн с незнакомым взрослым мужчиной, которому я к тому же так нравлюсь. — Росана лениво перевернулась на другой бок.

— Разумеется, не положено. Я не собирался исправлять тебя, я просто удивился. На мой вкус — лучше так. Хорошие девочки невыносимы.

— Все считают меня хорошей девочкой. В школе меня награждают за примерное поведение.

— Учителя с годами умственно атрофируются. Тяжело постоянно иметь дело с теми, кто знает меньше тебя, застреваешь на четырех действиях арифметики и не замечаешь, как ученики тебя перерастают. А ты в школе, наверное, зря время теряешь.

— Я должна учиться. Хочу получить специальность и работать.

— В какой области?

— В предпринимательской.

— Это дело долгое. Если позволишь дать тебе совет, не трать время на математику, на экзамены и конспекты, а иди лучше в модели, ты можешь. И пока твои подружки будут писать конспекты, ты станешь миллионершей. Потом наймешь себе кого-нибудь, кто будет приумножать твои деньги, и тогда учись себе на здоровье да посмеивайся над теми, кто напрокат сдает свою голову за почасовую оплату.

— Как ты?

— Я сдавал ее напрокат. А теперь уже и не знаю, что сдаю и что делаю.

Росана приподнялась. Легла на бок и оперлась головой на руку, совсем как на рекламе купальников. Против этого я не возражал.

— Судя по вчерашнему галстуку, — сказала она, — ты должен быть менеджером. Не понимаю, чем ты недоволен.

— А должен бы?

— Все хотят быть менеджерами. Путешествовать, иметь красивую секретаршу, дорогие костюмы, зарабатывать много денег.

Я закрыл глаза. Значит, так: подклеил несовершеннолетнюю, увез ее подальше от дома, добился, что она сняла с себя почти все, и вместо того, чтобы злоупотребить ее доверием или совершить еще что-нибудь предосудительное и наконец-то разрядиться, — семь бед, один ответ, — я сижу тут в окружении добропорядочных семейств и рассказываю ей о своих мелких заботах. Пора кончать это дело.

— Видишь ли, Росана, — пустился я в объяснения, — не знаю, какую чушь нарасказал тебе отец или кто там еще засорил мозги. Но по моему опыту путешествовать означает сесть в самолет и лететь в город, где всегда собачий холод или дождь. По дороге туда в самолете будут типы в перхоти, а обратно — в перхоти и вдобавок провонявшие потом. Иногда приходится там ночевать, в городе, где идет дождь, и три раза пройдешься по всем сорока каналам телевизора со спутниковой антенной, пока не погасишь свет и не проклянешь все на свете. Дорогие костюмы хороши поначалу. Приятно, согласен. Но если тебе случится попасть в логово к управляющим, как ты их называешь, ты увидишь, что на всех молодых — новые, отутюженные костюмы. Почти все они еще живут с мамой и пользуются ее заботами или заботами ее служанки, кто как. Но если присмотришься к тем, у кого пробивается седина, к тем, кто уже брошен на произвол судьбы, то есть на произвол жены или ее служанки, у которых меньше умения и намного меньше желания, чем у мамы или маминой служанки, то увидишь, что костюм на них мятый, лоснится, на брюках семь складок, а галстук с пятнами. Что толку покупать новые. Не успеешь оглянуться, скажем, через полгода, как можно спокойно их выбрасывать, да тебе они уже и приелись, как приедается все на свете. Что же касается денег, то по-настоящему много денег только у того, кто не выносит чужой глупости и чужих проблем, если только они для него не развлечение. А к работе это не имеет никакого отношения. И нет такой красивой секретарши, которая бы продержалась дольше десяти лун. Моя вообще не держалась ни одной. Ей за шестьдесят, и она — вылитый Эдвард Джи Робинсон.

— Кто?

— Актер. Янки. Ему тыща лет.

Росана вздохнула не слишком глубоко.

— Так вот, я хотела бы стать управляющей, — не сдавалась она.

— У тебя появятся круги под глазами, нарушатся менструации, и ты ничего не сможешь поделывать: твоих шефов твой зад будет интересовать больше, чем твои идеи. Почти никогда не хватает времени взвесить идею, а зад взвешивается в мгновение ока. Почему хорошо быть моделью: ты зарабатываешь задом непосредственно и нет нужды разыгрывать фарс.

— Ты — гнусный женоненавистник.

— Я — наблюдательный, только и всего. Может, поговорим лучше о тебе? Стоит мне вспомнить тех, с кем работаю, как начинает болеть голова.

Росана поднялась почти одним прыжком:

— Я пошла купаться. Ты идешь?

— Так сразу?

— Мне жарко. Ты идешь или нет?

— Только посмотреть на тебя.

Мы пошли к бассейну, и Росана сразу бросилась в воду классическим пике. Она плавала кролем прекрасно, и я ей позавидовал, потому что наплавал тыщи километров, а кролем мог проплыть раза два от края до края, не больше, во-первых, потому, что уставал, а во-вторых, вода попадала в уши. Сначала я ждал ее стоя. Когда она повернула на шестой круг, я подумал, что лучше, пожалуй, поискать тенечек и сесть. Она проплыла больше тридцати кругов, не останавливаясь и не сбавляя взятого темпа. Наконец выбралась из воды и подошла ко мне. Мокрая, мышцы напряжены от усилия, линии тела казались не такими плавными, как обычно. Но зато лицо сияло неутомимой детской улыбкой.

— Ну что, не решаешься?

— Потом.

— Да?

Я смотрел, как она двигается в теплых предвечерних лучах летнего дня, таких же точно, как и другие летние дни, прежде, когда все у меня шло прахом и в голове начинала завариваться идея отколотить что-нибудь сумасшедшее. И в конце концов я решился — и ради Росаны, и ради себя самого, ради ощущения, будто что-то разбиваю:

— Попозже, когда пойдем опять, я поднимусь на самый верх вышки и прыгну.

— Эта высоковата.

— А если разобью голову о дно, ты потихоньку уйдешь, сядешь на автобус и никому — ни слова. За меня не беспокойся, меня похоронят.

— Я не хочу, чтобы ты прыгал, Хаиме.

Похоже, Росана встревожилась не на шутку. Мы вернулись к своим вещам, и я говорил о чем-то еще с полчаса. Солнце садилось, и те, кто были тут с утра, начали расходиться. Пока мое решение не остыло, я снял майку и позвал Росану к бассейну.

— Не прыгай, серьезно, — снова попросила она.

— Ничего страшного. Я прыгал много раз.

Через пять минут я стоял на высоте более пяти метров над водой и перебирал в уме прожитую жизнь. Вечер был приятный, легкий ветерок освежал, внизу купающихся почти не было. Я снова подумал о том, с какой скоростью войду в воду, каким будет сопротивление жидкой массы и какова глубина этой посуды. Мое умение прыгать равнялось почти нулю. Росана стояла на краю бассейна и ждала. Я видел, как кто-то подходит к ней сзади, что-то говорит. Дитина с шевелюрой, как у Ричарда Гира, и почти таким же телосложением. Росана обернулась к нему, и в этот миг кто-то у меня в голове крикнул *бан-зай*, и я почувствовал, что лечу прямо на дно пропасти. Еле хватало времени распрямить тело и сжать ноги вместе. Мудак, который убивает себя, прыгая с вышки, выглядит трагически, но мудак, который убивает себя, прыгая с вышки враскорячку, — зрелище смехотворное.

Голова ударилась о воду словно о парусиновый навес. Но парусина разорвалась, и я стал опускаться, опускаться в кипящий водоворот. Я не сопротивлялся, мне даже казалось недостойным сопротивляться, но вдруг шею подкинуло кверху, будто пружиной, что-то царапнуло колено, обожгло большой палец на левой ноге. Я спасся, оставалось только подняться наверх. Не хватает мне выдержки, чтобы утопиться.

Подъем показался бесконечным, он мог бы длиться до скончания века, то есть ровно столько, сколько было воздуха у меня в легких. Когда голова вынырнула из воды, я ничего не увидел. Снова погрузился и поплыл под водой к лесенке. Уперся в нее ногами, выбросил руки на перила и, с трудом выходя из воды, поднялся по лесенке. Наверху, освещая закат голубым сиянием глаз, стояла Росана.

— Врун. Ты прыгал первый раз, — рассердилась она.

— Как ты угадала?

— Кто умеет, так в воду не входит. Ты сумасшедший.

Росана протянула руку и убрала у меня со лба мокрую прядь. Ничего не говорила, а только смотрела на меня, и я видел: ее зрачки были такими большими, какими никогда не были ни у одной девушки, смотревшей на меня вечером, на краю бассейна. Возможно, мне следовало укорить себя за то, что я прыгнул с вышки, или укорить Росану за то, что это ее так поразило, но я предпочел обратить внимание на другое: ее поразило не то, что я прыгнул, а то, что я прыгнул, не умея прыгать.

Если счастье слишком большое, если тебя вылечили от очень тяжелой раны, если все чересчур хорошо, у разумного человека может быть только одно предчувствие: что-то должно случиться и все полетит к чертям собачьим. Именно это предчувствие возникло у меня в тот момент, когда Росана меня любила, я мог в этом убедиться, и тут на меня навалилась такая тоска, из которой я не могу выйти и по сей день.

Когда мы выезжали со стоянки на машине моей сестры, мною владело только одно чувство: позади осталось то, что я хотел бы считать оправданием этого дня. Одна из немногих форм жизни — думать о том, чего хочется и как оно случится. И когда оно происходит, человек всегда это чувствует, хотя, может, не представляя четко, что именно должно произойти, так вот когда оно происходит, все построение рушится. Как известно всякому, кто еще не усвоил современной привычки не размышлять о серьезных вещах, самый смак не тогда, когда вождеденное *оно* настает, а когда еще ничего не случилось, но только должно случиться.

Я жал на газ здоровой ногой, на сцепление — другой, которую ободрал о дно бассейна, а сам думал, что нет у меня иного пути, как вернуть Росану родителям и раз навсегда забыть эту игру. Порывшись в своих дурных наклонностях, я понял, что у меня не хватит решимости идти дальше. В какой-то мере меня останавливали угрызения. У некоторых моих приятелей были дочери в возрасте Росаны, и некоторых из этих приятелей я уважал более или менее. Они стали бы презирать меня за мое поведение, и мне было безразлично, что я не найду веских доводов, защищаясь от их презрения. Конечно, Росана не походила на беззащитную девочку, но это вполне могло оказаться всего лишь моим искаженным представлением. И даже если мне было необходимо сквитаться с пятнадцатилетними девочками, подобная нужда была аномалией и не следовало ждать, что кто-либо это поймет.

Кроме того, я боялся практических последствий. Естественно, я боялся самого страшного — что меня раскроют и придется отвечать за свое свинство перед правосудием по полной программе. Приводила в ужас мысль и о другом возможном исходе, не столь тяжком по последствиям, но тяжелом по сути: очень скоро Росана при всей ее девчоночьей внешности могла превратиться в женщину по духу, потерять привлекательность, красоту и начать осуждать меня. От обычной женщины можно освободиться разными способами, обще-

принятыми и простыми. И во многих случаях возможно даже сохранить связь. Но не существует простых и надежных способов освободиться от женщины-ребенка, с которой завязались недозволенные отношения.

Я уже готов был высказать вслух, правда, в несколько более возвышенных словах, свое решение отказаться от наших встреч, но тут Росане пришла в голову мысль, которая никак не должна была приходиться:

— Поедем куда-нибудь, где никого нет.

Логично было бы не согласиться на ее каприз. В какой-то момент надо было ее остановить, и этот момент был ничем не хуже любого другого. Однако я предпочел счесть, что пусть будет, как она хочет, я выиграю время и найду хитрый способ ее убедить.

— Хорошо, как скажешь. Ты хочешь куда-нибудь конкретно?

— Какое-нибудь место поблизости. Которое ты знаешь.

Я напряг память и вспомнил пустырь неподалеку от заочного университета. Когда учился, я бывал там частенько. С девушками. С одной я там даже расставался, так что, можно сказать, прецедент был. Когда приехали, я искал укромное место и остановился под деревьями. Выключил двигатель и почувствовал, что должен заговорить первым:

— Росана.

— Что.

— Видишь ли, — начал я нерешительно, — иногда приходится делать не совсем то, что хочется.

— Да.

— Я хочу сказать, как бы ты ни желал чего-то, иногда надо от этого отказаться.

— Жаль.

— Многое, бывает, начинается как шутка, и пока это — шутка, ничего страшного. Беда в том, что шутка не может длиться вечно. В конце концов дело принимает серьезный оборот, и тут надо быть очень осторожным.

— А я думала, ты собираешься поцеловать меня.

— Что?

Росана придвинулась ко мне. В этом была уже чувственность, и мне стоило труда заставить себя увидеть ее и такой.

— Неохота признаваться, но ты не будешь первым, — сказала она и сразу словно постарела на двадцать лет. — Ни в этом, ни в остальном.

— Вижу, бесполезно объяснять тебе. — Я отвернулся. — Я не буду у тебя никаким. Мы уезжаем отсюда.

Не могу поклясться, что я сдержал бы слово, если бы мне пришлось дольше выдерживать ее подстрекательство. Но дольше не пришлось. Прежде чем моя рука коснулась ключа зажигания, дверцы машины распахнулись и кто-то сдернул меня с сиденья словно плюшевого, набитого поролоном медвежонка.

Бывает, — к счастью, это бывает редко, — когда оглядишься вокруг и поймешь, что ад, Божий гнев и злая судьба на самом деле существуют и не только могут коснуться тебя, но уже подступают и касаются. В кино Зло часто изображают как некое чудовище, которое расплющивает тебя с милосердной быстротой. А в жизни Зло имеет человеческое обличье и действует медленно. В тот вечер, например, оно явилось в лице трех субъектов лет двадцати с небольшим: один — с бритой головою двухметровый детина, другой — длинноволосый, нечесаный, с огромным металлическим браслетом в заклепках на запястье и третий, похоже, он верховодил, не имел отличительных признаков, кроме солдатских сапог на ногах.

Из машины меня вытащил бритоголовый. Поднял в воздух и поставил на землю, а чтобы я не мог двинуться, заломил мне руку и зажал голову у себя под мышкой, и рука у него была здоровее моего торса и в тридцать раз жестче. В какой-то дурацкий миг мелькнула мысль: я и не предполагал, что возвращение в детство, которого я боялся, соглашаясь пойти с Росаной в бас-

сейн, окажется таким полным. Потом я испугался бесповоротно. Росану схватил патлатый и зажал ей рот рукой. Потому что она пыталась кричать. Третий, в сапогах, пригрозил мне:

— Начальник, скажи своей бляди, чтобы заткнулась, не то Иони раскроит ей череп.

— Тихо, Росана, ничего страшного, — жалко пробормотал я.

— Вот-вот, Росана, ничего страшного, бля, — заверил главарь.

Девушка перестала вырываться, но Иони продолжал зажимать ей рот. Я поспешил убедить себя, сам не веря, что в такой ситуации это их меньше всего интересует:

— Все деньги у меня в машине, в сумке. Двадцать тысяч и кредитные карточки. Даю вам шифр. Девять — ноль — девяносто и для всех — девятка.

— Молодец, начальник, сообразительный.

— Шифр-то он наверняка наврал, Фреди, — ошибочно предположил Иони.

— Может, придавить его чуток, и увидим, — предложил бригоголовый.

— погоди, Урко, сперва поглядим, — распорядился Фреди. Он залез в машину и вытащил сумку. Нашел бумажник, сосчитал деньги, вынул кредитные карточки.

— Девятнадцать штук, золотая «виза» и еще три какие-то чудные. Ты правильный парень, начальник, чую, и шифр дал верный. Или нет? Ну-ка придави его, Урко.

Урко так вывернул мне руку, что я думал, сломает.

— Клянусь, шифр верный! — крикнул я.

— Ладно, Урко. Я ему верю. Но проверим. И уж если наврал, измордуем. Куда тебе деваться, правильно, начальник? А теперь посмотрим блядушку. Ты мне ее тоже отдаешь, начальник?

— Отпусти ее, сука, она совсем ребенок, — взмолился я.

— Что?

— Отпусти ее. У тебя куча денег. С каждой карточки возьмешь по пятьдесят тысяч, сможете купить по настоящей бабе каждому.

— Я тебя плохо слышу, начальник. Ты что-то сказал?

Я слотнул. Все катилось в тартарары, надо было рискнуть, обратить все их внимание на себя.

— Она вам ничего не сделала, суки. Если тронешь ее, гад будешь.

— Ишь ты, гад. Держи его крепче, Урко.

Фреди размахнулся и всадил мне в бога душу мать, другими словами, по яйцам. Насколько помню, такое я получал первый раз в жизни и просто не в состоянии описать, как это больно. Я взвыл и повис на железной руке Урко, чувствуя, как слезы струятся по лицу.

Когда я смог открыть глаза, то увидел Росану, оцепеневшую от ужаса. Похоже, она даже не могла закричать.

— Не пойму, что такой старик, как ты, делает с такой блядушкой, — разглагольствовал Фреди, сопровождая слова жестами. — Не пойму, уж больно хороша. Одно понимаю, нам даром досталась, а бабки твои мы успеем отосать. Развяжи-ка ее, Иони.

Росана попробовала вырваться, но ее крепко держали. Фреди задрал ей подол и сорвал трусики.

— Это — на память, — сказал он мне, пряча трусики.

Вот он, ад, мой ад. Фреди открыл мне — на пустыре, где уже начинало смеркаться, — то, что прикрывало платье Росаны. В самые подлые мгновения я в мечтах делал то же самое, делал это медленно и с нежностью, в которой Фреди не нуждался, и в эту минуту я был противен себе и жалок. Но, даже охваченный ужасом, я не мог не изумиться сладостной красоте, которую собирались растоптать. И сам я — не могу не признаться в этом, — дойдя до предела падения, старался не упустить самой малой малости, потому что в

последний раз глаза мои видели обнаженную женскую красоту. Оскорбленная гордость или ярость придали мне сил, я рванулся из рук Урко. Но бунт мой длился недолго. Гигант сдавил мне шею так, что я задохнулся и уже не мог сопротивляться.

Фреди, склонившись над Росаной, разглядывал ее. Потом обернулся ко мне, прорычал:

— Ну и ну, ш...

Воспользовавшись тем, что другой загляделся, девушка коленом всадила прямо в рыло Фреди. Он отпрянул и чуть было не упал. Оправившись, поднес руку к носу, пальцы окрасились кровью.

— Отпусти ее, Иони, твою мать.

Иони повиновался. Росана почувствовала, что свободна, но не поняла, что происходит, пока Фреди не бросился на нее.

— Хочешь получить, так получай, сука.

Тут она посмотрела на меня, ища опоры, и крикнула в слезах:

— Хаиме!

Фреди налетел на нее как носорог. Росана отскочила, споткнулась и упала на землю, на спину. Я видел все, что случилось с ее головой: когда Фреди налетел на нее, голова мотнулась вперед, а когда Росана, потеряв равновесие, падала, голова откинулась назад и, прежде чем спина коснулась земли, ударилась о землю со звуком, будто раскололи орех, и больше Росана не шевелилась.

Фреди не понял, что произошло и, сидя на ней верхом, еще раз пять или шесть ударил ее кулаком.

— Бля, да ты же ее замочил, — пробормотал позади меня Урко.

— И всех нас замазал! — почти в истерике выкрикнул Иони.

Фреди с недоверием оглядывал тело, по-прежнему сидя на нем верхом.

— Что теперь? — крикнул ему Иони.

Фреди все еще пребывал в прострации. Урко ослабил железную хватку.

— Мать твою перемать. Вот и сиди тут, пока не накроют легавые, — припечатал Иони и бросился прочь.

Фреди посмотрел ему вслед и снова уставился на мертвое тело. Не отводя от него глаз, приказал Урко:

— Прикончи этого. А то расскажет, и мотать нам срок, пока не сгнем.

— Ты что, сбрендил, Фреди? Мокруха на тебе, я лезть в это не собираюсь. Она совсем девчонка была. Мужик прав. Свободно могли найти себе нормальных баб.

— Мокруха на всех, — сказал Фреди поднимаясь. — А мы повесим все на Иони, пусть покрутится, кореш дристаный. А ты, Урко, парень настоящий. И не пудри мне мозги. Держи его.

Гигант встал между нами.

— Я сматываюсь, — заявил он твердо. — И ты — тоже. Если нас загребут из-за девки, это — несчастный случай и вина — твоя. А если прикончим старика, это уже убийство, парень. Вот тогда — крышка как пить дать.

— Уйди с дороги. Если ты слабак — я сам сделаю.

Урко не дал ему больше говорить. Всадил кулаком поддых, а другим что было мочи — в лицо. Но не дал упасть, подхватил, чтобы тот не разбился. Взял его на плечо. Но прежде чем уйти, вернул мне бумажник и попросил:

— Держи. Если сцапают, вспомни, что я для тебя сделал. Извиняй, начальник.

Урко побежал прочь, а я, оглушенный, остался всего в нескольких метрах от безжизненного тела Росаны. Прошли секунды, прежде чем я подошел к ней. Встал на колени, опустил подол платья, прикрыл ее и гладил нежные светлые волосы. Ее глаза были закрыты. Какому-нибудь идиоту могла прийти в голову мысль, что даже лучше, что она умерла прежде, чем эти скоты надругались над ней. И, возможно, я был этим идиотом, но я бы отдал все на свете за то, чтобы она подняла веки или чтобы снова услышать ее голос.

Один из вопросов, который комиссар задавал мне чаще других, поскольку, видимо, считал это наиболее слабым местом в *моем рассказе*, как он это называл, был вопрос: почему я, вместо того чтобы позвонить в полицию, сел в машину и бросил Росану там, где только на следующее утро ее нашел какой-то студент, бегавший трусдой. Но я и сам это до сих пор не вполне понимаю. С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что мужчина, который завозит куда-то пятнадцатилетнюю девочку, где ее, на его беду, убивают, не попытается бежать в полицию. Но меня-то доконало то, что последним словом в устах Росаны было мое фальшивое имя, которое она произнесла сквозь рыдания, как мольбу, и мольба не смогла отвести беды, которая над ней нависла. Я вырвал Росану из ее безопасного мира, подчинил своей воле, и она за мое удовольствие заплатила жизнью. И хотя затем я не был в состоянии действовать логично, думаю, что убегал именно для того, чтобы меня обвинили, потому что считал или считаю себя виновным в такой же, если не в большей мере, как и этот негодяй, который разможил ей голову. С той ночи Росана приходит ко мне в каждом ночном кошмаре и сквозь рыдания зовет меня фальшивым именем, пока я не просыпаюсь дрожа, и сердце выскакивает у меня через горло.

Когда-нибудь мне, я думаю, наконец вынесут приговор, и, приняв его со смирением, я, быть может, вновь обрету покой. И настанет ночь, когда я буду ждать кошмара, расплаты за то, что натворил, и вдруг появится Росана, веселая и загадочная, как вначале, когда убрала мне со лба мокрую прядь и зрачки ее стали огромными, во всю синеву глаз. И она улыбнется и назовет меня по имени, настоящему, которое я от нее скрыл, и тогда грязный большевик поймет, что великая княжна-девочка простила его.

Уехав с пустыря, через некоторое время я понял, что нахожусь на шоссе, ведущем в Ла-Корунью. Я был в таком неменяемом состоянии, что поехал в Ла-Корунью, а не в Мадрид. Я вспомнил, что получил обратно деньги и кредитные карточки, и не повернул назад.

Я ехал всю ночь. Передохнуть останавливался где-то на плоскогорье, где точно, сказать не могу. Потом одним махом доехал до Ла-Коруньи, когда только начинало светать, и направился дальше, к Финистерре¹. Заря застала меня на скалистом обрывистом берегу: прислонясь к машине, я стоял на ветру.

Когда я, случалось, ездил на машине, то особым удовольствием было, уехав подальше от дома, выйти из машины и, прислонясь к ней, смотреть на долину или на море, словом, на то, что открывалось взгляду. Когда впитаешь одиночество, силы прибывают и у тебя, и у послушной твоей воле машины, которой ничего не остается, как везти тебя туда, куда ты велишь, даже если ты жмешь на газ просто ради скорости и едешь куда глаза глядят.

В то утро, на краю земли, за который только что закатилась ночь, одиночество было таким безмерным и ощущение затерянности таким полным, что я забыл о времени. Я пробыл там много часов, но перед тем, как уехать, со мной случилось нечто, о чем я не могу не рассказать. Неожиданно глаза мои наполнились слезами и по телу прошла дрожь. И я понял, что жив, чего не чувствовал уже лет десять, и, несмотря на ужасную катастрофу, возблагодарил судьбу за то, что жив, а не валяюсь недвижимый на пустыре, как Росана. Никто не возьмет мою сторону, я представляю, я и сам бы пришел в бешенство, а осознав, что пришло мне в голову, я счел себя последним сукиным сыном, каким сочтет меня всякий читающий эти строки. Так вот, возблагодарил и решил, что теперь я в вечном долгу перед Росаной за мое везение и ее беду.

И впредь, начиная с того утра, моей миссией стало приносить частичку ее в каждое утро, которого она уже не могла увидеть. Поэтому, хотя мой адвокат и говорит, что это не на пользу моей презумпции невиновности, я вырезал все

¹ Самый западный мыс Испании.

фотографии Росаны, которые появились в газетах, и устроил что-то вроде маленького алтаря, перед которым каждое утро медитирую минут десять под звуки первой части *Das Mädchen und der Tod*. Когда струнный квартет достигает пика в этой божественной мелодии, которой мир обязан Францу Шуберту, я вспоминаю, как она смеялась, как двигалась и еще — и это тоже — как великолепна она была в том розовом бикини.

Прошло две недели, прежде чем явились ко мне домой арестовывать. Расследование было недолгим, но произведено по всем правилам. Гнусные и просто странные телефонные звонки домой к Лопесам-Диасам сразу же связали с трагическим концом Росаны и конечно же приписали действиям маньяка. Особо показательным полиция сочла разговор с матерью Росаны накануне случившегося. Быстро установили и факт посещения девушкой бассейна в обществе мужчины лет тридцати в день совершения преступления. А еще через пару дней удалось узнать благодаря Исаскун с подружками, что какой-то тип лет тридцати и похожей наружности ошивался вокруг школы. Еще немного усилий — и обнаружались свидетели наших встреч в Ретиро. Я, разумеется, опускаю все фальшивые следы, начиная со свидетелей, видевших, как Росана накануне ночью в дискотеке в Торремолиносе танцевала с легионером, и кончая теми, кто наблюдал, как ее принуждали к проституции где-то неподалеку от Куэнки. Этот фальшивый след интересен тем, и потому я его запомнил, что молодая девушка, введшая полицию в заблуждение и затем отпущенная, оказалась русской по имени Ольга Николаевна, нелегально вывезенной из своей страны.

Поскольку у меня ранее никогда не было неприятностей с полицией, расследование застопорилось, так как свидетели не нашли меня среди зарегистрированных полицией маньяков. Но одна способная инспекторша добросовестно поработала с семьей и копала, пока Сонсолес не вспомнила, что у нее случилось дорожное происшествие в тот самый день, когда начались странные телефонные звонки. Через страховую компанию нашли мое имя, затем — фотографии, и все свидетели уверенно указали на меня; в этот момент, можно сказать, я влип.

В день, когда мне надевали наручники и зачитывали мои права, инспекторша, руководившая арестом, наблюдала за мной с ненавистью и удовлетворением, и это заставило меня подумать о том, что Зло может гнездиться и в великодушной груди добропорядочных людей. Уже в машине инспекторша перевела свои чувства в слова:

— Гляди, на этом месте сидели многие, но сомневаюсь, что когда-нибудь тут сидело такое дерьмо, как ты.

В какой-то мере я был согласен с ней. И тем не менее ответил ей жестко:

— «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить». От Матфея, глава седьмая, стих второй.

— Чихала я на это. Я атеистка.

— Выбор не слишком предусмотрительный, но уважаю свободу совести. А на что вы не чихали, извините за нескромность?

Мой адвокат, девица, судя по всему, довольно дотошная, полагает, что от этого вопроса я вполне мог воздержаться.

Как-то вечером — половина тетради была уже исписана — я задумался, чем все это может кончиться. Финалы могут быть разные: можно сварганить поучительную мораль для не совсем отпетой молодежи; можно умолять о снисхождении; описать подробнейшим образом Фреды и Урко, на случай если их удастся поймать еще на какой-нибудь совместной мерзости; или послать все к чертям и поведать со всей откровенностью самое порнографическое из моих мечтаний о Росане. Но, взвесив все хорошенько, я решил написать нечто совершенно противоположное моим принципам.

Принципы сегодня — на вес золота, возможно, потому, что, по общему мнению, принципы вообще вещь редкая и довольно примитивная. Однако же никогда нельзя сказать наверняка, какой цели служат те или иные принципы и из чего они проистекают. Пора наконец сказать, что принципы, как правило, имеют сомнительное происхождение, преследуют нелепые цели и во имя их зазря расходуются огромные усилия и жестоко страдают невинные люди. А потому хорошо регулярно делать попытки утверждать противоположное тому, во что веришь, чтобы увидеть, что это выглядит даже убедительнее твоих собственных принципов. Потом можно вернуться к исходной точке, потому что главное — не чувствовать себя правым, а чувствовать себя комфортно. Таким образом, если принципы, противоположные твоим собственным, выглядят и не более убедительно, чем твои, но более удобны, самый разумный выход — поменять их. Омрачать себе жизнь верностью случайному стечению обстоятельств — признак незрелости.

Я по сути своей не склонен придерживаться принципов и определенных убеждений. Почти все, что я видел в жизни, научило меня скептически смотреть на вещи. Однако нельзя отрицать, что даже ни во что не верящий в самом неверии находит побочные формы убеждений. На протяжении этих страниц кое-какие свои убеждения я раскрыл, но теперь, на прощанье, одно мне хотелось бы опровергнуть: что следует поменьше обращать внимания на себе подобных и что самоотдача ради другого (или другой) ведет к саморазрушению того, кто это делает.

Факты таковы: едва я пришел к этому убеждению, копаясь от нечего делать в жизни женщины, как позволил себе, войдя в раж, приблизиться к другой — прекрасной девушке. В результате моего поступка, к чему добавилось непредвиденное несчастье, жизнь моя разрушена, возможно, навсегда. Я потерял работу, доброе имя, свободу и все мои кредитные карточки. На мою машину наложен арест, и я испытал совершенно для меня новую и мучительную боль. Казалось бы, все факты подтверждают мое примитивное убеждение. Что можно на это возразить?

Сегодня ночью я пишу, чтобы проститься и высказать совершенно иную мысль: человек есть не что иное, как те частицы самого себя, которые он принес в жертву другим. Все, что он выстрадал ради себя, — пустое дерьмо, падающее на песок, где ничего не растет. В то время как то, что он выстрадал ради другого, есть семя, из которого прорастает древо памяти. И это древо поддерживает человека пред лицом грозящих ему песка и дерьма, забвения и смерти.

До того как крах моей жизни обрел облик Росаны, я был ничем и никем. Дни прокатывались надо мной, как волны на пустынном берегу. Закабаленный собственным сарказмом и колебаниями своего настроения, я томился жизнью, не дарившей меня ни смыслом, ни удивлением. Дело в том, что человек, по определению, не может сделать для себя ничего решающего (я говорю *решающего*, чтобы исключить понятие низменного самообслуживания, не имеющее ничего общего с тем, что я имею в виду: самостоятельно чистить зубы, стричь ногти, принимать пищу, вовремя выключать телевизор). Правда, человек не может сделать ничего решающего и для других, равно как и другие не могут сделать ничего решающего для него. Благодаря Росане я понял, что, думая о другом, и только так, можно сделать решающее для себя самого.

В один прекрасный летний день я бросил все ради того, чтобы в Росане воплотилась главная цель моего существования. Не отрицаю: порою намерения мои были фривольны, и это заслуживает упрека, но от этого девушка не перестает быть осью, вокруг которой закрутилось все. Потом, а вернее, сразу же она исчезла, и мне осталась лишь память о ней и глубокая тоска, и эта тоска и воспоминания о ней стали практически единственным, что меня с тех пор занимает. Меня перестало заботить, что со мной может быть, есть, было или могло бы быть. Я не печалюсь о себе, у меня не осталось печали, я весь

испечалился о ней. С тех пор, как я с ней познакомился, и особенно после того, как ее не стало, ни в душе, ни в мозгу у меня не осталось больше места ни для чего.

Сейчас толпа оскорбляет меня, матери пугают моим именем дочек, которые плохо кушают, и, живи я в Арканзасе, моя адвокатша без веры в успех писала бы апелляцию, чтобы спасти меня от электрического стула. И это теперь, именно теперь, когда первый раз в жизни у меня появилось ощущение, что я стал чем-то. Если бы прежде Бог спросил меня, как я распорядился отпущенным мне временем, я бы мог привести Ему лишь какие-то жалкие байки, к которым сводилась вся моя жизнь. Теперь все иначе. Если бы Он сегодня потребовал у меня отчета, я бы перво-наперво признался Ему, что грешил, грешил много и тяжко. А покончив с перечнем грехов, сказал бы:

— Я не был безбожником. Я возжелал увидеть свет Твоих ангелов, я коснулся его, а потом загубил. Я был виновен, но не злонамеренно. И остатком моей жизни я распорядился так: сперва ждал, а потом расплачивался.

Кроме Фомы Аквинского, который позволил себе дерзость свидетельствовать об этом несколько раз и различными способами, никто не имеет основательного представления о том, кто и каков есть Бог. В частности, и это предположение ничем не хуже любого другого, я всегда подозревал, что он сторонник симметрии и враг незавершенного. Поэтому я питаю осторожную веру в то, что, когда покажу ему свой товар, он сжалится надо мною и положит за него разумное возмещение.

А того, кто в состоянии оказать хоть какое-то влияние, я молю вступить и замолвить слово в пользу скромного пожелания: чтобы, когда я в следующий раз узнаю Росану, нам обоим было по пятнадцать лет и я бы не был большевиком (пусть она будет даже великой княжной, это не важно) и чтобы кто-нибудь удержал мерзавца Фреды и прочую мразь подальше от нашей истории.

Мадрид — Хетафе — Дублин.
27 марта — 11 июля 1995.

Перевела с испанского Л. Синянская.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК КОСТРОВ

*

ПО РЕКЕ МСТЕ ОТ НОВГОРОДА ДО КРИВОГО КОЛЕНА

С давних пор я брожу, плаваю на лодках по Северо-Западу России, или, как его было принято до недавнего времени называть, по Нечерноземью. По Рдейским болотам, рекам Шелони, Ловати, Полисти, Поле, сплавлился по Волхову до Валаама на Ладоге, прошлый год с весны до заморозков — по речке Кармянной, что недалеко от озера Ильмень¹. Строил с помощью моего постоянного спутника Вадима Калашникова вигвам, сажал вокруг него огород, ловил рыбу, собирал грибы вешенки в мае и далее по порядку — сморчки, сыроежки, грузди, подосиновики и подберезовики, а ближе к августу — и белый гриб; а в 1998-м решил с ним же (его, теперь женатого человека, отпустила Лена на пару недель после того, как он возделал свой огород) подниматься от Новгорода вверх по Мсте, чтобы повидать деревню Капустино, — это километров полтораста, откуда пошел мой род по матери. Позже мой прадед Василий Капустин (у меня сбереглась его фотография) перебрался за Боровичи, в Опеченский Посад, чтобы стать там лоцманом и даже занять медаль от царского правительства за беспорочный провóд барж через пороги.

Теперь же вот я начал писать эти строки недалеко от поселка Бронницы, все на той же Мсте, скатившись после похода вниз в июле месяце в тупичок под названием Глушица. Главное, впервые в жизни нашел странное бескомариное место между двумя ледниковыми стругами — длинными неподвижными протоками, процарапанными когда-то отступающими в сторону Скандинавии льдами, то есть с юга на север. Точнее, когда ставил палатку, кровососов была, как обычно, уйма, но вдруг через неделю они стали исчезать. Отойдешь на двести метров в любую сторону по Драни — так называли этот огромный луг-пойму еще до революции, потому что до Волховской плотины эти места не заливало и жихари драли плугами целину, — и снова окружают тебя рои. А там — нет.

Печалило меня, что, пlying все вверх и вверх по Мсте, вдоль этой русской Швейцарии, я не встретился ни с одним живым фермером. Может, я их проглядел, после того как у Петриской горы Вадим меня покинул, потому что очень уставал, когда скребся против течения, которое сложилось десять тысяч лет назад и неизменно текло с Валдайской возвышенности, и у меня не хватило сил подробно обследовать берега. Но кое-что все-таки выяснить удалось. Например, в районе Полос и Чурилова у нетерпеливых добровольцев сиюминутно не получалось с доходами; тогда, чтобы побыстрее получить деньги, они взяли в аренду лес, тут же вырубил его, продали, а потом исчезли. Лишь пеньки и первые ольхи и осинки напоминают сегодня об их мимолетном хищном присутствии.

«Останки» от другого фермера вообще меня поразили. После жары в начале июня наступили холода, дожди — «мороси», бесконечными струйками

Костров Марк Леонидович (р. в 1929) — новгородский писатель, очеркист, путешественник. Постоянный автор «Нового мира».

¹ Подробнее об этом см. мой очерк «Житие на Кармянной» («Новый мир», 1998, № 8).

тоньше электронного волоска пронизавшие все пространство. Не доезжая Локотка, увидел я на берегу баньку. Нырнул в нее, безлюдную и одинокую, с одеялом вместо двери, кучей камней в углу и дырой в стене, то есть срубленную по-черному. Натопил, добираясь по-пластунски до топки, отогрелся, отдышался, когда полог дыма стал подниматься кверху и редеть, и уже утром в тепле снова стал размышлять, анализировать житие в курных когда-то избах. Не оттого ли идет наш консервативный менталитет, что мысли в дыму застывались, да еще и подсечное земледелие — от наличия огромных незаселенных мест — как-то располагало к неспешности. Поковыряет славянин корявой сохой-корнем пепелища вокруг пней, снимет раз-другой скудные запасы ячменя, да и замрет на зиму в обнимку с минусовыми изотермами января, как медведь в берлоге, до следующих весенних потеплений, чтобы потом перебраться на новые необжитые места. Не умеем мы и не хотим воспользоваться второй — после 1861 года — отменой крепостного права, *колхозного*. Нет для инициативы уже ни сил, ни элементарных условий.

Правда, недавно у нас по ТВ «Славия» показывали приехавшего из Москвы заместителя министра сельского хозяйства, который уговаривал новгородцев вновь внедрять в остатках колхозов и совхозов соцсоревнование, госплан по обязательным заготовкам, восстановление разрушенных, растащенных по кирпичикам комплексов и пестицидных аэродромчиков. Раньше бы все, как один, подняли руки, а тут вдруг против него стали выступать какие-то не добытые вроде как фермеры и другие люди из крестьянских подворий, да так обоснованно и убедительно, что стало ясно: нет, назад, в стоячие болота колхозов, народ уже не заманишь.

...Ну а я тогда, помнится, отогревшись, отдышавшись в тепле, пошел утором обследовать странные окрестности: вздыбленную, проржавевшую в сгнившей ограде из неокоренных березовых жердей технику. Разные плуги, какие-то игольчатые огромные барабаны, кабины тракторов и автомашин, вагончик без колес, обросший по окна крапивой и репейником. А главное, что поразило меня, — три сосновых сруба: их кругляк, понизу невеликих размеров, поднимался от венца к венцу, все увеличиваясь в диаметре, и уже верхние необрезанные бревна смотрели как многодвоймовые корабельные пушки в сторону Мсты — как бы предполагаемых атак противников из «Агрогулага». И еще нечто слепящее в ненадолго выглянувшем солнце привлекло мое внимание — бесконечный штабель аккуратно сложенных, нет, не дров, а бутылок. И что удивительно: от площадки никуда не отходили дороги, лес с красными мухоморами полупоясом охватывал, прижимал стойбище к реке. Можно было бы подумать, что на этот забытый Богом и людьми участок опускались инопланетяне и улетели, прихватив с собою хозяев. Тем более, что в запыленном стакане, что стоял в предбаннике на окне, лежал небольшой темноватый метеорит. Я в них стал немного разбираться во время похода по Мсте, он был в это лето уже третьим по счету: первый я увидел в деревне Княженицы у Виктора Степановича Волкова, второй — в Перемыте, а третий — вот здесь. Позже история этого «хуторка» посредством расспросов местных жителей прояснилась.

...Фермер Урбанский в самом начале перестройки, получив в аренду 200 гектаров заброшенной, запущенной земли развалившегося колхоза «Красная Мста» и вроде бы заручившись поддержкой местных властей, что ему через Мсту перекинут электричество и протянут от Любитова трехкилометровую дорогу, вложил все свои кредиты и накопления в обустройство животноводческой фермы, а потом остался с оправившимся от первого удара и приспособившимся малоподвижным начальством один на один — на бобах.

И вообще какие-то беспечность, бамовски-дамбовый размах, менталитет наш меня всегда поражают, печалят, но последнее время перестают удивлять. Как можно, поверив обещаниям властей, было осесть в этом бездорожье и безэлектричестве? Да, когда-то здесь была вековая деревенька, затем — столыпинский хутор, потом — отделение колхоза или совхоза: даже хлев, набитый навозом, от тех времен сохранился. Наконец все это распалось, дорога

заросла ольхой, чтобы на миг перестройки снова возродиться и тут же опять покрыться древостоем. Видите ли, электричества от нищего государства через стометровую реку захотелось, дорог с твердым покрытием: мол, были же обещания. Какое непостижимое простодушие!

Но вот что радостно: Урбанский не сдался, не пал духом, что-то в нем *предпринимательское* продолжало теплиться, а может, и меняться в сторону самостоятельности и надежды только на себя. То есть он не стал по примеру своего известного тезки повторять по приказу режиссера дубли и дубли, чтобы, перевернувшись в машине, разбиться насмерть, а на оставшейся от уплаты долгов автомашине, превратив ее в автолавку, стал ездить по деревням, жена же его — торговать в ларьке новгородским мясом.

Про другого же фермера, Л., ну, того, который вырубил бор, мне пока ничего не известно. Ничего не знаю я и про третьего, ринувшегося из города на землю, — человека в районе Кобыльей Головы, куда можно добраться по проселку от Больших Дорок. Только брошенные в ручей трубы и напоминают о битвах за выживание в тех местах поспешившего к быстрому счастью горожанина.

Но на чем же держится люд, живущий на Мсте? Отвечаю: крестьянскими, как всегда, как тысячу лет назад, подворьями. Возьмем Юрия Ивановича Мандрова из Перемыта... История его перемещения из Ленинграда, от спокойной жизни высококвалифицированного слесаря на заводе «Большевик», скорее всего *генная*. Они (гены) в нем в начале перестройки вдруг взбунтовались — после объявления в «Вечерке» о том, что сельхозотделом обкома приглашается со всего многомиллионного города инициативная группа, готовая взять в аренду какое-нибудь отстающее отделение совхоза. Их через разговоры и отсеивания осталось всего восемь человек, а выбрали они Маловишерский район, по которому проходила железная дорога. В исполкоме им сначала предложили село Дорохово. Пришли они туда по двадцатикилометровому бездорожью, по насыпям узкоколейки — и ахнули: стоит нетронутая в двести домов деревня и никто в ней не живет. Взобрались они на гору Колокольню, кругом боры, озера, реки Бурга и Хуба, недалеко Мста проглядывается, а болото Паниковское — в бинокль глянули — все красно от клюквы, так сказать, стартового капитала. Но дорога, дорога — вернее, ее отсутствие: пришлось им отказаться от этих благодатных мест.

Тогда предложили им Верхние или Нижние Тикуллы на Мсте, куда таскался автобус. Но они выбрали место напротив — за рекой Перемыт, пусть без дорог, но с электричеством. *Перемыт* еще и потому, что весной их по низине перемывало и они жили как бы на острове, зато с рыбой в половодье, да и «Большевик» в порядке шефской помощи им за копейки разной техники подкинул. Они одну автомашину обменяли в Новгородском порту на самоходку, чтобы сдаточное молоко перевозить без помех через реку. По полтонны в день его надаивали и потому постепенно стали выплачивать кредиты. Но тут началась либерализация цен, топливо-электроэнергия стали дорожать, и возить при рыночных рублях на самоходке молоко стало нерентабельно. Тогда из аренды они перебрались в *Товарищество*, но тут в их среде раздоры начались. Только жена Юрия Ивановича Мандрова поддержала его, остальные ночные кукушки перекуковали своих мужей, и все потянулись обратно в Ленинград. Тем более с зарплатой стали возникать перебои. Семье же Мандровых ехать было некуда — квартиру в городе они оставили дочке.

В конце концов товарищество распалось, имущество распродали-поделили, Мандрову достался трактор Т-25, а свою корову, лошадь и нетель он держит на бывшем скотном дворе — они в нем зимой гуляют, как по крытому стадиону. Когда-то Мандровы и свиноматок держали, и к ним за поросятами съезжалась вся округа, но цены, цены на комбикорма... А все же семья не сдается: в 1999 году планирует засеять пять гектаров ячменем и рожью, мельница им тоже досталась, так что, может, удастся возродить и свиной молодняк. Пока же они купили инкубатор, курятник у них уже заработал, а продукцию будут во-

зять прямо на перрон в Малой Вишере. Там дачники, окрестные жители начнут раскупать цыплят, чтобы за лето вырастить на отходах товарных кур.

А еще — не подскажу ли я им, где можно купить современный ветряк, чтобы не зависеть от обветшалой электросети, ведь не то что ураганы, но и слабые ветры часто выводят ее из строя? Вон уже и их дочка (она работает на лучшем фарфоровом заводе страны — имени Ломоносова) по три месяца не получает зарплаты, тем и живет, что на выходные приезжает к родителям за сметаной, яичками и картошкой. Да и рыба разнообразит меню. А внуки Ивона и Валентин все лето на природе.

Валя, ему четыре года, так рассказывал мне про самоходку: «Когда я был у мамы в животике, пошел сильный лед весной, и пароход испортился, а потом его поломало и выбросило на берег, но когда я вырасту побольше, то исправлю его, а пока с катера хорошо ловить рыбу». Ивона же, Ива, так сокращенно зовут ее, — на ней куры, кормление, слежение; а корову доит сам хозяин, чтобы Валентина Андреевна могла сосредоточиться на огороде, да и побаивается она, пока не до конца сельчанка, бодучей Розы. Жена Юрия Ивановича тянет огород, и неплохо у нее получается, вот и смеси удобрений им приходится готовить самим, благо навозу от скотного двора и их кормилицы предостаточно.

Еще в их планах пчел завести; словом, подворьем можно независимо ни от кого прожить этот *переходной* период, а там видно будет. Правда, некоторые деревенские все еще никак не признают их своими, и пакостят как умеют. То оглобли спрячут, когда они собирались сажать картошку под плуг, а потом ходят и издали всем «колхозом» подглядывают на растерянность пришельцев, то скот на огород напустят — однажды всю капустную рассаду потравили, то электричество пережгут и тут же просят Мандрова порубить солому на его мельнице, и он им не отказывает. Как дети живут, хотя за свет половина деревни не платит. Он же с ними (стоит деревенским после всех каверз поуспокоиться) ходит по домам беседовать по-хорошему, вот уж десять лет ходит, и кое-какой прогресс в отношениях намечается.

Ночевать повел меня Юрий в оставленную ему на хранение одним петербургским ученым по имени Владимир Владимирович, фамилию забыл спросить, избу, с просьбой ничего в ней не трогать, а главное, не обращать внимания на хобби профессора: у того по стенам развешаны черепа разных животных — от барана до лошади.

Спать он положил меня на очерченное мелом место (спальник я прихватил с собой) таким образом, что голова моя оказалась под столом, наказав еще раз ничего не двигать, потому что академик — аккуратист. Однако я не удержался и, как только остался один, стал жадно насыщаться духовной пищей, доставая с полок разные книги и задумчиво листая страницы. Тут были и какие-то научные тома, связанные с гляциологией и глетчерами, но меня больше интересовали Паустовский и Казаков Юрий, Пришвин и Соколов-Микитов, Нагибин и Набоков, умилил «Робинзон Крузо», но опечалила «Синяя птица» Мориса Метерлинка, где автор еще в начале века, и у нас с помощью Станиславского, доказывал, что человек — царь природы. Их бы, подумалось мне уже в полудреме, под завывание начинающейся бури, да в наши дни: полюбоваться плодами его царствования.

...В самом начале пути, так и не получив в нашем сбербанке высланных мне из журнала «Сельская новь» денег (банк не побрезговал заниматься «ловлей блох», прокручивая и мою полутысячу), я с Вадимом поднимался вверх с жалкими копейками. Грибов еще неросло, а какая-то желтая пена и мазут оставляли нас и без плотвы. Сначала в пределах Новгородского района я отправлял Вадима на разведку с последней десяткой, и удача — без ложной скромности — сопутствовала Марку Кострову. Во-первых, потому, что наше ТВ только что показало фильм про меня — «Новгородский Робинзон», а во-вторых, газета «Вечевой центр», с ее бесплатным распространением и тиражом в 80 тысяч экземпляров, начала печатать мои путевые записки. Так что сель-

чане, узнавая от Калашникова, для кого эти продукты, и удивляясь, что мы плыли не как обычно — по течению, а против него, снабжали чем Бог послал. Пользуясь случаем, хочу выразить особенную благодарность деревне *Девки*, при въезде в которую предупредительная надпись: «Девки в деревне нет».

Но когда Вадим покинул меня и я вошел в Маловишерский район, заселенный в основном петербуржцами, жертвования прекратились: мало ли плавают бродяг по рекам. У меня даже стали требовать документы. И признаюсь: когда меня исключили из Союза писателей, то свой краснокожий билет с золотым Лениным и аббревиатурой «СССР» я не сдал и теперь показывал его подозрительным маловерам. Только у Лопотеньского омута удалось мне разжиться едой, сфотографировав двух парней, поймавших на живца сомика в рост человека. А потом в Барашихе то ли фермерша, то ли представительница Крестьянского двора (у них с мужем 50 гектаров) Лена Арсеньева одарила меня огромным кагулем всевозможных продуктов из своих запасов. Даже пачку кофе в зернах преподнесла (я их крошил позже плоскогубцами и просеивал через дырочки в крышке).

«Вы откуда?» — спросила она меня при встрече. «Плыву из Новгорода, против течения», — ответил я. «Ах вот оно что! Как и мы с Николаем, вы тоже *белая ворона*», — заключила она, укладывая в сумку дары их земли: светлую раннюю картошку, сушеные яблоки, первые огурчики, лук, укроп, ячки, вяленую густеру — сынок ее ловит. Детей у нее трое, каждый день Николай перевозит их, даже в ледоставы, расталкивая шугу, чтобы дальше три километра идти им в школу в Карпину Гору. Школа современная, на высшем уровне английский, так как из Петербурга в нее приехало несколько преподавателей; старшенький у нее уже в третьем классе.

К сожалению, Лена отказалась фотографироваться, только и сказала: «Не нужно, не люблю! Наша семья живет по принципу: нас не тронь — и мы не тронем. Недаром пьяницы меня лайкой прозвали. Иначе в сегодняшней жизни нельзя. Я, когда приватизацией земель занималась, законы вперед и права наши изучила и решила никогда никакой администрации взятки не давать. Пусть только попробуют чиновники тормозить нашу жизнь!»

Я на всякий случай отодвигаюсь от нее, с уважением смотрю на ее расцарапанные трудовые кулачки. Но не могу удержаться, чтобы не задать еще один вопрос: «Вот я плыл к вам, Лена, при мне маловишерцы на том берегу поймали сома, а если бы они на вашем, приватизированном, берегу это свершили, как бы вы к этому отнеслись?» — «Да никак, пусть на первый случай ловят, лет через десять мои сыновья на себя эти проблемы примут. Главное, чтобы туристы травы не мяли, мой берег банками да кострищами не поганили».

Мне слушать такие слова — мед. Помню, сорок лет назад, переехав на жительство из Ленинграда в Новгород и купив лодку, тут же в походе на Ильмене был хорошо отматюгован стариком колхозником за то, что разбил палатку в травах, которые помял легонько и костерок распалил в них. В старике еще копошилось нечто доколхозное; ну а в последующие годы я уже никаких замечаний не получал — деревенский житель постепенно менялся, но вот теперь снова торжествует *мое*. И я достаю из байдарки печку, которая не портит, не прожигает частнокапиталистический дерн, показываю ее Арсеньевой.

Лена и советует мне обратиться в последнюю их деревню на левом берегу — Дубки. «Кстати, там и храм староверский еще сохранился». Отправляюсь туда, к библиотекарю Владимиру Григорьевичу Степанову. Здесь уже из широких штанин достаю не красные корочки, а показываю ему командировку от журнала «Сельская новь», и первый вопрос: читают ли тут в ней меня?

«Сельская новь», «Вокруг света», «Огонек» — вот три журнала, что они выписывают. Но писателя Кострова, честно признается Степанов, не знает, да и «Сельскую новь» пока не читал: последние номера, где шли тогда мои очерки, взяли почитать дачники из Барашихи и еще не вернули.

На солнечном пригорочке беру интервью у библиотекаря. Оказывается, он после окончания техникума работал здесь монтером, потом доучился до чет-

вертого курса Пединститута в Новгороде, но стал гложуть, и ему предложили тут возглавить библиотечное дело. Жена его тоже кончила институт, но ист-фак, а теперь на пенсии, выращивает внуков и картофель с помидорами, а он не только библиотечарь, но и переплетает по всему маловишерскому району книги.

Вздрагиваю, гоню прочь дремоту — сейчас я его поражу, обрадую! Лезу в свой алюминиевый ящик — дарю ему собственного вольного издательства «КОМАР» (Костров Марк) мини-книжечки «Русское озеро», «Два похода с Юрием Казаковым», «Болотные люди» и другие. Он вежливо их листает, приглашает меня к себе отобедать.

От того угощения память сберегла сырники, консервированную в томате щуку и брусничный напиток. Потом он ведет меня в свою переплетную комнату, показывает резак, клеи, пресс — все это качественное, несравнимое с моим кривоколенным оборудованием, но окончательно я замираю в его просторной светлой горнице, обставленной шкафами. Нет, не мои любимые Казаковы, Пришвины, Нагибины, даже золотистой Вики Токаревой нет — через стекла смотрят на меня Кафка и Марсель Пруст, Джойс и Камю, а из наших — Шмелев, Набоков, Ремизов, Бунин. Я добросовестно «регистраю» авторов: Цветаева, Мандельштам, Пастернак, то есть нечто настоящее, неподдельное, не зараженное соцреализмом. А когда Владимир Григорьевич дарит ответно мне три своих переплетенных книжечки, то превосходство мое, заносчивость исчезают полностью.

Белые вороны? Да, на ловца и зверь бежит — белые вороны встречаются на моем пути. Порою даже начинает казаться, что Мсту населяют только они. Да вот хотя б Харитоново, до которого от Октябрьской железной дороги можно только доплыть на моторке или идти тропочками семь километров. Деревня эта не числится в сельсоветах и исполкомах, живет сама по себе в нашем странноватом хаотичном обществе.

Когда я подплывал к ней, то обратил внимание на государственную — в просеках среди вековых елок — высоковольтную линию. В таких случаях я всегда радуюсь, потому что в подобных местах живут спокойные, неполитизированные люди: в районах высоковольток не работает дерганный голубой экран, то есть жители общаются друг с другом не виртуально, а через обычную разговорную речь.

Вот первый на скамеечке сидит Павел Михайлович Тряхов с женой Екатериной Александровной Тряховой, в девичестве Капустиной, из деревни Капустино, а далее ее двоюродная сестра Нюра, Слава из Вишеры, его сестра Маша, плотник Толя. Какие у них спокойные, достойные, нетелевизионные лица! Особенно порадовала меня в этой деревне основа основ жизни — чистая ключевая вода в кранах. Тысячу лет их предки брали воду со Мсты, а когда в верховьях ее расплодилось промышленность, пролегли над рекою всякие железные и асфальтовые дороги с их солянками-бензинами, жители срубили на склоне горы за Харитоновом сруб на месте ключа и от него пустили вкопанные неглубоко, чтобы к зиме их извлекать, шланги к своим домам. Пей само тек, человеке, как пили деды, мойся, парься, поливай огороды.

...Сидим вечером на скамеечке, пылит тихо одуванчик, трудятся соловьи напополам с кукушками, перенимая песнопения друг у друга.

От Харитонова, недослав на веранде — очень уж начали мучить меня комары, а потом мошка, — ночью, под серебряной луною, я стал пробираться к мстинскому мосту. Сказочное плавание, особенно если глаза залепляет мошкара, когда ты ее тревожишь своим двухлопастным веслом, и диск кривится в усмешке. На зорьке, вплыв в Кривое Колено и не имея сил подняться на высоченную гору, чтобы оглядеть окрестности, я решил сплавляться вниз по течению. Просто стал уставать последнее время (жил на воде уже месяц). Выбраться на береговую крутизну, поставить палатку, набрать дров, что-то сварить — после этого уже с трудом залезаешь в свои брезенты. А если еще плыл сквозь дождь? Да и пороги много сил отнимали. Когда со мною был Вадим,

проблем для меня не было: Калашников тянул сидячего деда бечевою. А без него приходилось вылезать из лодки и, держась за борт, проталкивать ее на пару метров вверх, потом осторожно, не дай Бог, если она встанет поперек стремнины, переходить, все так же держась за борт, тоже вперед, и так повторять раз за разом, пока не выберешься, чертыхаясь, из завихрений и струй.

1998 год был дождливым. Помню, как, спускаясь вниз и устав промокать, встал на стоянку за Красной горкой: поляна, высокий берег, легкий подъем по каменистому склону, в омуте среди кувшинок бьет жерех. Пошел за грибами под бесконечным незлым дождем — и удивился: вода заполнила канавки, по которым росли подберезовики, и они, под водой раскрыв свои шляпки, как упругие зонтики, так и лезли мне в руки. Ну и что — почему нельзя варить супец из моченых грибов, не червивых, а чистых?

Вниз сплавляться было одно удовольствие, тем более я на надувном матрасе сидел в лодке как в кресле. Но ночь без сна вскоре дала себя знать: проснулся я у Большого Пехова — байдарка уткнулась в берег, рядом ловил рыбу мальчик-негр, а с другой стороны тоже дремала, уткнувшись, как и мой «таймень», в берег, «уфимка». Вдруг из нее поднялся, оглядываясь по сторонам, человек. Оказалось, что в Пехове сошлись уже три белых вороны, если считать таковыми и негра. Русского негра, потому что позже, у костерка, выяснилось, что он будет жить с мамой в Пехове всегда. А молодой человек из «уфимки», по имени Роман, оказался петербургским таможенником. После суточного дежурства у него три дня выходных, и он взял за правило в эти дни забираться транспортом в верховья разных рек и оттуда сплавляться до очередных цивилизаций. Исследовал таким образом Плюссу, Сясь, Вуоксу и еще другие реки. Меня же в его походах заинтересовала сама метода его плаваний. Во-первых, Роман приспособился плавать практически без еды — берет с собой только пачку крекеров и немного денег на обратную дорогу и прибрежное молоко, а во-вторых, начальные послерабочие сутки он накрывается пленкой и спит, пока его лодочка, шаркая «пенками» по камням, работает. Проснется на минуту, снимется с мели и далее спит — под журчание воды крепко спится!

Еще мне пришлось по душе в рассуждениях таможенника слово «приспособился». Оно как бы определяло житие жихарей-сельчан по всей Мсте. Да и не только местный народ. Вот, к примеру, мои новые знакомцы Агафья Трофимовна и Михаил Иванович Федоровы, оба семидесятилетние, оба довольные жизнью. Знакомство наше началось с того, что Михаил Иванович окликнул меня, оторвавшись от межез, когда я тихонько, в мягком матрасном кресле, не спеша сплавлялся, наслаждаясь движением вниз по реке в районе Старых Морозовичей. Мне всегда везет, когда у меня кончается еда, — Михаил Иванович был очень удивлен: он только что видел меня по телевизору, а тут живой Костров плывет!

Конечно, я охотно откликнулся на его предложение отобедать. Мы поднялись по берегу к его дому, Федоров хромает. «На мне в войну потерял ногу, — объясняет мне, — под Берлином». — «Уж не штурмуя ли впереди танков Зееловские высоты?» — «Все было, все было», — отвечает Михаил Иванович уклончиво, скромно.

В памяти от подобных трапез всегда остается что-то новое. В этом случае запечатлелось, как хозяйка своей рукой острым ножом на разделочной доске резала — хрусь-хрусь — пучки сочного лука, потом давила его толкушкой в миске, тут же на глазах моих снимала с простокваши ее верхний отстоявшийся слой-сметану, сыпала в миску мелко нарезанную раннюю картошечку. Я не мог удержаться, съел две тарелки такого салата, а потом не утерпел и еще попросил. (Приехав домой, попытался восстановить тот обед, но ничего подобного, столь же вкусного не получилось. Наверное, потому, что в окно виделись каменные джунгли, а не текущая Мста с облаками над нею и в ней самой.)

Оказывается, супруги Федоровы — молодожены. Агафья десять лет тому назад потеряла мужа-шахтера, тот умер от силикоза легких. Она стала после отмеренного обычаем срока писать из Апатитов объявления в газету «Из рук в

руки» и в конце концов списалась с вдовцом Михаилом, а потом и приехала к нему.

Федоров, кроме профи-рыболовства (попробуй обработай десять — двенадцать мереж в день, протряси их, поставь на новое место, отгони от них расплотившееся ворье, каждый день ремонтируй их и так далее), еще и на заказ рубит избы, бани, хлева.

В этом походе я собрал множество сведений о продающихся домах. Цены на них колебались на Мсте в 1998 году от 10 до 20 тысяч. Например, изба в Перемыте стоит 15 тысяч рублей. В Усть-Вольме, на мысу двух рек — Вольмы и Мсты, 20 тысяч. Будь я помоложе, купил бы дом в Княженицах, тем более что там Волков, которому дом перешел от матери по наследству, собирает в лесу не только грибы, но и метеориты. Много лет назад, еще в детстве, когда он ловил весной уклею в ручье, впадавшем в реку, рядом с ним упал, взорвавшись, огромный метеорит. Куда он с 1953 года только не писал, никто им так до сих пор и не заинтересовался.

Но, пожалуй, самое отрадное место, где бы я мечтал поселиться, — это Воронья Гора. Плыл и вдруг в разрывах деревьев увидел то ли аракчеевскую казарму, то ли кирпичный завод. Конечно, причалил к берегу — и скоро ел ватрушки из козьего творога у Левцовых, у пожилой четы моего возраста, которые жили в этом месте в одиночестве уже много лет подряд, без дорог и электричества. С тех самых пор, как в войну была подорвана труба стекольного завода, чтобы не привлекать немцев своим ориентиром. А до того завод принадлежал немцу Баху из многочисленного, расплотившегося по всему свету славного рода Бахов. Задуман он был еще в том веке как свекольный, но свекла не уродилась. Бахи, однако, не растерялись, перестроились на кирпичный завод, но и с кирпичами вышла осечка, и тогда на этих площадях Бах создает стекольный завод. То есть упорные, работающие немцы в трудных переходных условиях умели не сдаваться. Правда, и нашим умельцам-левшам пальца в рот не клади: как это так, какой-то сахар желтый удумала проклятая немчура. Жили без него, как наши деды, и еще тысячу лет просуществоваем — взяли и накапали в посевные семена соляной кислоты. Кирпичи, черепица? Да что мы, перекаливать их не умеем или горсть мелкой гальки в замес не бросим — как пойдет черепица в печи стрелять, словно война началась. Да и вообще, у нас что, соломы мало? Пожары? А как же без них, дело привычное — плотникам работа.

А лишь стекольный завод создан — лоцману миром ведро водки поставят, он и посадит баржу с готовой продукцией на перекате. До сих пор в реке видно, как на дне в мелких местах осколки графинов и стаканов баховских сверкают. В 1914 году, в начале войны с Германией, мы из патриотизма завод подожгли; после семнадцатого года он стал нашенским, то есть ничейным, мы и вообще-то вороватая нация — вспомним хотя бы Карамзина, а тут все кругом колхозное, наше, как его не растащить по кирпичику. А чтобы какие-то остатки совести нас не тревожили, Бахи в двадцатых годах или разбрелись по всей Мсте, или залегли в своей усыпальнице на горе Лъзи, недалеко от Мстинского моста. Образовалась в их имени колония слепых и глухонемых. Бахов из sklepa изъяли и прах их рассеяли.

Правда, кое-что от них все же осталось. Антонина Федоровна вспоминала про какого-то непонятного мне Шаляпу: мол, мамушка рассказывала, как он приезжал в начале века к Бахам, потому что две горы, Воронья и Петриская, рождали здесь, как в соборах, звук, да и рояль у Бахов был, и все пел, пел, поспать в соловьиные ночи трудовым людям не давал. А потом, уже после победы революции, к ним стал наезжать прямо с двумя женами бесстыдник Ерш (вероятно, знаменитый бас Ершов, позже он, всеми забытый, умер в эвакуации в Ташкенте) и тоже пел на улице. «Жил бы в войну у нас, не умер бы с голоду на чужбине, — вспоминает тетя Тоня, — немец до нас чуток не дошел, мы на налимах всю войну и прожили, накоготим их зимой, насолим, посушим, в ледник сколько-то рыбин заложим, а там и лето со щавелем, грибами

и картошкой подоспеет. Коз приучились держать — ими военные брезговали и ни они, ни партизаны у нас их не отбирали».

Сажу на скамеечке в огороде у Тони — он огорожен диким елочным лесом, и потому в нем все раньше созревает, — слушаю, как медведь рыкает в кустах, а старики с ним сжились и не мешают друг другу. Григорий Дмитриевич несет с омота трех жерличных шук, значит, ждть пирогов с рыбой, пойдут-ка наберу боровиков. Мелиоративные кучи земли с коммунистических времен были забыты, на них в низкорослых осинках и березках, а порою даже и в ивняке стали расти крепкие боровички — все, что ни делается на свете, все к лучшему.

...Нет, кроме тех указанных заброшенных полян, мне бы по моему возрасту подошла только Воронья Гора. Тем более, что с деревней Капустино, откуда пошел мой род, произошла осечка. Когда приближался к ней, вдруг встретил плывущего загорелого человека. Им оказался живущий в ней единственный житель профессор Мухинского училища Иван Петрович Васильев. Я и прежде не раз слышал от сельчан рассказ о нем: как он голыми руками задушил волка. Иван Петрович подтвердил народную молву, а еще рассказал, что его картины демонстрируются даже на Огненной Земле, но к себе в деревню не пригласил, сказав, что во дворе у него злая собака. И отказался от моего дара — книжечки «Русское озеро» на английском языке, потому что знает он только русский. А еще мы поспорили с ним о бароне Штиглице (не путать со Штирлицем!). Иван Петрович сказал, что скоро они заберут из нашего музея сидящего в кресле мраморного барона работы Антокольского. На том мы с ним и расстались.

Ну вот, кажется, на сегодня и все. Раз до истоков рода своего мне добраться не удалось в том году, то в этом, девяносто девятом, попытаюсь подняться уже до Опеченского Посада за Боровичами. А потому, читатель, не говорю «прощай» — до свидания!

Великий Новгород.
Апрель 1999.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

БОРИС ФАЛИКОВ



НЕОЯЗЫЧЕСТВО

Еще совсем недавно фольклористы и этнографы отправлялись в глухие углы России в поисках остатков языческих ритуалов и верований и, как дети, радовались, когда им удавалось найти что-нибудь *интересненькое*.казалось, тяжелая поступь прогресса вкупе с коммунистической идеологией искоренили последние древние суеверия. То, что православным миссионерам не удавалось в течение многих веков, большевики проделали за несколько десятилетий. Правда, заодно они избавились и от самих миссионеров, а секуляризованное язычество вырвалось на поверхность культуры. Большевицкие кумирни и капища заполонили Россию.

Не удивительно, что такая победа оказалась непродолжительной. Если вы откроете сейчас рубрику объявлений в любой газете, вы найдете массу предложений *снять сглаз, отвести порчу, изготовить любовное зелье* и т. д. и т. п. Если вы не слишком доверяетесь отечественному ведовству, в вашем распоряжении обширные ресурсы импортного язычества — кельтского, германского, африканского. Кроме колдунов-одиночек есть и целые организации языческого толка, представляющие самые разные взгляды от крутого славянского расизма до древних британских мифов, которые с удовольствием разыгрывают на отечественном пленэре юные *толкиенисты*. Единственное, что первых роднит со вторыми, — трепетное отношение к природе. Наличие у поклонников Перуна и Ярилы радикального экологизма, который у нас обычно ассоциируется с космополитическим «Гринписом», даже вызывает недоумение у некоторых российских социологов религии¹.

Например, по данным социолога Татьяны Варзановой, неоязыческие пристрастия в гораздо большей степени характерны для молодежи, чем для людей в возрасте. В колдовство, порчу и дурной глаз верят 62,7 процента россиян в возрасте от 18 до 24 лет и лишь 31,4 процента людей старше 55 лет. Вот вам и суеверные старички и здравомыслящая молодежь!²

Как же разобраться в столь разнородном и противоречивом, на первый взгляд, явлении? Возникает впечатление, что некоторые его компоненты и вовсе не связаны друг с другом. Словно идешь по какой-то гигантской выставке и смотришь на все новые и новые произведения, силясь понять, какая идея заставила неведомых организаторов объединить все это на едином выставочном пространстве. Давайте пройдемся по залам и присмотримся к полотнам. По крайней мере к тем из них, что сразу бросаются в глаза. Итак, «картинки с выставки»...

Фаликов Борис Зиновьевич родился в 1947 году. Историк, религиовед, автор ряда статей и книг. Одна из последних его больших работ — «Неоиндуизм и западная культура» (М., «Наука», 1994). Преполагает историю религии в РГГУ. В «Новом мире» публикуется впервые.

¹ Щипков Александр. Во что верит Россия? СПб., 1998, стр. 142.

² Варзанова Татьяна. Во что верят россияне. — «НГ-Религии», 1997, № 2.

Навыи чары

В позапрошлом году я стал замечать в вагонах метро одну любопытную рекламу. В ней говорилось о том, что истинные арийцы должны объединиться под эгидой *Церкви Нави* и совместными усилиями приблизить эру белого человека. Этнолог Виктор Шнирельман, который уже несколько лет изучает фашизоидные организации неоязыческого толка на необъятных просторах бывшего СССР, поделился со мною сведениями о таинственной церкви белого человека. Создана она была в 1996 году недоучившимся студентом Московской юридической академии Ильей Лазаренко, причем при весьма любопытных обстоятельствах. Лазаренко был арестован за разжигание национальной розни и, находясь в предварительном заключении, возглавил новую церковь. Мне это чем-то напомнило попытки нашего криминалитета прорваться в Думу, дабы обезопасить себя от судебных разбирательств. Лазаренко же решил окружить себя аурой духовного иммунитета, как бы переводя свою неподсудность из юридического в метафизический план.

Члены новой церкви поклоняются двум древнеславянским божествам — Яви и Нави (воплощение смерти). Среди сакральных символов церкви — свастика, новгородский крест, древнегерманские руны, череп барана. Этот германо-славянский синтез заявлен как нордическое славянское откровение, данное исключительно белому человеку покровителем скота богом Велесом. Последнему по аналогии с Христом придан статус богочеловека.

Члены церкви должны твердо следовать принципу сегрегации, выдержанному в классическом ку-клукс-клановском духе, и общаться лишь с представителями белой расы. Но если кукуксклановцы прославились в свое время не только убийствами чернокожих, но и насилиями над их женами, члены *Церкви Нави* не должны вступать в половую связь с нерусскими. По этому параметру наши борцы за чистоту расы обошли слишком либеральных алабамцев и тexasцев.

Известно, что члены церкви празднуют день рождения Гитлера, но признавать себя фашистами не желают. Статистических данных по церкви нет (посмотрел бы я на статистика, который отважится их собрать), но очевидно, что под *навыи чары* подпадает в основном молодежь. Замечу в скобках, что с одноименным романом Федора Сологуба это не имеет ничего общего, хотя с позиции фрейдизма, конечно, имеет (тяга к смерти). Но вряд ли кому-нибудь из быстро множасьегося племени российских фрейдистов удастся уложить члена *Церкви Нави* на «еврейскую» психоаналитическую кушетку.

Анастасия

Среди потока неоязыческой литературы, обрушившейся в последние годы на прилавки наших книжных магазинов, вначале доминировали книжки переводные. Отмечу попутно, что переведены они были на скорую руку, явно людьми не слишком грамотными. Если учесть, что и сами по себе тексты эти довольно путаные, при таком переводе они теряли остатки смысла. Сейчас качество переводов улучшилось, а главное, умножилось число текстов отечественных.

Мое внимание привлекла серия книг *«Анастасия»*, написанная неким Владимиром Мегре. Вначале я решил, что знаменитый персонаж Сименона срочно сменил национальность и начал строчить детективы под Маринину, но Анастасия оказалась не бойким следователем, а сибирской колдуньей. Впрочем, оставаясь при этом вполне современной женщиной.

С одной стороны, она круглый год разгуливает нагишом по лесам, впитывая в себя божественную энергию природы, с другой — занимается изобретательством в области охраны окружающей среды. Придумала, например, приспособление для очистки выхлопных газов в виде двух коробочек с дырочками, которые вешают на задний и передний бамперы автомобиля, — простенько и со вкусом. Не чужда она и компьютерам: современная колдунья без компьютера — это все равно, что ее историческая предшественница без ступы

и метлы. Новейшие сведения о последних технических достижениях Анастасия черпает непосредственно из первоисточника — от космических пришельцев. При этом не очень-то им уступая — когда их тарелочка сломалась, она помогла ее починить. Знай наших!

Но все же главное в деятельности Анастасии (по мужу, вероятно, Мегре?) — это не содействие прогрессу, а как раз напротив — возвращение на лоно природы и оздоровление в этом лоне по полной программе. Летом члены Центра духовного общения *Анастасия* выезжают в Геленджикскую бухту и валяются нагишом на теплом черноморском суглинке, купаются в водопадах, совершают пешие переходы по горам и лесам. То есть продолжают здоровую традицию советских турпоходов, но уже на новом, метафизическом уровне. Одним из самых важных ритуалов является поклонение мегалитическим сооружениям — *дольменам*, которые, по мнению членов Центра духовного общения, испускают целительную духовную силу. В мифе современных камнепоклонников дольмены — это места вечного обитания древних мудрецов, которые замуровывали себя там заживо, дабы их мудрость могла послужить на благо человечества.

Итак, экологические и феминистские заботы (женщины в движении доминируют) сплелись под лидерством Анастасии с мечтой о непоколебимом природном здоровье, которое в России традиционно ассоциируется с Сибирью. Правда, ездить за ним предпочитают все же в Геленджик. Что же касается «духовного общения», то в предлагающем его Центре оно, как мы видим, происходит с камнями.

Приключения мифов

Помнится, в советские еще времена читал вслух дочкам знаменитую трилогию Толкиена «Властелин колец», имевшую хождение в самиздате. Причудливо воссозданный англосаксонский миф совершенно покорило воображение старшей, а младшую немного напугал. Потом на даче они с удовольствием изображали эльфов, гоблинов и хоббитов.

Прошло немало лет. Один из моих студентов сделал на семинаре доклад о движении толкиенистов. Летом молодежь выезжает на пленэр, где, прямо-таки как в пионерской игре «Зарница», в которой без большого энтузиазма участвовало мое поколение, делится на отряды и лупит друг друга деревянными мечами, облачившись в картонные доспехи. В отличие от нас делают они это добровольно, а потому с большим удовольствием. У ребят, живущих по Толкиену, на передний план выходят космогонические элементы толкиенского мифа, которые содержатся в не опубликованном при жизни автора «Сильмариллионе». Миф обретает онтологическую завершенность, что позволяет поселиться в нем надолго и основательно. Среди толкиенистов преобладают христианские настроения, характерные и для самого писателя, но порой раздаются и фашизоидные ноты, которые у Толкиена различить практически невозможно, разве что если очень захотеть. Видимо, у подобных интерпретаторов дает себя знать подростковая агрессивность.

...На следующий семинар мой студент попросил разрешения привести своих знакомцев, для которых толкиенский миф был пресноват, и они создали собственный неоязыческий синтез, с которым и решили ознакомить студенческую общественность. Задуманный синтез носил звучное название *Демонолатрия* и представлял собой вольную компиляцию идей знаменитого британского черного мага Алистера Кроули и ряда оккультных элементов. Все это было где-то на границе (надо сказать, весьма зыбкой) неоязычества и оккультизма. Отцом основателем своей традиции они числили Каина, демонов же считали существами вышшими и более разумными, чем люди. Поэтому управлять ими было нельзя, но взаимодействовать с ними можно.

— А на каких началах вы с ними взаимодействуете? — спросил я, намекая на то, что в буквальном переводе «демонолатрия» — это *поклонение* демонам.

— На паритетных, — с достоинством отвечали молодые люди.

— Но они же сильнее вас, не командуют?

— Нет, они хорошие.

Памятуя о половых подвигах Краули, я рискнул задать несколько вопросов об использовании сексуальной магии. Да, отвечали юноши, используем. На дальнейшие расспросы я, признаться, не решился, но, размышляя над рискованными трансформациями мифологического материала в молодом сознании, вспомнил историю, рассказанную мне недавно одним коллегой.

В советские еще времена в Институт этнографии к одному из ведущих специалистов по североамериканским индейцам приходили юноши, которые, подобно многим отпрыскам дореволюционных семей, играли в краснокожих. Они приходили консультироваться по поводу формы томагавков и особенностей боевого раскраса. *«Чтоб в Матагордовом Ущелье / заснуть на огненных камнях / с лицом сухим от акварели, / с пером вороньим в волосах»* (Владимир Набоков).

— Интересно, что с ними сейчас? — спросил я коллегу.

— Как что? — удивился он. — То, что и со всеми. Они теперь борются с мировым сионистским заговором.

— Надо же, — удивился я. — А ведь согласно мормонскому учению, индейцы — это древние евреи, покрасневшие от своих заблуждений.

— Вот вы им это и скажите, — посоветовал коллега.

Итак, современное российское язычество отвечает на самые разные, а иногда и трудносочетаемые запросы. Это и желание поваляться голышом среди священных камней, источающих магическую оздоровительную энергию, и охота порезвиться в картонных доспехах во славу «старой доброй Англии», мечта искоренить чуждый истинным славянам семитский дух, надежда улучшить мир с помощью сексуальной раскрепощенности, а вдобавок еще и потребность обеспечить государственную стабильность. Как известно, в Туве шаманизм объявлен государственной религией.

Не прибавляют ясности и православные миссионеры, которые порой заносят под рубрику неоязычества практически все, что не является христианством. Тогда под одной крышей с поклонниками кельтского ведовства и блюстителями расовой чистоты славянства оказываются и сторонники тибетских махатм, и даже отечественные кришнаиты.

...Попытаемся разобраться в том, где и как возникло неоязычество и какие обстоятельства породили это явление. Когда мы локализуем его во времени и пространстве и проследим его историю, может быть, нам станет понятней и его удивительная переменчивость, даже противоречивость, а также невероятная живучесть. Небольшой экскурс в недавнее прошлое, быть может, позволит лучше понять и нынешнее неоязычество в России.

Мифы fin de siècle

«Век девятнадцатый, железный» на своем излете многих заставил усомниться в безусловном благе цивилизации. Все чаще раздаются голоса критиков прогресса — его неумолимая поступь подминает под себя человека. Техническая цивилизация превращает его в бездушную марионетку, подавляет естество, разрывает связь с природой, разрушает человеческие отношения, размывает национальную идентичность. Начинает вызывать сомнения и незыблемый авторитет главного двигателя прогресса — науки. У столь очарованного ею в юности Эрнеста Ренана к концу века (и собственной жизни) возникает все же одно сомнение: не лишила ли наука человечество тех иллюзий, которые необходимы для его дальнейшего развития? Ироничный Анатолий Франс идет дальше: «Мы отведали плодов с древа науки, и они оставили во рту прикус золы»³.

³ Цит. по кн.: Baumer Franklin Le Van. Main Currents of Western Thought. New Haven, 1978, p. 467.

Новый смысл появляется у слова *современный*. Современный человек — это тот, кто прислушивается к голосу инстинкта и не боится заглядывать в бездну собственной иррациональности. При этом сохраняется и значение старое — современный человек рационален и крепко держится за науку и технику. Эти противоположные смыслы вступают порой в конфронтацию, но со временем примиряются, во всяком случае, уживаются.

Новое понимание *современности* восходит ко временам романтизма, противопоставившего просвещенческой объективности и рациональности пафос субъективности и эмоциональности. Но тогда настроения эти шли рука об руку с христианством. Для Ф. Шлейермахера христианство, а точнее, протестантизм — высшее выражение религиозного чувства. Однако к концу века христианство (и более всего протестантизм) начинают восприниматься как верные союзники буржуазной цивилизации, помогающие ей загнать индивида в рамки рассудочности и морализма. Но человек *современный* не может подчиниться подобному диктату. Он стремится освободиться от репрессивных механизмов цивилизации и ограничений традиционной религии, найти альтернативный мир, в котором мог бы существовать свободно и непротиворечиво. В поисках этого мира он и обращается к трем мифам — *окультному, ориенталистскому и неоязыческому*.

Триада эта отнюдь не нова и восходит ко временам весьма отдаленным. Но если ренессансные и постренессансные мыслители обращались к ресурсам средневековой алхимии или магического Востока в поисках новой философии природы, которая способствовала становлению европейской науки, то интеллектуалы fin de siècle искали в них освобождения от диктата этой науки, заплутавшей в тупиках материализма. Но в процессе освобождения они вольно или невольно опирались на данные науки, преобразая их в свете избранных мифов. Эта мифологизация и истолковывалась ими как чаемый синтез чувства и разума, духа и материи, науки и религии⁴.

Ренессансное обращение к этическим идеалам высокого язычества предполагало дополнить христианское смирение законной гордостью человека — венца творения. Если воспользоваться знаменитой державинской антиномией «я червь, — я Бог», ударение ставилось на втором ее члене. К концу же века девятнадцатого первый член убирался вовсе, но этот титанизм носил столь аффектированный характер, что заставлял заподозрить его носителей в безуспешно подавляемом комплексе неполноценности. Похоже, от христианской морали избавиться было не менее сложно, чем от постхристианской науки.

Язычество как безгрешность

Знаменитый американский поэт Уолт Уитмен писал в конце прошлого столетия:

Я бы жил среди животных, они безмятежны и ровны.
Я стою и гляжу на них не отрываясь.
Не потеют они и не плачут о том, как им плохо.
И не бодрствуют ночью, оплакивая прегрешения.
И не алчут они, и вещами владеть не желают.
Не унижены друг перед другом и теми,
Кто до них проживал на земле этой древней.
Добропорядочных нет среди них и несчастных.

На первый взгляд, эта идеализация природы и ее верных детей — животных напоминает руссоистский миф. Однако noble savage Руссо добр и благороден, потому что благородна и добра природа, не испорченная цивилизацией. Для Уитмена важно другое: природные существа не мучаются ощущением греховности, навязанным христианством современному человеку, который и по-

⁴ Подробнее см.: Фаликов Б. Неиндуизм и западная культура. М., «Наука», 1994.

теряя веру в Бога сохраняет смутное чувство вины, порождающее невроз, депрессию и бессонницу. Они не подавлены ложными авторитетами, а потому стоят над моралью и не гонятся за фальшивыми благами цивилизации. Они здоровы, безмятежны и счастливы.

Таков языческий миф Уитмена, и одним из первых его проанализировал соотечественник и современник поэта, философ Уильям Джеймс: «Уитмена часто называют язычником. Сегодня это слово иногда обозначает естественного плотского человека, лишённого чувства греха, иногда же грека или римлянина с его особым религиозным сознанием. Но нашему поэту не подходят оба эти значения. Он более чем плотский человек, не вкусивший от древа добра и зла, и вполне отдаёт себе отчет в том, что такое грех. Иначе откуда в нем это подчеркнутое пренебрежение грехом и показная горделивость отсутствием переживаний по этому поводу. Ни то, ни другое вы никогда не увидите в истинном язычнике в первом из упомянутых значений этого слова»⁵.

Затем Джеймс убедительно демонстрирует, что нежелание Уитмена видеть зло мира («совершенно то, что зовут добром, но и то, что злом зовут, совершенно») имеет мало общего и с высоким язычеством. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в Гомера. Греки не закрывали глаза на зло и тем более не пытались с помощью умственных ухищрений выдать его за добро. И то и другое принималось как данность. Сегодня беда случилась с тобой, завтра она может настичь меня, главное — вести себя достойно. Примерно так утешает Ахилл юного сына Приама — Ликаона перед тем, как его убить. В имморализме Уитмена Джеймс чувствует надрыв и, как хороший психолог, понимает, что изнанка его — подавленное, но отнюдь не искорененное чувство греховности.

Но как бы ни обстояли дела в действительности, освобождение от гнетущего диктата общепринятой морали декларируется как важнейший компонент неоязыческого мифа. И в первую голову это касается морали сексуальной.

Аскона

В увлекательной, хотя и несколько крикливой книге гарвардского историка науки Роберта Нолла «Арийский Христос. Тайная Жизнь Карла Юнга» имеется одна любопытная фотография. На фоне дивного озера в предгорьях Альп группа людей, взявшись за руки, застыла в причудливых позах. Женщины помоложе частично обнажены, а одна — с явной примесью полинезийской крови (вспоминаются таитянки Гогена) — обнажена вовсе. Женщины постарше и единственный мужчина одеты в свободные хитоны. Это обитатели деревеньки Аскона, расположенной в итальянской Швейцарии, которая в начале века стала прибежищем тех представителей европейской богемы, которые искали спасения от цивилизации в неоязыческом мифе.

Миф этот уже достаточно оформился и, как ему и положено, требовал реализации в ритуале. Ведь чтобы миф работал по-настоящему, в нем следует жить не только умом, но и телом. Ритуал складывался из различных компонентов. Судя по фотографии, одним из них были дионисийские пляски на альпийских лугах.

Другой важной частью была полигамия. Считалось, что моногамия подавляет творческие импульсы личности. Речь пока не шла о коллективных оргиях, но полностью раскрепостившиеся наследники Асконы учуяли историческую преемственность. Недаром роман одного из частых гостей Асконы Германа Гессе «Степной волк» стал культовым в контркультурные шестидесятые.

В начале века ведущую роль все еще играли мужчины. Вокруг каждого Диониса водила хоровод группа вакханок — на это указывает и фотография.

⁵ Baumer William. The Varieties of Religious Experience. N. Y., 1958, p. 81.

Одним из главных Дионисов Асконы был Отто Гросс. Свое время он явно опередил, такой тип личности стал встречаться более или менее часто только после сексуальной революции. Наркоман и психоаналитик, сам проходивший психоанализ у Юнга, он взорвал спокойную атмосферу гейдельбергского кружка Макса Вебера. У Гросса были романы с двумя женщинами из веберовского окружения, сестрами фон Рихтофен, одна из которых, Фрида, вышла впоследствии замуж за английского прозаика Д. Лоренса, автора известного романа «Любовник леди Чаттерлей». Дело языческого раскрепощения было подхвачено на британских островах.

Наблюдавшая за всем этим жена Вебера Марианна нашла в себе достаточно академической отстраненности, чтобы сформулировать философию Гросса следующим образом: «Сексуальность, на которой основывается всякая любовь, требует многостороннего удовлетворения. Моногамные ограничения «подавляют» естественные влечения и ставят под угрозу эмоциональное здоровье. Поэтому прочь от оков, мешающих человеку осуществиться в новых опытах; свободная любовь спасает мир»⁶.

В этой программе слышатся отзвуки Фрейда, верным учеником которого был Гросс, пока он не напугал вполне моногамного учителя своим экстремизмом. Но основной импульс исходил все же от теорий немецких историков, которые предполагали у первобытных людей смену различных форм общественного и семейного устройства. Один из них, Баховен (повлиявший, кстати, на Энгельса), считал, что за теллурическим периодом беспорядочного промискуитета последовали матриархат и полиандрия, а затем патриархат и полигамия. Все они коррелировались с соответствующими религиозными верованиями (матриархат, к примеру, с почитанием Матери-Земли). Сейчас эти теории устарели, но в прошлом веке считались вполне научными.

Опираясь на них и на геккелевский эволюционизм, Гросс и его асконские единомышленники пришли к выводу, что сексуальное поведение современного человека лишь поверхностно адаптировалось к требованиям буржуазной морали. Но даже такая адаптация вредна, поскольку ограничивает проявления жизненной энергии (секс — ее важнейший компонент) культурными и этическими условностями. Возвращение к сексуальному поведению языческих предков (которое было сакрализовано) высвободит эту энергию, вернет человеку духовное здоровье. Короче, священный секс спасет человечество.

Так элементы гуманитарных и естественных наук входили в неоязыческий миф и, подчиняясь его логике, сами становились мифологемами.

Растворение в природе

К концу прошлого века усилились настроения, которые принято называть мистицизмом природы. Это было вполне понятно. Жители городов начинали уставать от издержек урбанизации и с удовольствием предавались общению с природой. У самых толстокожих это было связано лишь с заботой о здоровье. Нормальней и естественней были возвышенные переживания, вызванные созерцанием природных красот. Иногда переживания эти вполне укладывались в рамки христианского миропонимания, и, глядя на мир Божий, люди возносили хвалу Творцу. Стойкие атеисты рассуждали о натуральной основе эстетических чувств. Но все чаще раздавались и другие голоса. Вот один из них: «Я никогда не терял сознания присутствия Бога, пока не оказался рядом с водопадом *Подкова* в Ниагаре. Я потерял Бога в огромности того, что увидел. Я потерял и себя, почувствовав, что слишком мал для того, чтобы меня заметил Всевышний»⁷.

⁶ Цит. по кн.: Нолл Ричард. Тайная жизнь Карла Юнга. Перевод В. Менжулина. Киев, 1998, стр. 118.

⁷ James William. Op. cit., p. 303.

Уильям Джеймс, который приводит это высказывание, комментирует его удивительно точно: «Большой Бог проглотил меньшего». И действительно, личный Бог как бы прячется в тени всеобъемлющего Бога природы.

Некоторым христианским мистикам было знакомо чувство божественной бездны, в которой терялся личный Бог (Gotheit Мейстера Экхарта), но они остерегались отождествлять ее с природой. Современный мистик уже не боится упреков в пантеизме и достаточно спокойно относится к тому, что вслед за личным Богом исчезает и его собственная личность. Тем более, что это еще можно объяснить себе как крайнее смирение. Но некоторые уже не нуждаются в таких объяснениях. Одна из корреспонденток Джеймса пишет: «В то время меня иногда посещало сознание близости Бога. Я говорю „Бог“, чтобы описать неопишемое. Я могла бы сказать „присутствие“, но это слово предполагает личность, тогда как что-то во мне заставляло меня чувствовать себя частью чего-то большего, чем я. И оно *владело* мной (курсив мой. — Б. Ф.). Я чувствовала единство с травой, деревьями, птицами, насекомыми, всем в природе. Я радовалась самому факту существования, будучи частью всего этого — мелкого дождя, теней облаков, стволов деревьев и т. д.»⁸.

Это ликующее пантеистическое чувство и было тем фундаментом, на котором возводилось обширное здание неоязыческого мифа. Романтический эмоционализм окончательно выплеснулся за пределы, очерченные ему Шлейермахером.

Почему это произошло? Христианский монотеизм требовал слишком мощного напряжения духовных сил, которое стало восприниматься как насилие над суверенным эго? Веселые духи природы, приглашая пройтись с ними в хороводе, помогали освободиться от викторианской суровости? Отсутствие живого мистического чувства в пустеющих храмах заставляло искать его в храме природы? Так или иначе, к началу нынешнего столетия природа не только ожила, но и начала *овладевать* умами и телами многих просвещенных американцев и европейцев. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что великий Пан вовсе не умер.

Народные душа и тело

Желание потерять себя в природе шло рука об руку с еще более мощным импульсом раствориться в народе. Ведь прогресс отрывал городского жителя не только от природных, но и от народных корней. Космополитическая цивилизация наступала, границы национальной идентичности размывались. Особенно болезненно на это реагировали в двух европейских странах, где границы эти еще не успели толком сложиться, — в Германии и России. «Запаздывание» объяснялось по-разному. У немцев — слишком медленной интеграцией их земель в единое государство. Русские же никак не могли договориться о своем точном местоположении на шкале Восток — Запад.

Дискурс о народной душе (Volkseele) продолжался в обеих странах на протяжении всего девятнадцатого века. При этом и славянофилы, и немецкие романтики изначально отождествляли народную душу с христианством, но во второй половине века у некоторых их наследников возникла потребность апеллировать к более архаичным пластам народного сознания.

Впрочем, еще в 1814 году Э.-М. Арндт предложил в качестве одного из средств объединения немецкого народа отмечать древнегерманский праздник летнего солнцестояния. В начале нынешнего столетия в лесах под Мюнхеном уже совершались жертвоприношения коня громовержцу Тору и ритуалы поклонения солнцу, которое изображалось как арийский соляренный символ — свастика.

Однако отказ от Христа произошел в германских неоязыческих кругах не сразу — вначале из него попытались сделать арийца.

⁸ James William. Op. cit., p. 303.

Довольно активно этим занимался британец Х.-С. Чемберлен, который настолько глубоко осознал свои древнегерманские корни, что даже переселился на родину Вагнера и вошел в байрёйтский кружок (правда, уже после смерти композитора). Бердяев считал Чемберлена довольно культурным и тонким мыслителем, видимо сравнивая того с немецкими его последователями тридцатых годов, но попытки доказательства нееврейства Христа называл смехотворными⁹.

Вкратце они сводились к следующему. В личности Христа столько истинно арийского, что он просто не может быть евреем. В эллинизированной Галилее проживали и другие народы. То, что он проповедовал на арамейском, ничего не значит, раса прежде языка. Не об этом ли свидетельствует биологическая наука? Правда, к какой расе он принадлежал, навсегда останется тайной, но то, что не еврей, это точно.

В рассуждениях слышится знакомая линия на мифологизацию науки. По мнению некоторых тогдашних ученых, расовые различия предшествовали языковым. Вывод: раса выше культуры. Избежать этой логики «культурному мыслителю» Чемберлену не удалось.

В русле подобных размышлений лежит и другая немецкая мифологема того времени: Иисус не еврей, поскольку отец его был римским центурионом. Но она уже отказывает Спасителю в божественной природе.

Видимо, наиболее удачной попыткой германизации Христа следует считать оперы Вагнера, где новый миф творился более подходящими средствами. Недаром немецкие неоязычники так любили его оперу «Парсифаль». У них не вызывало сомнения, что чаша св. Грааля наполнена арийской кровью, ведь действие происходит на исконной германской почве.

Ну а те, кого все же мучили подозрения насчет чистоты этой крови, совершали истинно языческие обряды в Тевтобургском лесу, где древние германцы, по преданию, разгромили римские легионы. У них образ Христа окончательно вытеснялся образом обожествленного народа.

Русский Христос и русский Дионис

В России процесс протекал иначе. Поиски языческих корней народной души начались в Германии еще в начале прошлого века, славянофилы же продолжали отождествлять душу своего народа с православием. Немецкое народничество по преимуществу развивалось в религиозном ключе; русское же в большинстве своем двинулось по пути атеистическому. Язычество рассматривалось им как отжившее суеверие, православие тоже, но последнее еще и «скомпрометировало» себя союзом с самодержавием. Из двух зол народники были готовы выбрать меньшее и поэтому рассматривали русские народные секты, сохранившие в себе значительный элемент язычества, как потенциальных союзников. Но сами к неоязыческим реконструкциям не были склонны.

Немецкое религиозное народничество идейно обслуживало интеграцию немецких земель в единое государство. Поэтому этатистский иерархический дух был ему близок и мил. Русское народничество изначально складывалось в оппозиции к государственной автократии. Ему был милее эгалитаризм народной общины, которая и мыслилась как прототип идеального устройства общества. Антиэтатистские (в крайнем варианте — анархистские) настроения были для русских народников типичны.

Различался и взгляд на общество. Немцы были склонны рассматривать его как природное образование. Поэтому и перенесли на него с такой готовностью те законы, которые наука открывала в природе: борьбу видов, выживание сильнейших, подавление слабых. Социальный дарвинизм и стал одним из компонентов неоязыческого расизма. В России еще со времен славянофилов

⁹ Бердяев Н. Судьба человека в современном мире. М., 1994, стр. 351.

акцентировалась духовная природа общества, а стало быть, свобода человека и братство людей в любви.

Когда к началу века в России вновь усилились и религиозные и народнические настроения, востребованным оказалось наследие славянофилов. В неославянофильских кругах народ понимался как природно-душевное единство, преображаемое Духом. Народная душа, таким образом, соотносилась с Христом, а не только со своими природными языческими корнями. Попытки паганизации национального мифа в этом контексте (а они были) наткнулись на серьезные богословские препятствия.

Высокое же язычество рассматривалось скорее не как энергия архаического варварства, способная оживить русскую культуру, а как прививка тонкой, изощренной культуры эллинизма к варварству русскому (Вячеслав Иванов).

Немцам пришлось реконструировать свое язычество на голом месте. Вероятно, Карл Юнг прав, рассуждая о том, что сравнительно поздняя христианизация немцев не была глубока и оставила в бессознательном слишком много от тевтонского варварства — иначе чем объяснить происшедшее? Но на уровне житейском миссионеры справились со своей задачей неплохо. Народ исправно посещал храмы и не бегал в лес поклоняться Вотану. Так что ритуалы пришлось восстанавливать по книжкам.

В России на рубеже веков крестьяне тоже вряд ли тайком почитали Перуна. Но в христианизированном виде сохранялись многие языческие пережитки, и при желании русский интеллигент мог с ними ознакомиться сразу за пологом усадьбы или дачи.

Однако в гораздо большей мере языческие элементы сохранились в русских сектах, особенно у хлыстов и скопцов, как на уровне мифа, так и ритуала. Это и шаманская техника экстаза (верчение, особое дыхание, использование сексуальности, ритмические распевцы и т. д.), и вера в переселение душ, и Мать-природа, воплощающаяся в хлыстовской богородице, и Христос, пребывающий как чистый дух в кормчём хлыстовского корабля. По русской земле ходило немало христов (вероятная этимология слова *хлыст* отсюда), с ними можно было запросто встретиться. А. Эткинд недавно попытался даже выстроить единый контекст русского религиозного народничества и сектантства и вставить в него Христа Тютчева и Блока и Христа хлыстовского¹⁰.

Однако встреча с живым язычеством не только очаровывает, но и пугает. Эта амбивалентность хорошо видна на примере Андрея Белого. Когда Н. Бердяев пригласил его встретиться с сектантами в трактире, ставшем своеобразным дискуссионным религиозным клубом для простого люда («Яма»), он отказался. Понадеялся на свою изумительную писательскую интуицию, вспоминает Бердяев, и она действительно его не подвела в «Серебряном голубе»¹¹. Но мне кажется, что еще и испугался, если вспомнить, в каком двойственном свете предстали у него язычники из народа в этом и правда великолепном романе.

Присутствие под рукой реальных языческих ритуалов освобождало и от необходимости выдумывать их с помощью умных книжек. В отличие от Германии, в России это случалось крайне редко. Странная история, приключившаяся в 1905 году в доме поэта Николая Минского, скорее исключение, подтверждающее правило. Еще при жизни ее участников она превратилась в легенду, и что там произошло на самом деле, одному Богу известно. Вроде бы кружились в хороводе, потом надрезали руку добровольной жертве, выдавили несколько капель в чашу с вином и пустили ее по кругу. Испив этой смеси, расцеловались и разошлись по домам. Все было почти пристойно. От дионисийства Асконы это было весьма далеко, поскольку заправлял всем Вячеслав Иванов, для которого религия «умирающего и воскресающего Бога» была частью культуры, а не ее отрицанием.

¹⁰ Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998, стр. 114, 376 — 381.

¹¹ Бердяев Н. Самопознание. М., 1990, стр. 186.

И правда, зачем было огород городить, когда при желании можно было принять участие в ритуале русского дионисийства (как называли хлыстовство Розанов и Бердяев) — радении. Хлысты приглашали, да вот соглашались только немногие. Два поэта, ушедшие в народные секты (Александр Добролюбов и Леонид Семенов), — исключение, подтверждающее правило. Судьба их сложилась по-разному. Добролюбов, по некоторым свидетельствам, закончил свою жизнь атеистом¹². Пантеистический натурализм эволюционировал в материалистический. Семенов вернулся в православие.

Большинство образованной публики, как и Андрея Белого, народный, *вульгарный* экстаз отпугивал. Требовалось его облагородить в интеллигентских ретортах. Одна такая попытка в России была, когда еще в начале прошлого века в великосветском кружке баронессы Екатерины Татариновой воспроизводили хлыстовские радения. Но вообще страх одолели только через полтора века, да и то не до конца и не в России...

Что касается поисков своего индоарийского прошлого, то они тоже проходили в России менее заметно, чем в Германии. Вначале, как и положено, это случилось в виде филологических штудий. Знаменитый критик и член Санкт-Петербургской академии наук Владимир Васильевич Стасов развивал теорию о близкой связи древнеиндийской и славянской культур, пытаясь обнаружить влияние «Махабхараты» на русский эпос¹³.

Эти идеи были подхвачены рядом русских теософов, которые, впрочем, не пошли дальше коллекционирования предметов русского народного творчества, напоминавшего им о духовной родине — Индии. И только у Н. Рериха и его харизматической супруги идеи о едином индийско-славянском прошлом воплотились в обширный мифологический синтез, но окончательно это произошло уже за пределами отечества. Да и выводы, сделанные по поводу этого единства, кардинально отличались от арийского мифа немцев. Оно должно было стать зародышем единства всемирного. Роль общего знаменателя вновь отводилась культуре.

Таким образом, паганизации национального мифа в начале века в России в общем и целом не произошло. Этому помешало славянофильское наследие. Не заладилось и дело языческого раскрепощения. В контркультурных играх Серебряного века оказалось слишком много культуры.

«Под небом голубым есть город золотой...»

О чем же мечтали люди, попавшие на рубеже веков под обаяние неоязыческого мифа? Чего добивались они, водя дионисийские хороводы или жертвуя коня грозному Тору? Освобождение от гнета цивилизации — это пафос отрицания, но чтобы не вылиться в голый нигилизм (а такое, конечно, случилось), он должен был уравновеситься пафосом утверждения. Это и обретение духовного здоровья, и высвобождение творческой энергии, и осознание глубинного единства со своим народом. Но все это цели индивидуальные. Мощные мифы, которые в свое время преобразовывали целые культуры, распадутся теперь на многие осколки, овладевая отдельными людьми. Однако каждая мифологема сохраняет в себе память о прежней универсальности. Возвращение к древности должно преобразить не только личность, но и мир. В действие вступает механизм ретроутопии. Вариантов счастливого прошлого, которое станет не менее счастливым будущим, более чем достаточно.

Один заглядывает в прошлое своего народа, другой — чужого, но объединяет одно: неприязнь к настоящему, это и заставляет идеализировать прошлое. Греция, которую пытаются воспроизвести на альпийских лугах Асконы или в «башне» Вячеслава Иванова, — это уже не Греция, каким бы блестящим ее знаком ни был тот же Иванов, а мифы о Греции, причем во многом разные.

¹² О А. Добролюбове см. также: Бердяев Н. Самопознание, стр. 282.

¹³ Стасов В. Происхождение русских былин. — «Вестник Европы», 1868, № 1 — 4.

Иванов, кстати, прекрасно отдавал себе в этом отчет и видел собственную писательскую роль в том, чтобы внедрить свой миф в современное больное сознание, где в будущем он дал бы спасительные выходы. Блестящую монографию «Дионис и прадионисийство» он заканчивает такой формулой теургического проекта: «Накануне, быть может, тех катаклизмов и омрачений духа... мы как бы торопимся сеять в духе народном грядущие выходы изящного просвещения и отстаивать в башенных кельях таинственные яды, долженствующие преобразить плоть и претворить кровь иных поколений»¹⁴.

Мечтателей подгоняет эпоха. Ожидания конца старого мира и наступления нового витают в воздухе, находя выражение не только в неоязыческом мифе, но и за его пределами — в христианских, оккультных, неоориенталистских кругах. Посещают они и умы атеистические, которые находят им вполне рациональные объяснения. Наверное, это тот стержень, вокруг которого кристаллизуется большинство мировоззрений начала века. Потому так легко и происходят переходы от революции социальной к революции духа, от теософии к православию, от поклонения Будде к почитанию Диониса. Или возникают новые синтезы. И чаще всего подобное привлекает подобное. Не было чистых неоязычников, оккультистов и необуддистов. Было, наверное, некое общее с весьма размытыми контурами пространство нового мифа, где личные мифологемы вступали в разные сочетания, а теперь раззадоренный автор тщетно пытается выделить чистые типы.

Но вернемся к неоязычеству. Интеграция бессознательного варварства в сознание (воспользуемся юнгианской терминологией) — вещь небезопасная. Иногда оно может быть подпиткой в творчестве. Юнгианский анализ помог Герману Гессе, и не ему одному, в преодолении творческого кризиса. Но бывает и по-другому: сознание тонет в мощном выплеске бессознательного. Во времена Юнга это называли *dementia praecox*, сейчас в ходу другой термин: шизофрения.

Аналогичным образом сформулировал проблему возврата к архаическому сознанию и М. Бубер: «Тот, кто пытается осуществить это возвращение, заканчивает либо безумием, либо чистой литературой»¹⁵. То есть религиозным выходом это быть не может и в лучшем случае обслуживает лишь творческие нужды. Бывает, что творчество спасает даже зашедших в экспериментах над собой достаточно далеко. Но иногда и оно оказывалось бессильно...

Миф и идеология

Итак, неоязыческий миф оформлялся в западной культуре конца прошлого столетия как реакция на стремительное наступление технической цивилизации. Урбанизация толкала в объятия природы, мораль (как христианская, так и утилитарная) начинала восприниматься как механизм подавления, торжество рационализма заставляло вспомнить о примате чувств (и чувственности), размывание национальной идентичности толкало к ее древним (биологическим) корням.

Эпоха буржуазного благоденствия еще не наступила, а к ней уже предъявлялась масса претензий. Неоязычество возникало как один из вариантов удовлетворения этих претензий, но, как всякий миф, носило универсальный характер и было готово ответить на любой вопрос. Другое дело, что каждый извлекал из мифа то, что было ему по нраву. Предположим, человек решил раствориться в природе и стал нудистом, но это совсем не значило, что он будет сторонником полигамии или начнет совершать жертвоприношения в языческом капище, а тем более требовать изгнания семитского духа. Миф тем и отличается от идеологии, что его компоненты не имеют жестких связей, диктуемых рацио.

¹⁴ Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство. СПб., «Алетейя», 1994, стр. 341.

¹⁵ Buber M. Hassidism. Philosophical Library. N. Y., 1948, p. 134.

Отвечая на разнообразные запросы, порождаемые гнетом цивилизации, неоязычество продолжало говорить на ее языке, то есть языке современной науки и культуры. Не стоит забывать, что творцами мифа были люди, получившие образование (и неплохое) именно в той системе, от которой они собирались удрать. Поэтому бегство не могло состояться, напротив, неоязыческий миф помогал сосуществовать с немилой цивилизацией — как некий универсальный способ выпуска пара.

Это подметил в свое время Бердяев, рассуждая о духовных пристрастиях современного человека. «Человек этот согласен временами принять какую угодно религию, любую форму язычества, религию Вавилона и дионисизма... но только не христианство. В этом отвращении от христианства есть что-то странное и таинственное. Особенно охотно человек нашей эпохи становится пантеистом... Пантеизм и пантеистическая мистика уживается и с позитивизмом, и с атеизмом, и с марксизмом, и с любым учением современности»¹⁶.

Уживаться-то уживается, но почему в интонациях Бердяева слышны тревожные ноты?

Говоря о таинственном отвращении своих современников к христианству, Бердяев прибегает к риторическому приему. Уже в следующем параграфе он не оставляет от тайны камня на камне: «Современный человек думает, что при пантеизме сохраняется его личность, за человечеством признается огромное значение, свобода, как и прочие хорошие вещи, остается при нем, а вот при христианстве и личность порабощается, и свобода исчезает, и человечество унижено. Какая странная аберрация! В действительности все как раз наоборот... Пантеизм окончательно упраздняет и личность, и свободу, и человечество, растворяя все окончательно в мировой жизни, и незаметно переходит в натурализм и матерьялизм»¹⁷.

Однако подобные богословские претензии к пантеизму не новость, за сто лет до Бердяева их высказывал Ф. Шлегель, увлекшийся Востоком, но со временем ставший добропорядочным католиком.

Упразднение личности и свободы, о котором предупреждал русский философ, случилось только тогда, когда неоязыческий миф стал компонентом массовой идеологии. Пластичность мифа сменилась рациональной жесткостью, на первый план были выведены те его черты, которые служили конечной цели. Но цель оставалась иррациональной — абсолютная власть, а потому и обслуживающий ее рационализм иначе как *взбесившимся* не назовешь. История сыграла с неоязычеством злую шутку. То, что начиналось как освобождение от ига технической цивилизации, само превратилось в технику управления массами — инструмент, обслуживающий волю к власти. У немцев это произошло открыто, у нас — за сценой, на которой разыгрывалось всенародное действо под названием «строительство социализма».

В Германии религиозное народничество, «рационализировавшись» в нацизм, органично слилось с этатистской идеей Третьего рейха, который и употребил мощную государственную машину для достижения идеала расовой чистоты. У нас верх взял марксизм, и обожествление народа как единого племени не состоялось. И все же языческие мифологемы прорвались в «научное мировоззрение» и обожествлены были его главные оракулы. От их имени и работал мощный рычаг государственного насилия. Видимо, мировоззрение оказалось не совсем научным. Да и может ли наука в одиночку защитить человечество от рецидивов варварства?

Гитлер и Сталин придерживались разной техники камлания, но сцементированное пропагандой и террором народное тело отвечало на призывы вождей именно то, что они хотели услышать. Хождение язычества во власть обернулось самой жуткой трагедией двадцатого столетия.

¹⁶ Бердяев Н. Собр. соч. Т. 3. Paris, «YMCA-Press», 1989, стр. 327.

¹⁷ Там же.

Ведовство

Покуда немцы украшали языческой символикой свои штандарты, европейские и американские антропологи спустились наконец с университетских кафедр и отправились на полевые исследования племен, сохранивших свои языческие верования. В Австралии, Африке и Полинезии ученые открывали сокровища туземных мифов и ритуалов, поражавшие их своей сложностью и изысканностью¹⁸. Секуляризирующийся Запад с удивлением замечал, что так называемые первобытные народы не только сохранили свои верования, но и вполне счастливо существуют в своем гармоничном мире. Да, иногда им приходится несладко: неурожай, голод, войны, — но цивилизованное вмешательство извне оборачивается еще худшими бедами — алкоголизмом и вырождением. Следовательно, надо во что бы то ни стало помочь им сохранить свою уникальную культуру. Б. Малиновский, А.-Р. Радклифф-Браун, К. Леви-Строс, М. Элиаде издают великолепные монографии, в которых анализируют верования туземцев. В их работах ощущается авторское убеждение, что по своей изощренности верования эти ничем не уступают религиям цивилизованного мира, а может, в чем-то и превосходят их.

Падение Третьего рейха с его мифом арийского превосходства еще более усиливает эти настроения среди европейской интеллигенции. Нет никакого превосходства: языческие верования — это единое *общечеловеческое* прошлое, надо относиться к нему с уважением и развивать науки, помогающие проникнуть в его тайны.

Но в тайны хочется проникнуть скорее, чем это позволяют изматывающие исследования. Данные науки вновь попадают на жернова мифологической мельницы, и неоязычество предстает перед нами новыми гранями.

...Незадолго до Первой мировой войны в Великобританию возвращается после колониальной службы Джеральд Б. Гарднер. Этнограф-любитель, он собрал в Малайзии много всяких интересных магических обрядов. На родине он тоже поспешил вступить в фольклорное общество. Коллеги-фольклористы относились к нему неплохо, он обладал обширными, хотя и довольно путанными знаниями в области этнографии. Правда, некоторые его побаивались, этот эксцентричный джентльмен любил приносить на заседания общества огромные туземные кинжалы, и глаза его при этом странно блестели. В один прекрасный день Гарднер объявил коллегам, что ему удалось обнаружить на южном побережье Англии, недалеко от собственного дома, настоящих ведуний, которые многие века сохраняли в тайне свое нелегкое искусство. Коллеги, тоже жившие неподалеку, сравнили свои записи, ничего не обнаружили и объявили его фантазером¹⁹.

Не найдя поддержки у коллег, Гарднер ничуть не расстроился и начал практиковать таинственные обряды у себя дома. В этом ему помогли две интеллигентные дамы, одна из них, Долорес Норт, стала впоследствии вести колонку в оккультном журнале, и друг-романист Л. Уилкинсон. Основной акцент делался на сакральных аспектах секса. В 1954 году Гарднер выпустил в свет книгу «Колдовство сегодня», которая стала библией самой известной неоязыческой религии англоговорящих стран — *Викки*.

Викка (сам Гарднер предпочитал писать это слово с одним «к», утверждая, что оно однокоренное со словом «wisdom» — мудрость) — это кельтское «белое» ведовство. По словам Гарднера, он получил посвящение в его тайны от последних живых представительниц этого древнего ремесла. Ученые, проанализировав его труды, пришли к выводу, что они представляют собой синтез сведений, почерпнутых Гарднером из книги египтолога Маргарет Мюррей

¹⁸ См.: Андреев Игорь. В джунглях прапамяти. — «Новый мир», 1999, № 3. (Примеч. ред.)

¹⁹ Baker James W. White Witches: Historic Fact and Romantic Fantasy». — In «Magical Religion and Modern Witchcraft», ed. James R. Lewis. Albany, 1996, p. 184 — 185.

«Колдовской культ в Западной Европе» (1921) и ряда других книг на эту тему, а также его собственных наблюдений над магическими обрядами в Юго-Восточной Азии.

Работа Мюррей в свое время повлияла на творческую интеллигенцию Британии (поэта Роберта Грейвса она вдохновила на книгу «Белая богиня»), но вызвала раздражение ученых, которые раскритиковали и научные методы авторши, и склонность к ненаучному фантазированию. Однако Мирча Элиаде, солидаризируясь с мнением коллег, все же отмечал, что в главном тезисе Мюррей была доля истины. В Западной Европе действительно существовал языческий культ плодородия, связанный с Великой богиней, остатки которого были интерпретированы инквизицией как колдовство. Эта гипотеза впоследствии получила подтверждение и во вполне добротных исследованиях итальянского средневековья Карло Гинсбурга.

Что касается обстоятельств посвящения Гарднера, то тут мнения ученых расходятся. Одни полагают, что это чистый вымысел, поскольку последний из известных историкам ведунов, Джордж Пикингилл, умер в 1909 году. Другие считают, что Гарднер все же мог выкопать где-нибудь в глуши неких древних старушек, которые остались не замеченными его коллегами-фольклористами, но вряд ли они могли сообщить то, о чем он поведал в своей книге.

На первый взгляд, синтез Гарднера мало чем отличается от неоязыческих реконструкций начала века. Во всяком случае, стоящие за ним мотивации примерно те же: потребность освободиться от репрессивных механизмов культуры и вернуться на лоно природы (ритуалы совершаются обнаженными участниками в какой-нибудь священной роще). Однако имеются и новые элементы. Это прежде всего добавление к мистериальным мотивам магических приемов, причем не только восстановленных по книжкам, но и заимствованных из реальной магической практики Азии, где она сохранилась гораздо лучше, чем в Европе.

Правда, азиатский материал стыдливо подается в качестве исконно кельтского, но его уже не страшно применять. Кроме того, миф и ритуал разработаны столь подробно, что их уже вполне хватает на самостоятельную религию. И главное, в этой религии равную, если не бóльшую роль начинают играть женщины. Великая богиня, открытая Маргарет Мюррей, вновь обрела своих верных жриц.

Шаман как контркультурный герой

Но прежде чем Вика смогла из элитной забавы британского либертария превратиться в первую самостоятельную неоязыческую религию двадцатого века (только в Америке число ее сторонников исчисляется ныне сотнями тысяч), неоязыческий миф должен был вновь овладеть массами. Это и произошло в шестидесятые, когда обширное поколение детей, родившихся после Второй мировой, достаточно подросло, чтобы массовым порядком противопоставить себя поколению родителей.

Таким образом, неоязыческие пристрастия современной российской молодежи, которые отличают ее от поколения отцов, — это не диковинный выверт отечественной истории, а проявление общей тенденции, правда с запозданием на четверть века. Но догоняем мы, как водится, семимильными шагами.

Основным врагом поколения контркультуры стала не просто техническая цивилизация, которая напугала их дедов, а технократия, понимаемая как власть спецов над одуроченным народом.

В писаниях теоретиков контркультуры эта власть приобретает характер зловещего заговора науки и техники против современного человечества. Теодор Розак вводит пугающий термин «технократический тоталитаризм». Это почти совершенный механизм отчуждения человека от мира, и неоязыческий миф становится чуть ли не главным орудием антитоталитарной борьбы.

Образ шамана — один из символов контркультуры. Теодор Розак в своей книге «Создание контркультуры», вышедшей в 1969 году (отдельные главы появились годом раньше в журнале «Нейшн»), посвящает шаману что-то вроде гимна. Начинает он с перечисления научных исследований, которые открыли ему глаза на уникальность и величие шаманского опыта. Список открывает Мирча Элиаде, чья превосходная французская монография «Шаманизм. Архаическая техника экстаза» стала доступна англоязычному читателю в 1964 году. Закрывает Карлос Кастанеда с его ныне известным всему миру индейским колдуном доном Хуаном. Кастанеда вызывает у автора наибольшее восхищение. Первая книжка о благородном доне, вышедшая в 1968 году, еще сохраняла внешние атрибуты антропологического исследования (в конце даже прилагался научный аппарат). Многотомный миф возник позднее. Но Розак словно предчувствует его возникновение.

Экстаз шамана видится Розаку как единственно адекватное восприятие мира. Это живой мир, населенный духами, с которыми возможно личное общение. Как прекрасно обратиться к ветру или дереву на «ты»! Как далеко это от разлагающего природу на атомы взгляда технократа! Единственный способ борьбы с последним — революция, но не тривиальная политическая, а преображающая само восприятие реальности. Вспоминаются поиски революционной гносеологии Андреем Белым, которые привели его от Канта к Штайнеру. Впрочем, русские тени возникают и перед самим автором, но об этом чуть ниже.

Итак, борьба, но борьба особая. Ведь технократ — это тоже колдун, но колдун плохой, он не делится своим магическим знанием с массами, а использует его для овладения ими. Современная наука — элитный и эзотерический механизм подавления и манипуляций. Истинный шаман, напротив, добр, его визионерство открыто для соплеменников. Он включает их в свой транс и помогает счастливо жить среди живой природы. Его примеру и должна следовать контркультурная молодежь, осуществляя эгалитарную революцию духа. «Странные юноши и девушки с коровьими колокольчиками и первобытными талисманами, которые собираются в общественных парках и пустынях для того, чтобы устраивать невероятные церемонии, на самом деле хотят спасти демократию от культуры специалистов. Они возвращают нам образ палеолитического племени, оно, совершая священные ритуалы, находилось в состоянии грубого равенства, которое предшествовало государству, классу и статусу. Это поистине диковинный радикализм, который обращается за вдохновением к доисторическим прецедентам»²⁰.

Но подобное обращение, по мнению Розака, тоже не беспрецедентно. Не позаимствовал ли князь Кропоткин свои антиэтатистские анархические принципы коллективной взаимовыручки от крестьян и кочевников, которые в своем развитии недалеко ушли от неолита и палеолита?

Действительно, антигосударственный, эгалитарный пафос контркультуры роднит ее с русским народничеством. Но в глазах последнего крестьяне все же прошли достаточный путь от неолита, чтобы превратиться в русский народ. По Розаку же, технократию должно одолеть коллективное прошлое *всего* человечества, а не отдельный, пусть и обожествленный, народ. Неоязыческий миф сохраняет антиавторитарный, демократический импульс, но, укоренившись в общезычевском прошлом, радикально денационализируется.

...Американские хиппи отличались от русских интеллигентов начала века еще и вот чем. Если тех архаические техники экстаза типа хлыстовских радений все же отпугивали, хиппи стали практиковать их весьма охотно, да еще с применением психоделиков. Причем если индейцы в шаманских ритуалах использовали сок кактуса пейот, то их контркультурные адепты прибегали к гораздо более мощному ЛСД, синтезированному в новейших лабораториях. Язы-

²⁰ Roszak Theodor. The Making of a Counter Culture. N. Y., «Anchor Books», 1969, p. 265.

ческая древность и современность встретились вновь, на этот раз — в лабиринтах экстатического опыта.

Любопытно, что шаманской практикой увлеклись и некоторые ученые-антропологи. Проводя полевые исследования, они прибегали к методу наблюдения-участия, и последнее перевесило первое. Я имею в виду даже не Кастанеду, у которого бесконечное писание бестселлеров не оставляло времени на камлание, а людей типа Майкла Харнера, который совмещает преподавание антропологии в одном из нью-йоркских колледжей с ведением кружков по шаманизму.

Недавно одна его русская ученица в красочном уборе из перьев исполнила шаманский ритуал на отечественном телеэкране. Харнера же, насколько мне известно, на общенациональные телеканалы не пускают. Мы вновь спешим опередить Америку.

Правда, у белых шаманов стали возникать трения с шаманами натуральными. Вначале те — как и русские хлысты Александра Блока и Зинаиду Гиппиус — приглашали покамлать в свои резервации интеллигенцию. Но желающих оказалось так много, что индейцы перепугались. В 1996 году «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью, где приводились ламентации краснокожих шаманов: вначале белые отняли у нас землю, а теперь вознамерились отнять и религию.

Мультикультурализм, хоть имя дико...

Ушли в прошлое времена контркультуры, но, как видим, ее ценности отнюдь не исчезли. Они органично вошли в культурный мейнстрим, правда подрастеряв при этом свое бунтарство. Неоязычество из революционного оружия вновь превратилось в клапан для выпуска пара. Вспоминается Бердяев: пантеизм действительно легко уживается с любым современным мировоззрением. Вот и в массовой культуре он становится одним из способов интеллигентной релаксации, позволяющих на некоторое время сбросить с себя надоевшую социальную роль. Причем сбросить основательно, вместе с одеждой! В некоторых это вселяет надежды и на большее.

...Героиня замечательного фильма Антониони «Затмение» мучается своим отчуждением от мира. Кинометафора стеклянной перегородки, отделяющей ее от мужчины, которого она хотела бы, но не может полюбить, получила всемирное признание. Может быть, попробовать разбить стекло африканским копьем? Знойная языческая пляска обнаженной героини впечатляет зрителей, но, видимо, не ее саму. Я хотела бы тебя совсем не любить или любить больше, чем сейчас, говорит она герою. Впечатляющее признание собственной *теплости* («Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» — Откр. 3: 16), от которой, увы, не спасает и горячий ритуал.

Но нынешние последовательницы героини фильма Антониони вновь и вновь отправляются в священные рощи Уэльса или Калифорнии, чтобы избавиться от стеклянной перегородки. В нашем резко континентальном климате они предпочитают побережье Черного моря под Геленджиком.

Другое наследие контркультуры — эгалитарное уравнивание всех культурных и религиозных форм — тоже стало менее вызывающим и выступает теперь в виде философии мультикультурализма. Политическая корректность должна быть во всем. Американский индеец имеет такие же права на отправление своего религиозного культа, как и белый протестант. Это по конституции. Следующий шаг — их религии, в сущности, не отличаются друг от друга. Еще один шаг — и мы имеем унитаристскую семинарию, где открыт факультет для поклонниц и поклонников Ремесла, как все чаще называют *Викку* в Америке. Возможно, по аналогии с масонством.

А по другую сторону баррикады надрываются евангелисты-фундаменталисты, требующие извести всемирный заговор сатанизма. Лозунги эти охотно подхватываются и на наших берегах.

Если Гарднер еще не обнажал общеязыческие корни *Викки*, то его последователи, особенно в Америке, делают это с видимым удовольствием. Ортодоксального гарднерианства практически не существует. Хорошо образованные ведуны и ведуньи вполне отдают себе отчет, что отец основатель создал искусственный синтез, а не позаимствовал его у малограмотных старушек. Исторические филиации идей им знакомы (университетское образование есть практически у всех), но неинтересны. От гнета истории тоже следует освободиться, а сделать это лучше всего с помощью сознательного мифотворчества. Причем подлинность мифа определяется только его эффективностью (это уже далеко от эстетизма Вячеслава Иванова).

Каждая группа (ее по традиции продолжают именовать «шабашем») имеет свой набор мифологем, заимствованный практически из всех культур и времен. Ритуалы тоже предельно синкретичны: африканский и американский шаманизм могут соседствовать со сложными реконструкциями эллинистических мистерий. Восточный материал заимствуется в основном из тантризма, хотя сексуальная магия во многих «шабашах» заменяется символическими элементами. Вероятно, это связано с тем, что *Викка*, теряя свой контркультурный облик, начинает играть заметную роль в общественной жизни. Это объясняется тем, что она все чаще выступает заодно с новыми силами, которые поощряет и поддерживает философия мультикультурализма.

Союзники

Прежде всего это *феминистская* субкультура. Образ Великой Богини, завещанный Гарднером, обрастает все новыми богословскими подробностями. Основной пафос феминизма — освобождение от патриархального наследия западной традиции (в том числе и в религиозном ее аспекте) — вполне резонирует с освободительными настроениями неоязычества. Официальное христианское и иудейское богословие уделяет не слишком много внимания женским образам божества (из наиболее известных мне католических богословов этим занимается разве что Эндрю Крили, да и то не в собственно теологических работах, а в романах). Теологи-феминистки черпают вдохновение в основном в индуизме и буддизме, но не проходят мимо и собственно неоязыческих изысканий.

Другой союзник — *экологизм*. Союз этот более чем естественен. Неоязычество изначально призывало к освобождению и сакрализации природы. Один из упреков его к технической цивилизации как раз и заключался в том, что она «расколдовала» и подавила природу, лишив ее высшего смысла. Уже тогда по этому поводу высказывались и некоторые претензии христианству. В контркультурные времена они были подхвачены историком Линном Уайтом, который опубликовал во влиятельном журнале «Сайенс» (март 1967 года) статью «Исторические корни нашего экологического кризиса», где попытался связать хищническое отношение к природе с христианским наследием. Статья вызвала бурную дискуссию, и ряд христианских богословов попытались развить теологию природы, преуспев в этом направлении больше, чем в ответах на феминистский вызов.

Но неоязычество продолжает играть заметную роль в идейном обслуживании экологического движения. Более того, начинается формирование политического союза с зелеными, к требованиям которых уже давно прислушивается демократическая партия США и немецкие социал-демократы. Можно ожидать, что скоро в США голоса неоязычников станут различимы в предвыборной платформе демократической партии (как уже различимы там голоса New Age). С германскими социал-демократами это вряд ли произойдет, поскольку в стране еще сильны воспоминания о неоязыческих связях нацизма.

И наконец, еще одним заметным союзником неоязычества становятся *голубая* и *розовая* субкультуры. Сам Гарднер, как и многие британцы его поколения, был гомофобом (тем более, что Йтона не кончал). Это заметно в его пи-

саниях. Нынешние ведуньи и ведуны более терпимы и принимают в свои ряды тех, кто по причине своей сексуальной ориентации не могут найти себе места в официальных церквах, то есть тоже попадают, по их мнению, под молот культурной репрессии. Пафос освобождения придает им дополнительную энергию. Некоторые даже делают неоязыческую карьеру. Президентом общенационального Соглашения Богини в 1986 — 1987 годах был Майкл Торн, возглавлявший «шабаш» в Нью-Йорке, целиком состоящий из мужчин-гомосексуалистов.

Дела российские

Проследив историю неоязычества на протяжении последних столетий, мы не можем не поразиться одновременно его переменчивости и верности себе. В этом смысле оно подобно греческому богу Протею, кстати, популярному персонажу в этой среде. Верность себе объясняется тем, что в основе неоязычества лежит универсальный принцип освобождения от любых форм цивилизационного гнета. Переменчивость же оттого, что форм этих великое множество. В разных национальных культурах и на разных этапах исторического развития неоязычество отвечает все на новые и новые вопли о помощи утомленных культурой и историей людей. На этом пути оно встречается с национализмом и космополитизмом, этатизмом и анархизмом, тоталитарными идеологиями и их врагами, элитарностью и массовой культурой — список можно продолжить.

Естественно, что, встречаясь со столь разными вещами, оно решает разные задачи, поворачиваясь к нам все новыми и новыми гранями. Но способ решения этих задач один и тот же. Противоречия, которые мучают подавленных современностью людей, примиряются в непротиворечивом пространстве мифа.

Я далек от того, чтобы объявить это примирение иллюзией. Мощная сила того, что исламовед Анри Корбен назвал в свое время *mundus imaginalis*, известна любому историку религии. С равным, если не большим успехом можно объявить иллюзией реальный мир, что и делают индусы. Другое дело, что степень реальности неоязыческого мифа зависит от силы воображения. Если у русских и немецких теургов начала века ее было даже больше, чем нужно, то у нынешних их собратьев по Ремеслу (я имею в виду *Викку*) ее маловато и хватает разве что на удовлетворение собственных психологических нужд. Недостаток воображения компенсируется мощными техниками экстаза. Кого-то это, может быть, и выталкивает за пределы собственной психики. Непонятно только — куда?

Спустимся теперь с небес на нашу российскую землю. Социологические данные о распространении языческих верований в стране, особенно среди молодежи, приведенные в начале статьи, впечатляют. Однако следует помнить, что вера в порчу, колдовство и дурной глаз — это нечто весьма аморфное, граничащее с бытовыми суевериями. А что можно сказать о более конкретных неоязыческих пристрастиях? К сожалению, детальные опросы на эту тему, насколько мне известно, в стране не проводились. Поэтому говорить можно лишь об общих тенденциях, отмечаемых религиоведами, культурологами и этнологами.

Попробуем порассуждать об этом, взяв за точку отсчета следующую проблему. По какому пути пойдет у нас неоязычество — западническому или расистскому? Казалось бы, последнее сомнительно, учитывая исторический опыт. Но учат ли чему-нибудь уроки истории? По мнению В. Шнирельмана, в российском неоязычестве преобладают этнонационалистические и этатистские настроения. Арийский миф получает второе рождение на российской почве, но это лишь новая редакция старой мечты о могучем государстве. Единственная разница в том, что теперь жидомасонскому заговору противостоят арийцы-сла-

вяне. Эта линия берет верх над неоязычеством феминистским и экологическим. Вместе с тем ученый отмечает и маргинальность этого явления. На периферию культуры его выталкивает антиправославная настроенность, хотя она все чаще сменяется попытками найти общий язык с православием²¹.

Добавлю, что криптоязыческие тенденции, имеющиеся внутри православного фундаментализма, делают такой союз теоретически возможным. Хоть эти ребята и поклоняются Перуну, но ведь свои — русаки. Да и Перун, чай, не Будда какой! Главное, чтоб держава крепла. Поэтому нельзя исключить создания идеологии, в которой на почве совместного этатизма и крайнего национализма диковинно переплетутся взаимоисключающие взгляды. Ведь именно на этой почве, например, примирились православные фундаменталисты с некоммунистами. Но хочется надеяться, что такой сценарий маловероятен.

Еще одна очевидная тенденция — попытки славянских неоязычников расширить свою мифологическую платформу за счет отождествлений древнеславянских божеств с богами Востока (в основном индийскими). В этом нет ничего нового. О поисках арийской общности немцами — и в меньшей степени россиянами — еще сто лет назад писалось выше. Любопытна лишь реакция на эти попытки со стороны неовосточных групп. Судя по всему, московские шиваиты не имеют ничего против отождествления Шивы с Родом и Велесом, хотя протодравидское происхождение Шивы, казалось бы, должно было в данном случае противодействовать поискам арийской общности. Что касается кришнаитов, то они не возражают против попыток отыскать единую древневедийскую цивилизацию в Зауралье (это придает им дополнительную легитимность в России), но резко выступают против расистских спекуляций В. Данилова по поводу «ведического социализма» и борьбы арийцев с «масонским мировым капиталом».

Мне, повторяю, приходится иметь дело в основном с университетской молодежью, и должен сказать, что в этой среде как раз западнический вариант неоязычества имеет гораздо большие перспективы. Это и празднование Хэллоуина, и разгадывание германских рун, и увлечение заморским ведовством. Любители импортного неоязычества с провинциальной неуклюжестью заимствуют все новые и новые его формы. Поток переводной литературы не ослабевает. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой крупный книжный магазин. Растет число русифицированных адаптаций вроде упоминавшейся уже серии об *Анастасии*. Импортный неошаманизм кастанедовского толка вступает в рискованные синтезы с шаманизмом российским, возрождение которого отмечается в ряде национальных автономий. Столичные барышни камлают по телевизору, попутно разгадывая рунические головоломки.

Эти контркультурные забавы носят у нас, как водится, достаточно культурный характер. На недавней школьной олимпиаде молодые участники запросто читали рунические письма, на что вряд ли окажутся способны их британские однокашники.

Смычка неоязычества с экологическими заботами у нас тоже проявляет себя весьма очевидно. В начале статьи уже говорилось о том, что она наличествует и у поклонников чистоты славянской расы. Остается только надеяться, что мечта о чистоте природы выйдет у них на первый план и отодвинет в сторону мечту о чистоте крови.

Среди отечественных феминисток и сексуальных меньшинств неоязыческие пристрастия пока малозаметны. Я полагаю, это объясняется тем, что они не нуждаются в религиозной легитимации своего образа жизни (что, в общем-то, косвенно свидетельствует о довольно высокой степени религиозного безразличия в нашей стране).

Использование языческой символики (в том числе германской) в субкультуре тяжелого рока пугает мое поколение, но самих рокеров, похоже, веселит.

²¹ Шнирельман В. Второе пришествие арийского мифа. — «Восток», 1998, № 1

Настроение не совсем подходящее для нацистских экзерсисов в том виде, как мы их понимаем. Могут тотальные насмешники вырасти в тотальных ненавистников? Не знаю. Однако проявления в этой среде радикальных политических взглядов мне неизвестны (за исключением рок-идола «Паука»). Использование психоделиков в целом не связывается с достижением религиозного экстаза.

Смена пластинки вероятна лишь при углублении духовных интересов. В каком направлении оно может пойти, сказать трудно, все это слишком индивидуально. Ясно только, что обвинения в сатанизме вряд ли направят его в нужное русло. Скорее наоборот — могут подтолкнуть к опасным экспериментам. Не стоит забывать, что уже упоминавшийся мною Алистер Кроули, популярность которого среди молодежи достаточно велика, вырос в семье членов секты «Плимутских братьев». В свое время его предки-пуритане немало поохотились на ведьм. Юность — это возмездие (Генрик Ибсен).

Еще одна немаловажная сторона отечественного неоязычества — колдовское целительство. В прикладном порядке оно может использоваться и расистами и западниками для демонстрации верности своего учения. Но по-настоящему массовое распространение имеют те его формы, где идеология вытеснена прагматикой. За здоровьем будут обращаться и к Велесу, и к Диан Кехту, лишь бы помогли. А поскольку обслуживать такой спрос — дело доходное, то предложение будет расти и — через рекламу (в том числе и на телевидении) — увеличивать спрос. Единственная, кажется, сфера, где рыночный механизм работает у нас как положено. Если когда-нибудь в нашей стране наладится система здравоохранения, целительство локализуется в своей нише и сменит название. Если сейчас оно именуется традиционным, то со временем будет именоваться нетрадиционным, как на Западе, где оно сосуществует с крепкой традицией нормальной медицины.

Что касается неоязычества ряда поволжских и сибирских российских автономий, то это весьма любопытное явление выходит за рамки данной работы. Позволю себе лишь одно замечание. Там, где неоязыческие реконструкции местных интеллигентов претендуют на государственный статус или уже получили его, как в Туве, слишком слабы обе составляющие — и шаманская, и государственная. Для национализма этого, может, и достаточно, а вот для сепаратизма — вряд ли.

Москва.
Декабрь 1998.



МИР НАУКИ

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ



ВЕК ИНФОРМАЦИИ

1

С самого начала развития компьютеров их всегда соотносили с мозгом человека, с его способностью мыслить. Еще в 1953 году Клод Шеннон, один из тех инженеров и математиков, кого можно назвать основоположником теории информации и компьютеризации, писал: «Мозг часто сравнивали, иногда слишком восторженно, с вычислительными машинами. Мозг содержит 10^{10} активных элементов, называемых нейронами. Так как передача нервных возбуждений осуществляется по принципу «все или ничего», нейроны имеют некоторое функциональное сходство с элементами двоичной вычислительной машины — реле, лампами или транзисторами. Правда, количество клеток в миллион раз (на 6 порядков) превышает количество элементов, используемых в самых сложных вычислительных устройствах (объем памяти машин, которые имеет в виду Шеннон — ENIAC или UNIAK, — был равен 1 — 3 кб; для сравнения: современная трехдюймовая дискета хранит примерно в тысячу раз больший объем информации. — В. Г.). Мак-Каллок образно выразился, что вычислительная машина, имеющая столько ламп, сколько нейронов имеет человеческий мозг, потребовала бы для своего размещения Эмпайр Стейт Билдинг, Ниагарский водопад для обеспечения ее энергией и Ниагару для охлаждения»¹.

С тех пор прошло сорок пять лет. Срок не слишком большой. Можно себе представить программиста, начинавшего работать еще в то время, когда Шеннон писал процитированную статью, и до сих пор занятого тем же делом. Сегодня компьютеры, обладающие таким объемом памяти, какой Шеннон просто отказывался рассматривать всерьез, считая совершенно фантастическим, — вещь вполне обычная. Такой объем памяти устанавливается на центральные сетевые машины (сервера) средних компаний — их десятки тысяч. В серверах крупных сетей и почтовых машинах, обслуживающих Интернет, память иногда больше на порядок. Если мы, кроме того, учтем, что объем памяти и быстродействие компьютеров по самым скромным оценкам удваиваются в среднем за два года, скоро подобную память можно будет встретить у самых банальных домашних или офисных машин. Вы смотрите на экран компьютера и понимаете, что его память не меньше, чем ваша собственная. Такой прогресс, такое изменение соотношения не может не сказаться на всей картине человеческого бытия.

Компьютеров много — каждый год объемы продаж растут и сейчас исчисляются уже многими десятками миллионов. Все это, конечно, внешние и по-

Губайловский Владимир Олегович (V. Gubailovsky@rosnet.ru) родился в 1960 году, живет в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ по специальности «Логика и дискретная математика». Профессиональный программист. Статьи по компьютерной тематике публиковал в специализированных журналах. В «Новом мире» печатается впервые.

Редакция рассчитывает, что данная публикация станет первой в серии материалов, посвященных роли компьютерных и информационных технологий в современной цивилизации и культуре.

¹ Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М., Издательство иностранной литературы, 1963, стр. 163.

верхностные факты, которые сами по себе еще мало что значат. Но все-таки темпы не могут не впечатлять. Поневоле приходится спрашивать себя, почему именно компьютерные и информационные технологии переживают такой бум, резко выделивший их сегодня из всех прочих областей человеческой деятельности, и что же они принесли с собой в мир, как они его изменили.

Шеннон привел свой пример как заведомо убийственный — раз память компьютера никогда даже не приблизится к памяти человека, то и говорить не о чем². Мы видим, что именно в этом он ошибся.

Шеннон писал о компьютерах первого поколения (до 1953 года), по существу, его прогноз — линейная футурология. Этот метод предсказания просто и прямо — «в лоб» — увеличивает существующий объем без учета возможности принципиально новых технологических решений. Линейная футурология всегда ошибается, но ошибка в миллиарды раз — даже для нее неслыханная редкость. Сегодня память размещается на кремниевом кристалле, сравнивать размер которого с Эмпайр Стейт Билдинг несколько странно. Интересно другое: этот кристалл гораздо меньше коры головного мозга. Память компьютера намного «плотнее», чем память человека.

Ламповые компьютеры, в эпоху которых сделал свой прогноз Шеннон, — это архейская эра. Компьютеры были редчайшим явлением, чуть ли не каждый имел собственное имя, и никакой особой роли в жизни общества они не играли. В то же время само общество компьютерами очень интересовалось. Восторг и испуг были, по-видимому, главной реакцией, которую они вызывали. Восторг выразился прежде всего в вопросе, заданном совершенно всерьез: может ли машина мыслить? А вдруг может? Испуг (в нашей стране в первую очередь) вызвал почти инстинктивное отрицание и объявление кибернетики лженаукой. Свою работу Шеннон написал прежде всего для читателя, далекого от компьютера и теории информации, он пытается объяснить, что выводы делать рано, что не стоит торопиться, пытается сбить волну энтузиазма и страха.

Волна прошла, о компьютерах начали забывать, они перестали появляться в броских газетных заголовках, но профессионалы продолжали работать. Наступили 60-е годы — время каменного топора: компьютер стал рабочим инструментом, но неудобным и прямолинейным по своим возможностям, крайне капризным и требовательным к условиям своего существования. Правда, уже незаменимым.

Главное применение компьютера в это время — вычисления. Самый известный первый (а до некоторого момента вообще единственный) алгоритмический язык FORTRAN — formula translator — переводчик формул. Именно таким было первое реальное использование компьютера. Компьютер считал. Число «пи» до страшно сказать какого знака, таблицы синусов и тангенсов с умопомрачительной точностью. То, на что люди тратили десятки лет, теперь удавалось вычислить за несколько дней или даже часов. Стала бурно развиваться математика приближенных вычислений. Взгляд на компьютер как на огромный и сверхмощный арифмометр стал преобладающим на многие годы³.

² Во избежание недоразумений необходимо сразу оговориться: ни Шеннон, ни сегодняшние исследователи никогда не думали, что достаточно дать компьютеру память, сравнимую по количеству бит с числом нейронов мозга, и мы получим искусственный интеллект, подобный человеческому. Нейрон не конденсатор и не транзистор. Мы и сегодня знаем о нем крайне мало. Особенно о структуре связей между нейронами, о возможностях мозга по доступу и поиску хранимой информации, о механизмах «забывания», «вытеснения», интуиции и т. д.

³ Компьютер работал в основном в пакетном режиме: он получал задание и выдавал ответ, что, собственно, от арифмометра и требуется. Его можно было сравнить со сплошной трубой: наливаете в нее воду с одного конца — и на другом выливается нужная жидкость. Человек практически не вмешивался в сам процесс работы программы. Но при дальнейшем развитии труба замкнулась в кольцо, по которому непрерывно циркулирует жидкость, в трубе появилось множество дырочек сверху — через них мы можем влиять на процесс, и снизу — через них результаты выливаются непрерывно на экран, на принтер, на диск... Компьютеры перешли от пакетной к интерактивной работе.

Это время, когда человек приходил к компьютеру, а не наоборот. Человек готовился: набивал перфокарты или перфоленты — то есть переводил свои запросы на язык квадратных и круглых дырочек, дожидался своего часа — пуска своей программы, получал распечатку ошибок и бежал в свой уголок ее осмысливать. Многие еще помнят такой режим работы. Человек был готов пойти на все, лишь бы компьютер функционировал и выполнял задания. Навесные потолки и фальшполы, сложная система охлаждения, вход в зал в белом халате. Программисты, техники, даже простые операторы ввода — почти жрецы. Они допущены в святая святых. Прочие толкутся на пороге и подглядывают в щели: что там? Лампочки мигают! Ленты крутятся! Принтер грохочет, как камнепад! У! В тот героический период компьютер (у нас их называли ЭВМ — электронно-вычислительная машина) — почти всегда IBM (ЕС по-советски). Но в общем-то вся эта тяжеловесная машинерия пока что имела существенное значение только для самих вычислителей и математиков. Ну, считают они — ну и хорошо. Компьютер может вычислить синус любого угла? Так и что? С точностью, нужной для большинства практических приложений инженерных задач, синус можно просто посмотреть в таблице Брадиса.

Ситуация начала резко меняться в 70-е годы. Появляются персональные компьютеры. Прежде всего Apple. Компьютер пришел к человеку. И хотя мощность первых Apple была несравнимо меньше, чем у IBM, компьютер стал ближе и понятнее. Кстати, именно тогда были реализованы основные принципы многооконного интерфейса, которые позднее будут восприняты оболочкой Windows. Компьютер стал «думать» о человеке, о его удобствах, а не только о том, как бы быстрее посчитать. От последовательности, когда человек готовит задание, а компьютер задание выполняет, был совершен переход к параллельной работе человека и компьютера. Фирма IBM, как и всякая огромная империя, оказалась очень неповоротлива: поначалу она даже не обратила внимания на персональные компьютеры. Но когда объемы продаж Apple стали обвальным нарастать, в IBM постепенно поняли, что упускают совершенно новый сегмент рынка. Последовал «огромный неуклюжий скрипучий поворот руля», и вместе с Microsoft IBM выбросила на рынок миллион (sic!) компьютеров PC (Personal Computer). Это произошло в 1981 году. Тогда и началась современная компьютерная эра. В этот некруглый год компьютер вошел в офисы и дома и расположился там, наверное, навсегда.

Это период резвого младенчества персональных компьютеров. Операционные системы возникают десятками. Чуть ли не каждая компания, производившая компьютеры, считала долгом чести создать свою. Основным языком программирования стал Бэйсик — язык очень простой и доступный. Всякий человек, посвятивший пару месяцев его изучению, мог считать себя умудренным и многоопытным гуру. Тогда же были созданы электронные таблицы и текстовые редакторы — весьма удобные истинно персональные инструменты. Никакого общего стандарта не было, и еще не просвечивала сквозь каждое приложение лукавая улыбка Билла Гейтса. Появились компьютерные игры, и самая знаменитая из них — «Тетрис». Однако как только сделалось понятно, что персональный компьютер не только игрушка, что он может реально работать, потребовался стандарт и взаимная совместимость программ, процессоров, систем хранения информации, резко возросли требования к квалификации программиста и надежности «железа», многие фирмы разорились, другие ушли в тень мощных конкурентов. Ситуация стабилизировалась, и компьютерный мир приобрел вполне оформленные очертания.

Первые компьютеры были однопользовательскими и однозадачными. Когда в 60-е годы IBM приняла решение о создании действительно работоспособной машины, стало ясно, что такое дорогое оборудование должно быть загружено максимально, а значит, должно быть много пользователей и много задач — только таким образом можно было загрузить машину полностью, без простоев. Персональные компьютеры стали в некотором смысле шагом назад,

но они были настолько дешевле и проще в эксплуатации, чем «большие» машины, что их и не стояло необходимости загружать круглосуточно. Когда персональные компьютеры начали работать всерьез — кроме набора текста и простых расчетов, — возникла потребность их объединения. Появились локальные сети; потом эти сети стали объединяться в большие корпоративные сети и дальше в глобальные. Пределом такого развития стало появление всемирных сетей, которые в конечном счете образовали одну «всемирную паутину» — Интернет.

Толчком к созданию глобальной сети стал запуск в СССР в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Времена были глухие: «холодная война», «охота за ведьмами» и много всего такого. Министерство обороны США поставило перед американской наукой задачу разработать структуру связи, которая могла бы продолжать действовать после ядерного удара, когда большинство коммуникаций будет разрушено. Основные идеи лежали на поверхности: нужна структура, не имеющая одного главного центра. То есть требуется построить не дерево связи, а сеть, и построить так, чтобы пакеты данных передавались с узла на узел, чтобы сеть перекидывала их, как «горячую картошку», и только на последнем узле — приемнике — пакеты собирались в корректное сообщение. Тогда был организован ARPA (Pentagon's Advanced Research Project Agency — Передовая научно-исследовательская ассоциация Пентагона) — комитет, объединивший мощные научные силы для работы над этой проблемой. Первые теоретические решения появились в начале 60-х годов. Тогда же начала создаваться первая глобальная сеть — ARPANET.

Первая сеть, как и первые компьютеры, была, мягко говоря, не очень удобной для использования. Вы входили не в заботливый Netscape или Explorer, который понимает вас с одного клика мыши или нажатия клавиши, а в суровый черно-белый экран с командной строкой для ввода UNIX-команды. Но тем не менее удобства, предоставляемые сетевым обменом, оказались настолько существенными, что Сеть начала стремительно расти.

В феврале 1976 года английская королева Елизавета II отправила свое первое электронное послание.

Сеть входила в повседневную жизнь человечества. Это еще не было тем Интернетом, какой мы имеем сегодня. Но физически Сеть уже существовала и уже появилась возможность передачи сообщений и участия в телеконференциях, просмотр новостей и доступ к библиотекам.

Свою вторую составляющую Сеть обрела в CERN (Европейский центр ядерных исследований, Женева, Швейцария) в 1989 году. Здесь был создан стандарт языка гипертекста (HTML, текста со встроенными ссылками). Очень быстро стало понятно, что текст — это еще не все, что можно дать ссылку и присоединить к тексту изображение и звук. Этот стандарт назвали «мозаикой». Были найдены решения, позволявшие связывать узлы Сети, не слишком напрягая пользователя, присоединившие электронную почту и в конце концов слившиеся в одну программу, с которой человек должен общаться, — например, Netscape.

Третьей составной частью, третьим источником современного Интернета стал язык программирования JAVA. Идея этого языка проклюнулась в исследовательской лаборатории фирмы SUN в 80-е годы, и первоначально JAVA разрабатывался как язык программирования бытовых приборов — чайников и тостеров. Но постепенно и здесь накопились чрезвычайно интересные решения и пришла мысль использовать JAVA для создания приложений, работающих в Сети. Идеи, лежащие в основе JAVA, известны давно (я ловлю себя на мысли, что вообще-то все известно давным-давно, но реализация ждет своего часа очень долго). Главное в этом языке — независимость от платформы (типа компьютера или операционной системы) и возможность выполнять приложения, располагающиеся физически на разных компьютерах, как одну общую программу. То есть в пределе мы все пишем одну и ту же программу и каждый из нас создает свое приложение, которое может быть в свое время востребовано или безнадежно забыто, если оно никому не понадобилось.

Скорость, с которой растет Сеть, ошеломляет. Если в 1993 году, когда Россия присоединилась к сети, количество Hosts (систем, обладающих собственным IP-адресом, — это может быть один компьютер, а может и целая сеть, включающая сотни) было около двух миллионов, то на конец 1998 года их по крайней мере сорок миллионов. Каждый день 1998 года в Сети регистрировалось порядка двадцати тысяч новых IP-адресов. Можно ожидать, что к 2001 — 2002 году к Интернету подключится первый миллиард.

Почему происходит такой лавинообразный рост? Почему среди всех информационных технологий на сегодняшний день Сеть является наиболее быстро развивающейся?

Интернет есть индивидуальное средство получения информации, ничем не ограниченное, никак не регламентированное государством или кем-то или кем-то вообще. Кроме того, доступ здесь анонимен, что, как выяснилось на примере порносайтов, очень важно. Далеко не всякий купит порножурнал в газетном киоске, а что делает прежде всего большинство мужчин, подключившись к Сети? Наведывается на страничку с порнушкой. При доступе по Интернету вы сами находитесь в вершине пирамиды ссылок, сами решаете, что вам нужно; в информационном плане вы ни от кого и ни от чего не зависите и так или иначе можете воспользоваться любой информацией, если только она есть в Сети (все современные методы защиты принципиально проходимы). Играет свою роль и удовлетворение самого обыкновенного человеческого тщеславия. Когда вы находите свое имя в Сети, то понимаете, что оно известно, в принципе, всему миру.

Сеть стоит очень дешево. Если разговор по телефону, скажем, из России с Америкой обходится вам в 1 — 2 доллара за минуту, то абонентная плата за обмен электронными письмами любого объема не превышает 20 — 50 долларов в месяц. А ведь по Сети можно говорить и даже видеть своего собеседника (правда, пока с довольно убогим качеством, но это дело ближайшего будущего). Сеть — это рекламное эльдорадо. Во-первых, почти даром, во-вторых, всем и вся, в-третьих, — самая свежая информация.

Если вас попросят найти нужную карточку из пачки в пять тысяч штук и карточки будут сложены случайным образом, вы потратите много часов, а когда нужной карточки все-таки не окажется, вы вряд ли сможете с уверенностью сказать, что случайно ее не пропустили. Но если карточки упорядочены по алфавиту, потребуется всего несколько минут. Если же это не физические карточки, а записи базы данных, мы получим ответ мгновенно. Информация в Сети структурирована (может быть, еще недостаточно хорошо), и поисковые программы просматривают огромные объемы данных, физически находящихся в самых разных точках земного шара.

Представьте себе, что вы пишете научную статью и вам необходимо большое количество ссылок. Время, которое вы потратите на поиск необходимых цитат, может во много раз превысить время собственно творческой работы. Согласно одной из концепций субъективного времени, его продолжительность прямо пропорциональна количеству полученной информации, то есть если за один и тот же отрезок физического времени вы получаете в первом случае больше информации, чем во втором, то первый отрезок субъективного времени больше, чем второй. Сеть способна увеличить объем информации в единицу времени скачкообразно — а значит, субъективное время растягивается. Сеть удлиняет если не физическую, то сознательную жизнь человека.

Постепенно Сеть образует вполне самостоятельную и самодостаточную сферу. Она растет и, очевидно, является ныне определяющим моментом для информационных и компьютерных технологий. Когда сегодня говорят — компьютер, подразумевают — Интернет.

Теоретическая база, на основе которой и развиваются все современные информационные технологии, была полностью подготовлена, когда о компь-

ютерах еще мало кто думал⁴. В начале нашего века логика пережила мощнейший прорыв, связанный главным образом с исследованиями оснований математики. Показалось, что после того, как разработана аксиоматическая теория действительного числа и теория множеств, можно и нужно добиться последней строгости и четкости в самых основах математической науки. Однако Бертран Рассел сформулировал свои знаменитые парадоксы, и совершенное, вроде бы почти завершенное здание закачалось — треснул фундамент.

Один из этих парадоксов Рассел изложил в виде загадки: «В деревне все мужчины бреются. Брадобрей бреет только тех, кто не умеет держать в руках бритву. Кто бреет брадобрея?» Ни один ответ не проходит. Ни да, ни нет. Оба противоречат условиям. Брадобрей умеет держать бритву, иначе он не брадобрей, значит, он должен бриться сам, но он не может брить себя потому, что он брадобрей, а брадобрей бреет только тех, кто бритву держать не умеет. (Один из путей, по которому пошла логика, преодолевая парадокс, — это отправить брадобрея на высылки в метадеревню.)

Не все интуитивно логичное есть область логики. Парадоксы потребовали выделить и отграничить область собственно логики, а потом четко определить понятия вычислимости и алгоритма.

Мы все интуитивно понимаем, что такое алгоритм: это некоторая последовательность действий, но не всяких. «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — головы не сносишь» — подобие алгоритма. А вот разговор Алисы: «Куда тебе нужно прийти?» — «Все равно куда». — «Тогда все равно, куда идти». — «Но нужно куда-нибудь обязательно прийти». — «Тогда иди куда хочешь, но только уж не сворачивай», — понятно, что это не алгоритмическое описание.

Ощущение, что некоторые последовательности однозначных действий близки к логике и математике, было уже у греков (у Аристотеля, у стоиков), но четкое понимание того, что же такое алгоритм, появилось лишь в 30-е годы. Одному из крупнейших американских логиков, А.-М. Тьюрингу, принадлежит не первое по хронологии, но самое, на мой взгляд, наглядное определение алгоритма — в виде некой формальной машины с конечным числом состояний, которая движется по бесконечной бумажной ленте, где нарисованы квадратики. У машины есть маркер, и она, перемещаясь в заданную клеточку, может ее покрасить (сделать черной, если клеточка белая) или протереть (сделать белой, если клеточка черная). Вот и все, что машина Тьюринга умеет. Самое поразительное, что любой формальный алгоритм, какой бы сложности он ни был, на этой машине реализуется.

Когда это стало ясно, Алонзо Чёрч сформулировал тезис: множество всех программ для машины Тьюринга и есть все вычислимое множество — все, что можно посчитать. Момент очень важный, практически революционный. Люди начали точно представлять себе все множество вычислимых вещей, то есть указали границы, за которыми вычислению нечего делать. Сразу же выяснилось, что есть задачи, которые машине Тьюринга (а значит, и любой другой вычислительной машине) не под силу.

Анализируя одну из таких задач (процедур), С. К. Клини пишет: «Мы должны ожидать, что руководитель вычислительного центра неизбежно потерпит неудачу, если он предпримет разработку [этой] процедуры. Это опровергает представление о том, что машины могут все, которое внедряется в общественное мнение нынешними сообщениями о современных достижениях в области быстродействующих вычислительных машин. Чтобы улучшить эту процедуру

⁴ Хотя аппараты для проведения вычислений к этому времени уже были изобретены, первой настоящей вычислительной машиной следует считать созданную Чарльзом Беббиджем в середине XIX века аналитическую машину, управляющуюся с помощью перфокарт и умеющую решать довольно сложные задачи — например, некоторые уравнения. Машина Беббиджа, конечно, была полностью механической.

или машину, нужна изобретательность, то есть вещь, которую нельзя встроить в машину»⁵.

Неразрешимые задачи — вполне формальные, но тем не менее нереализуемые с помощью компьютера — составляют довольно экзотический класс, интересный для человека, не занимающегося профессионально математикой или логикой, прежде всего фактом своего существования. Да, компьютеры могут не все и все никогда не смогут. Но существует другой — куда более простой класс — проблем, где компьютеры практически неприменимы. Это «трудно-разрешимые» проблемы — задачи, сложность которых нарастает экспоненциально, и никаких алгоритмов существенно более быстрых, чем полный перебор, для их точного решения неизвестно.

Например, задача коммивояжера: есть N городов, соединенных дорогами, требуется придумать, как их все объехать по маршруту минимальной длины. При достаточно больших N полный перебор становится нереальным, и как бы быстро ни увеличивалось быстродействие компьютера, оно все равно растет много медленнее, чем сложность задачи при росте N . И подобных задач много.

Область применения компьютера — это не принципиальная вычислимость, а реальная, то есть некоторое подмножество всех вычислимых алгоритмов. Каждый реально вычислимый алгоритм — это алгоритм, который завершается в обозримое время, причем «обозримость» в каждом случае оговаривается особо, иногда это наносекунда, иногда — год. Если для принятия решения необходимы секунды, а любой доступный компьютер будет работать дни — задача практически неразрешима. Следует отметить, что область практической неразрешимости очень быстро меняется — сегодня *нет*, завтра *да*.

2

Можно указать достаточно много областей знания и деятельности, где компьютер, вторгаясь в современную жизнь, существеннейшим образом меняет ее реалии — порой даже такие, которые казались незывлемыми. Ограничимся здесь тремя примерами.

Вековая мечта человечества — создать шахматную машину (первые, придуманные авантюристами, появились еще в XVII веке и представляли собой лабиринт из связанных между собой ящиков, в которых прятался живой шахматист, успевавший переходить из одного ящика в другой, когда зрители хотели убедиться в его отсутствии).

В мае 1997 года состоялся матч Гарри Каспарова с компьютером Deep Blue, в котором компьютер победил с преимуществом в одно очко — 3,5: 2,5. Реакция на это событие была самой разной — от восторженных возгласов до полного разочарования — и напомнила события и споры сорокалетней давности. В комментариях недостатка не было. Кто-то говорил, что шахматы умерли. Кто-то требовал изменения правил. Кто-то полагал, что событие это — не более чем рекламный трюк, устроенный IBM. Один из разработчиков Deep Blue назвал этот компьютер ни много ни мало «вызовом Творцу».

На мой взгляд, комментаторы прошли мимо главного результата этого уникального эксперимента, который относится не только и не столько к шахматам.

Проект Deep Blue, профинансированный IBM, включал в себя создание уникального компьютера, исследование и ввод огромного количества информации (чуть ли не все гроссмейстерские партии, сыгранные за два последних столетия), сведение практически всех исследований шахматных дебютов в общую базу знаний, разработку алгоритмов оценки шахматной позиции. Проект занял много лет. В нем участвовало множество специалистов в самых разных областях знаний, в том числе и шахматисты. Задача требовала от компьютера

⁵ Клини С. К. Математическая логика. М., «Мир», 1973, стр. 295.

огромного и специфического быстрогодействия — оценки около миллиарда позиций в минуту. Разработчики достигли успеха: лучший шахматист мира потерпел поражение. Значит ли это, что Deep Blue действительно играет сильнее Каспарова? Мне кажется, нет. В чем компьютер сильнее шахматиста? Он не волнуется, не допускает «зевков» — элементарных ошибок, от которых не застрахован даже чемпион мира, поскольку человек не может быть одинаково сосредоточен на протяжении нескольких часов. Память компьютера очень велика, и поиск стандартных решений он производит очень быстро. Компьютер делает почти бессмысленным доигрывание малофигурных, «технических» эндшпилей, здесь он наверняка не ошибется. Но при выборе оптимального решения компьютер использует строго фиксированные алгоритмы оценки позиции и не может придумать новый принцип оценки, а человек может, и если это произойдет за доской, компьютер не сумеет выбрать верное, сильнейшее продолжение, и тогда он скорее всего потерпит поражение. Для того чтобы новый принцип оценки позиции можно было реализовать в виде готового к программированию алгоритма, могут потребоваться годы труда. Неуловимая интуиция, которая подсказывает шахматисту, что эта позиция лучше, чем та, должна обрести строгое формальное описание — стать воспроизводимой. Шахматисту ничего этого часто не нужно — позиция может больше ему не встретиться никогда. Решение может быть уникальным — шахматы для этого достаточно богаты. Если шахматист знает, как именно устроены алгоритмы оценки, используемые компьютером, он может поставить перед машиной неразрешимые задачи и заставить ее играть заведомо плохо. Михаил Таль говорил, что совсем не обязательно просчитывать комбинацию до конца, важнее ее почувствовать. По словам Каспарова, если бы Deep Blue играл в турнирах, к нему бы очень быстро приспособились, нашли бы его слабые места. У меня нет никаких оснований сомневаться в правоте гроссмейстера. Так что говорить о смерти шахмат по меньшей мере преждевременно.

Дело не в том, что Deep Blue здорово играет в шахматы, а в том, что, сложив вместе огромные усилия и достижения множества людей, удалось однажды противостоять одному человеку в *реальном времени*, и человеку не случайному, а сильнейшему в своей области, и область эта, безусловно, очень сложна и разнообразна, хотя, по-видимому, исчислима. Компьютер сыграл роль собирающей линзы, которая сфокусировала усилия целого коллектива людей. Сложение разнонаправленных усилий реализовать очень трудно. Если и не всегда это лебедь, рак и щука, то часто очень близко тому. В механизации физического труда эффективное сложение удалось довольно давно, но решение настолько сложной интеллектуальной задачи, как игра в шахматы, казалось неопределенно далеким. Как думать вместе об одном и том же таким образом, чтобы мысли разных людей не подавляли, не нейтрализовали друг друга, а усиливали, помогали и чтобы это происходило буквально одновременно? Ответ на этот вопрос в одном частном конкретном сложном случае дали создатели Deep Blue. Это и есть, как мне кажется, главный результат эксперимента.

Изобретение книгопечатания Гутенбергом привело к общему изменению информационного обмена, прежде всего к удешевлению каждого символа. Конечно, существует серьезная разница между монахом-переписчиком, который прорисовывает каждую букву, и печатным станком, даже самым примитивным, на котором можно сотни раз прокатывать однажды набранную страницу. Увеличение числа идентичных источников информации качественным образом изменило доступ к ней. Появились во множестве хранилища данных — библиотеки. Печатный станок был многократно модернизирован, но не претерпел качественных изменений: принцип образ — оттиск сохраняется и сегодня.

Массовое применение компьютеров привело не только к полному изменению отношения образ — оттиск, к переводу его в совершенно новую парадигму: образ — образ, когда производящий объект тождествен производному, но

и к полному изменению понятия тиража или копирования. Если раньше, прежде чем запустить что-либо на поток, следовало сначала сделать опытный экземпляр, потом придумать технологию производства, которая сама по себе требовала массы идей и реализаций, и только потом приступить к воспроизведению, причем в каждом случае только приблизительно повторяющему образцу, а иногда очень далеко от него отклоняющемуся (это брак, при компьютерном копировании брака нет в принципе, если только физические носители не подводят), то теперь проблема стала заключаться совершенно в обратном: не как сделать больше точных копий, а как предотвратить неразрешенное копирование.

Теперь люди во многих случаях могут ограничиться размышлением и фиксацией своей мысли в некотором оговоренном виде — в виде алгоритмов и структур данных, не задумываясь о том, каким образом полученные результаты будут тиражироваться. Ситуаций, когда этого подхода вполне достаточно, становится все больше и больше. Тиражирование программ — дело простое и дешевое, его не сравнить, скажем, с постройкой станка, даже поставленного уже на поток. Практически же, если продолжать сравнение со станком, здесь часто происходит тиражирование не столько самого инструмента, сколько всей технологической цепи производства — в частности, когда дело касается чисто информационного обмена: например, программы бухгалтерского учета, программы для банков и фондовых бирж, различные управленческие комплексы; и в принципе не имеет значения, на каком конкретно компьютере это реализуется.

Самое, может быть, важное заключается в том, что, в отличие от печатной продукции, компьютер тиражирует не статический образ, который он отразил, но последовательность действий. Здесь можно вспомнить слова Карла Маркса, что с дифференциальным исчислением в математику вошло движение, — с компьютерами движение стало сохраняемым и воспроизводимым. Движение вошло в отражаемый образ. Движение, действие, замороженное, но оживающее по команде — включению электрического тока, — оказалось возможно не только сохранять, но и копировать и изменять в зависимости от действий другой программы или вмешательства человека.

Чем лучше становится информационный обмен, чем он проще и оперативнее, тем дальше мы от материального носителя данных. Самый яркий пример — это деньги. Обмен некоторого твердого эквивалента затраченного труда — например, золота — на товар очень от этого эквивалента зависит: золото — это золото, а не что-нибудь другое. Когда появились ассигнации — то есть долговые бумаги банков, государственных или частных, — мы до какой-то степени абстрагировались от материала: пусть каждая бумага обеспечивается золотом, но в обороте участвует именно специальная бумага, а не сама ценность. Ассигнации, бумажные деньги, стали первым шагом перехода в процессе денежного обращения от материи к информации, которая эту материю описывает, и описывает полностью с точки зрения ее применимости. Следующий шаг был сделан совсем недавно: пластиковые карточки, или электронные деньги. Еще более абстрагированные от материального носителя, они в то же время приближены к конкретному обладателю денег. Средства, находящиеся на банковском счете, всегда имеют владельца. Они становятся чистой информацией о вашей платежеспособности. Оплата, таким образом, становится просто движением информации. Все понятно, однозначно и удобно. Возникает, правда, одна проблема. Дело в том, что информация принципиально открыта. Любая информация. Как бы вы ее ни прятали, какие бы пароли ни ставили, к ней все равно возможен несанкционированный доступ, например, к вашему банковскому счету. Поэтому в Сети начинается работать (уже сейчас) своего рода кодекс чести. Если в рыцарском кодексе главная заповедь — «не предай», и это было жизненно необходимо, чтобы все друг друга случайно не перерезали, то в Сети — «не укради»: будем честны, будем платить за полученную информацию, иначе Сеть окажется попросту парализованной.

Норберту Винеру принадлежит следующее «доказательство» небытия Бога: если Бог — это информация, то почему я ее не получаю; если Бог не информация, он меня не интересует. Как и всякое другое доказательство небытия или бытия Бога, это тавтология — то есть посылка, которая уже содержит в себе заключение, и потому утверждение безусловно истинное. Винеровская сентенция для верующего звучит абсурдно: для него само устройство мира и наличие законов природы — достаточная информация о существовании Бога. Но здесь важнее другое: это «доказательство» основывается на уверенности в том, что весь универсум, все, что может нас интересовать, — суть информация, и только информация. Сама по себе информация — вещь вполне конструктивная. Ее можно достаточно строго определить, и можно высказать о ней содержательные утверждения; в конце концов, ее можно померить, что уже очень много. Основы теории информации были сформулированы в 40 — 50-е годы в трудах Шеннона, Винера и других математиков и инженеров в основном в приложениях к теории связи. Тогда были даны определения сжатию, избыточности, кодированию и введено понятие бита — одно из главных, на мой взгляд, для нашей эпохи.

Бит — это элементарная дихотомия: 0 или 1, «да» или «нет», «плюс» или «минус»; информация — это битовый набор, последовательность нулей и единиц. Формальное понимание информации оказалось очень полезным и удобным. Представим себе несколько видов хранения: фотографию, магнитную ленту, виниловую пластинку, текст, напечатанный на бумаге, — можно добавить сюда и денежную купюру. Насколько отличны эти объекты, вполне очевидно. Ион серебра, намагниченный домен, виниловая бороздка, краска, бумага — а рядом можно положить компакт-диск, на котором изображение, звук, текст и банковский счет представлены в цифровом виде, то есть набором битов. Существенная разница. Можно сказать, что различные виды хранения — это иероглифы, а 0 и 1 — алфавит. Бит — алфавит бытия. Насколько проще и удобнее хранить слово в виде алфавитного набора по сравнению с иероглифическим, бросается в глаза. Аналогию можно продолжить. Умение рисовать иероглифы — искусство каллиграфии. Кисточка, тушь, рисовая бумага, вдохновение и сосредоточенность: даже небольшая ошибка может привести к разночтениям. Возможно, иногда иероглиф точнее передает смысл, но насколько же проще написать несколько стандартных символов. Квалификация машинистки несравнима с мастерством каллиграфа.

Когда мы видим последовательность нулей и единичек, мы очень мало можем о ней сказать. Например, 01001110 — что это? Вообще говоря, все, что угодно. Для того чтобы высказать какое-то реальное предположение, мы должны еще что-то знать, понимать контекст. Если дополнительно нам скажут, что это кодировка некоторого символа, — уже кое-что. Если нам укажут принцип кодирования — ASCII, — мы с уверенностью можем утверждать, что это латинская строчная M. Битовый набор несет в себе только возможность. Реальностью он становится внутри осмысляющего контекста. Это, конечно, не новость — то же самое происходит и с символами алфавита. Но здесь снижается уровень формализации и цепочка символов оказывается способной сохранить не только текст, но и другую информацию — звук, изображение, даже действие. Причем один и тот же битовый набор может, в принципе, кодировать и то, и другое, и третье, — здесь единственно важным становится наш способ интерпретации.

Мы доходим до некоторого предела. Кажется, мы можем таким образом зафиксировать любую реальность, но если интерпретация будет утрачена, если мы потеряем ключ, этот набор превратится в чистый хаос, хранящий внутри себя только возможность смысла.

А. Ф. Лосев писал, что если всякий образованный современный человек может написать газетную статью, то всякий античный грек мог изваять впол-

не профессиональную статую. Можно добавить, что сегодня всякий даже не слишком образованный человек может создать вполне осмысленную программу или по крайней мере корректную структуру данных. Я полагаю, что бит — это как раз тот уровень подробности или формализации, который наиболее соответствует сегодняшнему взгляду на реальность. Что было сначала — некое новое отношение к реальности и оно стало толчком для развития компьютерных технологий, либо сами эти технологии послужили основой картины мира как информации — выяснять, видимо, нет смысла: вероятно, это проблема курицы и яйца. Но компьютер как инструмент идеально приспособлен именно для такого представления о мире.

Когда античный грек ваял статую Аполлона или Пана, он занимался именно познанием предельно реального объекта, которое требовало материального воплощения. То есть грек использовал некую первичную интуицию, а затем брал кусок мрамора, объект весьма материальный, и начинал этот мрамор «идеализировать», воплощая — материализуя — бога. И созданная скульптура становилась пластической идеей.

Когда астроном в прошлом веке исследовал солнечную систему и пытался формулировать законы мироздания, они являлись для него такой же предельной реальностью, как для грека олимпийские боги. И он брал тома накопленных веками наблюдений, как грек брал мраморную глыбу, и, систематизируя их, искал подлинную реальность звездного неба в строгих математических формах, которые материализовали его представление об идеале и сами были идеалом рациональности.

В информационном универсуме любой объект является битовым набором — возможно, с неизвестной кодировкой. Нам остается выснить эту кодировку и превратить объект в конкретную последовательность нолей и единиц, которая будет храниться на нашем диске. Почти наверняка в сложных случаях такая последовательность не будет точной копией прообраза, но здесь то же отличие, какое было между статуей и олимпийским богом, математической формой и реальным движением. То есть мы познаем реальный объект и превращаем его в идеальную реальность — информацию.

Владимир Набоков сказал в интервью телевидению Би-би-си: «Реальность — вещь весьма субъективная. Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и как специализацию. Если мы возьмем, например, лилию или какой-нибудь другой природный объект, то для натуралиста лилия более реальна, чем для обычного человека. Но она куда более реальна для ботаника. А еще одного уровня реальности достигает тот ботаник, который специализируется по лилиям. Можно, так сказать, подбираться к реальности все ближе и ближе; но все будет недостаточно близко, потому что реальность — это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима. Вы можете узнавать все больше о конкретной вещи, но вы никогда не сможете узнать о ней всего: это безнадежно»⁶.

При достаточно тонкой специализации человек перестает справляться с полученной информацией, как он не может взять в руки ровно одну пылинку или «ложкой вычерпать море». «Невооруженный» человек способен иметь дело только с информацией определенного типа, ему соразмерной. Для того чтобы процесс уточнения можно было продолжать, уже не обойтись без компьютера. Можно вспомнить знаменитый вопрос: с какого зерна начинается куча? При компьютерной обработке само понятие «куча» не существует — компьютер пересчитывает зерна по одному, сколько бы их ни было.

Ситуация, сложившаяся в науке и обществе в середине нашего века, во многом была ситуацией ожидания. Причем было не очень понятно, ожидания

⁶ Набоков В. В. Собрание сочинений американского периода в пяти томах. Т. 2. Санкт-Петербург, «Симпозиум», 1997, стр. 568.

чего именно, и потому сначала компьютерам предъявили не те требования, которые следовало бы. А ждали-то, как сегодня почти очевидно, именно компьютер.

Вся высокая теория уже была создана. Машина Тьюринга — этот универсальный компьютер — уже исчерпал в общем виде все дальнейшее развитие. Все появившиеся в дальнейшем идеи и реализации, при необыкновенном разнообразии и многочисленности, не выходили за рамку, заданную Тьюрингом, а только предлагали те или иные частные решения общей задачи. Вопрос о принципиальных возможностях вычисления был закрыт.

Информационный вал накатывал и рос. Объемы информации и повышение точности расчетов требовали обязательных новых решений, иначе процессы становились неуправляемыми, время поиска необходимых данных с неизбежностью росло, скорость и точность реакции человека во все большем числе случаев становились неудовлетворительными.

Развитие средств связи привело к созданию теории информации. Но без компьютера человек почти не умеет работать с битовыми наборами — это не его уровень формализации. А связь уже нащупывала возможности цифрового представления сигнала и пыталась решать задачу обмена по глобальным сетям.

Мировоззрение, представляющее бытие как информационный универсум, становилось все более и более влиятельным.

Компьютер с необходимостью занял подготовленную ему нишу, хотя и, как уже говорилось, не сразу: он постепенно вытеснял разнообразные аналоговые и механические устройства и сам кардинально менялся. Наиболее, на мой взгляд, важное, что принесли компьютерные технологии, — универсальность, общий подход к решению самых разных задач.

Сегодня всякому, даже далекому от компьютерного мира, человеку ясно, что если вычеркнуть компьютеры из современной цивилизации — жизнь потечет как-то совершенно иначе, во всяком случае, куда медленнее. Вопрос, хорошо или плохо, что с каждым днем наше существование становится интенсивнее, здесь рассматривать не имеет смысла. Могло ли человечество пойти по какому-то другому пути — например, по пути сворачивания или консервации технического развития? Не исключено. Однако увеличение скорости жизни сегодня — данность, которой можно быть недовольным, но если мы не хотим выпасть из действительности, приходится принимать это как факт. А стало быть, и компьютер, играющий в новой, непредсказуемой и меняющейся на наших глазах реальности такую важную роль, достоин пристального внимания и осмысления не только с точки зрения технологии или программирования — но и философии, и культуры.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

О Пушкине думаешь невольно, по самым разным поводам, вне всякой зависимости от какой-либо даты. «Не на полке он пылится, — растворен в крови моей». И все же так получилось, что в январе нынешнего года были написаны эти заметки, — уж не знаю, почему: потому ли, что за окном стояли морозы и шел снег, потому ли, что мечталось о майском тепле, грядущая весна так или иначе в сознании связывалась с ним, потому ли... Здесь я обрываю себя: для написания заметок о Пушкине не требуется оправданий.

1

Сто лет назад в Царском Селе, в лицейском садике, открывали памятник Пушкину-лицеисту. На открытии присутствовал директор гимназии И. Анненский. Несколько ранее он произнес перед гимназистами юбилейную речь «Пушкин и Царское Село».

Бытует с тех пор даже несколько анекдотов, связанных с его участием в этом событии, впрочем, маловероятных и слишком хорошо известных в литературных кругах, чтобы их здесь приводить.

Меня сейчас занимает другое: сколько подлинных поэтов было в России в это время — в первую столетнюю пушкинскую годовщину?

Анненского в 1899 году поэтом еще не назовешь: ранние юношеские стихи им уже уничтожены, а новые, те, что принесли ему посмертную славу, еще не написаны. Единственное, что он мог бы пока предъявить, — это переводы трагедий Еврипида да нескольких стихотворений Верлена, Леконта де Лиля, Малларме...

Константин Случевский? Пожалуй. К сожалению, традиционные поэтические штампы у него примитивно соединялись с декадентскими новациями: «совершенно все разболталось, все скрепы, — система гниющих лирических штампов», — по остроумному замечанию одного исследователя. «На этом фоне возможно все, что угодно». Ахматова поддержала эту характеристику: «На этом фоне оказывается, что у мертвеца сгнили штаны — и он сам заявляет об этом».

Ну, конечно, Владимир Соловьев, переведший фетовский лирический напор в потусторонний, символический план, — в результате чего давление и жар в строке упали, согреться трудно; впрочем, его опыт оказался решающим и многое дал тогдашним начинающим поэтам, будущим корифеям русской поэзии нового века.

Кто еще? К. Фофанов, К. Р.? Боюсь показаться привередливым, но говорить всерьез об их вкладе в русскую поэзию не приходится.

Был еще Дмитрий Мережковский, выступивший к этому времени с первой книгой стихов «Символы». Но стихи уже тогда отходили у него на второй план, уступая место прозе (уже были написаны романы о Юлиане Отступнике и Леонардо).

Остаются, если говорить серьезно и не размениваться на эпизодические роли в поэзии, — К. Бальмонт и В. Брюсов, напечатавшие уже к этому времени кое-что эпохальное: первый — стихи про «чуждый чарам черный челн» и знаменитое «Я вольный ветер, я вечно вею, / Волную волны, ласкаю ивы...», а второй сравнил свою любовь с «палящим полднем Явы»: «Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, / Здесь по стволам свиваются удавы».

Ну, разумеется, ни Бальмонт, ни Брюсов не сводятся к этому, сделанное ими находит отклик в некоторых, в том числе искушенных, филологических сердцах и сегодня, но понятен и Чехов, предлагавший в разговоре с Бунинным молодых московских декадентов, этих «здоровеннейших мужиков», отдать в арестантские роты.

Вот, собственно и всё. Нет еще поэтических книг ни З. Гиппиус, ни Вяч. Иванова, ни Ф. Сологуба. Восемнадцатилетние Блок и Андрей Белый не напечатали еще ни одного стихотворения.

Сегодня, в 1999 году, вопреки нашей склонности брюзжать и высказывать недовольство состоянием дел в поэзии (а когда оно кого-либо устраивало?), хочется рискнуть и сделать предположение, что двухсотлетний пушкинский юбилей проходит на куда более ярком поэтическом фоне. Называть имена людей, «о коих не сузу, затем что к ним принадлежу», не стану, — более или менее осведомленный читатель может сам набросать примерный список.

2

Нет, конечно, не лучшее свое время переживает сегодня наша поэзия, но и не худшее. Александру Сергеевичу можно было бы кое-что дать почитать. Другое дело, смог бы он это оценить или нет? Сегодняшние стихи, возможно, удивили бы его не меньше, чем телефон или фотоаппарат. Ведь вот и Тютчевым, как уверяет Тынянов, он не восхитился: другая оптика, другая система, то есть малая форма, фрагментарность, дилетантизм, иной звук, иная философия. А разделяла их всего четырехлетняя разница в возрасте да жизнь молодого автора в Германии.

Если Тынянов прав в отношении Тютчева (не все согласны с его доводами), что сказал бы Пушкин о Лермонтове? Молодой Лермонтов, к 1837 году написавший уже и «Ангела» («По небу полуночи ангел летел...»), и «Я не унижусь пред тобою...», и «Нет, я не Байрон, я другой...», и «Я жить хочу! Хочу печали...», и «Парус», и «Русалку», медлил предстать перед Пушкиным со своими стихами.

Пушкин не знал Лермонтова. Но Баратынский, переживший Лермонтова на три года, в 1843 году сказал: «О стихах его говорить нечего, потому что он только воспринимал лучшее у Пушкина и других современников». Критическое отношение к стихам Лермонтова характерно для людей пушкинского круга. (Плетнев: «Запоздалый Пушкин по претензиям, без его ума и таланта»; Вяземский: «Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем... Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся»). С нашей точки зрения, чудовищное непонимание! И струны были как раз «новые».

Кто знает, понравилось бы Пушкину то «небо полуночи», которое так полюбили в эмиграции поэты «парижской ноты»? В 1937 году они противопоставили Пушкину Лермонтова, болезненно отреагировав на официальные юбилейные советские торжества. Адамович, например, писал: «Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет». Как это нет? У кого нет, у Пушкина? Да вся его поэзия — сплошное чудо!

Но прислушаемся к словам Адамовича: лермонтовские стихи «ближе к тому, чтобы действительно стать отражением „пламя и света“». В лермонтовской поэзии «присутствует вечность, а черное, с отливом глубокой, бездонной синевы небо, „торжественное и чудное“, служит ей фоном».

Можно, конечно, обидеться за Пушкина. Можно сказать: чего-чего, а вечности и «торжественного и чудного» у него хватает! Только обижаться не следует. И «вечность», и «торжественное и чудное» в его стихах существуют в иной пропорции. И выражены они иными поэтическими средствами. А иначе как бы мы отличили Лермонтова от Пушкина?

И приди Лермонтов к Пушкину в 1836 году, он мог бы и впрямь натолкнуться не на пылкое благословение, — на прохладное одобрение.

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой...

Какой песне, святой? Пушкин не слишком жаловал этот эпитет. «И тихую песню он пел». Кто «он», ангел? Зачем же в одном предложении пользоваться двумя подлежащими?

Пушкину могли понравиться эти стихи. А могли и напомнить наивный детский рисунок, — и это бы еще ничего. Мог бы он вспомнить и лубочную картинку.

3

Надо прямо сказать: среди его ровесников больших поэтов рядом с ним, кроме Баратынского, не было. Отношения с Баратынским не сложились: их пути с конца двадцатых годов разошлись. Тютчев жил в Германии, до 1836 года был Пушкину почти не известен. Мы бы назвали еще Грибоедова, но для него он скорее проходил по другому цеху: драматургия... Дельвига назвал он гением: «Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья, / Ты гений свой воспитывал в тиши». Впрочем, вряд ли слово «гений» употреблено здесь в нынешнем значении, — иначе такой комплимент мог показаться Дельвигу и насмешкой. Кюхельбекер, Вяземский и те, кто моложе: Языков, Тепляков, московские поэты «немецкой школы»... Он ценил их, но разница была слишком велика. Другое дело — предшественники: Державин, Крылов, Жуковский, Батюшков, отчасти Д. Давыдов, Гнедич... Впрочем, любя их, он нередко отзывался о них критически и даже язвительно.

Настоящий большой разговор вел он с античной поэзией, с Библией и Новым Заветом, с Данте, Шекспиром, Кольриджем, Байроном, Мицкевичем...

4

«После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на ЭМ», — сказано у Маяковского в «Юбилейном». Между ними «позатесался Надсон», отправленный «на Ща!», и Некрасов, признанный своим: «Этот нам компания — пускай стоит». Все-таки не Сталин сделал Маяковского «лучшим и талантливейшим», — сам Маяковский считал себя таким.

«Чересчур страна моя поэтами нища», — и это заявлено в 1924 году, когда рядом с ним писали стихи Ахматова, Кузмин, Мандельштам, Пастернак, только что умерли Блок и Хлебников, был убит Гумилев и совсем недавно съехали за границу Ходасевич, Цветаева, Андрей Белый, Вяч. Иванов, я называю далеко не всех...

Впрочем, отбросив алфавитный порядок, он называет несколько имен: с уважением — Асеева, пренебрежительно — Есенина («балалаечник») и Безыменского («морковный кофе») и с презрением — Дорогойченко, Герасимова, Кириллова, Родова... Это всё, что он смог наскрести.

Но ведь Мандельштам тоже на «ЭМ»! Ну ладно, Мандельштам, если строго придерживаться алфавита, стоит не «между нами», а перед Маяковским. Но вот Пастернак, уж он-то точно располагается между Маяковским и Пушкиным. И что же? Маяковский не называет его и делает это, конечно, сознатель-

но. Можно представить, какой обидой был этот преднамеренный пропуск для Пастернака, как раз в это время (1923 — 1924 годы) печатавшегося в ЛЕФе у Маяковского. Ни «Сестра моя — жизнь», ни «Темы и вариации», ни даже «Высокая болезнь», отданная Пастернаком в журнал Маяковского, — не учтены и не приняты во внимание.

А ведь «Юбилейное» — стихотворение программное. Для Пастернака в нем места не нашлось.

Правда, в стихах «Тамара и Демон» он будет назван, но как: «озверев от помарок!» Помню свою детскую, школьную жалость к незадачливому поэту, да еще с такой непоэтической фамилией: уж конечно царице Тамаре такой понравиться не мог.

Не знаю, читал ли Маяковский «Египетские ночи». Вряд ли. Но если бы читал, ему должен был бы понравиться пушкинский эпиграф: «— *Quel est cet homme? — На, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut. — Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.*». Попросил бы Лилю или Осю — и они бы ему перевели: «— Кто этот человек? — О, это очень большой талант, он делает из своего голоса все, что захочет. — Ему бы следовало, мадам, сделать из него себе штаны».

5

Наша критика (и публика) ждет не дожидается нового Пушкина. То и дело читаешь: когда же появится новый Пушкин? Наша поэзия живет сейчас накануне большого взрыва: может быть, уже грядет новый Пушкин...

Все варианты этой глупости сразу не вспомнишь и не воспроизведешь. Ждут Пушкина, как мессию.

Интересно, как они представляют себе это в реальности? Появляется молодой поэт — и на лбу у него написано: новый Пушкин. Вот он вскакивает из зала на эстраду, достает из-за пазухи поэму «Руслан и Людмила»...

Между тем, если говорить серьезно, без кликушества и религиозных аналогий, опираясь на стихи, то можно с уверенностью сказать: он уже множество раз приходил к нам в новом облике: «Жизнь пуста, безумна и бездонна! / Выходи на битву, старый рок! / И в ответ — победно и влюбленно — / В снежной мгле поет рожок...»; «Меж золоченых бань и обелисков славы / Есть дева белая, а вокруг густые травы...»; «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных...»; «Мы этот май проводим, как в деревне: / Спустили шторы, сняли пиджаки...», «Но ни на что не променяем пышный / Гранитный город славы и беды, / Широких рек сияющие льды, / Бессолнечные, мрачные сады / И голос музы еле слышный»...

Тут у меня почти всюду в качестве примера выступает шестистопный ямб. Но это совсем необязательно. Сменю пластинку: «Ни грубой славы, ни гонений / От современников не жду, / Но сам стригу кусты сирени / Вокруг террасы и в саду», «В его устах звучало „завтра“, / Как на устах иных „вчера“. / Еще не бывших дней жара / Воображалась в мыслях кафру...». Или такое, поближе к нам: «Ангел, дней моих хранитель, / С лампой в комнате сидел. / Он хранил мою обитель, / Где лежал я и болел...»

О чем говорить! Могу привести что-нибудь из наших современников: «Но дом недвижим, и забор / во тьму ныряет поплавками, / и воткнутый в крыльцо топор / один следит за топляками...» (Бродский), «И некто там надиктовал на пленку / за десять дней почти полсотни сказок, / где воевали мыши да ужи. / (Импровизатор — он был враг бумаги)...» (Рейн), «...и это, конечно! — но взгляд / бросая на наши равнины, / взыскуешь невидимый град / из этой духовной чужбины...» (Чухонцев).

А вот из тех, кто помоложе. «Пересохшее горло тритона / Золотой scarлатиной забило...» (А. Пурин), «Но попытка — что воде? И Ксеркс тогда / Пытался море высечь за обиду. / Где грозный царь? А вот она — вода, / Течет себе,

не подавая виду» (А. Машевский), «Не смущай меня, оттепель, не / Обольщай поворотами к лету. / Я родился в холодной стране. / Честь мала, но оставь мне хоть эту...» (Д. Быков)...

А если кому-то покажется, что эти примеры не абсолютно накладываются на Пушкина, что остается некий зазор, — тем лучше, ничего удивительного, так и должно быть: речь и не идет об имитации и подражании, и Пушкин сегодня писал бы по-другому.

Воистину, «и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

6

Бытует ходячее представление о Пушкине как о легкомысленном Дон Жуане, «гуляке праздном», — это бы еще куда ни шло, но помню, например, поэта в летах, мало привлекательного внешне, но считавшего необходимым заигрывать с официантками, вообще женским персоналом «домов творчества», балагурить, ёрничать, отпускать двусмысленные замечания — и все лишь по той причине, что считал он себя (и критика поддерживала его в этом убеждении) продолжателем пушкинской традиции. Пьянство почему-то тоже обставлялось как пушкинский завет. Пушкин, водки не пивший, был явно перепутан не то с его братом Львом, не то с Денисом Давыдовым.

7

Одно из самых прекрасных и загадочных его стихотворений — «В начале жизни школу помню я...». Удивительно, что он его не напечатал при жизни (также не было напечатано тоже написанное терцинами подражание Дантову «Аду» «И дале мы пошли — и страх обнял меня...»).

«В данном стихотворении Пушкин... изображает Италию эпохи позднего средневековья...» — сказано в комментарии¹.

Наверное, он воспользовался чужим стихотворным (вряд ли прозаическим) текстом, как часто это делал, когда чужой текст возбуждал его мысль и будил в нем собственные воспоминания. Чужие стихи, чужая проза — такое же событие для поэта, как пейзаж, встреча с человеком, важная новость... Присвоить чужое нельзя — чужое должно быть узнано нами как свое, и преобразено; и это ни в коей мере не отменяет поэтической непосредственности и правды чувства.

В библиотеке Пушкина насчитывалось около тридцати итальянских книг; Данте, Тассо, Ариосто, Альфьери, Джанни — все эти поэты были ему хорошо известны, последних трех он переводил, а свое стихотворение «Не дорого ценю я громкие права...» даже приписал Пиндемонти.

Странная ошибка допущена им в стихотворении, сначала речь идет о «детях», «младенцах», учившихся в школе: «Там нас, детей беспечных, было много», «С младенцами беседует она», а в конце младенцы неожиданно превращаются в подростков: «Средь отроков я молча целый день бродил угрюмый...» Может быть, эта ошибка как раз говорит о заимствовании, выдает следование чужому образцу.

Наверное, он написал свои стихи по чужой канве потому, что повествование об ученических годах напомнило ему свои, проведенные в Лицее. В итальянском пейзаже с его «великолепным мраком чужого сада», искусственными скалами, светлыми водами и статуями в тени деревьев для него проступало Царское Село.

¹ См. также анализ этого стихотворения в статье Сергея Бочарова «Заклинатель и владелин многообразных стихий» («Новый мир», 1999, № 6). (Примеч. ред.)

Конечно, в Лицее были дядьки, учителя, директор, а здесь — «смирная, одетая убого, но видом величаява жена над школою надзор хранила строго». Но эта «строгая жена», возможно, значила для него в чужом стихотворении не меньше, чем близость итальянского пейзажа к царскосельскому. Возможно, он вспомнил Карамзину: она тоже была «строгой», и намного старше, и не подавала повода своими «спокойными речами» к превратному их толкованию: «Я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров».

Мне кажется, Тынников в статье «Безыменная любовь» мог бы сослаться и на эти стихи. Тем более, что он приводит письмо Е. А. Карамзиной, написанное ею 3 марта 1831 года (в ответ на письмо Пушкина и Натальи Николаевны к ней после их свадьбы), где есть такая фраза: «...несмотря на мою суровую и холодную внешность, она найдет во мне сердце, готовое любить ее всегда, в особенности если она ручается за счастье своего мужа».

Лицейист написал письмо Карамзиной с признанием в любви, которое она показала мужу. Министр просвещения Блудов рассказывал Бартеневу, что «Карамзин показывал ему в царскосельском китайском доме место, облитое слезами Пушкина».

Итак, эта «жена» с ее «строгой красотой», способной пробудить любовное чувство в подростке («Меня смутила строгая краса»), — нет, не женщина, конечно, а именно это «смущение» гнало подростка в сад, а там его поджидал другой соблазн — «двух бесов изображенье», две статуи — Аполлона и, по-видимому, Венеры, причем про вторую сказано: «волшебный демон — лживый, но прекрасный». Можно сказать, из огня да в полымя:

Пред ними сам себя я забывал...

 Безвестных наслаждений темный голод
 Меня терзал. Уныние и лень
 Меня сковали — тщетно был я молод.

Заметим: «молод». Какой уж тут «младенец»! От живой женщины — к статуе. Но и женщина — тоже в своем роде статуя: «но видом величаява жена», «ее чела я помню покрывало».

Знаю, как читается такой «разбор» стихотворения: ну когда же это кончится? что за педантизм? кому это интересно? Мне. Интерес пишущего подделывать нельзя — и потому, может быть, он иногда передается читающему.

Стихотворение сначала было задумано не в терцинах, а в октавах. Сохранилась первая, необработанная октава:

Тенистый сад и школу помню я,
 Где маленьких детей нас было много,
 Как на гряде одной цветов семья,
 Росли неровно — и за нами строго
 Жена смотрела. Память мне моя
 Хранит..... убого,
 Но лик и взоры дивной той жены
 В душе глубоко напечатлены.

Насколько же окончательный вариант в терцинах лучше и как преобразилась первая строка, задающая тон всему стихотворению: «В начале жизни школу помню я...»!

Пушкин пожертвовал «семьей цветов» «на одной гряде» и прелестным словосочетанием «росли неровно», но как выиграл образ «жены», в октаве появлявшийся попутно, вместе с детьми: «Росли неровно — и за нами строго...», а в окончательном тексте — выделенный, введенный второй терциной:

Смирная, одетая убого,
 Но видом величаява жена
 Над школою надзор хранила строго.

Стихотворение осталось незаконченным:

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмо — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Требуется, по правилам, еще один, заключительный стих, который должен зарифмовать повисшее, не зарифмованное слово «сада», как это делал Данте, заканчивая какую-либо «песнь»:

Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых мне увидеть свет
И тех, кто душу вечной муке предал.

Он двинулся, и я ему вослед.

(«Ад», песнь первая, перевод М. Лозинского)

Может быть, потому стихотворение и не опубликовано Пушкиным, что не было им завершено и он предполагал к нему вернуться? Или, может быть, в итальянском оригинале было продолжение, Пушкину уже не нужное? В конце концов, не так уж трудно было написать еще одну строку. Он этого не сделал — и нам, влюбленным в эти стихи и привыкшим к ним, этой строки и не надо.

...всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Эта тень на душе, — есть ли что-нибудь неожиданной ее и неотразимей? Более того, некоторая незавершенность соответствует здесь смутности ощущений.

Можно было бы вспомнить и «Каменного гостя», написанного в том же 1830 году, возможно, той же осенью, когда было написано «В начале жизни...». Трепет Дон Жуана перед статуей, затем ужас Евгения в «Медном всаднике» были памятны Пушкину по юношеским впечатлениям.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

(К тому же про «Дельфийского идола» в стихотворении сказано: «Был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной»). Холод, пробегающий по телу, вздымающий «кудри»...

В связи с этим, наверное, следует сделать важное уточнение: Пушкин умел в лирике, а не только в поэме и драматургии установить дистанцию между собой (автором) — и своим лирическим сюжетом. Эта дистанция позволяла ему держать в узде поэтическую страсть; во всяком случае, во многих его стихах трудно определяемая их прелесть объясняется, кажется, именно этой особенностью. Одним из видов такого отстранения и было привлечение чужих текстов для создания своего произведения, поэтического выражения и осмысления собственных сокровенных чувств и впечатлений.

«Но веял в нем дух чисто голубиный», — сказал Тютчев о Жуковском в стихах на смерть поэта. «Душа его возвысилась до строю: он стройно жил, он стройно пел...» Жуковский здесь явно противопоставлен другим поэтам, прежде всего самому автору, но, кажется, и Пушкину тоже. «Стройно жить» не удавалось никому. Нет, поэты явно не голуби — какие-то другие птицы! Державин любил ласточек: «домовитая», «милосизая», «касаточка», она уподоблена

его душе: «Душа моя! гостья ты мира: / Не ты ли перната сия?» Ее полет и все повадки он описал подробнейшим образом: «Ты часто, как молния, решишь / Мгновенно туды и сюды». Не правда ли, и смешно, и трогательно? (Кстати, не из этой ли «молнии» возникло фетовское «молниевидное» крыло? Скажут: а что, Фет сам не мог придумать? Мог.) Впрочем, есть у Державина и «Пеночка», и «Соловей», и «Снигирь», и «Павлин», и великолепный «Лебедь».

И все-таки, как ни хорош Жуковский-голубь, мы предпочитаем ему пушкинского орла, которому «нет закона». Да и Тютчев сказал о себе: «Хоть я и свил гнездо в долине, / Но чувствую порой и я, / Как животворно на вершине / Бежит воздушная струя»...

А Лермонтов? Лермонтова в царстве пернатых больше интересовали ангелы и демоны. И даже тот «ворон степной», которым он хотел быть в своем юношеском стихотворении, — явный предшественник, так сказать, прародитель его «Демона» («И одну лишь свободу любить»).

В связи с перечнем птиц в русской поэзии вспомнил пушкинского гуся «на красных лапках», что, «задумав плыть по лону вод... скользит и падает» на речном январском льду. Но ничуть не хуже, столь же смущен и неловок у него ссыльный Овидий: «Когда ты в первый раз вверял с недоумением / Шаги свои волнам, окованным зимой...»

Как объяснить, что такое поэзия? Объяснить нельзя, можно только ткнуть пальцем в такую строку.

9

Пушкин актуален, вспоминается по любому поводу, может пригодиться каждую минуту. Вот в «Египетских ночах» упомянут им молодой человек, «недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции», и тот же мотив повторяется в отрывке «Гости съезжались на дачу». «Охота вам связываться с человеком, который красит волоса и каждые пять минут повторяет с упоением: „Quand j'étais á Florence...”»

Поостережемся же и мы восклицать, как это нынче принято в самых разных компаниях: «Когда я был во Флоренции...», во-первых, потому, что не у всех есть возможность там побывать, а во-вторых, потому, что Пушкин тоже там не был, в отличие от нас.

10

Есть некоторые постоянные величины в русской жизни, например, отношения поэта с властью (или содержание кладбищ: «в болоте кое-как стесненные рядком», «ворами со столбов отвинченные урны»).

Во второй половине мая 1826 года, во время следствия по делу декабристов, он написал из Михайловского письмо Николаю, в котором «с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)...» — просил позволить ему ехать «в Москву, или в Петербург, или в чужие края». Письмо осталось без ответа. Прошло три месяца.

Тем более неожиданным оказался для него внезапный приезд в Михайловское фельдъегеря, отъезд с ним в Москву в ночь с 3 на 4 сентября и свидание с царем.

У власти — свои резоны, понять их можно только задним числом. Как это похоже на неожиданные сталинские звонки по телефону — или на напрасное ожидание их!

Ссылки, цензура, перлюстрация писем... «Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достой-

ной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудроно быть самодержавным», — записывает Пушкин в дневнике 10 мая 1834 года.

Люди старшего поколения, с которыми я был дружен (Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухштаб и другие) и в семидесятые годы не расстались с привычкой не писать обратный адрес на конверте, наивно полагая, что так их трудней вычислить. В самих же письмах они бывали предельно осмотрительны и ничего лишнего себе не позволяли.

Когда Мандельштам в 1931 году писал: «Чуя грядущие казни, от рева собитий мятежных / Я убежал к nereидам на Черное море», — он несколько стилизовал свою жизнь под пушкинскую судьбу. Началось это значительно раньше, и в своей «Феодосии» (1919) он уже ориентировался на Пушкина: «Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же».

Понятно, он и не предполагал тогда, что и в самом деле окажется в роли ссыльного. «Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, / Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов — / Молодые любители белозубых стишков, / На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!» (1935) — море здесь, возможно, появилось в связи с пушкинской южной ссылкой: 1935-й не 1820-й и Чердынь не Одесса.

Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Булгаков, Зощенко — все они в тот или иной момент вспоминали пушкинские обстоятельства, оказываясь в паутистых сетях власти.

После смерти Пушкина к нему на квартиру приехал начальник Штаба корпуса жандармов генерал Дубельт, — пушкинские бумаги стали добычей III Отделения: сожжению подлежали те из них, «кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина», письма (по прочтении) надлежало вернуть их авторам или забрать в III Отделение.

Мертвого Пушкина в Псков вместе с А. И. Тургеневым сопровождал жандармский офицер. Даже хоронили Пушкина в шесть часов утра: «...церемония погребения совершалась в кромешной тьме, — пишет современный историк (Р. Г. Скрынников), — восход солнца в тот день падал на 7 час. 28 мин.».

Зато сегодня пишущий не зависит ни от власти, ни от цензуры. И если есть деньги или приглашение, может уехать хоть в Гонолулу. Нам бы радоваться, но кое-что за этими преимуществами мы утратили. «Ну где ты еще найдешь страну, где бы за стихи ссылали?» — говорил Мандельштам Надежде Яковлевне с оттенком гордости за Россию. Такой страны теперь у нас нет. Падают тиражи, интерес к поэзии не тот, «любители белозубых стишков» перешли охранниками в частные фирмы...

11

«Когда бы верил я, что некогда душа, от тленья убежав...» — это сказано им в 1823 году. Не верил: «Ничтожество меня за гробом ожидает...» Но и в 1836 году он скажет: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» «В заветной лире», а не на небесах! Одна и та же поэтическая формула в стихах, разделенных тринадцатью годами, обнаруживает некоторое постоянство в отношении к одной из основных проблем миропонимания.

А в марте 1826 года в письме к Жуковскому — письме ответственном, излагая «историю» своей «опалы», он мог бы покривить душой, но не сделал этого: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Нет надобности изображать Пушкина безбожником, антирелигиозным мыслителем. Речь идет о другом: о сердечной свободе, о свободе мысли, о свободе выбора. Отметим, что стихи с религиозным содержанием («Странник», «Отцы пустынники и жены непорочны...») связаны с переложением чу-

жих текстов, в то время как стихи тех же лет «Вновь я посетил...» и «Когда за городом, задумчив, я брожу...», где он размышляет о близкой смерти и уравновешивает загробный холод лишь «приветным шумом» деревьев, написаны им, как и «Надеждой сладостной младенчески дыша...», не по чужой канве, — на собственной поэтической основе. И это ни о чем не говорит (и те и другие для него важны одинаково) — но помогает сегодняшнему поэту «никому отчета не давать», «не угождать» общему мнению, жить, мыслить и чувствовать самостоятельно.

12

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

Здесь каждое слово — великое утешение поэту и поддержка. И муза в самом деле способна на такое поведение: ей, сколько лет она существует на земле, две-три-четыре тысячи лет? — иначе было бы и не выжить. Но поэт, ее смертный избранник, и хотел бы соответствовать разумному завещанию, да плохо ему это удастся. Оно рассчитано, признаемся, на другой, не поэтический темперамент.

И разве Пушкин не страдал, не «оспоривал глупца», не писал «опровержение на критики», эпиграммы на своих зоилов? «Что касается до критических статей, написанных с одной целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере в первые минуты, и что, следственно, сочинители оных могут быть довольны...»

13

Ночью, когда не спится, когда старые и новые обиды или собственная вина вырастают до размеров ночных чудовищ, когда переворачиваешь подушку — и не можешь заснуть, вдруг сами собой в раскаленном сознании всплывают его стихи:

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья...

А ведь их нельзя слишком близко подносить к глазам! Какая змея, сердечная? Сердечная потому, что очень добрая? Или потому, что заползла в сердце? «Угрызенья»... не правда ли, смешно? Как будто змея может что-то грызть...

Но странное дело, все эти невообразимые вещи, проступающие при буквальном чтении и реализации метафоры, нас не смущают. Кажется, Л. В. Щерба, писавший об этих стихах, предупреждал о ненужности вторжения в этимологию слова «угрызенье».

Так сказать можно. Ему можно. Нам нельзя. Может быть, можно и нам?

А нас еще пугают авангардизмом, сегодняшним и столетней давности! Но мы читали Пушкина, и мы не из пугливых.

Какая страшная, точная, созданная вопреки всем правилам благоразумной поэтики вещь!

Записал это — и возникло смутное ощущение, что «угрызенье» есть у него еще в каком-то стихотворении. В каком? И я вспомнил:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине...

Значит, через два года, в 1830-м, в стихотворении, где венецианской неге он предпочел «печальный остров» в невском устье, усеянный «зимнею брусникой», — он вернулся к тому же образу, чувству, представлению.

И заодно замечу, что оба стихотворения (и 1828 и 1830 года) имеют схожий зачин: «Когда для смертного умолкнет шумный день...», «Когда порой воспомянатье...». Он вообще любил начинать стихи с этой грамматической формы — придаточного времени: «Когда в объятия мои...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Когда любовью и негой упоенный...», «Когда твои младые лета...» и т. д.

Не раз прибегали к ней и Баратынский, и Тютчев, и Фет... Попробуйте теперь найти ее в наших стихах! Что-то изменилось в нашем сознании. Очень любят говорить о «новаторстве», открытиях и изобретениях, и никто не говорит об утратах.

14

«Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах... тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете!..» и т. д.

Жалобы Чарского из «Египетских ночей» — пушкинские жалобы. «Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых».

Чарскому передает Пушкин свое вдохновение, «то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретае живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли».

Невозможно без волнения читать эти строки. «Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».

И все-таки это не автопортрет. «Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение».

У Пушкина такого дяди, как у Чарского (или Онегина), не было. Дяди не было, но «расстроенные дела», но необходимость «поговорить о важном деле», приехав «к человеку, почти с ним не знакомому», — были.

«В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки».

Чарский — это Онегин с поэтическим даром, знающий, чем отличается ямб от хоря.

Пушкин явно хотел иметь если не такой кабинет, то такой же порядок.

Но вот что рассказывает Пущин о его «кабинете» в Михайловском: «В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах)... Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлён».

(Замечательный порядок был на столе у Блока. Заточенные карандаши, ящички с карточками, как в библиотечном каталоге, ящички с письмами и т. д. Но это особый случай: образцовый порядок в делах должен был уравновесить «метель и мрак» в душе.)

Увы, и в тридцатые годы петербургский пушкинский семейный быт был устроен не многим лучше Михайловского. Это сегодня квартира на Мойке, где он и жил-то всего четыре месяца, сверкает музейным блеском: столы, диваны и кресла за натянутыми шнурами поражают чистотой и почти великолепием, ни одной бумажки на полу, не знаю, как насчет метлы и щетки, но пылесос в исправности.

Послушаем мемуариста: «Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел в уголку в покойном кресле. На Пушкине был старенький дешевый халат, какими обыкновенно торгуют бухарцы вразноску».

Чарский — «dandy... в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью».

У Чарского не было четырех детей, жены-бесприданницы, двух своячениц в той же квартире и заложенного ростовщику столового серебра. Были «картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках».

Мне привелось на своем веку повидать немало писательских «кабинетов». Но тут надо сделать поправку на советскую жилплощадь, советскую бедность и запущенность. Помню грубый, пыльный шнур электропроводки за спиной сидящей Ахматовой, «полторы комнаты» Бродского (он и за границу перенес привычку к рабочему беспорядку, разбросанным бумагам и книгам), однокомнатную квартиру Лидии Гинзбург с книжными стеллажами до потолка и висящими в простенках работами Чекрыгина, Митрохина, Тышлера, подаренными ей Харджиевым, — в самодельных картонных рамках... Приезжали молодые слависты, ужинали с ней на кухне рядом с газовой плитой, — никогда они не рассказывали ей о своем американском, английском, немецком многокомнатном жилье... Квартиры Б. Я. Бухштаба, Слуцкого, Битова, Рейна, В. Попова, Л. Петрушевской, Н. Я. Мандельштам... Прозаик Александр Мелихов, мой приятель, живет сегодня в крохотной двухкомнатной квартирке писательского дома на канале Грибоедова, где и книги-то не разместить как следует: не хватает места (в ней в сороковые — пятидесятые жил Евгений Шварц).

Ну и ладно, и не важно, как там было, важно, о чем там говорили...

Чарский «вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, обедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое».

Чарский — находчив и блестящ, «разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы».

Между тем Пушкин мог бы сказать о себе, как грибоедовский Чацкий: «И в многолюдстве я потерян, сам не свой».

Н. М. Смирнов вспоминал: «В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого; он стоял в углу, у окна, как будто не принимая участия в общем веселии». А вот что записал хорошо знавший его П. А. Плетнев: «...общество, особенно где Пушкин бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и оттого оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь... Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекало к свободному выражению мыслей, а робость противодествовала». И только в дружеском кругу он бывал весел, остроумен, красноречив...

Есть некоторые родовые черты, принадлежащие поэтам: поэтический дар предполагает особый склад души.

Чарский в этом смысле — исключение, даже выдумка, Пушкин в нем поступается правдой характера ради своей мечты о поэте, благополучном и неуязвимом.

Так выглядит последняя строфа его «Осени», похожая и графически на морскую поверхность. Это тот случай, когда поэт полагался на воображение

читателя, а набросок строфы остался в черновом варианте и способен разочаровать:

Ура!.. куда же плыть? какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт...

Конкретизированная мечта о свободном путешествии здесь соревнуется с воображением и проигрывает ему. Заметим, что луга Молдавии, например, вообще не омываются никаким морем.

Я сладко усыплен моим воображеньем...

Стихи, дневные сны, — все-таки самое увлекательное и заманчивое путешествие, способное перенести нас не только в иные пространства, но и в другие времена.

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Курится легкий фимиам,
И сладострастные пролады
Земным готовятся богам...

Он был на Ниле, был в древнем Риме, и в Греции, и в Венеции дождей, и в Мадриде XVII века, и в Париже XVIII...

Кажется, я знаю, что бы он делал, перевалив через тридцать седьмой год: он наконец получил бы разрешение увидеть мир в яви, выехал бы за границу, во Францию, Италию, как Баратынский в 1844 году. Может быть, он закончил бы ту же «Осень», названную им «отрывком» и при жизни так и не напечатанную...

16

Не были напечатаны при его жизни десятки стихотворений. По цензурным соображениям; потому, что к некоторым он предполагал вернуться; потому, что многие казались ему слишком интимными, не подлежащими огласке; потому, что собирался напечатать, но не успел.

Общее мнение об упадке его таланта, наверное, в какой-то степени может быть объяснено и этой причиной.

В самом деле, в 1834 году Пушкин опубликовал свою историю Пугачева и в дневнике записал: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают».

А между тем оставались не напечатаны... мне придется привести этот список, потрясший меня, когда я его составил: «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Свободы сеятель пустынный...» (1823), оба «Послания цензору», «Храни меня, мой талисман...» (1825), «Признание» (1826), «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Какая ночь! Мороз трескучий...» (1827). Не были напечатаны «Жил на свете рыцарь бедный...» — это нам трудно даже представить, «К бюсту завоевателя», «Зорю бьют... из рук моих...» (1829), «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» и «Когда в объятия мои...» — боже мой, да ведь без этих стихов Пушкин непредставим! «Румяный критик мой...», «Заклинание», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Для берегов отчизны дальней...». Как! И оно тоже? Увы. И «Нет, нет, не смею я, не должен, не могу...», и «Не дай мне Бог сойти с ума...», и «Пора, мой друг, пора!..», и все стихи «Из Анакреона», и «Кто из богов мне возвратил...» тоже... Не успел он опубликовать ни «Странника», ни «Вновь я посетил...», ни «Художнику»,

ни «Мирскую власть»... Пушкин без стихов «Из Пиндемонти», без «Отцы пустынноики и жены непорочны...», без «Когда за городом, задумчив, я брожу...», без «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Я назвал только самые любимые. А «Медный всадник», а «Каменный гость»...

17

«В Михайловском нашел я всё по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых я уже не пляшу...» — писал он жене из Тригорского 25 сентября 1835 года.

Молодая сосновая семья — это, конечно, та самая «младая роща», то самое «племя младое, незнакомое», которое он приветствует в стихотворении «Вновь я посетил...», написанном им на следующий день, 26 сентября. Только вместо досады в стихах — нежность и умиление. Интересно, как кавалергарды (и среди них, конечно, Дантес) оказались заменены внуком, который, «с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон», пройдет ночью мимо этих сосен «и обо мне вспомянет».

Возможно, та же роща вспомнилась ему еще раз, когда он 10 января 1836 года писал П. Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую...»

Почему еще так действуют на нас его поздние стихи? Не потому ли, что чем дальше, тем дороже ему становился не исключительный, а нормальный образ человеческой жизни, что он, великий человек, имел мужество искать смысл и счастье «на проторенных путях».

18

Петербургская гадалка, немка Кирхгоф, предсказала, по свидетельству С. А. Соболевского, молодому Пушкину, что он «проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых должен он опасаться».

Другое свидетельство о том же эпизоде и впечатлении, произведенном им на Пушкина, принадлежит приятелю его молодости, конногвардейцу П. Б. Мансурову: «...если кто из наших напоминал ему об этом, ясно видно было, что это ему неприятно; он всячески старался отклонить разговор, и когда не успевал, то сам первый хохотал весьма громко, но для тех, которые его хорошо знали, видно было, что хохот его был принужденный, что и заставляло нас совершенно прекращать всякий намек о прошедшем».

Как справедливо замечает современный исследователь И. С. Чистова, Мансуров запомнил то, «что было гораздо важнее бытовых подробностей, — образ Пушкина, потрясенного услышанным от гадалки и в течение долгого времени продолжавшего испытывать над собой власть ее таинственных предначертаний». В самом деле, больше всего убеждает неотразимая деталь: пушкинский «хохот», — так ведут себя дети в темной комнате — начинают громко смеяться.

Что-то есть в этой истории действительно волшебное и загадочное. Может быть, люди, отмеченные великим даром, «врожденными заслугами», как сказал бы Гёте, и впрямь подвинуты ближе к невидимой черте, отделяющей познаваемую жизнь от жизни (если она есть), скрытой за непроницаемым пологом. Может быть, всматриваясь в жизнь и судьбу таких людей (кажется, я противоречу своим же собственным словам, заключающим предыдущую главу в

связи с пушкинским письмом Нащокину и любимой фразой Пушкина из Шатобриана), мы имеем возможность ближе подойти к «тайнам счастья и гроба».

Еще мне нравится, что предсказание не было безвыходным: была развилка «на 37-м году возраста» и был выбор.

А пройди он благополучно этот рубеж, может быть, и жил бы до глубокой старости. В 1865 году было бы ему 66 лет — и прочел бы он о себе у Писарева: «так называемый великий поэт», «наш маленький и миленький Пушкин», «величайший представитель филистерского взгляда на жизнь», «легкомысленный версификатор», «ветхий кумир», «возвышенный кретин».

Помню, Лидия Яковлевна Гинзбург в разговоре со мной высказала предположение, что к 1836 — 1837 году Пушкин переживал творческий кризис: большой жанр (поэма) — вот что было для него важно (в этом смысле он еще не переступил ту черту, те жанровые представления и предрассудки, которые смогли затем преодолеть Тютчев и Фет). «Медный всадник» (1833) — последняя его поэма, да еще и неопубликованная. Замечательных стихов 1836 года («Каменноостровского цикла») ему было недостаточно.

Не преследуй его это ощущение творческого неблагополучия — не произошло бы и всего того, что случилось в 1836 — 1837 годах.

Я возражал ей, — рассматривая ситуацию с нынешней точки зрения, то есть внеисторично, — считая его поздние стихи лучшим из всего, что он создал.

Кажется, она еще говорила: может быть, ему страшно было представить продолжение своей жизни, наполненной второстепенными для него занятиями... скучную череду дней... зависимость от царя, безденежье... непонимание и охлаждение к нему публики... Что бы он делал: сидел в архиве? писал историю? издавал «Современник»?

— Ну почему же только архивы, только «Современник»? А стихи? А проза? «Обитель дальная трудов и чистых нег»? Ему было уже 37 лет. Ему было только 37 лет!

И разве всей дуэльной истории, всей «биографии» не предпочли бы мы еще десять, двадцать, сто его стихотворений?

Но вполне представим еще один, самый страшный вариант: развилка судьбы, распутье имело, как в русской сказке, не две, а три возможности:

Если бы Пушкин убил Дантеса,
Что началось бы: погиб повеса!
Нет, в самом деле, каков сюжет!
В храме на Невском рыдала б месса,
Съехался б весь петербургский свет.

Кавалергарды бы шли за гробом.
Жалась бы, плача, толпа к сугробам:
Что за красавчик! А как любил!
А и убит-то он эфиопом.
Приревновал его и — убил.

Дома у Пушкина мрак и слезы.
Выйти из дома нельзя: угрозы,
Что ни гвардеец, то мститель. Царь,
Церковь — всё против него, отбросы
Публики и клевета, как встарь.

Хуже, чем встарь. Веселей — в могиле!
Даже Жуковский смушен: не ты ли
Жар раздувал и копил грехи?
Господи, мы бы его любили
Лишь за стихи, за стихи, стихи!

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ



РУБИЩЕ ПЕВЦА: МАНДЕЛЬШТАМ И ЙЕЙТС

1. Уплывшая визитка

Есть люди, отлично ладающие со своей одеждой, и есть те, что находятся с ней в вечном конфликте. Осип Мандельштам принадлежал ко вторым.

Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне *топорщится пиджак*, —

сказал он в 1931 году, что можно было бы отнести на счет топорной работы Москвошвея. Но еще в 1914 году, когда никакого Москвошвея не было, он заметил в стихотворении «Автопортрет»:

В поднятьи головы крылатый
Намек — но *мешковат сюртук*.

Это не случайный сигнал; кажется, что в самом заострении внимания на пиджаке, сюртуке, вообще одежде скрыта проблема самоотжествления поэта в том мире видимостей,

Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.

(«Феодосия», 1920)

Примечательно, что основательнейшая книга Г. Фрейдина о Мандельштаме и его авторепрезентативных мифах называется, если перевести на русский, «Разноцветное одеяние»¹. В оригинале здесь библейская цитата, ставшая английской идиомой: «A Coat of Many Colors». Согласно Библии, «разноцветную одежду» Иаков подарил своему любимому сыну Иосифу, что, как мы помним, и переполнило чашу терпения его завистливых братьев.

К этому же одеянию отсылает У.-Б. Йейтс в стихотворении «Плащ» («A Coat»):

«Я сшил своей поэзии плащ, от шеи до пят покрытый узорами старых мифологий; но шуты схватили его и стали красоваться перед миром, как будто они сами его сшили. Поэзия, оставь им эту забаву, куда интересней ходить нагим». (Подстрочник.)

Кружков Григорий Михайлович — переводчик, поэт, эссеист. Родился в 1945 году. Автор нескольких оригинальных поэтических книг и многочисленных переводов из английских и американских поэтов — классических (от Джона Донна до У.-Б. Йейтса) и современных. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Арион» и др.

¹ Freidin Gregory. A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Representation. Berkley, 1987.

Характерно, что Йейтс, говоря о поэзии, говорит о костюме, то есть об образе поэта. Образ в эстетике Йейтса первичен, точно найденная маска предшествует речи. «Узоры старых мифологий» значили много в первый период его творчества (так и хочется сказать «дореволюционного творчества», потому что переломным для Йейтса годом был 1917-й — год его женитьбы и зарождения книги «Видение»), но чем дальше, тем больше искушает поэта прямая речь, шекспировская драма, — и, конечно, концовка стихотворения «Плащ»:

For there's more enterprise
In walking naked
(куда интересней ходить нагим), —

напоминает о короле Лире в сцене бури, срывающем с себя «заимствования» (то есть одежды), и вместе с ними — все свои прежние иллюзии и заблуждения.

Но это случится позже. А в юности Йейтса заповедь Оскара Уайльда: «Создай себя, будь сам своим стихотворением» — казалась незыблемой. Средством самосоздания для поэта символистской эпохи было обретение маски, позы, театрального костюма. «Первая обязанность в жизни — приобрести позу, какова вторая, это пока никому не известно» (Уайльд). «Счастье зависит только от решимости присвоить чужую маску», — писал Йейтс в 1917 году; но мы чувствуем, какая внутренняя борьба стоит за этим «только».

Счастье, — говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

(С. Есенин, «Черный человек»)

Труд самоопределения в молодости тяжел, в молодости поэта — тяжел вдвойне. Есть ироническая параллель между многоцветным плащом Йейтса, который он сшил для своей поэзии (тем, что потом украли «шуты»), и визиткой Парнока, в которую портной-художник вдохнул жизнь и плавность, сказав: «Иди, красавица, и живи! Щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся!» («Египетская марка»).

Впрочем, покрасоваться в ней Парноку не удалось, как и в рубашке с «пикейной грудкой»; все это было отнято у него неким загадочным ротмистром Кржижановским. Именно этот ротмистр в последней главке укладывает в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки и отбывает на Московский вокзал. «Визитка, поджав лапы, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись — шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни и покровом и молодой душой». Все правильно. И напрасно Парнок горячится, мечтая о реванше:

«Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет.

Вот только одна беда — родословной у него нет. И взять ее неоткуда — нет, и все тут!..»

Обратим внимание, как вопрос об одежде Парнока увязывается с его родословной: чтобы выйти в люди, важно и то, и другое. Победа ротмистра, в сущности, предопределена дуэлью их фамилий: несерьезный суффикс «-ок» в фамилии крещеного еврея — и шляхетская, подчеркнута христианская ротмистра (Кржижановский, от польского «krzyz» — «крест»).

2. «По улице меня везут без шапки»

Есть одна черта, парадоксальным образом роднящая Йейтса и Мандельштама, — их наследственная маргинальность в родном языке и в поэзии. В определенном смысле роль ирландцев в английской литературе XX века сравнима с ролью писателей-евреев в литературе русской; достаточно назвать имена, с одной стороны, Уайльда, Йейтса, Джойса, Грейвза, а с другой — Мандельштама, Пастернака, Бабея. Эта роль может быть примерно определена отношением бродильного вещества к опаре. При всей несхожести «хаоса иудейского» и «хаоса ирландского», общее между ними определяется словом «хаос» — это нечто стихийное, неуправляемое, чуждое цивилизованному европеизму. Характерна судьба Джеймса Джойса, который всю жизнь боялся и бежал «ирландского хаоса», чтобы вечно возвращаться к нему в своих книгах. Йейтс, бунтуя против прогресса, воспел «кельтские сумерки», он старался гармонизировать и сам хаос, но в итоге признался: «Безумная Ирландия сделала меня поэтом».

В Мандельштаме соединились оба полюса: гармонизирующее начало доминирует на раннем этапе; но и «джойсовский комплекс» ощутим, особенно в прозаических вещах — «Египетской марке», «Четвертой прозе». Даже его сравнительно прохладная книга воспоминаний «Шум времени», едва коснувшись этой темы, вдруг обдаёт духотой и запахами плоти, как блумовские главы «Улисса»: «хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый *утробный мир*, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался — и бежал, всегда бежал». И еще: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. *О, какой это сильный запах!*» (Курсив мой. — Г. К.)

Сложные отношения притяжения-отталкивания, связывающие Мандельштама с родительским наследием, напоминают одновременно о Стивене Дедалусе (отталкивание от отца и его религии) и о Блуме (отталкивание от прародины). В ранней статье «Скрябин и христианство» Мандельштам пишет о Риме как о бесплодной, безблагодатной части Европы и идейно объединяет его с безблагодатной Иудеей. Сравните с блумовским определением Палестины: «Бесплодная земля, пустыня... Ей больше не рожать. Стара. Старушечья... седая, увядшая манда мира»². Иудею Мандельштам противопоставляет Элладе, и это не его личная идея, а модная в то время концепция (см., например, у Флоренского), выдвинутая еще в 1869 году Мэтью Арнолдом, по мнению которого английское общество было слишком иудаизировано, то есть закоснело в традициях и практицизме. В первой главе «Улисса» Бык Маллиган говорит Стивену, что надо, мол, эллинизировать Ирландию. В таком контексте и следует читать утверждения Мандельштама о внутреннем эллинизме русского языка. Любопытно, что логика статьи «О природе слова» связывает *символизм* с *иудаизмом*. Вот пропущенные звенья:

акмеизм — благодатность — вечность — *эллинизм*;
символизм — догмат — абстрактность — *иудейство*.

По-видимому, можно говорить, что в дальнейшем у Мандельштама происходит переоценка этих идей — одновременно с переоценкой дилеммы хаоса — гармонии, с отходом от первоначального «классицизма». В любом случае недооценивать еврейскую тему у Мандельштама нельзя, здесь — один из важнейших, чувствительнейших нервов его поэзии. Порой эта тема звучит явно, как в стихах про Иосифа в Египте — «Отравлен хлеб и воздух выпит...» (1913), или про черное солнце Иерусалима — «Эта ночь непоправима...», «Среди священ-

² A barren land, bare waste... Now it can bear no more. Dead: an old woman's: the grey sunken cunt of the world.

ников левитом молодым...» (1917), но чаще — под сурдинку, причудливо смешиваясь с другими темами. Пример — стихотворение 1916 года «На розвальнях, уложенных соломой...». Не странно ли, что поэт, только что «принимавший в подарок» Москву от Марины Цветаевой, создавший беспримечной красоты стихи о кремлевских соборах, где русская и православная лексика столпились тесней, чем церкви на Соборной площади Кремля (слово «русский» употреблено четырежды в шестнадцати строках), — не странно ли, что он вдруг пугается и пишет стихотворение, в котором отождествляет себя с самозванцем? —

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам везут меня без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Но ведь и Парнок в «Египетской марке» боялся, что его выведут отовсюду, «возьмут под руки и фьюить», причем он думает об этом, глядя, как

«по городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически-цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу».

Не случайно «дикая парабола» совпадений связывает этот отрывок со строками про то, как ранней весной («сырая даль от птичьих стай чернела») связанного «царевича» везут по Москве — «на розвальнях, уложенных соломой». Это связь темы Парнока с темой Лжедмитрия, еврейства с самозванством.

Выразителен и другой отрывок — сон Парнока, где опять его куда-то насильно везут «по снежному полю», везут в какое-то еврейское изгнание: «меня прикрепили к чужой семье и карете», и над полем «свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупно отмеривая желтый и почему-то позорный свет».

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Не сказано: «глядели», но физически ощущаются отторгающие взгляды — не те же ли самые, какими потом будут глядеть на него «глаза писателей русских», умолая: подохни! — в «Четвертой прозе».

В лирике действуют законы компенсации, которые часто не принимают во внимание. «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него», — это отщепление автора от человека мучило не одного Мандельштама. О маске поэта, создаваемой по принципу антитезы, постоянно размышлял Йейтс. Суть творчества, по его мнению, — «бегство человека от предначертаний гороскопа, попытка вырваться из паучьей сети звезд».

Аверинцев отмечает как особенность мандельштамовского стиля «постоянную, равномерную торжественность тона», классическую важность и серьезность. Но не является ли она, с психологической точки зрения, заслоном против самого себя — «ходячего анекдота», по выражению Гумилева, или «персонажа картины Шагала», как деликатно пишет Н. Павлович в своих воспоминаниях, против пресловутой еврейской суетливости, традиционно презираемой «настоящими» русскими — от Чехова до Блока, короче говоря, разве это не типичное «анти-Я» в терминологии Йейтса?

Эта маска у Мандельштама будет потом коробиться и прорываться, как у всякого живого, меняющегося поэта. К наследственной инородности добавится социальная отверженность — и еще та неизбежная несовместимость, которая, по словам Цветаевой, есть родовой признак певца в этом «христианнейшем из миров».

Таков Кумал, сын Кормака, в рассказе Йейтса «Распятие отверженца» (1897) — бродячий бард и гордец, нарушающий покой спящего монастыря. Он

недоволен холодной кельей и заплесневелым хлебом, вонючей и горькой водой для питья. «О монахи, род трусливый и лукавый, — бранится он, — гонители и теснители бардов, ненавистники жизни и счастья! Чурающиеся правды и не владеющие мечом! О род, подтачивающий кости народа своей трусостью и коварством!»³ Игумен просыпается и спрашивает, что за шум.

«— Это бродячий скоморох, — отвечает привратник. Он недоволен хлебом и питьем, недоволен водой для умывания и одеялом. И он проклинает вас, отец настоятель, и вашего батюшку с матушкой, и дедушку с бабушкой, и всех ваших сродников.

— Проклинает в стихах?

— В стихах, с двойной рифмой в каждой строке».

Двойная рифма, как известно, удваивает силу проклятия. И тогда, чтобы заставить певца замолчать, монахи связывают его и окунают в ледяную реку, а наутро по приказу игумена распинают его на кресте. Когда все — монахи и нищая братия — уходят с места казни, волки подкрадываются к распятому и вороны, кружась, спускаются все ниже и ниже. Последние слова поэта обращены к зверям и птицам:

«А потом, все разом, птицы обсели ему голову, плечи и руки и стали клевать, а волки стали грызть ему ноги.

— Отверженцы, — стонал он. — Что же вы ополчились против отверженца?»

Такова судьба бродячего барда, предсказанная Йейтсом за сорок лет до того, как Мандельштам написал свои ругательные стихи о кремлевском отце настоятеле. И казнь предсказана, и волк, и даже мотив: «свой своего не признали», как в «волчьем цикле» Мандельштама, смысл которого, по определению его вдовы, — «отщепенство, непризнанный брат»⁴.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

«Отверженцы, что же вы ополчились против отверженца?»

3. Бродячие барды

Пожалуй, нигде в Европе звание поэта не было традиционно окружено таким ореолом, как в Ирландии. Средневековые школы бардов перестали существовать лишь в XVII веке, когда были лишены своих владений и изгнаны последние ирландские эрлы — покровители поэзии. Множество бесприютных бардов оказались тогда на дорогах, песней зарабатывая себе на кусок хлеба или кружку пива, вспоминая старые времена и красноречиво ругая новые порядки. Между прочим, мемуаристы сравнивали Мандельштама со странствующим дервишем⁵. На мой взгляд, он больше походит на какого-нибудь ирландского бродячего барда семнадцатого века — не стихами, а выброшенностью из прошлого, тоской по нему:

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...

Не будем судить лишь по внешности. При всей разнице в судьбах, у башневладельца, сенатора и лауреата Йейтса было многое в духовном и родовом наследстве, что роднило его с преследуемым «отщепенцем» и «государственным преступником» Мандельштамом. Йейтс чувствовал и говорил не только

³ Цитируется перевод Е. Суриц.

⁴ Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970, стр. 205.

⁵ «Осип Мандельштам и его время». М., 1995, стр. 215.

за себя лично, но и от имени всей отверженной касты певцов; он говорил от имени народа материально и духовно ограбленного, у которого отняли родной язык, обрекли на бесправие и массовую эмиграцию.

Не случайно у Йейтса так много стихов о бродягах: он сам был вечным странником духа. Вспоминается его поэма «Странствия Ойсина», «Песня скитальца Энгуса», баллады «Как бродяга плакался бродяге», «Дорога в рай» и другие — вплоть до «Буйного старого греховодника», ловко связывающего свою любовь к женщинам с любовью к холмам:

Because I am mad about women,
I am mad about the hills,
Said that wild old wicked man
Who travels where God wills.

(«Оттого, что я люблю женщин, я обожаю холмы, — сказал буйный старый греховодник, бредущий Бог весть куда»⁶).

«Холмы» — одно из любимых слов и Йейтса, и Мандельштама, так же как и «блуждания».

Для Йейтса выражение «скитальческая душа» было не просто романтической фразой: он верил в метемпсихоз, переселение душ, был практикующим оккультистом. В своей книге «Видения» он даже формулирует законы такого переселения в соответствии с фазами луны — эту мудрость ему надиктовали духи.

«Признаешь ли ты, что смерть противоположна жизни?» — спрашивал Сократ в «Федоне». — «Признаю». — «И что они происходят друг из друга?» — «Да. <...>» — «Значит, наши души вновь живут в следующем мире». — «Кажется, что так».

Йейтс доверял такому авторитету, как Сократ, в вопросе о бессмертии души. Странствуя, он искал путей в следующий мир, на каждой станции расспрашивал о дороге и доверчиво выслушивал всех — темных бродяг и загадочных чужестранцев.

Мандельштам тоже был странником, хотя и несколько в ином роде. Он не стремился познать запредельное, полагая (как и Гумилев) все такие попытки нецеломудренными, презирал теософию, называя ее «мировым шарлатанством», — но «свое родство и скучное соседство» он презирал еще больше. В конце концов, мистика — такая вещь, что сколько ни гони ее в дверь, она влетит в окно. С первого поэтического вздоха, со «сказанного по ошибке» слова начинаются долгие блуждания духа.

4. Полет Герiona

Первая книга Мандельштама была сначала объявлена как «Раковина». Раковины бывают разные, но вряд ли мы ошибемся, предположив, что автор имел в виду звучащую раковину — ту, которую дуют, или ту, которую поднося к уху, чтобы услышать ее спрятанную музыку. Такая раковина — центральный образ «Песни счастливого пастуха», открывающей первый раздел в итоговом Собрании стихотворений Йейтса:

Ступай к рокочущему морю
И там ракушку подбери —
С изнанкой розовой зари —
И всю печаль свою, все горе
Ей шепотом проговори
И погоди одно мгновенье:
Печальный отклик прозвучит
В ответ, и скорбь твою смягчит
Жемчужное, живое пенье,

⁶ Сравни у Мандельштама: «Земли девической упругие холмы / Лежат спеленутые туго».

Утешит с нежностью сестры:
Одни слова еще добры,
И только в песне — утешенье.

Запомним эту морскую раковину Йейтса, которой он доверил свои первые поэтические звуки, в особенности запомним ее витую, спиральную форму: она еще аукнется в поздних стихах и прозе Йейтса.

Путь Мандельштама — от раковины к камню, от теплого дыхания, затуманивающего окно вечности, к тяжести давящих глыб подземелья. В «Разговоре о Данте» (1933) Мандельштам спускается вглубь «Божественной комедии» с молотком геолога, исследуя строение ее каменных пород, ее кристаллографические формы. Тем интереснее, что взгляд его не упускает и *воздушной спирали*, вставленной в каменную воронку Ада, — полета змея Герiona, на котором Вергилий с Дантом планируют на дно восьмого круга.

«Спускайся широкими и плавными кругами», — говорит Вергилий змею, и Герion слетает в пропасть по нисходящей спирали:

Как сокол, мощь утратив боевую,
И птицу, и вабило тщетно ждав, —
Так что сокольник скажет: «Эх, впусти!» —

На место взлета клонится, устав,
И, опоясав сто кругов сначала,
Вдали от всех садится, осерчав...⁷

Или в дословном переводе (ведь Мандельштам читал текст в подлиннике): «Как сокол, долго паря и не видя ни добычи, ни приманки, на призыв сокольника: „Назад!“ — спускается устало, прежде стремительный, описывая множество кругов, и садится поодаль от хозяина, удрученный и злой...»

Комментарий Мандельштама:

«И, наконец, сюда врывается соколиная охота. Маневры Герiona, замедляющего спуск, уподобляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв понапрасну, медлит вернуться на оклик сокольничего и, уже спустившись, обиженно вспархивает и садится поодаль».

Здесь — точка, на которой скрещиваются взгляды русского и ирландского поэтов. С этого же дантовского образа начинается Йейтс свое знаменитое стихотворение «Второе пришествие» (1918):

Шире и шире кружа в воронке,
Сокол сокольничего не слышит,
Связи распались, основа не держит...⁸

Это картина мира, сорвавшегося с оси. Слово «гуге» (спираль, круги), которое употребляет здесь Йейтс, — один из его ключевых символов, описывающих путь души и истории. Конус, проникающий в конус, спираль, расширяющаяся и снова сходящаяся в точку, — таков, по Йейтсу, внутренний закон всякого развития. В структуре дантовских Ада, Чистилища и Рая он не мог не узнать знакомых конусов и воронок.

Полет Герiona — не только воздушный чертеж, но и динамическая диаграмма йейтсовской спирали. Голос сокольничего — центростремительная сила, строптивость сокола — центробежная. Как ракета, преодолевающая земное притяжение, так душа, обладающая центробежным импульсом (строптивостью), но удерживаемая осевой, возвращающей силой, движется по винтовой линии. Нормальный цикл души: сперва осознание своей индивидуальной воли («антитетичности» в терминологии Йейтса), раскручивание спирали — а затем возврат, скручивание.

⁷ «Ад», XVII, 127 — 132. Перевод М. Лозинского.

⁸ Перевод А. Сергеева.

Когда сокол не слышит сокольного, возникает ситуация абсолютной непокорности, круги могут пойти вразнос; таков, например, бунт Сатаны. Во «Втором пришествии» эта ситуация предвещает конец исторического цикла, рождение Антихриста. Причем «зверь» Йейтса — как бы тень, отброшенная на землю строптивым соколом, а извилистый след этого зверя-змея на песке — проекция воздушной спирали, с которой начиналось стихотворение.

«Мрак возвращается вновь; но я уже знаю, *что двадцать столетий тяжкого сна прерваны кошмаром* качающейся колыбели; и знаю, какой мерзкий зверь, дождавшийся своего часа, *ползет к Вифлеему*, где Он должен родиться» («Второе пришествие», подстрочник).

В 1936 году, когда нацисты в Германии и коммунисты в Советской России были на вершине власти, Йейтс цитировал эти свои стихи как пример сбывшегося предсказания. Поразительно, что в январе 1937 года Мандельштам пишет стихи («Что делать нам с убитостью равнин...»), где образ ползучего зверя-Антихриста почти дословно совпадает с йейтсовским, включая мотив ночного кошмара:

И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда?

5. Прощание с Итакой

Фигура Данта оказывается в центре рассуждений Йейтса о поэтической маске — главной идее его философского эссе «*Anima Homini*» («Душа человеческая», 1917). Йейтс пишет, что для поэта характерно отталкивание от своей личности, ибо «из распри с другими людьми проистекает риторика, из распри с самим собой — поэзия». Мысли Йейтса о подражании героическому идеалу, игровом характере этого подражания, впрямую соотносятся с известным высказыванием Мандельштама о христианском искусстве как о «подражании Христу». Сравните:

«Несколько лет назад я пришел к мысли, что наша культура с ее доктриной искренности и самовыражения сделала нас слабыми и пассивными и что, может быть, Средневековье и Возрождение не зря стремились к подражанию Христу или какому-нибудь классическому герою. <...> В моем старом дневнике есть такая запись: „Счастье, мне кажется, зависит лишь от решимости присвоить чужую маску, лишь от перерождения во что-то другое, творимое в данный миг и без конца обновляемое, *в игре ребенка, которая избавляет его от бесконечной муки самовоплощения...*”⁹

«Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть *отпущение мира на свободу* — для игры, для духовного веселья, для свободного „подражания Христу”» («Скрябин и христианство»).

Легкость этой игры, конечно, относительна. Согласно Йейтсу, жизнь поэта или героя определяется выбором своего «анти-Я», который подвигает его на «самое трудное дело из всех возможных». В стихотворении «*Ego Dominus Tuus*» он пишет о Данте:

...Себя ли
Он выразил, в конце концов? Иль жажда,
Его снедавшая, была тоской
По яблоку на самой дальней ветке?
.....
И впрямь, он резал самый твердый камень.

⁹ Yeats W. B. *Mythologies*. N. Y., 1969, p. 333 — 334.

Ославлен земляками за беспутство,
 Презренный, изгнанный и осужденный
 Есть горький хлеб чужбины, он нашел
 Непререкаемую справедливость,
 Недостигаемую чистоту.

С «непререкаемой справедливостью» дело, по-видимому, обстоит так же, как и с «недостагаемой чистотой». Йейтс предполагает, что в жизни Данту пришлось бороться не только с вожделениями, но и с несправедливым гневом. Впрочем, бешеность прорывается и в его поэме — вопреки ее эпическому тону. Не то ли происходит и с Мандельштамом в «Четвертой прозе» (1930), когда оборотной стороной его «поэтической правоты» оказывается неуправляемая ярость?

«In mezzo del cammin del nostra vita — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет».

«Четвертая проза» говорит о темпераменте поистине дантовском, о вспышках гнева, когда не разбирают правого и виноватого (так несчастный Горнфельд оказался причислен к «убийцам русских поэтов»).

Двадцать шестая песнь «Inferno», рассказ о последнем странствии Одиссея, — глоток свежего морского воздуха в духоте и дыме адского подземелья. Разумеется, Мандельштам не мог пройти мимо этого сюжета. Он расстался с Одиссеем в «Тристиях», благополучно доведя его до родной Итаки:

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
 Одиссей возвратился, пространством и временем полный¹⁰.

Но Одиссей не смог усидеть дома. Так же как «буйный старый греховодник» Йейтса, просивший у «старика на небе» лишь одного: чтобы не дал ему «умереть дома на соломе». Так же как сам Мандельштам, получивший наконец спокойную гавань, казенную квартиру, — и тут же возненавидевший ее, как засасывающую трясиину:

Квартира тиха как бумага —
 Пустая, без всяких затей, —
 И слышно, как булькает влага
 По трубам внутри батарей.

Легко ли ему усидеть в этом болоте (где «лягушкой застыл телефон»), слушающая идиотское бульканье влаги? И Мандельштам восклицает «пора», как Одиссей. И покидает свою унылую Итаку ради странствия, обещающего ему океанскую полноту смерти вместо ущербной дольки жизни. Тоске изгнания и чужбины: «Кольца ада — не что иное, как круги эмиграции» — он противопоставляет вольную эмиграцию смерти:

«Обмен веществ самой планеты заключен в крови — и Атлантика всасывает Одиссея, проглатывает его деревянный корабль».

Как и Мандельштам, Йейтс догадывается, что старость — та же эмиграция, когда собственная страна — любая страна — становится чужбиной. «Эта земля не для старых» («That is no country for old men»), — пишет он об Ирландии в первой строке «Плавания в Византию».

Йейтсовский образ старости одновременно безжалостен и патетичен: «Старик — жалкое зрелище, рванье на палке». Поза драного чучела, пародирующая

¹⁰ Между прочим, эти строки являются как бы звуковым эхом «Одиссеи», они оркестрованы на греческое слово *rolla* (много), ключевое для начальных строк гомеровской поэмы.

позу распятия, возвращает нас к романтическим преувеличениям йейтсовской молодости — к барду Кумалу, к символической «Розе, распятой на кресте времен».

Трагический жест превращается в комический, а то, что было когда-то героическим *плащом* или *одеянием*, — в ветошь, в заношенное *пальто* (многозначность английского слова «coat» способствует таким трансформациям).

Наконец, в трижды повторяющемся рефрене «Привидений» (1936) одежда совсем отделяется от человека, превращаясь в чистую квинтэссенцию страха:

Пятнадцать призраков я видал;
И худший — пальто на вешалке¹¹.

Так реальность оказывается страшнее сверхъестественных ужасов. По-видимому, сходным образом следует понимать и строки из стихов Мандельштама «Жил Александр Герцевич...» (1931):

Нам с музыкой-голубую
Не страшно умереть,
А там вороньей шубою
На вешалке висеть...

«А там» — значит, после смерти. Если «воронья шуба» есть одежда плоти, как иногда толкуют, почему плоть после смерти собирается «висеть» — если только автор не рассчитывает быть повешенным? Йейтсовская параллель помогает навести на резкость смысл стихов Мандельштама. Старое пальто, висящее на вешалке отдельно от своего хозяина и остающееся там висеть даже после его смерти, — ужаснейшее из привидений. При этом выражение «воронья шуба» несет двойную нагрузку: «воронья» в идиоматическом значении слова значит «худая», «негреющая», но здесь она еще и готова зловеще каркнуть к ночи. Как в очерке «Шуба» (1922): «Отчего же беспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи, — соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась». Так можно сказать про птицу — пожалуй, что и про ворона, залетевшего ночью в окно: «Сел, — и больше ничего»¹².

Воронья шуба ассоциируется с чучелом черной птицы, что сродни вороньему пугалу Йейтса. При всей своей обыденности, эти образы сохраняют известный драматизм, даже ироническую приподнятость. Как и подобает старому театральному реквизиту.

Так тема ряжения завершает у Йейтса свой круг. Поэт избавляется от ходуль (стихотворение «Высокий слог») и покидает размалеванную сцену, чтобы вернуться в каморку своего сердца — грязную лавочку старья¹³.

Тема одежды проходит замкнутый цикл и у Мандельштама. От новенькой визитки Парнока, похожей на играющего дельфина, до кожаного пальто Эренбурга, которое сопровождало поэта в сибирскую каторгу. Костюм человека — его двойник, его тень, его роль. Каждый шаг в жизни — с неуклюжей молодости до неприглядной старости — примерка, трудное привыкание к самому себе. Вспомним последнюю главу «Шума времени», где мотив литературной шубы повторяется несколько раз на разные лады. Видно, как примеряет Мандельштам к себе эту шубу, привыкает и уговаривает, что «нечего здесь стыдиться», и все-таки что-то его смущает: «Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе».

¹¹ Перевод А. Сергеева.

¹² Perched, and sat, and nothing more. (Edgar A. Poe, «A Raven».)

¹³ Пора вернуться на круги своя —
В каморку сердца, лавочку старья.

(«Цирк гасит огни», 1938)

Все всегда не так. «Литературная пушнина» тяжела и «не по чину», но и «чистый еврейский литературный жилет» не лезет, трещит, как заячий тулупчик на Пугачеве. Развязка наступает в «Четвертой прозе»:

«Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза обегу по бульварным кольцам Москвы».

Тот же жест короля Лира, срывающего с себя одежду под ледяной бурей.

«...Человек не приспособлен — бедная, голая двуногая тварь... Прочь эти заимствования! Расстегните мне здесь. *(Срывает с себя одежду.)*»

Судьба предусмотрела страшный, шекспировский финал. Зима. Люди в отрепьях. Каторжная холодная «баня». Последним жестом Мандельштама на этом свете, если верить рассказу лагерника Ю. Моисеенко, был жест раздевания.

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ

Кстати о мифах. Когда на экране шампунь пузырится — это не он, а взбитые яичные белки. Слой карамели и шоколада — просто клей... Кока-кола — вода, подкрашенная йодом. Вафли, покрытые шоколадом, на самом деле деревянные, покрашенные коричневой краской... Натуральные продукты так красиво не снимаешь.

«Аргументы и факты», 1999, № 13.

Как это я угодила в target group Виктора Пелевина? (По-русски сказать — в круг его адресатов; но подмывает позаимствовать из его последнего романа профтермин рекламщиков.) Газетная критика вокруг «Generation 'П'»¹ (а в значительной части — и вокруг «Чапаева и Пустоты») свелась к тому, что серьезным людям в этой group делать нечего. В лучшем случае можно позабавиться тем, как здорово Пелевин сварганил коммерческий хит (мнение А. Архангельского), или приуныть из-за того, что в своей промежуточной зоне между массовой и «настоящей» литературой он не развернулся с прежним блеском (констатация А. Гениса). В целом же скорые на отклик газеты писали о пелевинской новинке либо шутя («Душка Пелевин» — так называлась одна из колонок), либо с раздражением, не пропорциональным явлению, его вызывающему.

Короче, наиболее авторитетный приговор наиболее авторитетных людей состоит в том, что Пелевин этот — он для «ботвы». Для черни непосвященной. Или, что то же самое, — для инфантилов: «„Generation 'П'” как зеркало отечественного инфантилизма», — гласит подзаголовок рецензии А. Немзера («Время MN», 1999, 26 марта). А между тем передо мной текст, задавший мне серьезную умственную работу. Каково после этого почувствовать себя ботвой и инфантилом! Прямо-таки невыносимый *когнитивный диссонанс!* (Излагая в своем давнем качестве «референта» какой уже не помню англоязычный трактат, я перевела это терминологическое сочетание как «познавательный сбой» и гордилась находкой. Впрочем, это были годы, когда, по свидетельству пелевинского романа, даже невинное слово «дизайнер» казалось лишь временно разрешенным. Теперь переводить вообще не принято, и я повстречала на пелевинской странице «когнитивный диссонанс» как милого старого знакомого, вернувшего меня на четверть века назад. Да, весь текст Пелевина — волапук. Только не «серых переводов с английского», как тут же добавляет Немзер, а живого, вездливого арга. Что делать, если в очередной раз «панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет», а вещи — просто лезут в глаза...)

Так — в газетах. Не то — в Интернете, куда Пелевин забросил отдельные главы романа, прежде чем выпустить его книжкой. Там-то, среди «долгожителей Сети», видимо, и обитают те самые «разновозрастные инфантилы», высмеянные критиком. Роман их всерьез заинтриговал. Для меня же это был совер-

¹ М., «Вагриус», 1999, 302 стр.

шенно новый мир, в который я погрузилась благодаря любезно предоставленной Сергеем Костырко распечатке. Не буду касаться существа пяти (!) рецензий, помещенных здесь Антоном Долиным из «Эха Москвы». Они писаны как бы пятью социально-типическими читателями — от восторженного юнца, почитающего в Пелевине гуру, до ретрограда, обличающего автора в рекламных трюках и наживе. Сочти я Пелевина плагиатором (а таковым он и представляется некоторым моим коллегам), я решила бы, что этот пяток откликов сочинил он сам. Но, полагая его человеком умным («Ум не спрячешь ни за каким стебом», — справедливо замечает один из поселенцев Сети) и писателем *в конечном счете* серьезным, не думаю, чтобы он рабски скопировал известный жест Дмитрия Галковского. Так или иначе эти рецензии можно бы поместить в конце вагриусовской книжки, как аналогичные помещены в конце «Бесконечного тупика». В остальном эта выдумка меня не заняла, хотя я не прочь узнать, что думает с а м Антон Долин.

Но две находки из сетевого улова я все же представляю — они пригодятся. Андрей Минкевич (minkevich@yahoo.com):

«Язык книги далек от русского литературного настолько же, насколько далек от него современный разговорный язык... это язык яппи (что означает всего лишь YUP, Yung Urban Professional, молодого городского профессионала). Иные наслоения смысла на понятие яппи (альтернатива хиппи, бездуховность, карьеризм и проч.) прошу считать недействительными. Например, я являюсь молодым городским профессионалом, но мне симпатичны идеи хиппи, малоинтересны карьера и деньги, зато интересны духовные и религиозные ценности и т. п. Словом, не стреляйте в яппи, среди них могут быть хорошие люди. Среди пользователей российского Интернета яппи около 90 или 99 процентов, так что эти понятия в значительной степени совпадают. Одним словом, это мой язык... Русско-английский язык Пелевина мне много понятней, чем китайско-англо-русский Сорокина... Пелевин достаточно консервативен по сравнению с „авангардистами“ от постмодернизма. Для них он динозавр. ...Он пишет конкретно для меня».

([/www.russ.ru/krug/99_04_08/minkev.htm](http://www.russ.ru/krug/99_04_08/minkev.htm))

Так я узнала, кто еще вместе со мной не гнушаясь читает Пелевина. Со всем не похожее на меня лицо. (Может быть, сходство скрывается в загадочном «и т. п.»?) Лицо непохожее, но для меня привлекательное. Не хочется думать, что ботва и инфантил. А если без шуток, то сходство кроется в идеям (для кого-то наивном) интересе к написанному Пелевиным. «О чем говорил Че и является ли это голосом автора?» — спрашивает наш яппи. Но и меня больше всего заинтересовало то, что представлено в виде спиритического трактата, надиктованного духом Че Гевары, — самая скучная часть романа, по вердикту газетного большинства. В интернетовских же отзывах я натякаюсь на мысли, от которых и я собиралась плясать.

Сергей Кузнецов (kusnet@russ.ru):

«То, что весь окружающий мир оказывается мороком, — мягко скажем, не новая для Пелевина мысль. Но той беспросветности, которой веет от страниц романа, у него встречать раньше почти не приходилось. Впрочем, вот именно что почти — две выложенные в Сеть главы из „Положения 'П'“ больше всего напоминают „Омона Ра“, опрокинутого в сегодняшний день. Похоже, что Пелевин написал современный римейк собственной повести (первой, с которой он вошел в „серьезную“ литературу): вместо Омона и Овира — Вавилон и Легион, вместо Египта — Вавилон, вместо технологически нищего симулякра коммунистического Союза — компьютерная имитация постсоветской России да и всего политического мира. (Псевдо)научные вставки в текст романа делают его похожим на „Зияющие высоты“, а картина постоянной фальсификации заставляет вспомнить „1984“ („...олигархический консьюмеризм“ не мо-

жет не напомнить об „олигархическом коллективизме”, потайной идеологии оруэлловского англофа. Круг замкнулся — через восемь лет после падения советской власти мы опять вернулись к тем книгам, которые прятали от нее пятнадцать лет назад. Пелевин в очередной раз написал современную дистопию».

(www.gazeta.zu/culture/12_03_1999_pelevin.htm)

Дистопия ли, антиутопия — слово найдено. Это и есть тот жанр, который негласно принято считать маргинальным, хотя отдельные его образцы могут пользоваться немалым почетом, «почти как настоящие». Тут-то я понимаю, почему Пелевин для меня, для «не-яппи», автор нешуточный. Мое литературное воспитание началось куда раньше, чем у моих брезгующих Пелевиным коллег, притом началось в условиях «закрытого общества». И пока советская критика всячески распинала модернистские исчадия — Пруста, Джойса и Кафку, а критика «прогрессивная» их реабилитировала вплоть до полного заслонения горизонта, я в автономном плавании втихаря лелеяла кумиров своего полутроческого чтения — Анатоля Франса с «Островом пингвинов» и Карела Чапека с его «саламандрами». Запретно-тамиздатские «Мы» и «1984» явились потом, но почва для них была уже подготовлена. Горбатого могила исправит: я до сих пор считаю, что эти книги Франса (1908) и Чапека (1936) определяют интеллектуально-литературный климат исчерпанного века не меньше, чем сочинения прославленной тройки П. Д. К.

Конечно же — не стилистический климат, не творчество форм, действительно открывших новые повествовательные возможности. Франс «Острова пингвинов» — не блистательный стилизатор «Таис», не тончайший ироник «Харчевни королевы Гусиные лапы»; изумительный рассказчик и эссеист Чапек — простец в «Войне с саламандрами». Дистопия, как между делом, но справедливо заметил в своих суждениях о Пелевине А. Генис, требует чисто функционального языка, который нами не замечался бы или живо проскакивал внутрь. Это прозрачный язык антиутопий Хаксли и Оруэлла, пригодный для домашней практики студентов-англистов не самых последних курсов. Это визионерско-романтический язык Брэдбери, за пределами избранного жанра прозвучавший бы шаблонной безвкусицей, а в пространстве дистопии послуживший созданию шедевра. «Мы» Замятина как раз стилистически сомнительны, так как к изложению привлечен весь экспрессивный инструментарий, наработанный писателем ранее, но совершенно избыточный для данной задачи; книга справедливо знаменита — вопреки своему слогу. Редко-редко удается тут совместить фирменную интонацию с идейной текстурой; в этом отношении «Лаз» Маканина — большая удача, чем «Мы».

Тексты Пелевина, с их четырежды руганным, а по мне — отвечающим внутренней задаче языком, спокойно встраиваются в этот ряд великих, значительных и просто приметных сочинений, своими особыми средствами — средствами моделирующего воображения — изысняющих то, «что с нами происходит». Меня всегда волновала эта область смыслов, я пишу о ней далеко не в первый и, возможно, не в последний раз, это одна из сквозных линий моего литературного бытия. Так что вблизи Пелевина мне было суждено оказаться.

И вот в чем я уверена: он — писатель некоммерческий. (Говорю это с приязнью к коммерческой литературе, умеющей держать планку, недавно я признавалась в тяготении к Б. Акунину, — но это другое.) Пелевин, сколько бы ни выискивались источники его «коллажей», думает сам, своей головой, и, главное, думает первым делом для себя, а потом уже для нас, для тех, в кого целит. Он пишет памфлет на информационное общество, с коим входим в XXI век, потому что у него на ак и пело, а не потому, что хочет с помощью модной приманки пошустрее сбыть свой товар. Доказать его некоммерциализованность нелегко — ведь он писатель, имеющий успех вопреки самым суровым предостережениям квалифицированной критики и продающийся на неразборчивых лотках. Да я и не стану слишком рьяно доказывать. Судите сами. Есть эпиграф — симпатичный куплет из песни канадского (как меня

просветили) барда, где с полным простодушием сообщается, что автор любит свою страну, но недоволен тем, как она нынче выглядит («I love the country, but I can't stand the scene»). Есть неподдельная злость на свое поколение как по преимуществу ответственное за эту циническую scene — злость, почему-то понятая в смысле поколенческой апологии. Есть вставной фрагмент, по функции и приемам аналогичный экскурсионным разъяснениям в «Дивном новом мире» Хаксли или справке о принципах ангоца у Оруэлла и своей напористой тяжелодумностью (не снимаемой бликами пародии) способный оттолкнуть любого потребителя попсы, даже интеллектуальной. Есть, наконец, мелочи, попросту невозможные у писателя, рвущегося «рукопись продать», а не занятого своей досадой и заботой. Ну, например:

«Вообще с трудом верилось, что совсем недавно он», — герой этой истории, — «проводил столько времени в поисках бессмысленных *рифм*, от которых давно отказалась *поэзия рыночных демократий*». (Курсив мой. — И. Р.)

Конечно, можно предположить, что я и есть заранее вычисленная адресная мишень этой саркастической выходки, что я — «клонула». Но не естественней ли подумать, что мы с Пелевиным вот в этом вопросе просто единомышленники? Идеи, которые тебе не по душе, всегда соблазнительно представить в виде коммерческой операции с залежалым товаром. Идеи, которые хоть сколько-то резонируют с твоими собственными, принимаешь за чистую монету и не ищешь никакого подвоха. Поэтому обратимся к спору об идеях.

Итак, Пелевин написал сочинение из ряда тех, что принято называть «алармистскими», а по прежней советской мерке — «романами-предупреждениями». Меня подташнивает от обоих клише: за ними прячется нехитрая мысль о дидактическом назначении и прямом социальном активизме писательского слова, которое на самом деле вряд ли может что-то изменить в ходе вещей, разве что вносит в него некоторую ясность, высвобождая в обществе ресурс свободной воли. Но не могу не заметить, что сейчас наша либеральная публицистика склонна вытравливать малейшие признаки алармизма, видя в них откат гуманитарной интеллигенции к левой, в пределе просоветской и изоляционистской, оппозиционности западным ценностям («лэвэ» — liberal values — на пелевинском жаргоне). По сути, таковы были укоры Александра Носова Татьяне Чередниченко в связи с ее статьей «Радость (?) выбора (?)»² — укоры, немедленно поддержанные «референтной группой» полемиста. Точно так же и Пелевину поставлено на вид, что, обличая «общество потребления», он пускает в ход «откровенно коммунистическую риторику».

Вместе с лучшим, на мой взгляд, газетным обозревателем Максимом Соколовым я тороплюсь напомнить: чтобы прийти к некоторым неприятным выводам насчет практического применения «лэвэ», «вовсе не надо быть параноиком, начитавшимся газеты „Завтра“». Я наткнулась в «Generation 'П'» на очень немногие примеры политической риторики; они носят отнюдь не коммунистический, а — к не меньшему моему сожалению — пожалуй, «яблочный» характер:

«По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозрев-

² См. соответственно «Новый мир», 1999, № 1, 4.

ший наконец гауляйтер Восточной Пруссии. ...стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии».

И еще:

«О русской идее... напоминало только блатное обращение „россияне”, всегда казавшееся Татарскому чем-то вроде термина „арестанты”, которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону, так называемые „малявы”».

Остро, но дешево. И наверняка понравится кругу куда более широкому, чем умничающие инфантилы. Что до «прозревшего гауляйтера», обливание его помоями я до сих пор воспринимаю болезненно. Впрочем, «яблочник» вряд ли назовет Егора Гайдара «бескорыстным идеалистом», что у зоркого Пелевина имеет место...

Но ум Пелевина по преимуществу занят не политической риторикой, а политической философией, и вещи это разные. Здесь-то, именуя себя (устаами все того же канадского барда) «не левым и не правым», он если не точен, то, во всяком случае, небезоснователен. Ибо критика новейшей цивилизации размещает на своем поле неоглядную «смесь одежд и лиц» от несомненно правых (К. Леонтьев, О. Шпенглер) и либеральных консерваторов христианского толка с мерцающими надеждами на «третий путь» (русские «поствеховцы», оказавшиеся в эмиграции, особняком — Питирим Сорокин) до умеренно левых (Эрих Фромм, чьи пассажи из «Иметь или быть» Пелевин фактически воспроизводит в своем вставном трактате, сам, скорей всего, об этом не догадываясь), интенсивно левых (прочая «франкфуртская школа») и радикально левых (Г. Маркузе, контркультурные преемники его «великого отказа» и французские постструктуралисты новейшего разлива). Самое занятное, что все эти умственные несогласители разнятся в своих верованиях и рецептах спасения вплоть до полной несовместимости, но подчас очень, очень схожи в своих диагнозах. Поскольку тут — куда денешься — говорят они немалую толику правды.

Пелевин, у которого при полном равнодушии к академической учености хороший нюх на переливы идей, делает сильный ход: вызывающе смешивает лево-правые карты, превращая революционных бандитов — Че Гевару, как раньше Чапаева, — в тоже типичных для XX века «революционеров духа» (хоть Бердяева вспомните, хоть Кришнамурти). Эта неглупая игра показалась то ли кошунством, то ли коммунистической ностальгией — тем, кто вместе с Пелевиным играть не хочет. Я же — не прочь.

Раз уж мной произнесено слово «игра», отклонюсь ненадолго от главной своей философической задачи и скажу кое-что о правилах этой игры. Андрей Немзер находит пелевинскую фабулу неуклюжим сочленением двух жанровых побегов волшебной сказки — романа посвящения и романа карьеры. Оно, может быть, и так, но, думаю, вспомнить о *плутовском романе* было бы тут еще уместней. Центральное лицо, Вавилен Татарский, циник с рассасывающимися рудиментами идеализма, совершает свой «путь наверх» по подсказке некоего социального рока, будучи при этом не более героем и не более негодяем, чем, скажем, Ласарильо с Тормеса или авантюрист Феликс Круль³. Этот путь наверх символизирован восхождением на пресловутую вавилонскую башню и вообще мистифицирован в виде пастиша из шумеро-аккадской (местами —

³ Предположение, что автор специально использовал в романе фамилию «Азадовский» для дискредитации ее подлинного носителя, председателя нынешнего букеровского жюри, — в виде мести за грядущее неприсуждение премии, — предположение это представляется излишне хитроумным. Во-первых, «Азадовский» не более антипатичен, чем прочие лица этой сатирической фантазии, а во-вторых, чем тогда объяснить использование фамилии, а заодно и профессии реального анимационщика Александра Татарского? По-моему, в обоих случаях — простой бесцеремонностью. Которая, конечно, не похвальна.

иранской) мифологии и психоделических «глюков»⁴. Фабула плутовского романа как раз органически предполагает «нанизывание» эпизодов, за кое Пелевин зряшно руган, и не в нем беда повествования, а в том, что психоделическая мишура выписана с унылой дотошностью, понуждающей предположить педантичный отчет о результатах собственных опытов (в сравнении с прежними вещами Пелевина — явный проигрыш).

Свободно дробящаяся композиция позволяет вставлять множество остроумных реприз, поощрительно отмечаемых даже недоброжелателями. Вроде того что:

«Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России».

Или:

«...основной экономический закон постсоциалистической формации: первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным».

Или изобретение «монетаристического минимализма» — модного направления в дизайне: вместо художественных полотен (чего на них пялиться!) выставляются документы об их приобретении и их цене — сценка сочинена отменно.

Меня же больше привлекают не эти «приколы», а острое чувство знаковости окружающего нас барахла — своеобразная семиотика вещей, свидетельство социальной сориентированности автора в современной ярмарке тщеславия. Вот наше прошлое, при взгляде на которое Татарский решает переменить участь:

«...среди развала разноцветных турецких поделок стояла пара обуви несомненно отечественного производства... Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи. Желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф... они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы... называл „наш гештальт“».

Особенно памятна хорошая кожа. А вот наше настоящее:

«...черная униформа охраны била наотмашь: дизайнер... гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов-антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик...»

Когда же я наткнулась в книжке Пелевина на описание рекламного плаката с поэтом Тютчевым и слоганом:

«Umom Rossiyu nye ponyat, v Rossiyu mojno tolko vyerit. „Smimoff“», —

и тут же, выйдя за порог, приобрела *целлофановую сумку* с надписью «You don't get Russia with your mind», — я сочла автора «Generation 'П'» прямо-таки ясновидцем нынешнего «стиля жизни».

Но все это, конечно, пестрый сор. А важно вот что. Схема и набор ампула плутовского романа позволили Пелевину сломать основную модель прежних, анти тоталитарных дистопий, у истоков которых стояла Поэма о великом инквизиторе. В центре их (и у Замятина, и у Хаксли, и у Оруэлла, и у Брэдбери — да и у самого Пелевина в «Омоне Ра») была неременная очная ставка прозревающего героя, носителя человечности, с главным идеологом неприемлемого

⁴ Кстати, я перечитывала роман, положив перед собой двухтомник «Мифы народов мира», и убедилась, что Пелевин там, где не прибегает к пародии, неожиданно корректен (хоть и пользуется не принятыми у нас транскрипциями собственных имен).

мира, держащим руку на пульте управления. В новом романе нет ни такого героя (вместо него — пикаро), ни такого верховного жреца, ни такого центрального пульта. Не лишенный остаточного бескорыстного любопытства Татарский по ходу всего сюжета робко спрашивает у кого ни попадя: «кто и куда вовлекает» обывателя-потребителя, «ведь не могут за бабками стоять просто бабки», «а на что тогда все опирается?» — и даже получив четкий вариант ответа: «миром правит не „кто“, а „что“», подкрепленный угрозой насчет нежелательности дальнейшей задумчивости, не унимается: «Но какая же гадина написала этот сценарий?» Но и самые высокопоставленные повара искренне не ведают, кто заварил всю кашу. Не великий инквизитор, а великий Никто — в соответствии с новой эпохой открытого общества. Кажется, в книжке Льва Кассиля ребенок, услышав куплеты Мефистофеля («Сатана там правит бал»), вообразил, что есть такая персона: Сатанатам. Посчитаем и мы, что развернутой у Пелевина панорамой управляет этот как бы не существующий Сатанатам!

Я позволила себе прибегнуть к более чем привычной эмблематике, потому что Пелевин, к моему удивлению, позволяет себе то же самое. Он потому именно ухватился за месопотамскую мифологию, что она сопряжена в библейско-христианской памяти с «мерзостью моавитской», «мерзостью сидонской» (Астартой-Иштар, преобразованной Пелевиным в божество Рекламы), с «тофетом» в долине Енном, местом человеческих жертвоприношений, впоследствии — «геенной» для сжигания мусора. Телец золотой, правда, не задействован, но это неспроста: в мире виртуальных денег золото уже не играет прежней роли. Сочинитель живо ощущает старославянскую синонимию слов «потребление» — «истребление» и извлекает из нее нужные ему смыслы.

Все это без усилий укладывается в старый европейский гуманизм на иудео-христианской подкладке, до сих пор пытающийся сохранить за есопотіс тап, человеком экономическим, моральное измерение (того же хотел ведь сам автор термина Адам Смит) и время от времени напоминающий, что служить мамоне все-таки грешно.

Где же буддизм, спросите вы, где начинка и витрина пелевинской идеологии? На первый взгляд верность учению присутствует в романе чисто номинально, в виде церемониального поклона «великому борцу за освобождение человечества Сиддхартхе Гаутаме» и нескольких беглых оговорок насчет снящегося нам мира и перспективы пробуждения. Все это несколько не влияет на ход мысли в означенном традиционно-европейском русле (вплоть до патетических слов о «человеческом существе с безграничными возможностями и природным правом на свободу»), однако же, как увидим, повлияет на конечный результат.

Но пора наконец обратиться к надиктованному из загорьба трактату по «экономической метафизике» наступившего «темного века» — главному, что собрался сказать Пелевин.

«Речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия, — предупреждает через своего медиума автор. — И связано это прежде всего с той ролью, которую в жизни человека стали играть так называемые визуально-психические генераторы, или объекты второго рода».

Так на пародийно-сциентистском жаргоне поименован всего лишь... телевизор. Но через феноменологические операции с телевизором Пелевину удалось вывести привычную критику общества потребления, можно сказать, на финишную прямую.

Приведем слова Гениса из его отзыва о романе («Общая газета», 1999, № 16) — «об универсальной для современной культуры проблеме исчезнувшей реальности». (Не странно ли: каких-нибудь семь лет назад Александр Генис в новомирском эссе «Вид из окна» от души радовался тому, что в нынешнем социуме никто не озабочен поисками этой самой реальности и все зажили при-

певаючи в поверхностном мире феноменов, — а я тогда с ним спорила. Теперь — спохватился!) Так вот, Пелевин придал этому «концу реальности» конкретное экономическое измерение, показав, что кругооборот товаров и денег стал отныне эффективен только в пространстве ирреальности, которое он сам же для себя организует.

Тема манипуляции человеческим сознанием — неизбывная тема классических дистопий. Чтобы создать идеальное общество каннибальского типа, нужно изнасиловать человеческую природу, а она ну никак не поддается. («Человека можно испортить, но переделать его нельзя», — писали мы с Р. Гальцевой в статье 1988 года с соответствующим названием: «Помеха — человек».) По предположению Пелевина, человек наконец — тихо-мирно — перестал быть помехой. Его просто не стало. Из *homo sapiens* он превратился в *homo sapiens*, человека переключаемого (от *англ.* *zapping* — переключение телевизора с одной программы на другую). Превратился в виртуального «субъекта второго рода», верней, в бессубъектное состояние, регулируемое телеоператором.

В прежних дистопиях (не исключая «451^о по Фаренгейту» — пионера критики консьюмеризма) роковую роль в порче человека и подгонке его к прокрустову ложу утопических проектов играло неперемненное полицейское и телесное насилие: изошренная цензура, пытки, лоботомия, генная хирургия, психофармацев (в последнем особую изобретательность развила фантазия Станислава Лема). И посегодняя зазывные еженедельники пестрят слухами о секретном психотронном оружии и проч. Притом эти жуткие манипуляции не увязывались с ежедневной рыночной рутинной, а числились по линии военных ведомств и тотальных идеологий. И тут, пока мы, обыватели, в конспирологическом угаре ждали пришествия врача-палача, Пелевин с кривой усмешкой объявил, что уже «случилось страшное».

«Телевизор превращается в пульт дистанционного управления зрителем. ...Положение современного человека не просто плачевно — оно, можно сказать, отсутствует... это просто остаточное свечение люминофора уснувшей души...»

Преувеличение? Само собой. Любая дистопия строится на доведении тренда до логического упора — упора в абсурд. Но такое ли уж преувеличение? Могло же утвердиться в наше время понятие «информационная война» во всем угрожающем объеме. Это когда человек в Белграде и человек на Западе пребывают в двух разных телереальностях и одна стóбит другой. Не два разных взгляда на происходящее, а именно две реальности (две управляемые ирреальности)! Через четверть века после «справедливой» (пусть немцы расплачиваются за людоеда Гитлера!) бомбардировки Дрездена Курт Воннегут написал скорбную «Бойню номер пять». Через четверть века после нынешних военных событий вынырнет ли избегнувший управляемости свидетель?

Но при чем тут экономика —

«псевдонаука, рассматривающая иллюзорные отношения субъектов первого и второго рода в связи с галлюцинаторным процессом их воображаемого обогащения», —

как в сердцах формулирует крутой команданте Че?

Экономический организм, объясняют нам, должен омываться деньгами, как кровью и лимфой. Каждая человеческая особь — невольная клетка этого организма, гигантского «бессмысленного полипа», по Че — Пелевину. Зовется же полип ORANUSom, так как оральное поглощение (доход) и анальное выделение (трата) денег исчерпывают физиологию всех его составляющих. Как видим, не «дух, полный разума и воли», а опять же — великий Никто. Но наступает стадия, когда обменные процессы в оранусе стопорятся (то ли у особи-клетки всего оказывается в достатке, то ли ею овладевает скупость — страсть к омертвлению накопленного, то ли смутно вспоминается, что «не хлебом

единым...»). Тут-то возникает потребность в подстегивании, и у полипа зарождается примитивная нервная система, стимулирующая обмен денежного вещества, — телекоммуникации. Телеобразы удачливого приобретательства (оральные импульсы) и престижного расточительства (анальные импульсы) заставляют «субъекта второго рода» вертеться в беличьем колесе экономического кровообращения. Но поскольку человек по природе своей гораздо выше закрепляемой за ним функции экономической клетки («Себя забывший и забытый бог» — Владимир Соловьев), нужен еще третий, «вытесняющий импульс, блокирующий все тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег», — своего рода глушилка, создающая помехи на пути позывных высшего порядка.

Любая телепередача, по Пелевину, испускает все три импульса, обкатывая реципиента до поглотительно-выделительного состояния, — иначе телевидение выпало бы из экономических взаимосвязей, и кто бы за него стал платить? Другими словами, скрытая реклама — обязательный пропуск для телекартинки, независимо от тематики (этикетка на пачке сигарет политика важнее его слов). Но только прямая Реклама — чистый структурный тип самозамыкающегося процесса, потребного оранусу. Хотим «выглядеть» — нужно купить — хотим купить — нужно заработать — хотим заработать — нужно «выглядеть» (победителем) и т. д. Поэтому именно рекламный бизнес ведет к вершине вавилонской башни, где рисуются и стираются политические марионетки и где Сатанатам правит бал. Поэтому именно он, этот бизнес, «рождает все *посредственное многообразие современной культуры*» — отличная постлеонтьевская формула!

Вот, собственно, и все. Остальное в романе Пелевина не столь существенно, включая сюжет с анимационными ипостасями современных политиков (у этих «двойников» вообще не оказывается подлинников) — мотив, действительно использованный Львом Гурским, и не только в «Перемене мест», как уже кто-то заметил, но и в «Спаси президента». (Однако когда мы гадаем перед экраном: вот этот персонаж в новостной передаче — он из себя или из архива телеканала, мы ведь не Гурского начитались, а самой жизни нахлебались.)

Но вернемся назад. Что здесь все-таки нового в сравнении с хиппианско-маркузианскими воплями насчет «репрессивного общества», имеющими тридцати-сорокалетнюю давность? Неужто только злободневный российский антураж, некие гротескные аномалии нашего «рынка»? Нет, здесь кончиком фантазийного пера схвачена эпохальная черта, которую только-только нащупывают основательные аналитики. Фундамент экономических массивов расположился над пропастью небытия, зиждится на иллюзорных мотивациях, поскольку агенты экономического действия потеряли контакт с реальностью; они больше не решают и даже не догадываются, что им на самом деле нужно. Все это так похоже на актуальные разработки самой недавней поры: на размышления А. Неклессы над феноменом «казино-капитализма» («Знамя», 1998, № 1), на замечательный социофилософский памфлет Т. Чередниченко «„Время — деньги“ как культурный принцип» («Новый мир», 1997, № 7; ср. у Пелевина: «Виртуальный бизнес... это бизнес, в котором основными товарами являются пространство и время»), что нельзя не подивиться пелевинской интуиции. Она выводит на передовую линию.

А в то же время — вгоняет в замкнутый круг.

«Даже возникающая иллюзия критической оценки происходящего на экране является частью индуцированного психического процесса».

«...это новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных механизмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. ...Она глубоко антирыночна по форме и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию».

«...ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи».

Деться некуда. Человек переключаемый бессилён завладеть переключателем и даже — выключателем. Он окутан непроглядным мороком.

Дело, однако, в том, что проблема «конца реальности» несводима к чисто социальным фактам манипуляции сознанием людей. Это проблема онтологическая. Буддийские вкусы Пелевина не позволяют ему поверить или хотя бы предположить, что реальность гарантирована человеку свыше, что бытийность обеспечена Творцом бытия и пути к ней никогда не будут перекрыты абсолютно. Грань между относительно иллюзорным миром (майей) и абсолютно иллюзорным телемиром, грань, которую пытается провести присягнувший Гаутаме Пелевин, настолько тонка, что, право же, о разнице между тем и другим не стоило беспокоиться. Не стоило предаваться сатирическому гневу. Пробужденный равно свободен от марева и первого и второго порядка.

Другое дело: признать, что мир — существует. Тогда утрата его венцом творения, человеком, падение в истребительный огонь мнимостей, о чем так красочно поведал Пелевин, — тревожный цивилизационный тупик, обман, из которого императивным образом велено выбираться и поодиночке, и сообща. Раскусить обман можно, только сравнив его с безобманностью.

Наевшемуся мухоморов, окосевшему Татарскому кажется, что его мысли и видения равноправны

«с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать».

Вот именно. Этот лес придуман не Татарским. Этот мир придуман не нами. И в этом первый залог спасения.

Р. С. Одновременно с «Generation 'П'» я прочитала в № 2 «Постскриптума» за 1998 год повесть Бориса Евсеева «Юрод». Прочитала потому, что щедро похвалил в «Дружбе народов» (1999, № 4) Павел Басинский, критик, мнения которого мне небезразличны (хотя насчет Пелевина мы разошлись дальше некуда). Повесть мне, по чести сказать, не понравилась. Главным образом — из-за языка: экспрессионистские издержки замятинского «Мы», о которых говорилось выше, воспроизведены на посредственном уровне. Когда я читаю: «Стрепет широких и мощных крыл явственно выломился из вечернего сумрака...» — или: «...рвать зубами желтое сухое мясо злободневных, газетных мыслишек», — я с тоской вспоминаю «серый» язык Пелевина.

Но самое знаменательное: «Юрод» тоже оказался фантазмагорической дистопией. И тоже про конец, верней, про насильственное отъятие реальности. Тут, правда, все по старым лекалам: истязатель-психиатр («великий инквизитор»), он же идеолог заговора против России, наводняющий ее безумцами со своего медицинского конвейера; противящийся ему диссидент-правдоискатель; промывка и вышибание мозгов лекарственной химией; погоня за некомформистом чудовищного петуха-мутанта (вместо знаменитого механического пса у Брэдли) и чудесное спасение (в стенах монастыря, но благодаря твердой руке милиционера).

Басинскому же понравилась мысль: чтобы противостоять массивному отрыву от реальных, богоданных основ жизни (по Пелевину — «опыту коллективного небытия»), нужно выскочить вовне, стать, как это давно повелось на Руси, юродивым.

«Имморализмом, чудовищными на первый взгляд поступками крушить гадкое денежное сцепление обстоятельств! Рвать, крушить, не боясь под личиной юродства ничего». «Имморализм юрода — теснит ханжескую, мелочную и уродскую „моральность“. Попирает стяжательство и гордыню, ростовщичество и наглую рекламу, его выхваляющую».

Это мысли героя повести. Я — не против. Только вот представленные образцы «юродивых» деяний: поношение чинного монашка, у которого под рясой ока-

зывается припрятана похабная картинка, разгром современного блудилища — дискотеки, — кажутся мне книжно-газетными придумками с невыносимым градусом банальности, а пустословная риторика насчет «денежного сцепления обстоятельств» — пригодной разве что для напророченной кем-то передачи «Завтречко».

Но тут мне пришло в голову: а что, если поискать современного юродивого с «чудовищными на первый взгляд поступками» не у стен монастыря, как это делает Борис Евсеев, а в каком-нибудь непотребном месте, скажем, в среде успешливых «криэйторов»? На то ведь и парадоксальность феномена юродства. А что, если Виктор Пелевин — юродивый эпохи «лэвэ», тот, какого мы заслужили?

Юродивому пристало нарушать социальные нормы (обидная игра с фамилиями реальных людей) и даже порой сквернословить (увы!). Юродивому пристало иметь простодушных, чтобы не сказать сильнее, поклонников, а от благоразумных сограждан принимать поношения. (И действительно, респектабельная критика благоговейно поощряет демонстративное затворничество Дмитрия Бакина, всерьез, даже если и осудительно, копаются в многотомных сочинениях Вик. Ерофеева и В. Сорокина, — но Пелевина выталкивает как чужака, подозревая в его поведенческой стратегии сплошное жульничество.) Юродивому пристало утверждать некие ценности в оболочке кощунства (так, надругательством над чувствами христиан сочтена была сцена, где перепуганный, всхлипывающий Татарский пытается угодить своим профессионализмом небесам: «позиционировать Господа» в клипе о храме Христа Спасителя, — а между тем в ней, этой сцене, автор прекрасно справился с процедурой изгнания торгующих из храма). Наконец, юродивому пристало выкрикивать правду, такую, которая глаза колет. Что, по-моему, и берется делать Виктор Пелевин своим последним романом.

Конечно, не Христа ради он юродивый. Но, как говорит безумная Офелия: «Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать».



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кровь.
Роман. — «Дружба народов», 1999, № 3.

Роман Азольского начинается фразой: «Все понемножку сходили с ума, да иначе и не выжить, потому что никто не мог понять, кто кого окружил или прижал к реке; и на том, русском, берегу тоже, конечно, спятили; чей-то самолет (то ли рус-фанер, то ли свой) разбросал над замерзшими болотами двуязычные листовки: „Мы в кольце — и вы в кольце, но еще посмотрим, что будет в конце!“»

На войне необходимость противников в течение долгого времени делать одно и то же — стрелять, окапываться, хоронить, ждать писем, бить вшей, добывать прокорм — как будто уравнивает противостоящих, делает почти неразличимыми. Всех — от солдат, месяцами мерзнувших в окопах напротив друг друга, до маршалов, мотивы поведения которых легко угадываются противниками по аналогии со своими собственными.

Следующим этапом становится рождение у воюющих ощущения войны как тяжелого кошмара «коллективного самоуничтожения людей». Став бытом, война начинает казаться бесконечной, теряет изначальные смыслы. И на этом этапе возникает и складывается еще одна форма противостояния — уже не с противником, а с самой войной.

Вот об этом этапе, точнее, как бы на материале подобного самоощущения воюющих и написан роман Азольского. Герои романа, по крайней мере немцы, уже дозрели — все «понемножку сходят с ума»; и уже не кажется безусловной иронией иронично написанная сцена: 1943 год, немецкий штаб в белорусском городке: офицеры смотрят на карту Европы, «подавленные несчастьями, свалившимися на миролюбивую Германию, со всех сторон охваченную врагами, предаваемую друзьями».

Иными словами, перед нами еще одно художественное прочтение оппозиции «война и мир», принадлежащее европейскому писателю конца XX века.

Почти гротескно заостренная мысль романа воплощена в такой же гротеск-

ной форме: повествовательные приемы динамичного, полуавантюрного шпионского боевика Азольский сочетает, и вполне органично, с приемами философского романа.

В изображении реальностей войны Азольский обходится без внешней фантазмагоричности. Фантазмагоричен сам материал. В частности, центральная ситуация в романе, когда немецкий контрразведчик Скарута, обязанный обеспечить безопасность приезжего национального лидера, делает все, чтоб ничто не помешало русскому разведчику удачно совершить покушение.

Сам национальный лидер, он же — «личный друг Вождя», Вислени давно понимает, что обречен, и почти примирился с этим. Эффектная гибель его удобна сейчас и русским и немцам, а для него самого не важно, кто будет его убивать — Гитлер или Сталин. В конечном счете они для Вислени почти неотличимы.

Так же, как и для Петра Мормосова, пензенского мужика, вышибленного из разоренного большевиками семейного гнезда; умницы и умельца, поскакивавшего по городам и странам, способного при необходимости быть неотличимым и от немецкого работника, и от завсегда-тая respectableного берлинского кафе. Однажды по поручению своего начальства из русского торгпредства Мормосов, сидя в таком кафе, оказался в непосредственной близости от фюрера: «...при виде Адольфа Гитлера он испытал ту же подавленность, что и два года назад, когда случайно увидел Иосифа Сталина. Что тот Вождь, что этот — впечатление одинаковое». Задача, которую пытается решить Мормосов в романе, — выжить и остаться человеком, не дать себя уничтожить людоедской силе, олицетворенной для него сначала в НКВД, а затем присоединившей к себе и немецких коллег, в частности Скаруту, который приглядел Мормосова для своих шпионских игр.

Вислени, разумеется, гибнет. Русский, обязанный убить Вислени, сделал все, чтобы немец Скарута остановил это убийство. Немец Скарута сделал все, чтобы русский убил Вислени. У обоих

ничего не получилось. Кто стоит за покушением, Москва или Берлин, они не знают. Да в конечном счете это и не важно. Побеждает смертоносная логика войны, перед законами которой бессильно не только «пушечное мясо», но и считающие себя профессионалами войны Скарута и русский разведчик; бессильны даже «хозяева войны», такие, как Вислени. Да и сам фюрер, подобно своему кремлевскому двойнику, — всего лишь «временщик со скрытой тягой к самоубийству», «спасаясь от грядущего возмездия, друг Адольф устраняет любимчиков, беря пример с большевистской банды». Он, как и Вислени, обречен на смерть теми силами, которые, казалось бы, воплощает.

Логику «людей войны» формулирует в романе Скарута, исходящий из того, что война уже дошла до той стадии, когда все хотят ее конца, но конец может приблизить только активизация военных действий, так как «первейший и самый надежный путь» к окончанию войны — это «доведение численности противника до некоторой величины, при которой дальнейшая бойня бессмысленна, ибо ведет к такому падению рождаемости, при которой воспроизводство людей уже невозможно. Вся история войн — свидетельство сему». Именно поэтому Скарута заинтересован в успехе покушения — последующие карательные акции немцев спровоцируют ожесточенное сопротивление русских. Те же самые мотивы движут и Москвой, настаивающей на покушении. Чем ярче разгорится пламя, тем быстрее сожрет оно в топке изначально определенное для этой войны количество топлива.

Найденные когда-то Толстым понятия «войны и мира» накладываются автором на психологию войн середины XX века, усложненную новой реальностью России и Европы — режимами Сталина и Гитлера.

Способным противостоять людоедским законам, воцарившимся в мире, оказывается в романе только Петр Мормосов, как колобок, уходящий и от НКВД, и от Абвера, поставивший жизнь, личную жизнь, выше всех остальных понятий. Оказавшись в очередной ловушке (Скарута, не очень понимая, с кем имеет дело, использует его как подсадную утку для русской агенту-

ры), затаившийся Мормосов копил силы для очередного прорыва на свободу. Душевные силы он черпает в общении уже не с людьми, а с самой природой. Мормосов подобрал умирающую от ран и ожогов овчарку Магду, вылечил, воскресил почти, и между ними установилась некая, отчасти сокровенная, связь. Магда не просто преданна, она читает его тайные мысли, даже те, которые он еще не продумал сам, предупреждает его об опасности, оберегает и тело его, и душу. Удачно уходивший до сих пор и «от бабушки, и от дедушки», Мормосов в решающий момент отправляется на охоту за своими врагами — Скарутой и русским разведчиком, с которым сводила его судьба еще в довоенные, энкавэдэшные годы. Мормосов настигает их в догорающем после свершившегося покушения на Вислени и мгновенно последовавших карательных акциях городке. Русский уже мертв, убит Скарутой. Самого Скаруту убивают Мормосов и Магда. И Мормосов как никогда близок к победе — он выжил, он свободен, он будет жить дальше. Но, обшаривая карманы врагов и обнаружив там немецкую «охранную грамоту», от радости Мормосов стреляет еще раз. «Из дома он вышел без собаки».

И следующая — последняя — фраза романа: «Черный дождь шел из невидимых туч».

Сергей КОСТЫРКО.

*

І. БОРИС ЧИЧИБАБИН. В стихах и прозе. Харьков, СП «Каравелла», «Фолио», 1995, 463 стр.

ВСЕМУ ЖИВОМУ НЕ ЧУЖОЙ. Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков, «Фолио», 1998, 463 стр.

Жизнь идет медленно, а проходит быстро. И никому не знать ее конечной цели. Счастье, что есть люди, успевающие за короткий земной переход уловить свое предназначенье, не перечить той Воле, что направила их в мир, а повиноваться Ей безропотно, порой — безрассудно. Это трудное послушание. Оно связано со многими испытаниями, со многими отказами, с бездной соблазнов, преодоление которых недоступно нестойкому духу. Оно утомляет.

Слышу в ответ голос Бориса Алексеевича:

— Да ерунда все это! Главное, как Блок говорил, чтобы зажглись слова-звезды, а что между ними, уже не важно...

Ой ли? Не там ли, где «не важно», и образуются длинноты либо взрывной плакатный протест?..

Спрашиваю:

— Борис Алексеевич, а как вы справляетесь с черновиками?

Улыбается:

— Вы знаете, я не могу слова вычеркивать. Рука не поднимается. Хочу какое-то заменить — переписываю целиком всю страницу.

Тонкая струна вибрирует от легкого прикосновения. Поэт способен улавливать такие движения «воздушных струй», которые совершенно неосязаемы для других. Но когда струну постоянно терзает злоба дня, дергают и рвут пальцы времени, она не выдерживает.

Внутренне несмиранный, он внешне притерпелся к накиннутой на шею каждого удавке старой власти, а когда она распалась и вместе с ней посыпалось все — Прибалтика, Молдавия, Средняя Азия, Закавказье, Казахстан, Белоруссия, Украина, — а вместо этого всего в лицо ему пахнуло перегаром власти новой, псалмами денежному мешку, пророчеству пророками всех столетий, такого сердце его перенести было не в силах. Как реалист, он понимал неизбежность происходящего, но душа его, коснувшаяся горнего света, не могла понимание это принять.

Оснежись, голова! Черт-те что в мировом
 чертеже!
 Если жизнь такова, что дышать уже нечем
 душе
 и втемяшилась тьма болевая,
 помоги мне, судьба, та, что сам для себя
 отковал,
 чтоб у жаркого лба не звенел византийский
 комар,
 косяным холодком повеваая...

И мать-смерть укрыла его своим
 рядом.

II. НАУМ БАСОВСКИЙ. Свободный стих. Стихотворения и поэмы 1977 — 1997. Иерусалим, «Скопус», 1997, 240 стр.

Черная лодка уходит от острова,
 в утреннем свете вода словно льдистая,

лед подрезается веслами острыми,
 друг уезжает — прощай, мой единственный.

Небо всполошено белыми чайками,
 в елях запутались крики унылые,
 черная лодка от камня отчалила —
 это любимая остров покинула.

Снова по озеру рябь осторожную
 небо закатное золотом выткало.
 Черная лодка вернулась порожняя —
 снова кому-то прощание выпало.

В дальнем углу у церковного остова
 бабка соседская молится истово...
 Скоро один я останусь на острове
 с воплями чаек и с темными избами.

Крышу худую не буду высмаливать
 или ограду достраивать в панике —
 черную лодку я стану высматривать,
 дату за датой теряя из памяти...

Человек, который хотя бы раз побывал на Русском Севере, подтвердит, что это стихотворение — не просто зорко схваченный пейзаж. Не просмоленная рыбацья лодка оттолкнулась от берега, продавливая хрупкий осенний лед, а лодка судьбы забывает тебя — одного — среди темных изб, камней, мятущихся чаек. Это свидание-разлука, а в них — какая-то щемящая неразрешимость.

Спустя годы лодка вернется за тобой. Перегнувшись через борт, ты отломись напоследок косую шершавую пластину льда, и ей останется только медленно-медленно таять в твоей ладони...

Улицы с их серой суетой
 забелеет с головы до пят
 святочный спокойный и густой
 снегопад.

Чистый пух в окружности двора,
 чистый пух у детского грибка...
 Далеко разносится с утра
 звук скребка.

Просыпаюсь. Понимаю вдруг,
 что уходит осязанье льда,
 белизна и этот ранний звук —
 навсегда.

Я не знаю другого поэта, который так щемяще сумел бы выразить драму исхода. Не радость обретения ветхозаветной праматери-Родины, а горечь разлуки с Родиной-любимой.

Нет снега в Ришон-ле-Ционе. Сквер с фонтаном посреди городка. Иллюминированные пальмы.

А как богато, как пышно текут в сторону моря зеркальные автобусы, продавая головы сквозь нити-бусы нарядных уличных огней!

Кругом — моря. Кругом — возвращенные к жизни пустыни. Но почему же лодка памяти скользит и скользит вдоль поросших лесами иных берегов?..

Еще напряженные нервы, как струны,
звенят,
но день позади, утомительный,
многоязыкий,
и лодка плывет, направляясь на красный
закат,
и в черной воде расплываются красные
блики.

Есть время подумать, куда меня жизнь
занесла,
а мир предвечерний такой тишиною
озвучен,
что запросто слышно, как падают капли
с весла
и вторят паденьям негромкие вздохи
уключин.

Багровый закат в переменчивой синей
кайме,
червонная зелень стены побережья лесного,
высокие звезды и твой силуэт на корме —
вот свет мой последний, а мне и не нужно
иного.

Все ниже и ниже тяжелый расплавленный
круг,
все ярче и ярче созвездия Млечной дороги,
и движется лодка... А выпадут весла
из рук —
не надо, не плачь: это просто исполнятся
сроки.

Исход, вероятно, — главное событие в жизни Наума Басовского; событие, разделившее судьбу на «до» и «после». Осознанный выбор. Зов крови. Ощущение неизбежности своей встречи со Святой землей. Вдумчивое освоение нового пространства: шаг за шагом, миг за мигом. Сбывшаяся мечта.

Теперь можно и оглянуться.

Неявно сопоставляя свою собственную участь с долей народа, свой маленький исход с его большим Исходом, поэт спрашивает в сентябре 1995 года:

А что такое Исход? Мне видится черный
цвет,
которым окрашены судьбы в рабстве
у фараона...
(«Октавы»)

Вот как аукнулась в памяти черная лодка!

Однако, вновь и вновь перелистывая книгу, почему-то возвращаешься именно в это «фараоново рабство» — в декабрь 1981-го, когда внезапная вспышка внутренней свободы, оттеснив окру-

жавшую без-исходность, высветила нечто такое, перед чем меркнут все добросовестно продуманные модели Исхода, волевые поступки, воплощенные мечты.

Запотевшая кружка воды родниковой
после жаркого луга, где маки цветут,
и домишко с прибитой у входа подковой,
неизведанно как обьявившийся тут,
из огады торчащие серые жерди
и гнедая лошадка в пятнистой тени...
За полвека,
за час,
за мгновенье до смерти

ты видение это в себе сохрани.
Потому что под ровным безрадостным
небом,
укрывавшим тебя одного
и двоих,
никогда и нигде ты счастливее не был,
чем тогда, в позабытый и памятный миг.
.....

Алексей СМИРНОВ.

*

КАТЯ КАПОВИЧ. Суфлер. Роман в стихах. М., «Московский Парнас», 1998, 185 стр.

Любопытно, но это не единственный роман в стихах, вышедший за последнее время. То ли стремление к краткой форме, намеченное еще в XIX веке, стало давать обратный ход, то ли XX век требует более акцентированных заключительных аккордов, но тенденция к оживлению жанра есть. Во всяком случае, «Суфлер» — смелая попытка приручить время с помощью хрупких песочных часов: «Смотри, чтоб в той воронке синее / перетекало в золотое, / а если нет — переверни ее / вниз головою». Смелость отметил («К читателю») и Юз Алешковский, имея, впрочем, в виду само обращение сегодня к «старомодному жанру повествовательной поэмы» и расценив это как торжество «над снобизмом переменчивой моды дня».

«Суфлер» — явление недавнего временного пласта. Его герои — из «поколения дворников и сторожей», любовно воспетого БГ. То есть интеллектуально продвинутая молодежь 80-х, заставшая апофеоз развала Империи и сама приложившая к этому руку. Они красивы, благородны и несчастны. Павлин — морально искалеченный войной, скиталец, фаталист и безусловный лидер. Большевский — вечно второй (он же «суфлер»), но уступающий ни от слабости, а

в силу врожденной порядочности. Оба с детства влюблены в Зимину, вынужденную всю жизнь выбирать между друзьями-соперниками и ставшую жертвой этой раздвоенности.

Зимина — «декабристка» в квадрате. Она преданно ждет сначала Павлина из Афганистана, затем Большевского из тюрьмы. Она же бросается за Большевским в Америку, а оттуда за Павлиным в Россию. Тонкая поэтическая натура, готовая сострадать и жертвовать собой, вдруг становится соучастницей роковой интрижки. Причем конфликт происходит в благополучном Бостоне, куда Павлин приезжает после долгих лет разлуки навестить старого друга. Встретив здесь же и свою первую любовь, Зимину, он с первых минут стремится разбить сложившуюся пару, движимый отнюдь не чувством, а неким инстинктом разрушения. Едва добившись своего, Павлин саморазоблачается. Он циничен, он предатель, он пуст и равнодушен, но Зимина уже сделала свой выбор. Вслед за Павлиным она возвращается в Россию, оставляя «суфлера» ждать своего часа. Любовь, как всегда, зла... Инерция разрушения срабатывает вторично: вновь предательство Павлина, гибель, пустота...

Несмотря на то что роман сделан на современном материале, присутствие традиции в нем весьма ощутимо. Даже традиции «онегинской». Кажущаяся легкость письма, сквозная ирония, установка на занимательность, реплики читателю да и сознательная реминисценция уже в начале романа: «Лови же увядшую розу / с шипами сатиры тех дней». И прозаический прием сокращения имен и фамилий, столь нарочито используемый, впервые был применен именно в «Онегине»! Впрочем, рука филолога заметна не только в этом: взять хотя бы россыпь значимых и знаковых для автора имен (Державин... Деррида) и произведений («Пиковая дама»... «Москва — Петушки») — и солидно, и забавно, но до уровня энциклопедии литературной жизни, конечно, не дотягивает. То же с цитатами — всевозможные, прямые и скрытые, переклички скорее говорят о вкусах и личных пристрастиях автора, чем рождают новые смыслы.

Есть здесь и более глубинное, подсознательно литературное влияние,

идушее, пожалуй, от того самого письма Татьяны. Если вслушаться в тональность повествования, то роман Кати Капович вполне можно назвать трансформированным в стихи дневником экзальтированной провинциалки. Это слышно и в так называемых лирических отступлениях, несущих явный налет альбомности: «Зимой переписку веду с бумагой, / как грамотей в селе, / где дух одержим лишь печною тягой / сквозь сажу в трубе — к луне». Роман вообще можно считать провинциальным, несмотря на впечатляющую географию действия. Вот, например, провинция литературная (эмигрантская): «Здесь есть и. о. Бродского, даже / в количестве трех человек, / здесь нео-Жванецкий на страже / порока. Любой имярек / здесь корчит борца за искусства...» и т. д. Да и родной Кишинев с уже домашним Бостоном даны куда ярче, чем аморфно-серая Москва. Это еще заметнее, когда на фоне активно диссидентствующих героев прорывается такое авторское, советско-провинциальное: «...уехать в Америку можно, / обратный найти бы нам путь!»

Если же учесть, что русский роман вообще тяготеет к исторической обобщенности сюжета, то с этой точки зрения летопись Кати Капович имеет существенный недостаток: несколько зауженный, односторонний взгляд на прошедшее двадцатилетие, особенно когда речь идет о сегодняшней России. «Цвет интеллигенции бравоу, / страдал ты лет семьдесят зло. / Взорви крепостной вал державы!» Явный кич!

Что же касается внешнего плана повествования, то, надо сказать, линия вечнозеленого треугольника захватывает. Афган, КГБ, сам- и тамиздат, арест, «вражье» радио, ОВИР... При этом разыгрывающаяся любовная драма постепенно доминирует и наконец заслоняет собой все остальное. Трагизм (изредка перемежаемый трагикомизмом) основан на обреченности, невозможности счастливой развязки. Именно это плюс удачный обманый ход в самом начале: «...за мною в роман о счастливой (! — К. П.) / любви», делает ожидаемый финал неожиданным и тем сильнее бьет по читательским нервам. Удачней можно считать и выятные психологические характеристики героев, но почему в схеме «демон — ангел — жертва» именно ан-

гел оказывается суфлером, остается до конца неясным или, если хотите, неотвированным.

В целом же легкие амфибрахии, пусть и перенасыщенные переносами, свободно перетекают со страницы на страницу, не мешая чтению быть увлекательным. Разительный контраст между изысканными поэтическими вкраплениями и намеренно функциональным основным текстом позволяет говорить и о продуманной стилевой заданности. А между тем случайно ли, нарочно, но все в романе (или почти все) пропитано тем сладко-дремотным духом застоя, с которым так хочется и так тяжело расстаться Кате Капович. Не объемная картина, а красивая отходная по недавнему прошлому, сколь неприемлемому, столь и родному.

Константин ПАСКАЛЬ.

*

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА. Звук и смысл. «Urbī». Литературный альманах. Вып. 17. СПб., АО «Журнал „Звезда”», 1998, 256 стр.

В середине XVIII века в русской литературе одним из самых горячих был спор, разгоревшийся между Ломоносовым и Тредиаковским о семантической природе стихотворного размера. При этом «российский Невтон» полагал, что ямбическая стопа «высокое сама собою имеет благородство, для того, что она возносится снизу вверх, отчего всякому чувствительно слышна ее высота и великолепие». Тредиаковский ему возражал, утверждая, что семантику стиха определяет помимо размера вся совокупность поэтических средств. Осмеянный современниками и потомками, творец «Телемахида» был конечно же прав, но и Ломоносову не случайно не давала покоя какая-то «осмысленность» звучащего поэтического слова, так что, предваряя Хлебникова, он искал ее даже в согласных и гласных, наделяя их самостоятельным значением. Подчеркну: осмысленность, не связанная напрямую со словарной, логической семантикой составляющих стихотворение фраз. Так что, должно быть, ему было бы любопытно прочитать эту так и называющуюся — «Звук и смысл» — книгу.

Четыре первые статьи в ней, обосновывающие интонационную теорию стиха, по-моему, совершенно революционны. Елена Невзглядова последовательно и убедительно показывает, что формальные разбиения текста на дополнительные несинтаксические отрезки — строки (чем, собственно, и отличается стихотворение от прозы) приводит к совершенно неожиданным и отчасти парадоксальным следствиям. Повествовательная интонация вытесняется метрической монотонией, стремящейся ликвидировать всякую сообщительность, каналы передачи информации (в обычном понимании) не работают, логика и грамматика нарушаются поминутно. И это не частное наблюдение за каким-то стихотворением какого-то конкретного автора. Это повсеместная практика лирической поэзии, оказывающейся совершенно особой стихией, фактически противостоящей прозаической литературной традиции. Читаешь как настоящий детектив: стихи — другое, совершенно другое, особое состояние речи. Они как бы ничего не сообщают, не для того пишутся и отношения к себе требуют принципиально иного. Невзглядова замечает: «Эта речь не имеет характера рассказа по той причине, что обслуживающая речевую логику повествовательная интонация заменена в ней перечислительной монотонией. Содержание этой речи может по видимости ничем не отличаться от содержания речи, обращенной к конкретному собеседнику, но интонационное изменение преобразует сообщение в говорение — назовем это так, — разговор с самим собой, бескорыстное обращение к Богу, альтернатива молитве».

Тем самым из адресата я — читатель — становлюсь адресантом, сопровозносителем текста, его соавтором в точке прочтения. Я не подражаю речевой манере поэта, а как бы делаю ее своей, отождествляюсь в мысли и эмоции с Тютчевым, Анненским, Заболоцким. Вот откуда неподражаемая глубина переживания, особая отчетливость волнения, охватывающего при чтении замечательных стихов. Они становятся резонатором твоей человеческой личности. Так и устроены, для того и задуманы: магический кристалл, глядя в который мы видим себя как не себя. Елена Невзглядова подчеркивает, что «отсут-

ствии сообщения отнюдь не означает отсутствия сведений в речи, информации. Только информация интонационно не носит информирующего характера; сведения как бы не имеют осведомительной цели».

Пауза, возникающая в конце каждой стихотворной строки, бессмысленна с точки зрения логики фразы. Но парадокс состоит в том, что именно за счет этой асемантической паузы стихи и приобретают особую смысловую емкость. Александр Введенский, искавший выхода из готовых логических структур языка, сказал об этом: «Горит бессмыслица звезда, / Она одна без дна». Только чинарям-обэриутам казалось, что для впадения в бездну осмысленной бессмыслицы требуются какие-то особые новаторские средства. Между тем феноменальный способ разговора, преодолевающего односторонность логического описания, известен человечеству уже пять тысяч лет. Это — лирическая поэзия. Что, в сущности, и показывает теория Невзглядовой: «В практической речи для того, чтобы передать сложный комплекс представлений и ощущений, приходится прибегать к последовательному перечислению. Поэзия владеет приемами передачи многопланового мышления. Рифма служит одним из важных приемов наложения смыслов, их непоследовательного соединения. Метрическая организация тоже создает тот фон, на котором возникают алогичные связи, то есть соотношение смыслов путем их наложения». Мы имеем дело с тождеством нетождественного — принципом, восходящим еще к архетипам первобытного мышления или, скажем, к христианской символике.

Анализируя творчество того или иного поэта с точки зрения «идейного содержания», обычно приходят в недоумение: цитаты из рядом расположенных текстов отрицают друг друга. Кажется, что Пушкин или Блок не помнят вчерашних своих утверждений, постоянно впадают в противоречие. Между тем здесь дело не в особой восторженной эмоциональности и непоследовательности поэтической природы, а в вещах куда более принципиальных. Мир, жизнь существуют сами по себе, вне логических схем нашего рассудка, закреплённых в структуре высказывания. Попытка последовательного, аналити-

ческого описания этого противоречивого единства неизбежно приводит к односторонности любой формулировки, к неполноте любого утверждения. Стихи, которые на каждом шагу как бы противоречат сами себе, на самом деле пытаются преодолеть расщепляющее воздействие аппарата человеческой логики. Они не описание, а модель мира, что в свое время замечательно показал Юрий Лотман. Роль лирической монотонии, особой стиховой перечислительной интонации в этом моделировании теперь становится ясна благодаря исследованиям Невзглядовой: «Стиховая монотония... представляет собой способ уловления и фиксации на письме звука голоса; способ непосредственно выразить неименуемое чувство».

Если вдуматься в сказанное, то сразу становится, например, понятным, почему стихотворная речь в отличие от прозаической практически не устаревает. Если вторая живет преимущественно за счет лексики, несущей на себе весь груз исторически преходящих социальных, идеологических форм, то первую «поддерживает» интонация, выражающая человеческие эмоции, по-видимому, неизменные вот уже в течение двух десятков тысячелетий.

Но в самом ли деле интонация «записана» в стихе? Разве читающий не волен голосом по своему усмотрению представлять акценты в стихотворной строчке? Оказывается, не совсем. «Стиховая монотония, — пишет Невзглядова, — лишь делает семантически значимыми те элементы текста, которые в письменной прозаической речи остаются семантически нерелевантными. Она является фоном для отчетливого восприятия и сопоставления всех элементов, „основанием для сравнения“ единиц стихотворной речи. Чтение стихов тем самым становится принудительно выразительным (интонационно-тембровым), ибо ритмическая монотония сама по себе, независимо от воли читающего (говорящего) соотносит различные элементы текста. В отличие от фразовой интонации письменного прозаического текста, зависящей как от синтаксиса, так и от эмоциональной насыщенности, придаваемой тексту говорящим (читающим), ритмическая монотония ограничивает интонационную свободу — как бы не полагаясь на восприятие читателя, дик-

тует predetermined автором выразительность». Тем самым стихотворение представляет собой как бы партитуру, конкретное же звучание текста зависит от читающего точно так же, как в музыке исполнитель дает свою интерпретацию произведению, хотя, в принципе, перед его глазами лежат ноты. Музыкант, конечно, может не слишком хорошо владеть инструментом, может сфальшивить. С полным основанием это относится и к манере тещи.

Вторая и третья части книги, представляющие собой заметки о стихах и прозе, прекрасно иллюстрируют идеи ее автора. Интересно, что в качестве героев статей Невзглядовой чаще всего выступают либо поэты, отличающиеся яркой интонационной выразительностью, такие, как Михаил Кузмин, Александр Кушнер, либо прозаики, принципы работы со словом которых близки к поэтическим, — Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая.

Мне кажется, наблюдения Елены Невзглядовой над природой лирического стиха имеют огромное значение, причем не только для специалистов-стиховедов, но и для самого широкого читателя. Они дают правильную установку, они показывают, что поэзия, по сути дела, является единственным видом искусства, заставляющим чувствовать и понимать не поверхностный, манифестируемый, а глубинный смысл человеческой речи, связанный с интонацией. Лирика приучает нас обращать внимание не столько на то, что говорит собеседник, сколько на то, как он говорит. А без такого навыка просто невозможно понимать другого: любое общение, любая коммуникативная ситуация превращается в подобие чтения газетной страницы. Гарантией от подобной глухоты является поэзия — звучащее смыслом слово.

Алексей МАШЕВСКИЙ.

С.-Петербург.

*

И. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Прологомены к истории понятия времени. Перевод Е. Борисова. Томск, «Водолей», 1998, 384 стр.

Выходу в 1927 году работы Мартина Хайдеггера «Бытие и время» предше-

ствовали его доклады («Понятие времени», «Кассельские доклады») и лекционные курсы («Прологомены...», «Логика. Вопрос об истине»). «Бытие и время» в русском переводе появилось два года назад, а теперь перед нами постепенно раскрывается — не в пересказах, а через первоисточник — та мыслительная инфраструктура, которая подготовила событие появления одной из главных философских книг XX века.

Может быть, сегодня это самое важное — инфраструктура мысли...

Перевод «Бытия и времени» Владимира Библихина вышел хоть и по прошествии семидесяти лет после опубликования оригинала, но появился для нас здесь как *deus ex machina*. И этот русский Хайдеггер заговорил на языке таинственно-глубоком, каком-то магическом, даже, я бы сказала, — мифогенном, произрастающем при этом — из некоей «глубинной сути» нашего местного наречия. Выполненный Евгением Борисовым перевод «Прологомен...» (а этот лекционный курс летнего семестра 1925 года — своего рода предварительный конспект «Бытия и времени») мне представляется работой нового поколения (не «нового поколения переводчиков», а «работой нового поколения»).

Переводчик «Прологомен...» идет не по вектору личной утопии, как двигался Владимир Библихин, но по пути скорее умеренно-профессиональному. Сравним. Владимир Библихин — «Примечания переводчика»: «...это русское „Бытие и время“ пытается использовать данную нашим языком возможность воссоздания немецкой мыслящей речи. ...Русское слово открывает исканию свои просторы...» (Хайдеггер Мартин. Бытие и время. М., «Ad Marginem», 1997, стр. 448 — 449). Евгений Борисов — «От переводчика»: «...передать естественное звучание текста...» (Хайдеггер Мартин. Прологомены..., стр. 342). Профессиональные усилия двух переводчиков поддерживают друг друга. Переводческие стратегии движутся в разных направлениях.

Ставка Библихина велика. Через Хайдеггера (и кто решит — с его ли ведома?) он пытается возбудить живые силы древлеотеческого мысле-языка. Задача Борисова — более узкодисциплинарная. Но в его подходе мне видится дополнительный шанс адекватного понимания,

и не только философии Хайдеггера, но и той конкретной философской работы, которая проделана в XX веке на Западе.

Переводческая стратегия Бибикина обременена сверхзадачей: создать — внутри произведения Хайдеггера — новое, «русское мысле-язычное» произведение, способное жить и отдельной от оригинала жизнью. Евгений Борисов просто переводит текст, принадлежащий западной феноменологической традиции, полно и грамотно используя все наработки отечественных переводчиков и историков философии.

Очень показательно различие в переводе хайдеггеровской терминологии у Бибикина и Борисова. В сопроводительных замечаниях переводчика «Пролегомен...» выстроена «таблица соответствий». Важнейшее различие фиксирует перевод ключевого слова Хайдеггера — *Dasein*. Бибикин: *Dasein* — присутствие. Борисов: *Dasein* — вот-бытие. При этом объяснение последнего гласит: «Я отказываюсь от изящного перевода Бибикина... в пользу кальки». И даже аргументы — от морфологии языка и от задач, решаемых Хайдеггером внутри феноменологической традиции. Напомню, что, переводя *Dasein* как присутствие, Владимир Бибикин не столько аргументировал, сколько прояснял исток своего выбора: присутствие — при-сути; и утверждал некий постулат веры: мы должны «самим своим присутствием нести истину».

И еще пример различия:

Angst	— ужас (Биб.)	— страх (Бор.)
Furcht	— страх	— боязнь
Grauen	— жуть	— ужас

Видим: эмоциональный фон русского «Бытия и времени» на порядок глубже предложенного переводческого варианта «Пролегомен...».

Пояснением к работе переводчика служит его статья «Феноменологический метод М. Хайдеггера», помещенная в конце книги. И вновь это выверенный дисциплинарный жест, удерживающий переводчика на историко-философской дистанции по отношению к хайдеггеровской философской работе. Под обложкой существует еще один фрагмент — «Послесловие редактора немецкого издания» Петры Егер, пред-

ставляющее собой детальное описание технической стороны подготовки текста хайдеггеровских лекций к публикации. Восполнение для тех, кому не удастся попасть в хайдеггеровский архив и увидеть рукописи.

В «Пролегоменах...» перед нами развернута мыслительная проработка проблемного поля, видимым становится поиск терминологического инструментария, который позже будет использован Хайдеггером в «Бытии и времени». Чтение этих лекций послужит демистификации «духовного посыла» «Бытия и времени». Детальное восстановление памяти вообще оздоравливает интеллектуальную атмосферу.

И. Я. Э. ГОЛОСОВКЕР. Засекреченный секрет. Философская проза. Томск, «Водолей», 1998, 224 стр.

Собранные в книге произведения Якоба Эммануиловича Голосовкера можно еще назвать автобиографической прозой. Хотя только первая из работ, «Миф моей жизни. (Автобиография)», написанная в 1940 году, прямо рассказывает о некоторых фактических событиях.

Голосовкер выходил из тени для нас постепенно. Сначала это имя принадлежало известному переводчику и знатоку античности, автору блестящих работ по античной мифологии — «Сказания о титанах» и «Логика мифа», затем — автору оригинального философского эссе о Достоевском, позже — еще и великолепному переводчику философского мифа «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Теперь становится понятным, что форма мифа была его собственным глубинным состоянием — формой его личной «интеллектуальной чувственности».

Биографически очевидны две точки перехода, погружения в мифометафизическое измерение жизни. Первая — момент юношеского решения, жертвы — славой, карьерой, комфортом... благоразумием и любовью. Голосовкер называл это своим «самопожертвованием во имя самовоплощения творческой воли». Между 1910 и 1936 годами он пишет три произведения: мистерию «Великий романтик», роман-поэму «Запись неистребимая», философское произведение

«Имагинативный абсолют». Трилогия осталась незавершенной¹.

В 1936 году последовал арест. Три года каторги под Воркутой — 37-й, 38-й, 39-й. (Интересно, существуют ли воспоминания о ней?) В это время — гибель архива. Голосовкер воспринял это как гибель самой его жизни. В 1940 году ему исполнилось пятьдесят лет. («Удар постиг меня в предзакатные годы: мне полвека».)

И второе решение: двинуться вопреки и вспять. Даже понимая, что теперь у него «иные слова, иной ритм, иные образы, иное зрение, иной пробирный камень опыта», Голосовкер начинает восстановление архива, трудится над воссозданием мифа своей жизни, над развитием ее «темь». «Сожженный роман» и «Интересное», впервые опубликованные — соответственно в 1991 и 1989 годах — и включенные в настоящее издание, суть осколки, а может быть — воспоминание об этом «мифе жизни».

И еще в книге два текста под одним названием — «Секрет автора»: «Секрет автора. („Штосс“ М. Ю. Лермонтова)» и «Засекреченный секрет автора. (Достоевский и Кант)». С подзаголовком: «Размышления читателя о романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“». Это два отрывка из задуманной и начатой им в 40-х годах книги, лишь по внешней необходимости ставшие самостоятельными произведениями. Обе работы читаются на едином движении интереса. Видно, так и писались, в напряжении разгадывания тайны, авторской загадки. А «загадки» у Голосовкера — это не то, что имеет разгадку. Для него это скорее его особый способ восприятия литературного текста, возможность его включения в живое восприятие читающего. Архив культуры должен оставаться живым. Голосовкер — заложник этого понимания... Вот только тогда уж надо до конца по справедливости... А Якоб Эммануилович мною замечен в некоторой слепоте на почве любви и пристрастности (слава богу!). В своем эссе о Достоевском и Канте право на живое отношение к жизни он в большей степени оставил за Достоевским и все-таки в несколько меньшей — за Кантом.

Читаем: «В поединке Достоевского с Кантом Достоевский выступает перед нами как символ Ума, исходящего из душевной глубины, из этики горячего сердца. Кант же выступает как символ Морали, исходящей от теоретического ума, от Интеллекта, с ног до головы вооруженного формально-логической аргументацией...»; Кант — это «совесть пустыни под недосыгаемым космологическим блеском звезд. Это совесть устава, субординации и порядка, но не живого чувства»; «Достоевский же из всех безысходностей разума видит для человека выход в страстной деятельности любви, в практике, где знание сердца перескакивает через все теоретические постулаты и выводы и где ум-теоретик срывается в трагедию»... А что, если загадать следующую загадку и направиться по пути ее решения — предположить, что в Канте не меньше «интеллектуальной чувственности», чем в Достоевском? Может быть, за сдержанностью кантовского языка стоит вовсе не менее интенсивное переживание...

И Кант и Достоевский боялись пустых, а равно и бессмысленных пространств. И тому и другому нужен Эпиплог, где будет говориться о Боге ли, о совести ли, о дневном ли солнце разума. А главное — и тот и другой при этом не могут отрешиться от смутной и тревожной мысли, что устраиваемый ими мир, возможно, стоит на никем не гарантируемой конвенции...

Надежда на читателя у Голосовкера была — робкая. Он писал, ориентируясь по чувству «высшего и совершенного воплощения», и не примеривался ко вкусу. В титуле его работы о Достоевском стоит трогательная, грустно-ироническая ремарка: «К 120-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (1941 год) и к 75-летию со дня его смерти — 9 февраля 1956 года». С 1940 по 1955 год рукопись находилась в личном голосовкерском архиве, адресованном вечности. В 1956 году он передал ее (это был дар) в архив Музея Достоевского. Опубликована работа была в 1963 году стараниями академика Н. И. Конрада. Якоб Эммануилович Голосовкер говорил о себе как о человеке не тщеславном, к публичной славе не стремящемся. Он действительно не прикладывал к этому специального личного усилия. Мифом должна рас-

¹ См. предисловие С. О. Шмидта «О Якобе Голосовкере» в рецензируемой книге, стр. 6 — 7.

поряжаться судьба... Обычно это так и бывает, но что касается жизни и произведений, то очень хочется, чтобы ими распорядились сами люди.

Елена ОЗНОБКИНА.

*

С. М. ДУБНОВ. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб., «Петербургское востоковедение», 1998, 662 стр.

Среди мемуаров, изданных в последнее время, книга эта, подготовленная к печати и подробно прокомментированная Виктором Кельнером, занимает особое место. Причин несколько. Первая заключена в том, что автор их, замечательный историк и публицист Семен Маркович Дубнов (1860 — 1941), рассказывая о событиях, происшедших с ним лично, затронул практически всю историю жизни евреев в России с 60-х годов XIX века до начала 20-х годов XX века (в 1922 году Дубнов покинул Россию, как он выразился, «дом рабства», имея в виду большевизм). Все, что происходило с евреями в России, коснулось и его индивидуальной судьбы: историк оказался человеком *историческим*. Причем, желая этого или нет, Дубнов продемонстрировал ту логику и последовательность, с которой политизировалось российское еврейство в 1880 — 1910-е годы. А в результате вскрылись причины, вследствие которых лишены гражданских прав и унижены евреи явились сильнейшим потенциалом политического радикализма, оказавшего известное влияние на ход российской истории в целом. Так что тема книги — судьба и роль евреев в России как часть *русской* истории. Одновременно Дубнов четко определяет и реальный масштаб *еврейского влияния*, фантастически преувеличенный авторами пресловутых «Протоколов». Ничего мистического, тайного; никаких 12 раввинов, по ночам собирающихся на кладбищах, или в одной из египетских пирамид, или в каком-то секретном доме в центре столицы империи... (перечисляю образы из русскоязычной антисемитской фантастики начала века).

Вторая причина касается редкости самой книги. Три ее тома вышли в Риге в 1934, 1936 и 1940 годах. Первые два тома сохранились в единичных экземплярах, тираж третьего тома был уничтожен германскими оккупационными властями в 1941 году (видимо, в это же время в гетто погиб и сам Дубнов). Один экземпляр третьего тома был случайно найден лишь в 1957 году и тогда переиздан в США дочерью Дубнова.

Наконец, третья причина «особости» мемуаров Дубнова заключена в специфике российской жизни, последние сто с лишним лет хранившей в законсервированном виде многие противоречия и проблемы. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно прочитать описание зловещей зимы 1881/82 года, когда из кругов правительства евреям прокричали об открытой для них западной границе, когда встал вопрос о массовой эмиграции и возникли кружки «американцев» и «палестинцев», споривших между собою о преимуществах того или другого пути исхода из России. Забавно, что эта же дилемма стоит и в конце XX века.

На первый взгляд книга должна быть интересна только евреям (интересующимся историей притеснения и дезертирства из еврейского лагеря ради карьеры) и убежденным антисемитам (как резервуар для подпитки ненависти и как источник фактов, доказывающих «их» активность и вездесущность). Однако Дубнов потому и является крупнейшим историком, что писал не труд о жизни «государства в государстве», а историю российской политической жизни в целом, в которой мощно укрупнил один аспект, связанный с евреями, с их политизацией и борьбой за гражданские права. Поэтому без картины, нарисованной Дубновым, трудно понять, скажем, такой политический феномен, как Конституционно-демократическая партия. Или без воссозданного Дубновым фона — картины полного бесправия российских евреев — не понять адекватно их роли в первой и последующих революциях, о которой (роли) антисемиты наговорили так много лживого и мистического. Антисемитам авторитетные свидетельства о политической активности евреев в русских революциях окажутся, конечно, на

руку. Дубнов об этом не думал, для него эти евреи — граждане Российской империи, добывающиеся полноправия и справедливости.

Мемуары оспаривают распространенный нынче тезис об октябрьском (1917) большевистском перевороте как «еврейской революции», которая дала права именно евреям, дискриминировав русских и всех прочих («Юдофобам, тиранившим евреев тридцать лет, совесть подсказывает, что евреи должны мстить своим гонителям...»). Сам факт эмиграции Дубнова из Советской России (из Российской империи Дубнов не эмигрировал), его последовательный антибольшевизм говорят о многом. «А там на Западе, куда стремлюсь, как там проходит грозный кризис после всемирного потопа? Тяжело и там, но все же не растоптаны там высшие достижения культуры и цивилизации». По зловещей иронии судьбы Дубнов уезжает спасаться в Германию и живет там до 1933 года, а потом эмигрирует в Латвию, где и погибает. Спасения в Европе не было.

Кстати, дневниковые записи Дубнова 1917 — 1922 годов (а историк всю жизнь вел дневник и этими записями дополнил текст воспоминаний) — мощнейший обвинительный акт против большевизма. Не слабее знаменитых «Окаянных дней» Ивана Бунина. 29 декабря 1921 года Дубнов записал: «В Москве Всероссийский съезд Советов. „Тронная речь“ Ленина — вялая, пустая: мы делали ошибки, надо идти назад, к капитализму... 2000 членов съезда постановили не открывать прений по поводу этой речи: зачем обсуждать?.. Ленин и товарищи лучше знают! Так „голосующий скот“ принял все резолюции по докладам, как ни кошмарны выводы: за четыре года опытов большевизма рабочий пролетариат в городах почти уничтожен вместе с фабриками и заводами, сельское хозяйство разорено, финансы разрушены, голод, холод и эпидемия прочно утвердились, страна вымирает — а правительству выражают доверие!»

Парадоксы новой России у Дубнова уже не было сил выносить.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ.

С.-Петербург.

*

Н. ОСИПОВ. Занимательная ботаническая энциклопедия. М., «Педагогика-Пресс», 1998, 208 стр.

«Лес шумит, река играет»... Некий мыслитель, абстрагируясь от действительности, пытался когда-то выдать эту фразу за постулат вечности и незыблемости бытия. Он рассуждал примерно так: какие бы струи ни неслись по течению и в какие бы цвета, в зависимости от погоды и времени суток, они ни окрашивались, река всегда останется рекой. Ибо само понятие «река» выражает собой что-то сверхвременное, некую непреходящую и неизменную величину. Как бы ни менялись береговые пейзажи, смысл наблюдаемого всегда облечен в форму вечности.

Сейчас, я думаю, этот философ постерегся бы пользоваться такими сравнениями. По нынешним экологическим нормативам, многие наши реки, леса, поля — это уже не только вечные творения природы, а, правильнее сказать, творения природы и человека. И человек тут, прямо скажем, играет первую скрипку. Если раньше между ним и природой существовало определенное равновесие, то теперь оно явно перевешивает в пользу homo sapiens. Нечистый человек и природу вокруг себя делает нечистой.

Горько об этом говорить, но экологическое сознание нашего общества по-прежнему держится на нулевой отметке, и ни коллективные протесты, ни печатные проклятия отдельных личностей не в силах остановить эту вакханалию бесхозяйственности, а точнее говоря, садизма по отношению к природе. За десятки лет «совкового» существования мы взрастили в себе такой дух равнодушия и жестокости, что нас даже не трогает сознание того, что вред, причиняемый природе, по сути дела, есть вред, который мы причиняем самим себе...

Вот такие — малоутешительные — мысли возникли у меня после чтения «Энциклопедии...» Николая Осипова — книги, абсолютно чуждой апокалиптического духа. Герои писателя — растения, с ними он знакомит ребят-первоклассников и школьников чуть постарше... Для чего деревьям листья? Почему они желтеют осенью? Зачем растениям

цветки и почему обдутый одуванчик похож на паука? Для чего деревьям кора, отчего у березы она белая, а у других деревьев темная? Почему пучок лишайника похож на бороду лешего, а ковер мха прогибается под ногами, словно ковер-самолет, наполненный ветром? И так далее и тому подобное. Далеко не все взрослые способны ответить на эти «почему», «для чего» и «зачем»...

Книга, рассказывающая о происхождении растений, об их семенах и защитных свойствах, без всякого преувеличения, читается с неостывающим интересом и доброй улыбкой, так необходимо ребенку. Этому способствует ненавязчивая, образная подача научного материала, свойственная Н. Осипову, автору двадцати книг для детей. Каждый из персонажей «Энциклопедии...» — «Ботаник», «Историк», подсказчица бабушка Арина, знажок загадок дед Анисим и другие, — каждый вносит свою информационную струю в дело познания зеленого мира, создавая многомерную и многообразную панораму живой природы, ее прошлого и настоящего.

Я не буду оригинален, если скажу, что сегодня не только городские, но и многие сельские ребята часто не знают, что их окружает. Как будто глаза их перестали удивляться, воспринимать красоту жизни. А ведь еще недавно, на памяти родителей, все родники, тропы, болота, поля и урочища возле селений были расписаны по именам, как в домово́й книге. Еще недавно каждый с детства знал названия всех трав, деревьев и злаков, какие из них полезные, а какие вредные. Так уж повелось от веков. А нынешнему юному поколению на это вроде как наплевать. Оно ничего не видит и не хочет замечать, что растет в поле или в лесу, у водоема или в огороде. И автору очень жаль этих ребят, обидно за них. Потому он и хочет помочь им разглядеть этот удивительный

мир растений. Ибо, полюбив зеленых друзей, маленький читатель расширит представление об окружающем его мире, сможет сохранить своих «соседей по планете» для других поколений.

«Сформировать понимание, что деревья и травы — живые существа, а потому к ним надо относиться как к равным себе», — главная мысль «Занимательной ботанической энциклопедии». И хотя писатель утверждает, что его книга рассчитана в основном на детей младшего и среднего школьного возраста, это, по моему, не совсем точно. Она будет одинаково полезна и интересна как для самого ребенка, так и для его родителей, ибо в совместном чтении у них зародится желание сообща сходить в лес, поле или на речку и самим увидеть то, что так увлекательно описано автором. И если малыш что-то не поймет при первом чтении, если что-то позабудет, он по мере взросления сможет снова вернуться к «Энциклопедии...». В ней есть что открывать людям любого возраста. В этом смысле она создана как бы на вырост... Ну а если маленький читатель чего-то не найдет в этой книге, он всегда может пойти в библиотеку и взять другие книжки, сугубо научные.

Огромный познавательный материал, накопленный человечеством, Н. Осипов очень компактно разбил по рубрикам: «Заметки на полях», «Заглянем в словарь», «Справка для любознательных», «Что рассказал химик, ботаник, строитель». Их содержание без видимых усилий со стороны автора как бы впечатывается в память. Травы, деревья, злаки, водоросли взаимодействуют с человеческой душой и обладают, если хотите, нравственной ценностью. Хочется отметить, что и художники (дизайн Н. Ильенко, иллюстрации В. Шапуровой, Е. Шапуровой) создали достойные авторского пера рисунки.

Олег ЛАРИН.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ...

ESTERA GESSEN. *Drogi, których nie wybieramy.* Warszawa, 1998, 97 str.
ЭСТЕР ГЕССЕН. *Дороги, которые мы не выбираем.*

Автор этой небольшой книжки Эстер Яковлевну Гессен я знаю давно и близко и не раз восхищалась (и изумлялась) ее стойкости и мужеству в самых разных жизненных обстоятельствах. И вот теперь, прочитав «Дороги...», восхитилась в очередной раз, хотя и о ее незаурядных литературных способностях мне тоже было известно. Эстер Гессен просто и бесхитростно рассказала о своей жизни, но этот рассказ выходит за рамки истории одного отдельно взятого человека. Ибо судьба ее одновременно и типична и нетипична для представителя еврейского народа, тяжело пострадавшего в трагической мясорубке середины нашего века. Вполне типично начало жизни: польский город Белосток, где половина населения — евреи, интеллигентная атеистическая семья, в которой говорят по-польски и на идиш, девочка учится в гимназии, где преподавание ведется на иврите (на этом настоял отец, активный деятель сионистской партии), вступает в молодежную сионистскую организацию и мечтает о переселении на Землю Обетованную. Но приходит сентябрь 1939 года, и Белосток оказывается в немецких руках. Правда, тогда ненадолго — в результате каких-то торгов с русскими немцы покидают город, и Эстер, как и другие жители Белостока, становится гражданкой СССР. Но дальше ее путь отклоняется в сторону от пути, уготованного большинству ее сородичей (немецкая оккупация, гетто, насильственная смерть). Летом 1940 года она уезжает в Москву и поступает в ИФЛИ (превосходна сцена сдачи вступительного экзамена по литературе: экзаменатор не понимает, что рассказывает на ломаном русском языке о Шекспире абитуриентка, она готова отвечать по-английски, но профессор английского не знает; сходятся на древнееврейском, который он изучал в детстве; оценка — отлично!). Так Эстер попала в Москву, город, ставший родным и любимым, и избежала страшной участи тех, среди кого прошли ее детство и юность. Но много тяжелого было еще впереди.

Начинается Великая Отечественная война. Потеряна связь с родителями: отец, посидев в советской тюрьме, во время немецкой оккупации попал в гетто, а оттуда — в Майданек, мать отправлена в ссылку на восток. Сама Эстер в конце 1941 года вместе со своими однокурсниками эвакуирована в Ашхабад; теперь ее забросило на ту же дорогу, что и многих других ее московских ровесниц. Голод, работа (на стипендию нельзя прожить), занятия урывками. Неожиданное письмо от матери, оказавшейся в ссылке в Бийске, и новый поворот: Эстер едет на Алтай, где работает в литейном цехе военного завода, мужественно справляясь с непосильной работой. Но и тут над ней собираются тучи. Бывшую польскую, а ныне советскую гражданку упорно пытаются завербовать органы — чекистам нужны свои люди в среде ссыльных поляков. Эстер героически сопротивляется, несмотря на давление, угрозы, увольнение с работы, отчисление с курсов медсестер; паспорт у нее в НКВД отобрали, в конце концов их с матерью посадили в тюрьму «за нарушение паспортного режима». К счастью, ненадолго: обоим удалось получить новые паспорта, и они были отпущены на свободу, а вскоре Эстер вышла замуж за москвича и уехала с ним в столицу.

В Москве она живет и по сей день. По разным причинам личного свойства не вернулась в Польшу во время двух репатриаций (1946 — 1947 и 1956 годов). В полной мере вкусила тяготы послевоенной жизни, пережив вдобавок все то, что переживали другие советские евреи. Жизнь с мужем, мамой и двумя детьми в крохотной комнатухе, невозможность — из-за «пятого пункта» — после блестяще оконченого университета получить работу по специальности (не могу удержаться, чтобы не упомянуть о парадоксальном случае: единственным местом, куда ее очень хоте-

ли взять, оказалось... МВД; будучи вызвана на Лубянку по телефону, она отправилась туда с «допровской» корзинкой, не сомневаясь, что будет арестована; на самом же деле МВД нужен был переводчик с иврита); впоследствии из-за того же «пятого пункта» не смог поступить в МГУ ее старший сын. Много еще чего было в жизни Эстер Гессен: болезнь и смерть горячо любимой матери, второй брак, потеря при родах ребенка, тяжелейшие новые роды, смерть второго мужа, расставание с уехавшими в эмиграцию старшими детьми и внуками... Но все трудности, сколь ни банально это звучит, она преодолевала стойчески, не сдаваясь и не отчаиваясь. Много лет проработала в журнале «Советская литература» (на иностранных языках), переводила на польский, потом начала переводить с польского на русский (вспомним, что этим языком она овладела уже взрослой) и стала профессионалом. В 1967 году смогла побывать в Польше, куда потом ездила многократно, и в своем родном Белостоке, а в 1988-м сбылась ее юношеская мечта — она ступила на землю Израиля.

У читателя книги Гессен складывается впечатление, что написана она, если можно так сказать, «залпом», на одном дыхании. Перескоки в сюжете оправданы, ассоциации понятны, чередование «светлого» и «темного» естественно; при чтении каких-то фрагментов на глаза наворачиваются слезы, а какие-то полны юмора. Повествование воспринимается как исповедь, например, случайного попутчика в поезде дальнего следования. Яркий и образный, свободно льется рассказ; будто живые встают перед глазами разные люди, встречавшиеся Эстер на ее путях: университетские профессора, друзья и коллеги, члены семьи (в том числе свекор, известный пушкинист Арнольд Гессен), чекисты и нечистоплотные издатели.

«Дороги...» написаны по-польски и в 1998 году опубликованы в Варшаве. Автор предисловия — польский драматург Ярослав Абрамов. Почему именно он? Это тоже поразительная история, начало которой относится к далеким 30-м годам. Отец Абрамова, замечательный польский писатель русского происхождения Игорь Неверли, был секретарем Януша Корчака и редактором основанного им еженедельника для детей и юношества «Малый Пшеглэнд». Специфика журнала состояла в том, что его корреспондентами и редакторами были дети. Победительницей одного из устраиваемых редакцией конкурсов стала девятилетняя Эстуся; награду ей вручил в Варшаве Игорь Неверли. Много лет спустя уже известная московская переводчица Эстер Гессен, работая над книгой Неверли, написала ему и напомнила о той давнишней встрече. Они стали переписываться, потом наново познакомились лично, встречались в Польше. Впоследствии, уже после смерти Неверли, Гессен перевела книгу его сына — Абрамова — «Союзники»; связь не оборвалась...

Польская пресса уже откликнулась на книгу Эстер Гессен. Я несколько не сомневаюсь, что столь же доброжелательно она была бы принята в России (тем более что автор сама перевела ее на русский язык). Ее, на мой взгляд, необходимо издать. Велика нужда в искренних, свободных от предвзятости, живых свидетельствах о нашем недавнем прошлом. Талантливая биографическая повесть «Дороги, которые мы не выбираем» отвечает этим требованиям.

К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ.



П Р Е М И Я

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ



«ЦЕЛЬ ПОЭЗИИ — ПОЭЗИЯ...»

Многоуважаемые господин Посол, наследники славного дела Альфреда Тёпфера и члены кураториума, дамы и господа, друзья и коллеги!

Благодарю вас всех, прибывших и пришедших сюда на десятое, юбилейное, вручение Пушкинской премии, за оказанную мне честь, хотя я едва ли подхожу для отведенной мне роли какого-то полужениха на смотринах, чувствую нарастающий подколесинский ужас, и уже мерещится за спиной разгневанный экзекутор — приблизительно там, где черный музейный бюст поэта, чьим именем нас и собрало здесь, если не его духом: покажите, покажите мне русского человека через двести лет! — и слышится дружный смех настоящего юбиляра и его друга-малоросса, собственно и учинившего эту дьявольскую шутку про Подколесина и русского человека через двести лет, и какая тут радость, скажите мне, одно смятение и конфуз, какие слова, когда только и остается руками развести: не ты первый, не ты последний...

Тем не менее премиальная церемония предполагает мой короткий speech, но я не нахожу сейчас слов, чтобы определить свое отношение к предмету, занимавшему меня достаточно долго, по крайней мере настолько, что я потерял его из виду. Так двоится, например, и исчезает от пристального взглядывания прустовское дерево, а мерцающий осколок камня начинает вибрировать и кричит в самозабвении бытия у Роберта Пенна Уоррена — почему-то отечественные аналогии не приходят на ум, — и если бы Пьяный корабль, заплывший в лианы, выбрался из мутного устья в чистые воды и увидел на горизонте белые миражные облака — это и была бы самая настоящая реальность: чистые льды в соленом океане. Кстати, именно наличие ледяного панциря предохраняет жизнь океана, всю его прихотливую фауну — вот вам, если хотите, и «презренная польза» поэзии.

Что говорить, мы живем в неудобном мире, в издерганные годы то ли кануна, то ли конца. «Смерть героя», «Смерть автора», «Смерть поэмы», «Смерть романа», разумеется «Гибель культуры», как же без этого, — прозаики и философы, поэты и критики, пугая друг друга, как сговорившись, столько накликали на нашу голову катастроф и химер, не считая таких обыденных травматических шалостей вроде кризиса или перелома, что непонятно, как только мы, бедные, еще живы и вследствие какой патологии существует еще литература. Кажется, природа или Провидение устраняет искусство руками самого искусства. Но цивилизация сопротивляется, даже наступает: виртуальные технологии совершенствуют бомбометание, Интернет теснит книгоиздание, боялись пришествия роботов, а на сцену выходит генный мутант, не помнящий родства. Все это так. Но когда, выбравшись за город, я сижу вечером на ступенях дачной веранды и наблюдаю за небесным объектом, единственно безотказно освещающим мои запущенные шесть соток казенного сада, я каждый раз не могу поверить, что там, по Луне, ступала нога человека. У меня дома, в городе, хранилась щепоть лунной пыли из Моря то ли Благоденствия, то ли Изобилия — что-то жюль-верновское, одним словом, сплошные аллюзии, вот и ворчи после этого на postmodern — и я несколько дней как замороженный всматривался в эту щепоть лунного грунта, да не щепоть, меньше: что-нибудь на кончике хирургического ножа — ее подарил мне мой друг геофизик, среди дру-

Речь, произнесенная в Москве 26 мая 1999 года при вручении Пушкинской премии, учрежденной фондом Альфреда Тёпфера (Германия).

гих своих забот занимающийся еще и изучением лунной пыли, — а однажды она исчезла. Утром убрали квартиру, и пылесос вытянул, видимо, из неплотно закрытой коробочки ее содержимое. Я чуть с ума не сошел. Мистика какая-то. Или бес попутал: накануне выпил и показывал ее приятелю.

И вот — Ничего. Пустота. Но ведь в этой коробочке могла находиться частица любого грунта, с Марса ли, с Земли — чем наша планета, в конце концов, хуже, — и только в моем сознании она означала нечто большее: то ли материальную цитату из первой главы Книги Бытия или японской священной книги «Кодзики», что-то дочеловеческое, то ли фрагмент безумной фантазии Циолковского, то ли осколок мировой лирики, образ, который сопровождает весь путь человека, ну, например, школьно-хрестоматийное: «Я ехал к вам: живые сны / За мной вились толпой игривой, / И месяц с правой стороны / Сопровождал мой бег ретивый. / Я ехал прочь: иные сны... / Душе влюбленной грустно было, / И месяц с левой стороны / Сопровождал меня уныло...» Иными словами, единственно невыветриваемая реальность — это кладовая нашего сознания, и литература, поэзия — лишь ее часть, может быть, и лучшая, но часть. Разумеется, то, что нас окружает, больше, грандиознее нас, но то, что внутри, — теплее, сокровеннее, и хочется думать, именно там — тайная тайных Высшего замысла.

Именно по этой причине я всю жизнь хотел жить в тени, в своей нише, оставляя только тексты — я не люблю этого слова, ну, скажем так — сочиняя нечто, что будет жить само по себе, вне воли и имени автора. Это единственное, на что Господь нас сподобил. Все остальное — от лукавого. Создать это нечто, то есть новое, чтобы оно реально существовало, имея в виду весь корпус русской поэзии, невероятно трудно, почти невозможно, потому что писать стихи по-русски очень легко. И что греха таить, меня как страшил, так и страшит чистый лист бумаги; иногда и подолгу находит полное оцепенение. Как я завидую тогда сторонникам «автоматического письма», о которых писал Барт в упоминаемой «Смерти автора», — «чтобы рука записывала как можно скорее то, о чем даже не подозревает голова». Но стоит хотя бы раз взглянуть на черновики Пушкина — и все дискуссии на эту тему кажутся очередным выпуском пара в гудок.

Дело в том, что вся культура одновременна: и Овидий, и Державин, и Мандельштам, — они существуют реально и рядом в том времени, которое времени не имеет, и эта их реальность смущает, сковывает пишущего, подавляет волю. Да и как писать, зная сотни шедевров — двухстопников и трехстопников и много акцентных, смешанных и свободных стихов, — как писать, когда устойчивые обороты и ходовые словечки сами лезут под руку, и надо иметь великое мужество, или большую одержимость, или полную слепоту и забывчивость, чтобы вышло что-нибудь путное — хотя бы случайно, а чем случайней, как помним, тем и верней. И эта случайность, непредумышленность — верный признак новизны. «Как в изобретеньях ты беден», — сетует опять же Пушкин в эпиграмме на одного «идиллика».

Цель поэзии — поэзия, средства — те же, — сказано на все времена. И никакие ретрансляторы не заменят самого ее смысла, никакой масскульт ей не страшен. Ну, в худшем случае она опять уйдет в подполье, в свой подвал, пристроится где-нибудь возле бойлерной, где никого, кроме гудящих конфорок и онтологической тишины, которая окружает и пестует каждое вылупившееся слово.

Говорят, только великое остается. Пусть так. «...Но я живу, и на земли мое / Кому-нибудь любезно бытие», — уже ответил на это современник Пушкина, заслоненный им для современников, мало понятый, но оттого не менее значительный для потомков, носивший в себе не только усмиренную гордыню, но и великое смирение. Это нравственный урок каждому, дерзнувшему взять перо.

А что до премии, которую я принимаю с глубокой благодарностью, скажу словами незабвенного Козьмы Пруткова: «Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза». А негениальному, добавлю от себя, тем более.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



ПРИСУТСТВИЕ ПОЭЗИИ В САМОЙ ЖИЗНИ

Пушкинская премия немецкого фонда Альфреда Тёпфера — большая честь для меня. Я получаю ее в Петербурге, а в Москве ее получил Олег Чухонцев — замечательный поэт, мой друг.

И конечно же особенно приятно получить ее в год двухсотлетнего юбилея со дня рождения Пушкина.

Не уверен, что заслужил ее, но буду стараться заслужить если не сегодняшними, то, может быть, завтрашними стихами: надежда на то, что новое твое стихотворение будет лучше последнего или предпоследнего, не оставляет нас до конца жизни.

Я хочу поблагодарить жюри премии, тех, кто выбрал меня, весь комитет в его немецкой и русской части.

Как бы низко я ни оценивал свои заслуги, все-таки могу сказать, что в каждом из живущих поэтов есть что-то от Пушкина: ведь этот голос впитан нами с детства. И когда он писал: «И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит», — он имел в виду именно это. Хотя, наверное, и улыбался про себя, чему свидетельство — архаическая форма «пиит» («Какой-нибудь пиит армейский / Тут подмахнул стишок злодейский»).

И в Анненском, и в Ахматовой, и в Мандельштаме, и в Пастернаке, даже в Маяковском было что-то от Пушкина... Есть это что-то и в нас, грешных. Не так ли сегодняшняя кошка похожа на кошку, жившую сто или тысячу лет назад? Разрешите рассказать анекдот. Одна дама жалуется другой, что ее замучили мыши, нет с ними никакого сладу. Другая говорит: «Дорогая, заведите кошку». — «Ну что вы, милочка, нынешние кошки!» Наша критика, свысока рассуждая о сегодняшних поэтах, напоминает мне эту даму.

Что же в нынешних поэтах есть от Пушкина, какие общие черты? Я думаю, прежде всего язык и родное стихосложение, те самые ямбы и хорей, которые он так любил. А кроме того, некоторые врожденные человеческие свойства, делающие поэта поэтом: это прежде всего чувство гармонии (о котором в своей знаменитой речи говорил Блок), это особая впечатлительность и отзывчивость на впечатления бытия, это яркое воображение, влюбчивость и ранимость, это благоговение перед жизнью при всей ее трагической подоплеке.

В «Египетских ночах» Пушкин вывел поэта — Чарского и передал ему некоторые свои заветные мысли и ощущения, прежде всего — вдохновение, «то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли». Невозможно без волнения читать эти строки: «Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».

Так вот, поэт — счастливый человек, несмотря на все ужасы бытия, и это счастье обретает он за письменным столом.

Стихи — это сгустки энергии, аккумуляторы любви, печали, горечи, радости — всех чувств, которые владели тобой, пока ты их писал, в них остановлено мгновение — и к этому высокому напряжению души может подключиться любой, у кого хватит сил прочесть и понять стихотворение.

Нам говорят: когда же придет новый Пушкин? Всматриваются в даль, приставив ладонь к глазам, ищут его, как парус на горизонте. Ждут нового Пушкина как мессию.

Интересно, как представляют себе это в реальности? Появляется молодой поэт — и на лбу у него написано: новый Пушкин. Вот он вскакивает на эстраду, достаёт из-за пазухи поэму «Руслан и Людмила»...

Между тем, если говорить серьезно, без кликушества и религиозных аналогий, опираясь на стихи, то можно с уверенностью сказать: он уже множество раз приходил к нам в новом облике. «Жизнь пуста, безумна и бездонна! / Выходи на битву, старый рок! / И в ответ — победно и влюбленно — / В снежной мгле поет рожок...», или: «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных...», или: «Ни грубой славы, ни гонений от современников не жду, / Но сам стригу кусты сирени / Вокруг террасы и в саду», или: «Но ни на что не променяем пышный / Гранитный город славы и беды, / Широких рек сияющие льды, / Бессолнечные, мрачные сады / И голос Музы еле слышный», — и так вплоть до сегодняшнего дня, причем, поскольку последний пример взят из Ахматовой, можно сказать, что Пушкин являлся к нам в XX веке не только в мужском, но и в женском облике.

Кончается XX век, пора подвести некоторые итоги. Он прошел в России под знаком великих катастроф. Осознание трагического опыта и некоторые выводы, сделанные из него, вот главное, что составляет смысл нынешней поэзии. Жалобы на жизнь, на ее бессмыслицу, так же как романтическое противопоставление поэта толпе, представляются архаикой, чем-то малопродуктивным. Ты не доволен жизнью, предъявляешь претензии к мирозданию, мечтаешь «вернуть творцу билет» — нет ничего проще: миллионы «убитых задешево», как сказал Мандельштам, с удовольствием поменялись бы с тобой судьбой, местом и временем. XX век научил человека (и поэта) дорожить простыми вещами: теплом парового отопления, постельным бельем, разговором с другом по телефону, женской улыбкой — всем тем, что отняли у тысяч людей. «И спичка серная меня б согреть могла». Вопрос не в том, есть ли смысл в жизни и стоит ли жить, а в том, как прожить ее достойно, реализовать, несмотря ни на что, свои способности. Одна из форм свободы, явленной человеку (и поэзии) в XX веке, — это интеллектуальное (и поэтическое) осмысление трагедии, преодоление ее, способность вернуть душу, «умирая, в лучшем виде».

Поэзии противопоказаны абстракции, она предметна и конкретна — и в этом, как и во всем уже сказанном, мне видится (и слышится) переключка с Пушкиным. Поэзия научилась сочувствовать обычному человеку, бедному Евгению, «старым эстонкам», «рядовому ездоку».

Переболев абсурдом и заумью, поэзия вернулась к поэтическому смыслу, к «бессмертному солнцу ума», завещанному нам любимым поэтом. Рецидивы болезни возможны и сегодня (так взрослый человек иногда заболевает свинкой), но уже не опасны.

И последнее: присутствие поэзии в самой жизни — вот абсолютное чудо, еще один «бессмертья, может быть, залог», доказательство Божьего существования, — морские волны, звездное небо, шум листвы. Кто-то позаботился о том, чтобы в конце мая в петербургских садах расцветала сирень. Поэзия — не выдумка поэта: поэт извлекает ее из мирового хаоса, из сырого материала жизни, озвучивает и закрепляет в слове.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



О. Берггольц. Прошлого — нет! Стихи. Поэмы. Из рабочих тетрадей. Составление М. Ф. Берггольц. М., «Русская книга», 1999, 314 стр., 7000 экз.

Библиотека литературы Древней Руси. Под редакцией Дмитрия Лихачева и других. СПб., «Наука», 1999, 2000 экз. Том 2. XI — XII века. 555 стр. Том 6. XIV — XV века. 583 стр.

И. Бунин. Окаянные дни. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 703 стр., 11 000 экз.

Франсуа Вийон. Полное собрание поэтических сочинений. Вступительная статья, составление, комментарии Е. Витковского. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1999, 446 стр., 11 000 экз.

З. Н. Гиппиус. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания А. В. Лаврова. СПб., «Академический проект», 1999, 590 стр., 2000 экз.

Книга вышла в серии «Новая библиотека поэта».

Еврипид. Трагедии. В 2-х томах. Перевод И. Анненского. Издание подготовили М. Л. Гаспаров, В. Н. Ярхо. М., «Ладомир», «Наука», 1999, 5000 экз. Том 1 — 644 стр. Том 2 — 699 стр.

Борис Зайцев. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 1. Тихие зори. Рассказы. Повести. Роман. М., «Русская книга», 1999, 608 стр., 5000 экз.

Евгений Замятин. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. Составление и комментарии А. Ю. Галушкина. Подготовка текста А. Ю. Галушкина, М. Ю. Любимовой. Вступительная статья В. А. Келдыша. М., «Наследие», 1999, 344 стр., 1000 экз.

Фазиль Искандер. Ласточкино гнездо. Проза. Поэзия. Публицистика. М., «Фортуна Лимитед», 1999, 440 стр., 10 000 экз.

Фазиль Искандер. Сандро из Чегема. Роман. В 2-х книгах. М., «ТРИЭН», «ЭКСМО-Пресс», 1999, 10 000 экз. Книга 1 — 799 стр. Книга 2 — 767 стр.

Виктор Конецкий. Эхо. Вокруг и около писем читателей. СПб., Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998, 540 стр., 3000 экз.

Андре Моруа. Мемуары. М., «Вагриус», 1999, 510 стр., 5000 экз.

Франческо Петрарка. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма. Вступительная статья, составление О. А. Дорофеева. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1999, 734 стр., 10 000 экз.

А. С. Пушкин. Собрание рисунков. М., «Воскресенье», 1999, 612 стр., 4000 экз.

Николай Рубцов. Звезда полей. Собрание сочинений. В 1-м томе. Стихотворения. Переводы. Проза. Литературно-критические работы. Письма. Составление, подготовка текстов, приложения, комментарии Л. А. Мелкова, Н. Л. Мелковой. М., «Воскресенье», 1999, 647 стр., 7500 экз.

Уильям Сароян. Избранное. Человеческая комедия. Вот пришел, вот ушел сам знаешь кто. Приключения Весли Джексона. М., «Гудьял-Пресс», 1999, 557 стр., 7000 экз.

Александр Солженицын. Протеревши глаза. М., «Наш дом — L'Age d'homme», 1999, 368 стр., 3000 экз.

Из авторского предисловия:

«Здесь помещены мои произведения тюремно-лагерно-ссылных лет.

Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять.

Они тихо, неназойливо пролежали 45 лет. Теперь, когда мне за 80, я счел, что время их и напечатать.

Трилогия „1945 год“ (пьесы „Пир победителей“, „Пленники“ и „Республика труда“), тоже написанная в эти годы, уже напечатана мною двадцатью годами раньше и сюда не входит».

В книгу вошли: «Дороженька» (жанр произведения не обозначен, ближе всего к роману в стихах), «Лагерные стихи» (1946 — 1952), «Люби революцию» (неоконченная повесть, 1948 — 1958), «Протеревши глаза» (очерк, 1955).

Ирвин Стоун. Страсти ума, или Жизнь Фрейда. Перевод с английского И. Г. Усачева. М., «Мысль», 1998, 752 стр., 11 000 экз.

Цветы ямабуки. Шедевры поэзии хайку «серебряного» века (конец XIX — начало XX века). Перевод с японского А. Долина. СПб., «Гиперион», 1999, 239 стр., 3000 экз.

Карел Чапек. Избранное. Война с саламандрами. Рассказы, апокрифы. Сказки и побасенки. М., «Гудьял-Пресс», 1999, 622 стр., 7000 экз.

Эзоп. Заповеди. Басни. Жизнеописания. Перевод М. Л. Гаспарова. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1999, 320 стр., 10 000 экз.

Сергей Юрский. Содержимое ящика. Повести и рассказы. М., «Вагриус», 1999, 413 стр., 11 000 экз.



Анатолий Барзах. Обратный перевод. СПб., «Митин журнал», «VoreyArt-Center», 1999, 420 стр.

Книга современного петербургского литературоведа и эссеиста, написанная на материале творчества И. Анненского и О. Мандельштама. «Помимо того, что эти работы посвящены... конкретным текстам Мандельштама и Анненского, совершенно конкретным особенностям их поэтики и... могут представлять определенный интерес как работы литературоведческие... параллельно возникает иная „терминологическая тема“»; «...если у этой книги и есть некий общий сюжет, некая динамика, то это динамика поражения. Как говорит М. Л. Гаспаров, есть наука (структурализм, семиотика), а есть искусство (то же самое с приставкой пост-) — и tertium non datur. И предпринятая здесь попытка „третьего“ пути очевидно вырождается в электическое соглашательство... намерение сказать „новое слово“ с необходимостью порождает натуральные „новые слова“, это зияние прикрывающие... Они-то, эти „новые слова“, и становятся главными героями представленных здесь работ».

Наталья Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». (Воспоминания). М., «ВИОЛАНТА», 1999, 192 стр., 3000 экз.

Воспоминания одного из старейших работников редакции «Нового мира» о трех десятилетиях истории журнала — с середины 40-х до 70-х годов. В книге три раздела. В первом разделе — «Дневник», писавшийся с 1946 по 1970 год. Во втором разделе представлены документы редколлегии, имеющие несомненную историко-культурную ценность. Третий раздел составили короткие портретные зарисовки ведущих авторов журнала, среди них Пастернак, Слуцкий, Войнович, Гроссман, Солженицын, Копелев, Эренбург, Трифонов, Искандер, Домбровский, Коржавин, Дорош.

Большой толковый социологический словарь. («Collins»). Перевод с английского. М., «Вече», АСТ, 1999, 10 000 экз. Том 1 — 544 стр. Том 2 — 528 стр.

Плод коллективного труда социологов и социальных психологов Школы социальных наук при Стаффордширском университете под общей редакцией Д. Джери, Дж. Джери.

Хэрольд Блум. Страх влияния. Карта перечитывания. Перевод с английского А. Никитина. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1998, 352 стр., 2000 экз.

Впервые — книжное издание работ известного современного американского теоретика литературы на русском языке. Знакомит читателя с теорией поэзии Блума, в основе которой лежит мысль о трагедии неравной борьбы каждого нового поэта со своими предшественниками. Работам Блума присущи черты философской и культурологической эссеистики, отсылающие читателя к сочинениям Ницше и гностиков.

Г. Виткоп-Менардо. Э.-Т.-А. Гофман, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Перевод с немецкого О. Мичковского. Челябинск, «Урал LTD», 1999, 320 стр., 10 000 экз.

Л. Я. Гинзбург. Записные книжки. Новое собрание. Составитель И. Захаров. М., «Захаров», 1999, 463 стр., 5000 экз.

Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., «Русские словари», 1999, 488 стр., 1000 экз.

Сборник вводит в научный обиход не публиковавшиеся ранее тексты В. И. Иванова: «Интеллектуальный дневник. 1888 — 1889», выступления в религиозно-философском обществе в дискуссии о Достоевском, переписка с Павлом Флоренским и некоторые другие тексты Иванова. Специальный раздел сборника посвящен взаимоотношениям Иванова и Лосева и включает практически полную антологию лосевских текстов об Иванове. В разделе «Исследования» представлены работы Д. В. Иванова, Н. Котрелева, Л. Силарда, В. В. Библихина, А. Е. Парниса, В. П. Троицкого и других, среди которых исследования Л. А. Гоготишвили «Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия)» и «Щит Персея и зеркало Диониса. Учение Вяч. Иванова о трагедии» И. Н. Фрийдмана.

Иван Ильин. Путь к очевидности. Составление и вступительная статья В. Кузнецова. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 912 стр., 10 000 экз.

В сборник вошли работы: «Религиозный смысл философии», «Путь духовного обновления», «О сопротивлении злу силою», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», «Путь к очевидности», «Понятия права и силы».

М. Король. Одиссея разведчика. (Польша — США — Китай — ГУЛАГ). М., 1999, 251 стр.

Книга о жизни Михаила Давыдовича Короля (1892 — 1959), бывшего военного разведчика, затем — кинематографиста и журналиста, с 1944 по 1956 год — заключенного, составленная его дочерью Майей Король. Содержит обширную подборку писем, в частности писем к жене Агнессе (о самой Агнессе Мироновой-Король журнал писал в № 9, 1997), воспоминаний, дневниковых записей, а также очерковой прозы Короля, представляющей еще одну сторону русской лагерной прозы.

Кора Ландау-Дробанцева. Академик Ландау. Как мы жили. М., «Захаров», АСТ, 1999, 496 стр., 11 000 экз.

Книга о Л. Д. Ландау, написанная его вдовой.

Д. С. Лихачев. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., «Алетейя», 1999, 508 стр., 1200 экз.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Воспоминания. Письма. Дневники. М., «Аграф», 1999, 349 стр., 5000 экз.

Тыняновский сборник. Выпуск 10. М., 1998, 912 стр., 999 экз.

Сборник представляет материалы Восьмых (18 — 20 июля 1996 года), а также частично Шестых (1992) и Седьмых (1994) тыняновских чтений, в частности работы Е. В. Душечкина, А. Л. Осповата, О. Е. Майоровой, Н. А. Богомолова, М. Л. Гаспарова, Вяч. Вс. Иванова, А. К. Жолковского, М. О. Чудаковой, Р. Д. Тименчика и других.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Евгений Замятин. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика.

Л. Я. Гинзбург. Записные книжки. Новое собрание.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вестник РХД», «Вопросы литературы», «Время и мы», «Время МН», «Демократический выбор», «День и ночь», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ», «Москва», «Наш современник», «НГ-Наука», «Нева», «Независимая газета», «Новое время», «Общая газета», «Октябрь», «Русская мысль», «Труд», «Хранить вечно»

Василий Аксенов. «Мой дом там, где мой рабочий стол». Беседу вела И. Кузнецова. — «Вопросы литературы», 1999, № 2, март — апрель. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

В частности, о том, что мать писателя, Евгения Гинзбург, арестованная в тридцать седьмом по стандартному обвинению в троцкизме, действительно была троцкисткой, «участвовала в подпольном кружке троцкистов и даже ездила по заданию в Харьковский университет, еще куда-то листовки возила», но обвинители об этом не знали.

Светлана Аллилуева. О Западе, о России, о себе. Интервью Александра Гранта. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. Издатель и главный редактор журнала Виктор Перельман. Редактор московского издания Лев Аннинский. 1999, № 142.

Интервью с семидесятидвулетней дочерью Сталина, с 1967 года живущей на Западе. С редакционным постскриптумом, уточняющим некоторые ее суждения о ее литературных агентах и издателях.

Лев Аннинский. Liberté, égalité, fraternité... — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. № 141, 142, 143.

Рассуждения о лозунгах французской революции: в № 141 — о свободе, в № 142 — о равенстве, в № 143 — о братстве.

Член редколлегии журнала «Знамя» Карен Степанян публично укорил Льва Аннинского («Хорош для всех органов» — «Известия», 1999, № 59, 3 апреля) за то, что известный литературный критик печатается где ни попадя, а именно в газете «День литературы».

Александр Архангельский. Слово к народу. Литераторы в политическом пространстве НТВ. — «Известия», 1999, № 68, 16 апреля. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

«За последние десять лет в культуре, и в литературе прежде всего, произошли необратимые перемены. Люди, реально определяющие ее сегодняшнее лицо, мало кому известны за пределами профессионального круга. Те, кого по старой памяти готовы приглашать тележурналисты, зачастую в самом прямом смысле „вышли в тираж“, потеряли форму — и литературную, и интеллектуальную. Интересоваться их мнением — все равно что интересоваться мнением Горбачева: забавно, однако бессмысленно».

Э. Бабаев. Что пишут свежие газеты пушкинских времен (1799 — 1810). Публикация Е. Бабаевой. — «Вопросы литературы», 1999, № 2, март — апрель.

К 200-летию поэта. Тут же напечатаны статьи Л. Звонниковой «Не дай мне Бог сойти с ума... (О „Пиковой даме“ Пушкина)» и М. Гиршмана «Творчество Пушкина и современная теория поэтического произведения».

См. также статью И. Г. Милославского «Что такое хорошо и что такое плохо по Пушкину» («Знамя», 1999, № 4): «...современный читатель должен учитывать, что многие встречающиеся ему и вполне понятные слова обозначают у Пушкина не совсем то, что обозначают они в современном русском языке».

См. также статью Михаила Филина «...Жалею я один...» («Москва», 1999, № 3) о Пушкине и Аракчееве.

См. также «Размышления к великой дате» Василия Белова («Наш современник», 1999, № 4).

Павел Басинский. Гражданин мира. Исповедь патриота. — «Октябрь», 1999, № 4.

Русский/советский человек на родине и за границей. Этой исповеди патриота предшествовала исповедь провинциала под названием «Московский пленник», появившаяся в

той же рубрике «Нечаянные страницы» («Октябрь», 1997, № 9). См. полемические заметки Никиты Елисеева «Московский пленник и другие» («Новый мир», 1998, № 5).

Татьяна Бек. Не цыганю у судьбы поблажек. Беседу вела Елена Константинова. — «Труд», 1999, № 69, 17 апреля.

«По традиции подборки стихотворений в журнале „Новый мир“ составляет, выстраивает композиционно и придумывает им общее название заведующий отделом поэзии Олег Чухонцев. Из кипы принесенных стихов он, прекрасный поэт и замечательный друг поэтов, как магнитом, отбирает те, что, с его точки зрения, наиболее адекватно выражают доминанту того или иного автора. Мой цикл, опубликованный в июльском „Новом мире“ за 98-й год, Чухонцев озаглавил „Девочка с бантом“. Взят этот поэтический образ из одного стихотворения. Поначалу я даже растерялась. „Девочке“-то — под 50! А потом поняла, что Чухонцев попал точно в цель. Он безошибочно почувствовал, может быть, одну из причин моей сегодняшней горечи — несоответствие возраста тому далекому мироощущению, которое продолжает жить внутри меня до сих пор...»

Жорж Бернанос. 14 писем к Аморозо Лима. Перевод, вступительная заметка и примечания Никиты Струве. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 178 (1998, № 3 — 4).

К 50-летию со дня смерти французского писателя-католика Жоржа Бернаноса (1888 — 1949), который с 1938 года жил в Бразилии. Публикуемые письма 1938 — 1942 годов обращены к бразильскому профессору философии и писателю Аморозо Лима.

С. Бочаров. Литературная теория Константина Леонтьева. — «Вопросы литературы», 1999, № 2, 3.

Леонтьев-критик.

Юрий Буйда. Франц Кафка: ученичество у смерти. — «Новое время». Еженедельник. 1999, № 15, 18 апреля.

«Прочитав „Дневники“ (Франца Кафки, переведенные Е. Кацевой; М., „Аграф“, 1998. — А. В.), я понял, что с этим произведением — во всех отношениях — не сравнятся ни его рассказы, ни знаменитые романы». См. об этом издании рецензии Елены Касаткиной («Новый мир», 1999, № 5) и Бориса Дубина («Иностранная литература», 1999, № 4).

См. также статью Ю. Манна «Встреча в лабиринте. (Франц Кафка и Николай Гоголь)» в журнале «Вопросы литературы» (1999, № 2).

Юлий Буркин. Цветы на нашем пепле. Фантастическая повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1999, № 1, январь — февраль. Электронная версия: <http://www.krsk.ru/din>

Забавная повесть о разумных бабочках. Одни бабочки — атеисты, другие — нет.

Дмитрий Быков. Выкресты. Еврейские олигархи и их обличители. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. 1999, № 142.

О нашумевшем обращении живущего в США детективщика Эдуарда Тополя к «олигарху» Борису Березовскому: «Возлюбите Россию, Борис Абрамович!»

Андрей Ваганов. Уильям, потрясающий копьём. — «НГ-Наука». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1999, № 4, апрель.

Большая увлекательная беседа с академиком Н. И. Балашовым по поводу нашумевшего исторического детектива И. М. Гиллилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» (М., «Артист. Режиссер. Театр», 1997). Из-под пера академика уже вышло антигилиловское «Слово в защиту авторства Шекспира» (М., Международное агентство «А. Д. & Т.», 1998). О книге Гиллилова см. также полемическую рецензию Алены Злобиной «Писательская артель „Три Шекспира“» («Новый мир», 1998, № 6).

См. в этом же номере «НГ-Науки» неожиданную статью доктора химических наук Захара Гельмана «Атомистика по Шекспиру» — об «атомах» (*little atomies*) в монологе Меркуцио о королеве Маб), которых Пастернак заменил «пылинками», а Щепкина-Куперник — «мошками».

Алексей Варламов. Купол. Роман. — «Октябрь», 1999, № 3, 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine>

По мнению Андрея Немзера («Время МН», 1999, № 67, 20 апреля), роман четко встраивается в ряд «страшных печаловок» Алексея Варламова (вероятно, имеются в виду его романы «Лох» и «Затонувший ковчег»).

См. рецензию Татьяны Касаткиной в следующем номере «Нового мира».

Все, что вы хотели знать о Дантесе. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 52, 31 марта. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

Неизвестные в России документы из голландских архивов свидетельствуют: вопреки сложившемуся мнению *усыновление Жоржа Дантеса бароном Геккереном не состоялось*.

«Гаврилушка, меня отравили...». Малоизвестные и совсем неизвестные свидетельства о смерти Ленина. Беседу вел Олег Котов. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 65, 17 апреля.

Беседа с историком Юрием Фельштинским (Бостон, США). Сталин отравил Ленина, это был заговор Дзержинского и Сталина. См. на эту тему статью Ю. Фельштинского «Тайна смерти Ленина» в «Вопросах истории» (1999, № 1) и в нью-йоркском «Новом Журнале» (№ 210).

См. также статьи Ю. Фельштинского «Вожди в законе» в красноярском журнале «День и ночь» (1997, № 4, 5; 1998, № 3, 6) и «Был ли Сталин агентом Охранки» в «Новом Журнале» (№ 213).

Е. Гайдар. «Мы находимся в оппозиции к нынешнему правительству». — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1999, № 15, 22 — 28 апреля.

Ответы на вопросы студентов на встрече в МГУ 14 апреля 1999 года. «Я напомним то, что многие забывают. Первое. Приватизация шла по закону, принятому Верховным Советом РСФСР. Второе. Ни я, ни Чубайс до прихода в правительство не были сторонниками ваучерной приватизации. Мы считали разумным приватизацию за деньги по венгерскому варианту. Третье. Мы должны были учитывать реально складывающуюся политическую ситуацию, но идея ваучерной приватизации овладела умами депутатов и стала непреодолимой».

Александр Генис. Машина вычитания. Виктор Пелевин составил новый роман. — «Общая газета», 1999, № 16, 22 — 28 апреля.

О том, что «Generation 'П'» — «его (Пелевина. — А. В.) первая осечка».

См. в настоящем номере «Нового мира» размышления И. Роднянской об этом романе.

Владимир Дегоев. Мирянин. Имам Шамиль по ту сторону войны и политики. — «Дружба народов», 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzha>

После падения аула Гуниб. Шамиль в русском обществе. Москва, Петербург, Калуга (назначенная Шамилю местом постоянного жительства).

Андрей Дмитриев. Закрытая книга. Роман. — «Знамя», 1999, № 4. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine>

В названии обыгрывается «Открытая книга» Каверина, который — под вымышленным именем — является одним из второстепенных персонажей романа (так же, как Тынянов и Шкловский). *Андрей Дмитриев — один из серьезных претендентов на Букера.*

«После всех затяжных разговоров о конце русской литературы, после многочисленных трусливых заявлений о невозможности писать „всерьез и надолго“ в самом конце XX века опубликован роман, который способен встать в один ряд с лучшей русской прозой практически минувшего столетия...» — утверждает Александр Архангельский («Известия», 1999, № 65, 13 апреля), выдавая, как мне кажется, желаемое за действительное.

Более сдержанную оценку «Закрытой книги» см. в рецензии Е. Ермолина в следующем номере «Нового мира», а также в статье Вл. Новикова о «филологическом романе» в октябрьском номере нашего журнала.

См. также интервью Андрея Дмитриева «Литература обошлась без банкротств» («Время МН», 1999, № 63, 14 апреля): «В 1983 году „Новый мир“ напечатал мой „Штиль“ — начало писательской карьеры было гарантировано».

Юрий Дружников. Венки и бюсты в каждом абзаце. О кризисе пушкинистики в России. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, с № 4261 по № 4265. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

Доклад, сделанный на Американском конгрессе славистов в Сиэтле. В название вынесены слова Андрея Синаевского. См. тот же (или почти тот же) текст Юрия Дружникова под названием «Венки и бюсты *НА* каждом абзаце» в газете «Книжное обозрение» (1999, № 11, 16 марта).

Игорь Золотусский. Сердце Ельцина. Плата президента за происходящее в России. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. 1999, № 142.

«Думая о Ельцине, сравниваю его с Горбачевым. Взгляните на их лица: разрушенный, трудно соединяющий фразы Ельцин и крепкий, круглый, бойко стрекочущий Горбачев. Горбачев интуитивно отделяет то, что происходит в России (и происходило

еще несколько лет назад по его воле), от себя. Ельцин, как громоотвод, принимает удары молнии на себя».

О Ельцине — *великом человеке* см. также эссе Дмитрия Шушарина «Пройдя до середины. Главы из книги» («Новый мир», 1999, № 6).

Георгий Иванов. Девять писем к Роману Гулю. Публикация Григория Поляка. Предисловие и комментарии Андрея Арьева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 3.

Письма 1953 — 1956 годов из Франции в США. «„Новый Журнал“ пришел позавчера. Ну, по-моему, Сирин, несмотря на несомненный талант, отвратительная блевотина (имеются в виду главы из „Других берегов“». — *А. В.*) Страсть взрослого балды к бабочкам так же противна — мне — как хвастовство богатством и — дутой! — знатностью» (июль 1954 года). См. в «Звезде» (1994, № 11) еще два письма Георгия Иванова к Гулю. См. в № 9 «Нового мира» статью С. Семенович «Два полюса русского экзистенциального сознания. Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирин».

Андрей Илларионов. Цена социализма. Столетие социалистической политики превратило российского великана в экономического карлика. — «Независимая газета», 1999, № 66, 13 апреля — № 67, 14 апреля. Электронная версия: <http://www.glasnet.ru/ng>

Руководитель Института экономического анализа развивает положения, изложенные в других его статьях, например, «Катастрофа 17 августа стала триумфальным крахом социализма» («Известия», 1998, № 213, 13 ноября), о том, что либеральная экономическая модель провалиться не могла, так как не может провалиться то, чего не было. «Сохранение решающей роли государства в экономике одновременно с приватизацией институтов государства и правил хозяйственной жизни стало, пожалуй, наиболее важной чертой популистско-социалистической модели экономики, реализованной (к настоящему времени. — *А. В.*) в России».

Сергей Ильин. Подлинный призрак. Кое-что о никем еще не прочитанной книге Владимира Набокова. — «Ex libris НГ», 1999, № 12, апрель.

«Последний» роман Владимира Набокова «Подлинник Лауры» («The Original of Laura») — удачная мистификация в *Интернете*. Автор мистификации — Джефф Эдмундс (двуязычный сайт «ZEMBLA/ЗЕМБЛЯ»). Автор статьи С. Ильин — известный переводчик англоязычной прозы Набокова, см. его эссе «Моя жизнь с Набоковым» («Знамя», 1999, № 4).

К 100-летию со дня рождения знаменитого писателя см. статьи Дмитрия Буторина «Сердитый мастер слова. Интервью Владимира Набокова как часть его творчества» («Ex libris НГ», 1999, № 15, апрель) и Александра Эткинда «Как ненавидел бы он свой юбилей» («Коммерсант-Daily», 1999, № 69, 23 апреля).

Весь апрельский номер «Звезды» посвящен юбилею Набокова (см. о нем в ближайших выпусках «Периодики»).

Вольфганг Казак. 580 писателей и шестьсот телеграмм. — «Ex libris НГ», 1999, № 12, апрель.

Автор «Лексикона русской литературы XX века» придирчиво рецензирует двухтомный библиографический словарь «Русские писатели. XX век» под редакцией Н. Н. Скагова (М., «Просвещение», 1998). Вывод немецкого профессора: «Несмотря на значительные несуразности, структурные и содержательные недостатки, словарь все же содержит столько полезного, что должен быть признан хорошим дополнением к уже существующим словарям и справочникам по русской литературе XX века».

Резко критическую оценку этого словаря см. в статьях Самуила Лурье «Ковчег плывет» («Общая газета», 1999, № 9, 4 — 10 марта) и Никиты Елисева «Лакуны и „антилакуны“» («Новый мир», 1999, № 7).

Сергей Кара-Мурза. Андре Жид, Бунин и перестройка. — «День литературы», 1999, № 4, апрель.

«Сатанизм М. Булгакова вошел в наш духовный рацион, его не выплунуть».

Нина Катерли. Тот свет. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 2, 3. Из «второй столицы» — в маленький Мокшинск: *всюду жизнь*.

Тимур Кибиров. Новые стихи. — «Знамя», 1999, № 4.

Новые мотивы: «В России можно просто жить. / Царю с Отчеством служить».

Игорь Клев. Смерть лесничего. Повесть. — «Октябрь», 1999, № 3.

«На мой взгляд, „Смерть лесничего“ — лучшая вещь одного из самых ярких и спорных русских прозаиков среднего возраста», — считает великодушный Андрей Немзер («Время МН», 1999, № 67, 20 апреля).

«Повествование довольно анемичное и в сюжетном плане малозанимательное», «довольно сумбурный и вялый *opus*», — так характеризует повесть «Смерть лесничего» Мария Ремизова («Независимая газета», 1999, 20 апреля), уже осудившая новые произведения Галины Щербаковой и Анатолия Азольского.

См. в журнале «Октябрь» (1997, № 3) «берлинскую повесть» Игоря Клеха «Крокодилы не видят снов», а в журнале «Новый мир» (1999, № 4) — короткую рецензию Дмитрия Бавильского на сборник прозы Игоря Клеха «Инцидент с классиком» (М., «Новое литературное обозрение», 1998).

Вадим Кожин. Маркиз де Кюстин как восторженный созерцатель России. К 160-летию знаменитого путешественника. — «Москва», 1999, № 3. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Автор рассматривает книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» как русофобскую в буквальном значении этого слова, то есть продиктованную фобией, страхом перед Россией, и в то же время видит в ней одно из самых восторженных сочинений иностранцев о России: смесь *восторга, страха и проклятия*.

См. также интервью Вадима Кожина «Читайте книги, а не дайджесты, господа!» («Книжное обозрение», 1999, № 16, 20 апреля). В частности, он замечает, что недавно ему «пришлось забрать статью из „Нового мира“. Кто-то (? — А. В.) стал протестовать: „Зачем вы печатаете этого страшного Кожина?“ Статью я напечатал в журнале „Москва“. Она, кстати, интересна, называется „Маркиз де Кюстин как восторженный созерцатель новой (! — А. В.) России“».

Хулио Кортасар. Жизнь Эдгара Аллана По. Перевод с испанского Н. Богомоловой. — «Иностранная литература», 1999, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Эссе знаменитого аргентинского писателя Хулио Кортасара (1914 — 1984) было написано как предисловие к аргентинскому изданию сочинений Эдгара Аллана По 1956 года. Тут же напечатаны заметки Эдгара Аллана По (1809 — 1849) «Из „Маргиналий“ (ноябрь 1844 — июль 1849)», переведенные с английского Л. Мотылевым.

Б. Краевский. Похищение генерала Е. К. Миллера. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 178 (1998, № 3-4).

Перепечатка из журнала «Дворянское Собрание» (1995, № 2). Председатель Российского Обще-Воинского Союза генерал Миллер был похищен советскими агентами в Париже в 1937 году при участии генерал-майора Н. В. Скоблина и его жены певицы Н. В. Плевицкой. Дальнейшая судьба похищенного оставалась до недавнего времени неизвестной. Чудом сохранились письма, которые он писал своей жене в Париж из внутренней тюрьмы на Большой Лубянке и которые, естественно, никогда никуда не были отправлены, а также его письмо наркомку Ежову. Генерал Миллер был расстрелян в 1939 году.

Г. Кружков. Не просто совпадение, возможно: Йейтс и Введенский. — «Вопросы литературы», 1999, № 2, март — апрель.

См. также статьи Григория Кружкова «Рубище певца: Мандельштам и Йейтс» в настоящем номере «Нового мира» и «В снежных сумерках на опушке века» в журнале поэзии «Арион» (1999, № 1).

Сергей Куняев. Женщина без мифа. — «Наш современник», 1999, № 4.

Аркадий Вахсберг написал биографию Лили Брик. Сергей Куняев критически оценивает и книгу, и героиню.

Владимир Кутырев. Устойчивое общество: его друзья и враги. — «Москва», 1999, № 3.

В названии статьи полемически обыгрывается название известной книги Карла Поппера «Открытое общество и его враги» (русское издание — М., 1992). Автор выступает адептом общества с сохраняющейся природой, культурой и своей историей, по его мнению, такое общество нельзя считать открытым, оно — *устойчивое*. Особенностью статьи является то, что автор берет себе в союзники не кого иного, как... К. Поппера, Дж. Сороса и Фр. Фукуяму.

Александр Кушнер. Заметки на полях. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

«Надо быть наивным, как Вайль или Генис (не помню, кто из них), чтобы с умилением вспоминать о том, как Бродский никогда не вел незначущих разговоров, всегда был „на высоте“, поражал собеседника постоянной готовностью к обсуждению высоких тем. Это он старался для вас, Вайль и Генис, потому что знал, что вы об этом напишете». А также об отмеченной Татьяной Бек склонности поэта Кушнера к уменьши-

тельно-ласкательным суффиксам и резко критически — о «Воспоминаниях» Эммы Герштейн.

Владимир Леонович. Продолжение диалога. — «Дружба народов», 1999, № 4.

Памяти Игоря Дедкова. См. также дневники Дедкова 1953 — 1980-х годов («Новый мир», 1996, № 4, 5; 1998, № 5, 6). «Новый мир» предполагает продолжить публикацию дневников И. Дедкова в № 9 и 10 за этот год.

Борис Лесняк. Мой Шаламов. — «Октябрь», 1999, № 4.

«„Колымские рассказы“ в определенном смысле и обо мне, о моей лагерной жизни... Мы оба из Бутырской тюрьмы были брошены на колымское золото... Некоторых персонажей его рассказов я знал лично и ближе, чем он. Многие описанные им события происходили на моих глазах или рядом со мной».

См. также воспоминания А. Солженицына «С Варламом Шаламовым» («Новый мир», 1999, № 4).

Александр Мелихов. Могила Франца К. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 7, апрель.

Зачем нужны литературные премии, если их все равно дают «не тем»? Они «крепким вторым сортом защищают нас от напора пятого, десятого и сто четырнадцатого».

Лариса Миллер. Разговор, продленный эхом. — «Вопросы литературы», 1999, № 2, март — апрель.

Заметки о Гайто Газданове, Анатолии Штейгере, Маяковском, Карабчиевском и Елене Шварц.

...минус слово? — «Знамя», 1999, № 4.

Рубрика «Конференц-зал». Юрий Арабов, Людмила Бакши, Аркадий Ипполитов, Виктор Куллэ и Валерий Фокин размышляют об исчезающем логоцентризме отечественной/мировой культуры. В частности, Юрий Арабов замечает, что «Князю этого мира... необходимо вытеснить Христа из всех пор и молекул. А поскольку слово и есть Бог, то теперешняя девербализация имеет конечно же глубоко мистическое значение». Особенно интересны и содержательны размышления Л. Бакши о *музыке в отсутствие литературы* (см. также ее статью «Хочу, чтобы звук выражал... Современная культурная ситуация глазами музыканта» — «Знамя», 1998, № 2).

Олег Мраморнов. Сила судьбы. — «Ex libris НГ», 1999, № 13, апрель.

Невыразимое у Боратынского. Нынешний год — пушкинский, следующий — Боратынского (200 лет со дня рождения).

МХАТ. 30-е годы. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 1999, № 1, март.

Стенограмма режиссерского совещания во МХАТе 6 апреля 1936 года (по поводу статей в «Правде») — *идет борьба с «формализмом»*; а также дневник 1929 — 1932 годов А. В. Гаврилова, милиционера, работавшего во МХАТе, и некоторые другие материалы.

Андрей Немзер. Правило non-intervention. — «Время MN», 1999, № 60, 8 апреля.

Актуальное прочтение стихотворений Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (1831) в свете военной операции НАТО на Балканах: «...как ни странно, пушкинский „империализм“ прямо противостоит воинственности сегодняшних (российских. — А. В.) радетелей за сербов».

Вл. Новиков. От графомана слышу! К истории одного ругательства. — «Знамя», 1999, № 4.

По мнению критика, «хорошей» графомании не бывает. Составитель «Периодики» со своей стороны убежден: литературный талант — это только возможность, и для того, чтобы ее реализовать, писателю нужна еще *сильно выраженная продуктивная способность* и даже — вполне «графоманская» — переоценка своих сил, а уж как все это называть, вопрос терминологии.

Писатели пишут А. С. Щербакову. Письма И. Эренбурга, М. Кольцова, А. Бзыменского и А. С. Щербакова. 1935 — 1936. Вступление, примечания и публикация А. И. Рубашкина. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 3.

Девять интересных писем из архива А. С. Щербакова, поставленного в 1934 году руководить Союзом писателей, в РЦХИДНИ (бывш. ИМЭЛ; ф. 88, оп. 1). О том, как готовился Парижский конгресс «прогрессивных» писателей: «Прошу срочно отвечать на письма, а на шифровки — немедленно» (из письма М. Кольцова к А. Щербакову от 23 мая 1935 года). См. об этом подготовленную А. И. Рубашкиным публикацию писем Ильи Эренбурга Михаилу Кольцову 1935 — 1937 годов («Новый мир», 1999, № 3).

Геннадий Прашкевич. Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение. Роман. — «День и ночь», Красноярск, 1999, № 1, 2.

Историческая проза: Россия, XVIII век.

Радуга над веком падения культуры. Беседу вела Ильмира Степанова. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4264, 8 — 14 апреля.

Беседа с Д. С. Лихачевым. Академика тревожит «ожесточение и падение культуры во всем мире». (Макашов охарактеризован им как «полуидиот».)

Мария Ремизова. Начальство не умирает. — «Независимая газета», 1999, № 60, 3 апреля.

Критик делает актуальные *социальные* выводы из новых военных произведений А. Солженицына («Желябугские выселки», «Адлиг Швенкиттен» — «Новый мир», 1999, № 3).

В рецензии «Бабья дурь» («Независимая газета», 1999, № 65, 10 апреля) тот же критик характеризует повесть Галины Щербаковой «Актриса и милиционер» («Новый мир», 1999, № 3), да и всю ее прозу как *пошлость*.

Александр Сегень. Общество сознания Ч. Роман. — «Москва», 1999, № 3, 4.

После исторических книг «Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого» («Москва», 1997, № 4, 5) и «Государь Иван Третий» («Наш современник», 1997, № 1, 2, 3, 4, 5, 6) Александр Сегень написал роман на современную тему.

Разные мнения об исторической прозе А. Сегеня см. в статьях Никиты Елисеева «Пятьдесят четыре» («Новый мир», 1999, № 1) и Владимира Славецкого «Поздние „александрийцы“» («Новый мир», 1999, № 3).

Ольга Седакова. Путешествие в Тарту и обратно. Запоздалая хроника. — «Знамя», 1999, № 4.

В Тарту — на похороны Лотмана.

Валерий Сендеров. «Именно в России можно воспрянуть духом». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4266, 22 — 28 апреля.

Положительный отклик на новомирскую публикацию, подготовленную Игорем Эбаноидзе, «Речь не о книгах, а о жизни...» (1999, № 4) — переписку Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом.

Наталья Серапина. Эрмитаж, который мы потеряли. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 3.

Впечатляющие — почти без комментариев — документы из ЦГАЛИ СПб. о распродаже эрмитажных сокровищ в 30-е годы.

А. Смирнов. Античный Петроград в поле культурных кодов. (Опыт реконструкции одного творческого задания). — «Вопросы литературы», 1999, № 2, март — апрель.

Медленное чтение стихотворения Мандельштама «Tristia» (1918).

Максим Соколов. Обогащайтесь, и вы станете избирателями! — «Известия», 1999, № 57, 1 апреля.

Автор выступает за введение *имущественного ценза* и учреждение такого порядка, «когда обязательным условием регистрации в качестве избирателя служило бы предъявление справки об уплате налогов с дохода, превышающего энное количество у. е. в месяц», и видит в этом «соединение весомого стимула к легализации своего истинного достатка (ибо сокрытие доходов будет означать добровольное самоисключение из политической жизни) с принципиально новыми возможностями для избрания вменяемой власти (ибо зажиточному человеку есть что терять, кроме своих цепей...)».

Александр Солженицын. Закон-Тайга. — «Труд», 1999, № 64, 10 апреля.

Краткое заявление Нобелевского лауреата по литературе о событиях на Балканах: «Отшвырнув Организацию Объединенных Наций, растоптав её устав, НАТО возгласило на весь мир и на следующий век древний закон — закон-Тайга: кто силен, тот и полностью прав. Осуждаемого противника превзойди в насилии хоть и стократно — если технически изощрён. И в этом мире нам всем предлагают жить отныне. На глазах человечества уничтожается прекрасная европейская страна — и озверело цивилизованные правительства аплодируют. А отчаявшиеся люди, покидая бомбоубежища, выходят живой цепью на гибель для спасения дунайских мостов — это ли не античность? Не вижу, почему бы завтра Клинтон, Блэр и Солана не стали бы их выжигать и топить» (Москва, 8 апреля).

Тот же текст в «Независимой газете» (1999, № 65, 10 апреля).

Владимир Сорокин. Голубое сало. Фрагменты романа. — «Кулиса НГ», 1999, № 7, 8, продолжение следует.

В полном виде этот «фантастический, футурологический», по авторскому определению, роман вышел в издательстве «Ad marginem». См. большую восторженную рецензию Михаила Новикова «Седло носорога под синим лазером» («Коммерсант-Daily», 1999, № 59, 9 апреля). Критик обещает Сорокину Нобелевскую премию и признается, что во время чтения романа использовал в качестве «мозговой смазки» и «топлива» — коньяк «Московский» и изюм. Видимо, переел изюма.

Арсений Тарковский. «Надо аккумулировать душевную энергию...». Письма к Евдокии Ольшанской. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Е. М. Ольшанской. — «Знамя», 1999, № 4.

Восемнадцать из 166 писем поэта, адресованных Евдокии Ольшанской с 1969 по 1987 год. Комментарий к известным стихам Тарковского «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова»: «...меня совсем замучил мой араб (аль-Маари. — А. В.): одно утешение, что он в XI веке и не может пристать ко мне со своими арабскими поучениями воочью. Все-таки перевод это совсем не писание стихов, которое создает праздник, а действительно сыпнотифозный принудительный бред, от которого изнемогаешь, как лошадь, ходящая вокруг кола, в 12 часов дня, если ее рабочий день начинается в 6 утра и кончается за полночь» (из письма от 24 ноября 1969 года). Интересное письмо от 12 января 1970 года об Ахматовой испорчено купюрами; по контексту можно предположить, что вымараны — даже из середины фразы — фамилии людей, с которыми публикатор или редакция не хотят осложнять отношения.

Виктор Топоров. В зеркале и за. — «Ex libris НГ», 1999, № 13, апрель.

Подробный и доброжелательный разбор 1200-страничного фолианта «Строфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах».

Николай Тряпкин. О Русь моя! Стихи. — «Москва», 1999, № 3.

«Мать», «Песня», «В канун 1994 года» — последние стихи недавно умершего поэта.

Федор Тютчев. «Вы — мои единственные корреспонденты в Москве...». Вступительная статья и публикация Г. Чагина. — «Дружба народов», 1999, № 4.

Тридцать писем Ф. И. Тютчева к М. А. Георгиевской, сводной сестре Е. А. Денисьевой.

Илья Фаликов. Плюсквамперфектум. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 1. Обзор поэзии в журналах 1998 года.

Сергей Федякин. Если и музыка нас оставит... — «Ex libris НГ», 1999, № 14, апрель. Константин Вагинов — «поэт исчезающей музыки». К 100-летию писателя.

Священник Георгий Чистяков. «Мыслить — значит видеть». 20 мая исполняется 200 лет со дня рождения Оноре де Бальзака. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4270, 20 — 26 мая.

Всю свою жизнь Бальзак провел за письменным столом, работая по восемнадцать часов в сутки, и, в сущности, не соприкасался с реальностью. В его искусстве (а по мнению Бальзака, и в искусстве вообще) действительность не отражается, а созидается. Более двух тысяч героев «Человеческой комедии» с неповторимым характером каждого — это плод не жизненного опыта, а потрясающего писательского воображения.

Протоиерей Александр Шаргунов. Слово в день памяти новых мучеников и исповедников российских. — «Москва», 1999, № 3.

О воине Евгении (Родионове), принявшем смерть за Христа 23 мая 1996 года, в праздник Вознесения Господня, в селении Бамут в Чечне. Попавший в плен молодой солдат отказался, в отличие от некоторых своих товарищей, снять нательный крестик и назвать себя мусульманином — и был зверски убит. Протоиерей Александр Шаргунов считает, что накопление зла в мире столь велико, что нам не избежать новых гонений на Церковь.

Евгения Щеглова. Записки брошенной читательницы. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 3.

Грустное обозрение прозы в толстых журналах.

Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте. Составление и переводы Анастасии Старостиной. — «Иностранная литература», 1999, № 4.

В подборку, посвященную знаменитому румынскому философу и писателю, историку религии Мирче Элиаде (Mircea Eliade; 1907 — 1986), входят следующие материалы: Анастасия Старостина, «Камуфляж и откровение»; Мирча Элиаде, «Испытание

лабиринтом» (беседа с Клодом-Анри Роке); Мирча Элиаде, «Человек без судьбы» (из книги «Воспоминания. 1. Мансарда»); Эмиль Чоран, «Мирча Элиаде»; Мирча Элиаде: краткая летопись жизни и творчества.

См. также статью Игоря Кузнецова «Прохладный свет. О подлинной реальности Мирчи Элиаде и Гайто Газданова» («Иностранная литература», 1998, № 6) и рецензии Татьяны Касаткиной «На грани двух миров» («Новый мир», 1997, № 4) и Игоря Кузнецова «Миру — миф» («Новый мир», 1996, № 9).



ХРОНИКА: Красноярский театр оперы и балета к 75-летию Виктора Астафьева поставил двухактный балет «Царь-рыба» («Коммерсант-Daily», 1999, № 62, 14 апреля); Гарвардский университет передал в дар петербургскому музею Набокова коллекцию из 16 бабочек, пойманных Набоковым в Америке («Коммерсант-Daily», 1999, № 64, 16 апреля); в Интернете появилась новая общедемократическая газета «Клятва Горациев», адрес: <http://vgsn.glasnet.ru/dms/kg> («Демократический выбор», 1999, № 14, 15 — 21 апреля); Советом директоров Института экономических проблем переходного периода обозревателю «Известий» Максиму Соколову присуждена премия Адама Смита, а главному редактору «Русской мысли» Ирине Иловойской — премия Александра II («Демократический выбор», 1999, № 15, 22 — 28 апреля).



ДАТЫ: 28 августа исполняется 250 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749 — 1832), см. в июньском номере «Нового мира» за этот год статью Сергея Аверинцева «Гёте и Пушкин»; 20 (31) августа исполняется 250 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749 — 1802); 20 августа (1 сентября) исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Платонова (1899 — 1951).

Составитель Андрей Василевский.



Составители «Книжной полки» и «Периодики» будут благодарны провинциальным издательствам и редакциям провинциальных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России на страницах «Нового мира».



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Август

10 лет назад — в № 8, 9, 10, 11 за 1989 год опубликованы главы из книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

30 лет назад — в № 8 за 1969 год напечатаны «Бухтины вологодские» Василия Белова.

65 лет назад — в № 8 за 1934 год напечатана пьеса для кинематографа Юрия Олеши «Строгий юноша».

70 лет назад — в № 8 за 1929 год напечатана повесть И. Соколова-Микитова «Елень».

НОВЫЙ МИР В INTERNET

О «СВОБОДЕ» ВНУТРИ ТЕКСТА

Интервью с Михаилом Бутовым в Интернете

Интернет-фирма «Инфоарт», на сервере которой в «Журнальном зале» представлена сетевой «Новый мир», начала свое регулярное телевещание в пространстве Интернета. И одним из первых появлений «Нового мира» на интернет-телевидении стало интервью, данное ответственным секретарем журнала, прозаиком Михаилом Бутовым. Оно было записано в «Интернет-студии на Шаболовке» и показано в Интернете сервером «Инфоарта» 30 апреля этого года. Вел беседу редактор электронной версии «Нового мира» Сергей Костырко. Мы предлагаем читателю сокращенную запись этого интервью.

— Литературная судьба Михаила Бутова с самого начала оказалась связанной с журналом «Новый мир». Здесь Бутов дебютировал рассказами «К изваянию Пана» и «Измаил II» (1992, № 8) — рассказами, характерными для нового, сформировавшегося в восьмидесятые годы литературного поколения. Следующая публикация — рассказ «Памяти Севы, самоубийцы» (1993, № 5) — остановил внимание широкой публики уже не только знакомыми для новой литературы чертами, но отчетливо заявленной индивидуальной писательской манерой. Затем последовали «Известь» (1994, № 1), «Астрономия насекомых» (1995, № 4). Параллельно издательство «Книжный сад» выпустило первую книгу прозы Бутова «Изваяние Пана», в которую кроме рассказов вошла повесть «Идентификация» — самое крупное из написанных им к тому времени произведений; а в журнале «Знамя» была напечатана повесть «Музыка для посвященных» (1995, № 3).

Бутов прочно занял свое место в ряду новых писателей, и тем не менее у читателя и критиков оставалось ощущение, что все написанное — только начало, только заявка на нечто более значительное. И вот в первых двух номерах «Нового мира» за 1999 год появился роман Бутова «Свобода», сразу же ставший литературным событием. Об этом романе и пойдет сегодня речь. Но вначале все-таки хотелось бы услышать, что Бутов думает о своих ранних вещах.

— Самое существенное, что я должен здесь сказать, — я не принадлежу к горстке, может быть, наиболее влиятельной сегодня в литературе, филологических писателей. Я из другого санатория. У меня техническое образование — Институт связи. Образование случайное и не имевшее отношения к тому, чем я хотел заниматься. Присутствовала вот такая в нашем поколении постсоветская инфантильность, когда хорошо, если к тридцати — сорока годам ты понимаешь, чем действительно хочешь заниматься. Писать я начал от тоски и печали — работал тогда инженером по ремонту телевизионных антенн, ползал в грязи по чердакам, а в обед, когда мои рабочие отправлялись выпивать, шел домой (работал рядом с домом) и садился сочинять рассказ. Это были 1987 — 1988 годы.

— Но только тоски технического образования было мало для писания рассказов. Было ведь наверняка и какое-то литературное воспитание?

— Да, разумеется. Моя семья была достаточно литературной, присутствовал в ней своеобразный литературный пафос, причем достаточно элитный. Да в те времена и инженеры в литературе ориентировались, не то что сейчас. Я достаточно рано начал читать самиздат и тамиздат, много классики...

— Я потому спросил, что твои первые рассказы демонстрировали достаточно продвинутость как раз в том направлении, от которого ты отмахнулся как от филологического.

— Да нет, я и сейчас совершенно не пытаюсь с чисто филологической прозой решительно размежеваться — я говорю только о своем литературном генезисе. В филологическом духе пишутся очень интересные для меня вещи, и мне там многое нравится, ну, скажем, некоторые сочинения Славы Курицына. Я говорю только о том, что сегодня у подавляющего большинства критиков моего поколения — это плюс-минус десять лет к моим тридцати пяти — присутствует — осознанное или нет, не знаю — убеждение, что в этом поколении вхождение в литературу возможно только из филологии.

— *Даже по темам ты шел вровень с ними — скажем, «армейский» рассказ «К изваянию Пана».*

— Вот уж таких рассказов я точно писать больше не буду.

— Почему?

— Про армию писать — дело не княжеское. Во-первых, любой, кто там был, может рассказать достаточное количество анекдотов, чтобы составить из них некую повесть. А у меня после, слава богу, не слишком тесного знакомства с армией осталось впечатление, что сами-то эти офицеры не такие уж глупые. Нынешняя армейская фантазмагоричность для офицеров — как будто форма некоего фольклорного бытования. Мне кажется, они сами тщательно пестуют картину армейского идиотизма.

А во-вторых, становишься старше и понимаешь, что они, вояки, может, и дубы, конечно, но только потом какой-нибудь более хитрый дуб из государственного управления дает команду — и у них выбора другого нет, как идти и лбы свои подставлять под пули. По большей части совершенно непонятно, за что. Поскольку есть государство, политика, будет существовать и война, а следовательно, и необходимость в людях, которые ради этого государства рискуют жизнью. То есть корень зла не в военных; они-то зачастую достойны уважения. Во всяком случае, когда я писал тот рассказ, я меньше всего хотел получить просто анекдот, хотелось вывести армейскую абсурдность в более метафизический план. И надеюсь, это получилось, хотя рассказ, конечно, не самый значительный.

— *Да, определенная мера условности там чувствуется. Так же, как и в повести «Идентификация», — в ней есть литературная условность крутой страшилки, может быть, даже кинематографической. Но для меня, например, твоя по-настоящему интересная проза началась с рассказа «Памяти Севы, самоубийцы», потом я читал ее в «Астрономии насекомых», и наконец роман «Свобода». Тут неизбежно возникает вопрос: используемый в романе и частично в рассказах жизненный материал — полубезбытное существование молодого горожанина, интеллектуала, как бы выключенного из всех связей с внешним миром, — это личный опыт или просто очень удобный материал для воплощения определенной мысли или внутреннего состояния?*

— Это личный опыт. Что касается рассказа «Памяти Севы, самоубийцы», то там просто фиксация событий. У меня были внутренние причины писать его, это тот случай, когда рассказ сочинялся вообще без мысли о публикации. Думаю, что любой человек, прочитавший рассказ, поймет внутреннюю интенцию, с которой эта вещь писалась. Роман «Свобода» — это совсем другое. Он, конечно, сочинен. Но и не вполне сочинен — я думаю, никакой автор не сочиняет на пустом месте. Всегда в основании какие-то свои, близкие к собственной жизни писателя реалии. Некое ядро, зернышко для кристаллизации замысла. В «Свободе» многое есть из моей биографии, но эти реальные события всегда стоят в начале какой-то линии, длинной ли, короткой, а дальше она раскручивается уже в чисто литературном пространстве. Я не испытываю весьма актуальной в современной литературе потребности через искусственные структуры, через фантазмагоричный вымысел от этих «своих» корней непременно отрываться, маскировать их. Книгу «Хазарский словарь» мне никогда не написать. Я вообще-то человек угрюмо-серьезный, что определенная ироничность моих текстов призвана только подчеркнуть; мне охота

собственному существованию придать хоть какое-то значение, и это желание мне из себя не вытравить.

— *И тем не менее у тебя в романе есть некие линии и сюжетные ходы, которые, не теряя своей реальности, нагружаются философскими смыслами и порой выглядят достаточно гротескными.*

— Ну, если так получилось — хорошо. Я старался. Понимаешь, такая печальная история: вот я иногда заглядываю в книжки писателей, которые когда-то, в восьмидесятые, в начале девяностых, напечатали в том же «Новом мире» по одному-два рассказа или повести, потом издали книжку. И вроде бы все на месте — но притом что-то как бы недотянутое. Люди честно пишут о своих трудных судьбах, о достаточно безрадостной жизни, и проблемы там ставятся достаточно глубокие — но только катастрофически не хватает этим текстам собственно литературного измерения. Даже когда у автора богатая, красивая речь. Мне же думается, что стремление работать в литературе, как это говорят, «на материале реальности» отнюдь не обязательно должно входить в противоречие со стремлением к определенной литературной изощренности — а сегодня почему-то расхожее представление, что изысканность языка, сюжета, стиля, иронии есть исключительно прерогатива модернистских или, если угодно, постмодернистских текстов. Как сказал критик Новиков, надоело уже читать произведения, которые подчеркнута не похожи на действительность. Хочется увидеть такую вещь, которая, с одной стороны, хорошо сочинена, а с другой — именно похожа на реальную жизнь.

— *В одной из рецензий на твой роман было сказано, что он представляет собой описание некоего типового возрастного кризиса. Другие критики сразу же отнесли «Свободу» к разряду «поколенческой» литературы, соотнеся роман, например, с «Поколением X» Дугласа Коупленда, то есть восприняли его чуть ли не как манифест нового поколения. Какой из этих подходов тебе ближе?*

— В целом — никакой. Это, конечно, не «поколенческий» роман. Среди своих ровесников я знаю самых разных людей: от совершенных камикадзе до персонажей, железно настроенных на жизненный успех. Их трудно вместе объединить под каким-либо «поколенческим» лозунгом.

Хотя должен сознаться, что в первом варианте романа был какой-то лепет про поколение. Но когда работа пошла всерьез, я это оттуда вымарал. Я все-таки полагаю, что это роман индивидуального опыта.

Иное дело, я не исключаю, что в той или иной мере подобный опыт имеют многие люди.

А с другой стороны, разумеется, «Свобода» имеет отношение ко вполне определенному поколению: я-то ведь к нему принадлежу. Ну вот характерная деталь: среди моих знакомых-сверстников хорошо если у пятой части собственные квартиры — то есть когда они сами заработали деньги и приобрели себе жилье. Большинство же живет либо в квартирах, оставшихся от родителей, либо в полученных всякими родственными обменами, либо просто маются вроде моего героя. Что касается работы — огромное число неудач в бизнесе, куда мои сверстники вместе со всей страной в известные годы ринулись. Насколько я знаю, те, кому сейчас от двадцати до тридцати, как правило, уже гораздо удачливее, защищеннее. И если сравнивать с ними, то в моей генерации количество неудачливых людей будет на порядок больше. Причем «удачливость — неудачливость» здесь не в смысле какого-то суперуспеха, который почему-то в нынешней России считается чуть ли не нормой, единственной жизненной ценностью. Нет, речь просто об обыкновенном благополучии, о возможности вести нормальную, спокойную, достойную жизнь. У нас — за исключением, может, бывших комсомольских лидеров — были очень плохие стартовые условия: социальные, психологические — всякие. «Старая» страна окончилась еще до нас, «новая» началась уже после. А нам досталась нулевая точка. И есть в этом определенная заданная временем трагичность. Но я не хотел бы развивать данную тему, потому что в ней сразу же проступают социальные аспекты, мне достаточно обозначить ее как экзистенциальную.

Я думаю, что критики, сравнивающие «Свободу» с «Поколением X», — это очень романтические критики. Все-таки наши проблемы с проблемами американских «иксеров» совпадают, скажем так, не вполне. Пересекаются, конечно, на ощущении неприкаянности. Но у Коупленда эта неприкаянность пестуется, там все — игра, причем без особого риска. Здесь не так. Здесь голова слетает еще до того, как ты сообразил, что начал играть.

А насчет того, что это роман «возрастной»... Вот та свобода, которая должна где-то там, внутри текста, внутри ситуаций, в мыслях и поступках моего героя, промелькнуть — она ведь возможна только в очень узком временном промежутке. Это когда ты уже достаточно повзрослел, чтобы поставить себя под удар на такой высоте, где вся шелуха с тебя слетает: социальная маска, навязанные приоритеты, твое о себе представление, когда ты уже достаточно силен, чтобы суметь остаться вообще без иллюзий. И вместе с тем — когда Бог еще не начал тебя убивать, не развернул лицом к могиле. Поэтому, наверное, да, «возрастная» вещь.

Ну а обо всем остальном, надеюсь, можно прочитать в самом романе.



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ
ИННУ ЛЬВОВНУ ЛИСНЯНСКУЮ,
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА РЕВИЧА,
НИКИТУ АЛЕКСЕЕВИЧА СТРУВЕ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КОНОНОВА,
ЕЛЕНУ ВСЕВОЛОДОВНУ НЕВЗГЛЯДОВУ,
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ПОПОВА,
ЕЛЕНУ АНДРЕЕВНУ ШВАРЦ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА»!**

МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД и АЛЬФА-БАНК

сообщают, что ими учрежден стипендиальный фонд для поддержки профессиональных литераторов (прозаиков, поэтов, критиков, драматургов, переводчиков) — членов Литфонда, работающих над новыми произведениями. Начиная с 1 ноября 1999 года 15 писателей, прошедших конкурсный отбор заявок, будут в течение года получать ежемесячную стипендию в размере 1200 рублей.

Чтобы принять участие в соискании стипендии, следует до 25 сентября 1999 года подать в Московский Литфонд заявку на будущее произведение. Заявка пишется в произвольной форме, но в ней должны быть указаны: жанр, тема или краткий сюжет, примерный объем. Размер заявки не более 3-х страниц. Кроме того, соискатель представляет вместе с заявкой фрагмент будущего произведения; отрывок не должен превышать половину авторского листа.

И заявка и отрывок подаются в 3-х экземплярах.

Представленные документы рассматриваются экспертной комиссией, состоящей из представителей ведущих литературно-художественных журналов. Имена стипендиатов будут объявлены в конце октября.

**Прием заявок производится в Московском Литфонде
(Гоголевский бульвар, 8. Тел. 291-85-85)
ежедневно с 14 до 17 часов, кроме пятницы.**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-99» (том 1, стр. 111, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость одного номера на второе полугодие 1999 года — 27 рублей плюс стоимость доставки.

Но те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку уже на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem», «Библио-глобус», «Гилея», «Графоман», «Летний сад», «Мир печати», «Эйдос» и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218); Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



A new part of short stories «Zatesi» (Notches) by Victor Astafyev, stories by Anton Utkin and the end of the Lorenzo Silva's novel «The Bolshevik's weakness» translated from Spanish are published in the Issue 8. The poetry section is represented by poems of Semen Lipkin, German Plisetsky, Sergey Nadeev, Andrey Kostin, Victor Kollegorsky and Dmitry Polischuk.

Under the heading «Nowadays' Essays» you can find the Mark Kostrov's contribution «Along the River Msta from Novgorod to the Krivoye Koleno»

The Boris Falikov's article «Neopaganism», dedicated to «new mythologies», lately spreading around among Russian city population, in the first place, is published under the heading «Times and Manners».

Under the heading «The World of Science» you can read an article by Vladimir Gubaylovsky «The Information Age» with a historical review of the information and computer technologies' development. The author also tries to comprehend their influence on the modern life from the cultural and philosophical points of view.

The literary critique is represented by articles of Grigory Kruzhkov «Poet's Rags: Mandelshtam and Yeats» and by Irina Rodnyanskaya «This world is invented not by us» (around Pelevin).

This issue also features speeches of poets Oleg Chuchontsev and Alexander Kushner, delivered at the presentation of the Alfred Töpfer Foundation's Pushkin's Prize. You can also read an interview, given to the Internet-TV by the writer Michail Butov.



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятна, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор **Л. Б. Левова**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.04.99 г. Подписано к печати 28.06.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 550 экз. Зак. 5385. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1999 И В 2000 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Ночь славянских фильмов (рассказы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

АНДРЕЙ ВОЛОС. Сирийские розы (повесть);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов;

МАРИНА ДУРНОВО, с участием **ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.**

Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);

БОРИС ЕКИМОВ. Житейские истории;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);

МИЛАН КУНДЕРА. Обмен мнениями (маленькая повесть; перевод с французского);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ИГОРЬ САХНОВСКИЙ. Насущные нужды умерших (роман);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА**, **МИХАИЛА БУТОВА**, **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА**, **АНТОНА УТКИНА**, стихи **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА**, статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ БОЧАРОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **АНДРЕЯ НЕМЗЕРА**, **ВЛАДИМИРА НОВИКОВА**, **ИРИНЫ СУРАТ** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОВРЕМЯ ОФОРМИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**